

ISSN 0130-7673

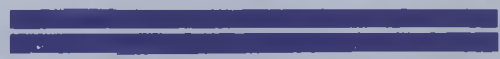
НОВОБЫИ МИР

|| 5 ||

НОВОБЫИ МИР

|| 1988 ||

5



1988



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1988 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ — Жизнь меня учила этой теме..., стихи	3
ВЛАДИМИР ОРЛОВ — Аптекарь, роман	7
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — Помогите мне, стихи...	102
ГЕОРГИЙ ПРЯХИН — Мать и матица, рассказ	105
ИЗ ЭСТОНСКОЙ ПОЭЗИИ — Пауль-Ээрик Руммо, Матс Траат. Перевел Светлан Семененко	120
ВАЛЕРИЙ МУРЗАКОВ — Здравствуй, Тоня! Рассказ	124
АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ — Городские романы, стихи	132

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«РОССИЯ, КРОВЬЮ УМЫТАЯ» АРТЕМА ВЕСЕЛОГО. По материалам лично- го архива писателя. Публикация, подготовка текста и комментарий Заяры Веселой	135
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН — Истоки	162
--------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ГЕРМАН ФРАДКИН — «Пожелай мне удачи...»	190
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ф. И. ШАЛЯПИН — Маска и душа. Главы из книги. Подготовка текста и предисловие Е. Дмитриевской, В. Дмитриевского	199
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА — Мытарства идеала. К выходу в свет «Чевенгура» Андрея Платонова	218
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	232
В. Кавтор. Природа и человечность.	
Л. Щемелёва. «Все было дано...».	
Александр Носов. Невысокомерное литературоведение.	
О. Алякринский. Опыт о человеке.	
Ю. Лексин. Из размышлений Шарика.	
<i>Политика и наука</i>	248
Сергей Яковлев. Право отречения.	
Ю. Червяченко. Лучше бы жернов на шею...	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
ОЛЬГА МАЙОРОВА — Отточия в угловых скобках	256
В. МИТЫПОВ — Город вопреки...	262
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Сергей Костырко.— Николай Шпилов. Шарабан. Повести, рассказы. ♦	
Юрий Карабчиевский.— Арсений Тарковский. От юности до старости. Стихи. ♦	
Павел Басинский.— Глеб Горышин. Жребий. Рассказы о писателях. ♦	
Д.м. Брудный.— Бор. Ефимов. На мой взгляд... ♦	
С. Кузнецова.— Л. В. Шапошникова. От Алтая до Гималаев. По маршруту Центрально-азиатской экспедиции Н. К. Рериха. ♦	
Сергей Станкевич.— Взаимодействие культур СССР и США. XVIII—XX вв.	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ



ЖИЗНЬ МЕНЯ УЧИЛА ЭТОЙ ТЕМЕ...

* * *

Срок на зиму военную
в этих пределах не скуп,
Но фронты
по весне
разминают затекшее тело.
Озимь плотность уже набирает,
а дуб
Все еще в прошлогодней листве заржавелой.
Пленный немец
в прохладной деревне.
Очки на носу.
Либерал.
Никого не насиловал
и совершенно не крал.
Не особенно миловал,
но и не слишком карал.
Дело в бабьем кругу
не дойдет, очевидно, до крови.
То ли ропот какой-то,
а может быть, молитвословье.
Немец пятится медленно,
а на него тяжело
Надвигаются женщины,
сбитые в стаю.
Он твердит: «Ничего, ничего, ничего,
Бейте, бабы, меня».
Но слова только я понимаю.

* * *

Снова осень, осень, осень,
Первый лист ушибся оземь,
Жухлый, жилистый, сухой,
И мне очень, очень, очень
Надо встретиться с тобой.

По всем правилам балета
Ты станцуй мне танец лета,
Танец света и тепла,
И поведай, как в бараке
Привыкала ты к баланде,
Шалашовкою была.

Прежде чем с тобой сдружились,
Сплакались и спелись вы,
Пылью лагерной кружились
На этапах Колымы.

Я до баб не слишком падох,
Обхожусь без них вполне,—
Но сегодня Соня Радек,
Таша Смилга сняты мне.

После лагерей смертельных
На метельных Колымах

В крупноблочных и панельных
Разместили вас домах.

Пышут кухни паром стирки,
И старухи-пьюхи злы.
Коммунальные квартирки,
Совмещенные узлы.

Прославляю вашу секту —
Каждый день в привычный срок
Соня Радек бьет соседку,
Смилга едет на урок.

По совету Микояна
Занимается с детьми,
Улыбаясь как-то странно,
Из чужого фортепьяно
Извлекает до-ре-ми.

Все они приходят к Гале
И со мной вступают в спор:
Весело в полуподвале,
Растлевали, убивали,
А мы живы до сих пор.

У одной зашито брюхо,
У другой конъюнктивит,

Только нет упадка духа,
Вид беспечно-деловит.

Слава комиссарам красным,
Чей тернистый путь был прям...
Слава дочкам их прекрасным,
Их бессмертным дочерям.

Провожать пойдешь и сникнешь.
И ночной машине вслед
«Шеф, смотри,— таксисту
крикнешь,—

Чтоб в порядке был клиент!
Не угробь мне фраерочка
На немьслимом газу...»
И таксист ответит: «Дочка,
Будь спокойной, довезу...»

Выразить все это словом
Непосильно тяжело,
Но ни в Ветхом и ни в Новом
Нет об этом ничего.

Препояшьте чресла туго
И смотрите, какова
Верная моя подруга
Галя Ша-пош-ни-ко-ва.

* * *

В отеле, где не действуют на нервы
Стрекочущие «кондиционервы»,
В отеле, окруженном белой-белой
Оградой — наше дело сторона!—
Живи, подлец, и ничего не делай —
Все за тебя заплатит сверхстрана,
Все за тебя заплатит сверхдержава...
Базар тибетский слева, а направо
Всехристианский офис. На двери
Английская табличка. Так. Понятно.
Здесь выдаются Библии. Бесплатно.
Входи, товарищ Межиров, бери...
Бери? Когда известно мне заранее,
Что выдает Священное Писание,
Что за конторкой восседает фон,
Как говорится, Штирлиц. Телефон,
То бишь вертушка, прямоком в посольство,
И если в этот офис я войду,
Конечно же, возникнет недовольство,
Сулящее не то чтобы беду,
Но галочку, которая едва ли
Тебе нужна. Тем более уже
Тебя однажды в марте исключали,
И протокол нетленный, на верже,
Хранится в сейфе среднего калибра.
Пора прибегнуть к помощи верлибра.
Но так как проза мне не по плечу,
То я, пожалуй, просто замолчу.
Зачем со сверхдержавой в поединок
Вступать, когда в любой ее дыре

Да и в самой столице черный рынок:
Там Библии с картинками Доре
Или на крайний случай без картинок.
Вернусь в отель. Какая благодать.
Как в номере моем пречисто ложе.
Портье — монах, официанты тоже
Монахи рясофорные. И все же,
И все же о тебе забуду, Боже,
Чтоб кесарево кесарю воздать.

Вернусь в отель. Разбавлю виски содой,
Или, сказать по-нашему, водой.
Так почему в десятый раз и в сотый,
Седой и старый, старый и седой,
Ташусь туда, где Библии бесплатно
Всехристианский офис выдает,
Чтобы, помедлив, повернуть обратно,—
Читатель понимает, вероятно...

А может быть, как раз наоборот.

* * *

Подпрыгивает подбородок,
В глазах отчаянья зигзаг,
На дачу после проработок
В нескладных «эмках» и «ЗИСах»
Забыться в изжелта-зеленом
Лесу — и все часы подряд
Госдачи стонут патефоном,
Вергинский-Лещенко царят.

Кто нынче вытянет билетик,
Кому сквозь непогоду и тьму
С госдач под звуки песен этих
Отправиться на Колыму...

* * *

Что у тебя имелось, не имелось?
Что отдал ты? Что продал? Расскажи!
Все, что имел — и молодость и мелос,
Все на потребу пятистопной лжи.

А чем тебя за это наградила?
А что она взамен тебе дала?
По ресторанам день и ночь водила,
Прислуживала нагло у стола.

На пиршествах веселых в черной сотне
С товарищем позволила бывать
И в пахнущей мочою подворотне
В четыре пальца шпротами блевать.

Она меня вспоила и вскормила
Объедками с хозяйского стола,
А на моем столе мои чернила
Водю теплой жидко развела.

И до сих пор еще не забывает,
 Переплетает в толстый переплет.
 Она меня сегодня убивает,
 Но слово правды молвить не дает.

* * *

Что ж ты плачешь, старая развалина,—
 Где она, священная твоя
 Вера в революцию и в Сталина,
 В классовую сущность бытия?..

Вдохновлялись сталинскими планами,
 Устремлялись в сталинскую высь,
 Были мы с тобой однополчанами,
 Сталинскому знамени клялись.

Шли, сопровождаемые взрывами,
 По своей и по чужой вине.
 О, какими были б мы счастливыми,
 Если б нас убили на войне.

* * *

Пишу о смерти. Не моя вина,
 Что под глазами то круги, то тени,
 Что жизнь меня учила этой теме,
 Как Францию Столетняя война.

Что на мои вопросы нет ответов
 И нету друга. Только звук пустой.
 И дорог из шекспировских сонетов
 Один лишь только 66-й.

Просьба

С поэзией родной наедине
 Всю жизнь свободным прожил я в неволе.
 Никитина стихи прочтите мне,
 Стихи Ивана Саввича о поле.

Кто я такой? Секрета в этом нет,
 И уж теперь тем более не тайна,
 Что я несостоявшийся поэт,
 Поэт, не состоявшийся случайно.

* * *

Почетная профессия — мошенник:
 Везде и всюду слава и почет
 Тому, кто ради выгаданных денег
 На страшный риск бестрепетно идет.

Я жизнь свою мошенничеством прожил
 В мошенническом городе большом,
 Его казну по доле приумножил
 И подытожил гибельным кушом.



ВЛАДИМИР ОРЛОВ

★

АПТЕКАРЬ

Роман

1

Их развели.
— Платить-то будешь? — спросила Мадам.

— У матросов нет вопросов,— ответил Михаил Никифорович.

Это было лет пять назад, до нашего знакомства с Михаилом Никифоровичем. Заявление написал он. Теперь он темнит, уверяя, что текст заявления не помнит. Мол, что-то там такое было, что вот, мол, от меня ждут аристократических детей, а я, мол, рабоче-крестьянского происхождения и потому, чтобы дальнейших огорчений не было, прошу развести. Мол, там посмеялись, но недолго, и развели.

В пивном автомате на улице Королева Михаила Никифоровича называли и Михаилом Никифоровичем, и Мишей, и Мишкой, и Аптекарем, и Лысым, и Дипломатом, все вспоминать скучно. Знакомых у него множество, у каждого из них свои обстоятельства жизни и свои основания называть его так или иначе. Да и знакомства возникали тут порой мимолетные, приметы же приходили на память самые случайные. Кто-то запомнил Михаила Никифоровича именно лысым (а Михаил Никифорович раз в год брился наголо), кто-то запомнил его рассказ о том, как он, окончив в своей курской деревне десятилетку, приехал поступать в МГИМО, все сдал, возможно, был бы теперь дипломатом, но на последнем экзамене, немецком, срезался...

Впрочем, представить его дипломатом трудно. То есть, конечно, жизнь то и дело, как и каждого из нас, заставляла Михаила Никифоровича проявлять себя и дипломатом, или скорее умиротворителем, но эта его бытовая дипломатия вряд ли бы принесла удачу в международных отношениях. И Михаил Никифорович нисколько не жалеет, что не был принят в МГИМО.

Михаилу Никифоровичу Стрельцову под сорок. Рост у него сто семьдесят пять сантиметров, весит он семьдесят девять килограммов. В юности, когда он попал в матросы и узнал прелести флотской кухни, он быстро набрал девяносто два килограмма, клещи на нем были как колокола. Теперь он не толст, живота не имеет, носит подтяжки и производит впечатление крепкого, здорового человека.

Я видел многих родственников Михаила Никифоровича, двоюродных братьев и племянников его. Все они блондины, носы у них острые, тонкие. Михаил же Никифорович черен, таких в роду нет, бриться ему полагалось бы дважды в день, щетина прет, да и тело его, что называется, в шерсти. Нос у Михаила Никифоровича с горбинкой и чуть расплющенный внизу. Выговор у него южнорусский, курский. Но это когда он забывает, что давно москвич. Тогда и меняет «в» на «у». «Пошел у магазин» и так далее. Знает он и украинску

мову, жил в Мариуполе, Запорожье, Харькове. Где только не жил...

Все эти сведения о внешности Михаила Никифоровича и некоторых его особенностях я сообщаю на тот случай, если вдруг кто-то из предполагаемых моих читателей забредет в Останкино, увидит Михаила Никифоровича и сообразит: «Вот он, тот самый...» Но вполне вероятно, что он примет за Михаила Никифоровича и кого-нибудь другого. Виноват тут будет автор. Он воспитан на пренебрежительном отношении к описаниям внешности персонажей, полагая вместе с другими, что в двадцатом веке в этом нет нужды. Что словесные портреты должны занимать более милицию, нежели литературу. Есть фотографии. А ты сколько ни пыжься, все равно опишешь человека так, что всякий увидит его по-своему. Да и стусевался бы автор, принявшись за добросовестное описание внешности Михаила Никифоровича, нет у него в этом умения, свойственного, скажем, людям девятнадцатого века. Но дать кое-какие приметы Михаила Никифоровича я все же не удержался...

А читатель, кого судьба или любопытство заведут в Останкино, может и не утруждать себя, вспоминая мои слова и разгадывая, кто же тут Михаил Никифорович. Если есть нужда, надо просто спросить, и многие Михаила Никифоровича покажут. Возможно, Михаил Никифорович будет в компании знакомых. О некоторых из них речь пойдет позже.

В день же, с какого начались события моего повествования¹, Михаил Никифорович стоял в пивном автомате рядом с дядей Валея. И со мной тоже.

Дяде Вале было под шестьдесят, он работал шофером, собирался на пенсию. В довоенном фильме шпик в котелке кричал полицейским, хватавшим революционера: «За яблочко его! За яблочко!» По общему мнению, дядя Валя был похож на того кричавшего, и иногда некоторые интересовались: «Ну как, дядя Валя? За яблочко его или как?» Дядя Валя посмеивался и говорил: «Но беда-то ведь небольшая, а?» Месяца два он не появлялся в пивном автомате, потом пришел с палочкой. Михаил Никифорович увидел его сегодня впервые после отсутствия, покачал головой.

— Что это с вами, дядя Валя?

— Осколки удалили,— сказал дядя Валя.— С финской еще...

Вчера дядя Валя рассказывал мне, что ногу он сломал, вышел как-то поутру прогуливать собаку, поскользнулся на ровном месте — и, нате вам, в гипс на два месяца.

— Сколько лет сидели,— продолжил дядя Валя,— и ничего, а тут как занули, на ногу ступить нельзя. «Надо удалять»,— говорят. Девять удалили, двенадцать осталось там.

— Надо же,— покачал головой Михаил Никифорович.

— Но беда-то ведь небольшая, а? — заключил дядя Валя.

Новый поворот истории дяди Валиной ноги меня не удивил. Но и сдержаться я не мог:

— Дядя Валя, а вы мне говорили, что сломали...

Дядя Валя поглядел на меня укоризненно. Сказал:

— Правильно. Они и думали сперва, когда меня из «Звездного» вынесли в машину, что сломал...

— Из ресторана, что ли?

— Из ресторана. Из буфета.

— А как же собака? — опять влез я.

— Собака? — удивился дядя Валя. Потом сообразил: — Собака...

Ага, я гулял с собакой возле ветеринарной больницы, там и упал...

— А как же ресторан?

¹ Сразу же должен сообщить, что события эти происходили, а может быть, и не происходили в Останкине в 1975 году. (Прим. здесь и дальше автора.)

— Но беда-то ведь небольшая? — И дядя Валя продолжил, забыв о моих вопросах: — Осколки хотели сначала магнитом вытянуть, может, из кого и вытянули бы, а из меня нет, или магнит испортился. Они и резали. Но все не вырезали. А то бы сухожилия и связки портили. Вот двенадцать и осталось. С испанской войны...

— Вы говорили, с финской?

— И с финской. С испанской и финской. В Испании пришлось, сам знаешь. Я все хочу в Мадрид съездить. Мне ведь испанское правительство пенсию платит.

— За что же?

— Ты еще не родился, а я бил франкистов!

— Это я понимаю. Но за что же правительству-то вам пенсию платить? Что им, что вы франкистов-то били?

— Я знаю.— Дядя Валя стал серьезным, замолчал, видимо, что-то обдумывая.— Я газеты читаю. Ты меня не так понял. Я сказал, не правительство. Не правительство, а партия...

Он словно бы тяжкий подъем преодолел, слова сразу же стали выкатываться из него легко.

— А ты говоришь — правительство. Стало бы мне их правительство! А партия платит. Поздравления присылают. Меня там помнят все. И Долорес и другие. Меня их нынешний секретарь хорошо знает. Приходи, я тебе телеграмму от него покажу.

— Это от кого же?

— Ну как его...

— Карилья, что ли?

— Карилья, как ты догадался! Он у меня под Гвадалахарой был на пулемете. Совсем молодой парнишка. Огонь, треск, я ему кричу: «Мишка, тащи быстрее патроны, мать твою!»

— Почему же Мишка? — заинтересовался долго молчавший Михаил Никифорович.

— А мы их по-нашему звали,— сказал дядя Валя.— Мишка да Мишка. Это как же по-ихнему будет, постой...

— Мигель.

— Вот. Мигель Карилья.

— Так это, значит, другой Карилья. Тот, который секретарь, тот Сантьяго Карилья.

— Точно! — вскричал дядя Валя.— Я его Санькой звал, а не Мишкой. «Санька, мать твою!»

— Так его надо было скорее Яшкой звать,— вставил Михаил Никифорович.

— На Яшку он не откликнулся,— сказал дядя Валя.

Помолчали. Михаил Никифорович с дядей Валею закурили. Стояли мы под табличкой «Не курить». Автомат на Королева считался магазином. А магазины не предполагают курения. Тут существовали и иные запреты: «Приносить и распивать...» и так далее. Но коли не приносить и не распивать, откуда же возникнут на полу или прямо в руках уборщиц пустые бутылки, те, что потом мешками — и не раз в день — волокут в магазин на сдачу? Понятно, что про распитие никаких слов и не произносилось. Желающих же платить за окурки и выпотрошенные сигаретные пачки не было, оттого в автомате то и дело звучали пронзительные восклицания: «Прекратите курить!» Но сейчас Михаил Никифорович и дядя Валя курили спокойно.

— Мне Батов вчера звонил,— сказал дядя Валя.

— Генерал, что ли?

— Ну да. Генерал. Вот он как раз со мной и был в Испании...— Тут дядя Валя осекся и настороженно поглядел на меня.

— Да нет, дядя Валя, я ничего,— сказал я.

— Что-то вы все об одном да об одном,— заметил Михаил Никифорович.

— А что, есть конструктивное предложение? — оживился дядя Валя и достал рубль.

— Нет, дядя Валя,— быстро сказал Михаил Никифорович. Он втянул носом воздух, мышца над правой ноздрей его стала знакомо дергаться, можно было понять, что рубля, тем более с сорока копейками, у Михаила Никифоровича нет. И у меня не было.

— Но беда-то ведь небольшая, а? — сказал дядя Валя и спрятал рубль.

Мышца все еще дергалась над ноздрей Михаила Никифоровича.

— А соленые помидоры хорошие продаются в овощном,— неуверенно сказал Михаил Никифорович.

— Ну и что?

— Ничего. Это я так, к слову...

— К слову нужна музыка,— вступил дядя Валя.— Вот однажды Аркаша Островский...

Дядя Валя остановился. Я пошел за пивом, а когда вернулся, дядя Валя говорил об Островском, Лепине, Френкеле, еще о ком-то. Испанскую тему сменила музыкальная. Скоро следовало ожидать перехода к кинематографу. Причем если имена вспоминались дядей Валей обычно одни и те же, то истории, связанные с этими именами, возникали, как правило, свежие. Много бы музыки не звучало теперь, если бы не дядя Валя. Возможно, что и рапсодии Будашкина для домры с оркестром не было бы. А уж про кино и говорить не приходилось. Десятки фильмов со звуком и без звука, особенно на студии «Межрабпомфильм», вышли при помощи дяди Вали. Как я и ожидал, дядя Валя свернул на Эйзенштейна.

— ...Сережка-то Эйзенштейн,— сказал дядя Валя,— тогда еще не лысый, как раз в тот день приехал ко мне советоваться. Валентин, говорит...

Долгое время дядя Валя считал, что Сережка Эйзенштейн живой и что он, правда, не часто, раз в год, но все же заходит к нему, дяде Вале, домой, на Кондратюка, 14. Однажды я, возбужденный, что ли, был, не выдержал и предположил вслух, что это, наверное, не тот Сережка Эйзенштейн, который поставил «Броненосец «Потемкин». Дядя Валя резко и с обидой возразил, что это именно тот Эйзенштейн и что он хороший и простой мужик. Я хотел было сгоряча притащить из дома в автомат том энциклопедии, но поберег книгу, а дяде Вале посоветовал обратить внимание на мемориальную доску, что висит на одном из домов у Чистых прудов. Видимо, дядя Валя доску эту, проезжая мимо на своем автобусе, рассмотрел, и Эйзенштейн перестал приходить к нему в гости. Однако в предвоенном и военном прошлом он, Эйзенштейн, многое в своих фильмах все еще решал лишь после советов с дядей Валей. Возможно, дядя Валя и работал в киностудиях водителем, возможно, после войны он был шофером кого-то из композиторов. Возможно. Во всяком случае, порой сведения об истории кинематографа и отечественной эстрадной песни дядя Валя сообщал достоверные. Но еще больше он рассказывал о вещах, широкой публике неизвестных. Внимать ему в этих случаях было тем более интересно. Например, я с удовольствием слушал варианты рассказа дяди Вали о том, как его вызвал к себе в июле сорок пятого маршал Жуков, обнял, прослезился, расцеловал за победу и подарил «олдсмобил». Что сделал дядя Валя с «олдсмобилом», как-то упускалось. Но не в этом была суть. Мне всякий раз были интересны скачки дяди Валиной бескорыстной памяти. Или воображения, опять же бескорыстного. Иные фантазеры или мемуаристы упрямы, кулаки сожмут, зубами заскрипят, а будут стоять на своем. Дядя же Валя, пойманный на исторической неточности (правда, авторитетным для него человеком, а не каким-нибудь шалопаем), не скандалил, не скулил, не скисал, а будто вспыхивал. «Точно! — говорил он, и радость горела в его глазах.— Как это ты догадался! И как я

забыл! Точно, все было не так! Но беда-то ведь небольшая!» И сразу же следовал новый поворот только что рассказанной истории, да такой крутой и бесстрашный, что на душе становилось знобко и празднично. И опять дядя Валя сокрушал врагов или делал искусство в компании с известными всем людьми. И главное, что на финской и на испанской (на Отечественной-то естественно) он был. Впрочем, я скажу: наверное, был,— потому как точно не знаю. Дядя Валя не раз звал меня к себе домой посмотреть всякие документы и фотографии. А я не ходил. Боялся. Вдруг и нет никаких документов. С дяди Вали стало бы. Пришли бы, а он сказал бы: «Где же они? Украли, что ли? Ванька Карась давно грозился украсть! Или жена, когда ушла к таксисту, сожгла...» Предполагаю, что он даже нюхать начал бы, не пахнет ли горелой бумагой. И я точно почуял бы, что пахнет. Вот я и не ходил... А с другой стороны, если бы я увидел свидетельство реальной жизни шофера Валентина Федоровича Зотова, мне труднее (или скучнее) было бы воспринимать его дальнейшие рассказы. Цеплялось бы мое воображение за эти свидетельства...

Тем временем дядя Валя опять достал рубль и повертел им. Мышца над правой ноздрей Михаила Никифоровича снова задергалась. А я развел руками. Меня ждали дела, и рубля не было. С тем я и покинул собеседников...

2

Однажды я зашел в автомат в воскресенье.

Я был с сумками. В одной уже стояли пакеты картофеля. Другая была пуста, ждала молока, сыра и мясных полуфабрикатов. Я пожал руки человекам тридцати. Останкинские мужья в воскресные дни сходились в автомате непременно с отчаянными сумками, а то и с рюкзаками. Некоторых только с этими сумками и выпускали из дома, другие же брали сумки добровольно, желая заработать привилегии в суровом и прекрасном семейном сосуществовании. Личности в тот день пили пиво самые разные, кто с высшим образованием, а кто и со средним. Среди прочих стояли дядя Валя и Михаил Никифорович.

— На рынке был? — спросил меня Собко, в будние дни занятый изучением тайской культуры.

— Видишь: пакеты,— показал я на сумку.— А на рынке картошка тоже небось химическая.

— Ну нет,— возразил Собко.— Я всегда беру у одного хозяина из-под Ярославля. У того на навозе.

Я это знал. А Собко будто бы жене давал положительную информацию. Был он краснощек и бодр и, как выяснилось, через два часа собирался в баню. Картошкой на навозе в глазах жены его поход в баню был уже оправдан. Оттого Собко пил пиво с удовольствием. У иных же, нынче менее краснощеких и с лицами как бы набрякшими, настроение было не столь благостное. Им и пиво пока не помогало. Вчерашние напитки и лакомства еще угнетали. Кое у кого и кружки в руках дергались нервно. Создавалось впечатление, что эти страдальцы вряд ли вчера смогли бы воспользоваться услугами подземного транспорта. Впрочем, некоторые из них были степенные и с хорошей координацией движений, таких всегда впускают в метро.

— Ну как? — спросил меня Собко.— Киев в этом году или Тбилиси?

— Очень может быть, что и московское «Динамо».

Начался март, самая пора думать о сюжете футбольного сезона.

— Нет, Киев,— твердо сказал Собко.

В автомате темы в разговорах быстро меняются. Мы побеседовали о футболе, о хоккее и тут же перешли к международной политической ситуации. Возник спор о составе китайской дивизии. Толя Серов, лектор и социолог, вспомнил Бжезинского, он читал все его

книги и теперь бранил безнравственные построения вашингтонского ястреба. Кошелев сказал, что Бжезинский не стоит и упоминания в нашем пивном автомате, а пора обсудить польскую книгу «Мужчина после сорока». Тут сразу зазвучали анекдоты, имеющие отношение к сути книги. Все отдыхали от воскресных семейных разговоров. Тем более что многим еще предстояло пылесосить и полотерить. «А ты слушал «Скупого» Пашкевича в Камерном театре?» — спросил меня таксист Тарабанько. Я хотел было сказать, что слушал, но тут дядя Валя сделал шаг вперед, как бы имея в виду меня, но, впрочем, наверное, и других. И достал рубль. Михаил Никифорович тоже сыскал рубль. «Водку или вино?» — спросил Тарабанько. «Водку!» — решительно сказал дядя Валя. На этот раз деньги у меня были, однако мой желудок дурно переносит смесь пива с вином или водкой, да и размечтался я после слов Собко о бане. Я отказался участвовать в приятии.

Если бы я знал, от чего отказываюсь!

Почему-то все замялись. Вроде бы и хотели, но руки за рублями не лезли. Наконец Игорь Борисович Каштанов, причудливые изгибы судьбы которого были известны всему Останкину, решился. Был он как раз одним из тех, у кого кружка в руке мелко дергалась. Да и авоська его с буханкой черного и банкой рыбацкой ухи то и дело вздрагивала. Говорил он вяло и как-то обреченно. Всех выпрашивал, не видели ли его вчера после десяти часов вечера. Все, что происходило с ним до десяти, он помнил, что потом — нет. Теперь Игорь Борисович стал третьим. И его можно было понять.

Компания образовалась. Следовало собрать сумму. Водку сегодня можно было купить лишь с черного хода, сумма требовалась усиленная. Михаил Никифорович подумал и выложил еще рубль. Прощу на это обратить внимание! Дядя Валя и Игорь Борисович наскребли по несколько гривенников каждый. Михаил Никифорович вынул еще сорок копеек². Но суммы все не было. «Дай, сколько у тебя есть», — сказал мне дядя Валя. Я сунул руку в карман, мелочи было всего четыре копейки. Дядя Валя взял четыре копейки, а у Серова шесть и предположил: «Хватит, наверное». Михаил Никифорович заметил, что в овощном магазине опять хорошие соленые помидоры. Компаниям дали мелочь на помидоры.

«Кто сегодня торгует?» — спросил дядя Валя. «Зинка и Анька», — сообщили ему. «Это не мои! — рассердился дядя Валя. — Ну, кто будет гонцом? Кто Зинкин клиент?» Все посмотрели на усатого красавца Моховского, финансиста, прозванного паном Юреком, к нему Зинка относилась как к другу.

— Нет, — помотал головой Моховский. — Я нынче мягко стою.

Действительно, стоя он кое-как, прислонившись к стене. И выражение глаз было у него романтическое. Порой он ласково что-то снимал с плеч и с груди. Наверное, это были невидимые, но известные всем по описаниям Моховского бегемотики.

— Я теперь как облако в штанах, — сказал Моховский. — Дядя Валя, ты читал «Облако в штанах»?

— Нет, не читал.

— А зря. Один тоже не читал, а через два дня дал дуба.

— Ладно, — проворчал дядя Валя. — Ты что, красного, что ли, уже набрался?

Тут в поле зрения дяди Вали попал тихий человек Филимон Грачев. Он работал токарем на «Калибре», было ему лет тридцать, надо полагать, немало шуток выслушал он по поводу своего имени. Низенький и щуплый на вид, руки он всем жал так, будто ему подавали эспандеры. Впрочем, руки протягивали ему лишь люди свежие и наивные, незнакомые с увлечением Филимона гиревым спортом.

² Прощу обратить внимание и на то, что сумма собиралась, характерная для воскресного дня именно семьдесят пятого года.

В автомате Филимон был и первым кроссвордистом. Я сам носил ему кроссворды из «Книжного обозрения». На него-то и поглядел дядя Валя.

— Ну давайте, — сказал Филимон.

Гонцы имели право на пятнадцать капель с бутылки. Стало быть, на пятьдесят грамм. Прошу и на это обратить внимание. Филимон взял деньги. Между тем обнаружили еще пайщики, взбудораженные предпрятием дяди Вали, всего Филимону вручили деньги на четыре бутылки водки и на две портвейна «Кавказ». Филимон ушел в шестидесятый магазин. Михаил же Никифорович отправился за милыми ему солеными помидорами.

И вот влажные помидоры с трогательными вмятинами были разложены на газете, чистый граненый стакан покоился в кармане дяди Вали, Игорь Борисович Каштанов движением губ, на звуку у него не хватало сил, попросил меня поддержать авоську с продуктами, явился и гонец, раздал жаждающим бутылки, завернутые в белую бумагу. Какое их ждало удовольствие! Но тут взяли и вошли три милиционера.

Один был свой, участковый, старший лейтенант Куликов, два других — старшина и сержант — чужие. Таксист Тарабанько бросился к окнам, углядел у парадного входа в заведение кремовую машину «Спецмедслужбы», известную также в публице под названием «Алло, мы ищем таланты». «Из вытрезвителя», — сообщил Тарабанько. «Что-то они так рано? — было общее мнение. — Или план горит?» Все с состраданием поглядели на работника банка Моховского. «Пойду-ка я домой бегемотиков кормить», — сказал Моховский. «Ну уж нет! — твердо заявили ему. — Ты только стой. А мы тебя прикроем». Однако за Моховского беспокоились напрасно. Старальцы из вытрезвителя быстро покинули ни с чем (и уж точно — ни с кем) наш мирный автомат. А старший лейтенант Куликов остался. Он по-отечески беседовал со многими, просил не курить, и создавалось впечатление, что скоро из автомата он не уйдет.

Михаил-то Никифорович не спешил. Он, как обычно, не столько сам хотел выпить, сколько желал кого-нибудь угостить. Чтобы беседа шла приятней. А уж вокруг вилось несколько малознакомых личностей, явно любителей выпить на халяву. И дядя Валя, похоже, потерпел бы, дождался бы отхода лейтенанта Куликова. А вот организмом Игоря Борисовича Каштанова требовал участия. И немедленно! Михаил Никифорович сжалился над бедным Игорем Борисовичем, сказал: «Ну пойдем на детскую площадку».

И они пошли. Михаил Никифорович (взяв, конечно, помидоры). Каштанов. Дядя Валя со стаканом в кармане. Гонец Филимон Грачев... Шествие их и теперь перед моими глазами.

Обладатели остальных бутылок до ухода лейтенанта Куликова от принятия доз решили воздержаться.

Кто-то с сумками из нашей компании уходил, кто-то прибывал с теми же как будто бы сумками. Разговор тек по многим руслам, пиво шло пока хорошее. Отбыл из автомата лейтенант Куликов. Но присутствие его полагалось чувствовать еще полчаса, бутылки оставались нераскупоренными. Пора было бы вернуться с детской площадки четверым, а гонцу Филимону Грачеву следовало бы получить со всех пайщиков по пятнадцать капель. Однако четверо не шли, вызывая у нас догадки и опасения. Не увезла ли их кремовая машина? Не свалилась ли с крыши льдина и не разбила ли бутылку? Какое-то предчувствие холодило нашу компанию.

И не лишним было это предчувствие!

Вошли четверо. Мы сразу поняли, что они странные. «Вы что?» — спросил я. «Да ничего», — сказал Михаил Никифорович. Но мышца над ноздрей его чуть ли не рвалась. Дядя Валя икал. Зрочки Филимона Грачева сдвинулись к переносице. Игорь же Борисович шел

бесчувственный, вид его был жуток. Но при этом внимательный глаз мог бы угледеть, что из карманов Михаила Никифоровича высовываются бутылки коньяка и дяди Валя карман не пустой.

— Ну что? Приняли?— спросил я.

— Нет!— дядя Валя чуть не закричал.

И последовал рассказ о случившемся на детской площадке...

Понятно, им, в особенности Игорю Борисовичу, уже не терпелось. Сорвали штемпель, дядя Валя держал стакан. И тут из бутылки вышла женщина. Бутылка и поначалу насторожила дядю Валя. В Останкине водка идет исключительно Московского ликеро-водочного завода, редко когда — Александровского. А тут на крышке было обозначено: Кашинский ликеро-водочный завод. Хотели дать в морду Грачеву, но тот справедливо пожал плечами — ходили бы сами. Кашинский значит Кашинский, лишь бы стакан был чистый. И все же нехорошее чувство возникло у дяди Валя. Сам он не стал открывать бутылку, а передал ее Михаилу Никифоровичу. И когда Михаил Никифорович открыл бутылку (а дядя Валя держал стакан рядом), из нее вышла женщина. А может, девушка. Женщина-то хрен с ней, но бутылка-то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут женщина, которая не просто стояла как человек, а плавала над детской площадкой, заговорила. Здесь я передаю сведения, какие мы получили от четверых. Михаил Никифорович и вообще не большой оратор, да и камни бы ему не мешало подержать во рту, дяде Вале в этот раз не хотелось бы верить, язык Игоря Борисовича от нетерпения лишь трясся, Филимон Грачев с большим бы удовольствием, нежели говорил, руки бы жал, поэтому мы, слушая четверых, информацию из их нервных слов как бы выковыривали. Итак, женщина не только вышла из бутылки, но и заговорила. Слова ее были примерно такие. Она, мол, раба человека, который купил эту бутылку. Все выполняю, что он захочет, по любому желанию. Навечно будет так. И далее в этом роде. Дядя Валя ей возразил, что пошла бы она подальше, но пусть вернет при этом водку. Тем более что Игоря Борисовича бьет колотун. Она тоже возразила, что она кашинский эксперимент и что колотун в ее образовании — пробел. К словам об эксперименте отнеслись серьезно, но Игоря Борисовича надо было спасать. «Давай две бутылки коньяку армянского розлива и портвейн «Кавказ», раз ты придуриваешься, и катись, а не то сдадим в милицию!» — сказал ей дядя Валя. Она как-то поморщилась чуть ли не брезгливо, будто ждала более замечательных просьб, но востребованные бутылки возникли. Потом она опять сказала, что она раба хозяйина бутылки («Хозяев! — поправил ее дядя Валя. — Мы — на троих!»), другие слова говорила, некоторые проникновенные, выходило, что она то ли фея, то ли ведьма, то ли какая-то берегиня. Она и на землю опустилась, а ножки у нее были стройные, или же их обтягивали хорошие джинсы. Михаил Никифорович осмелел и попытался даже из дружеского расположения взять женщину за талию. Она тут же вспыхнула, как бы взорвалась, и исчезла. Кашинская бутылка выпала у Михаила Никифоровича из рук и разбилась. Все вокруг зашипело, а голые ветки тополей и яблонь долго вздрагивали. Остаться на детской площадке компания, понятно, не могла...

— Вы хоть теперь-то дайте выпить Игорю Борисовичу, — сказал Собко. — А то он упадет.

— Неизвестно, что это за коньяк такой, — возразил Михаил Никифорович, — выпьешь и превратишься еще в козла, как братец Иванушка.

— Давай! — резко сказал Игорь Борисович.

Было видно, что ему теперь все равно, в козла так в козла, а то действительно упадет. Михаил Никифорович не сразу, и несколько отстранив от себя бутылку, отодрал крышку и вырвал пробку.

Все были в напряжении. Однако из бутылки никто не вышел. Игорь Борисович ухнул стакан, проглотил помидор. Его приставили к стенке.

— Ну кто еще будет? — спросил Михаил Никифорович.

— А! Давай и я! — отважился дядя Валя.

Конечно, это была пошлость — пить коньяк в пивном заведении. Водка и вино ладно... Но даже я попробовал из бутылки с детской площадки. Раз такая история. Ереванского он розлива или нет, определить никто не мог. Да и подумаешь! Что за чудо такое, ереванский-то розлив.

— Нет среди нас братьев Иванушек, непорочных душ, — сказал Собко.

— Это верно, — согласился Игорь Борисович Каштанов. Он ожидал, и я посчитал возможным возратить ему авоську с черным хлебом и рыбацкой ухой.

— Наврали они все! — решил таксист Тарабанько, поставив на полку стакан, освобожденный им от портвейна «Кавказ».

— А ты что, им поверил, что ли? — удивился Собко. — Ты что, дядю Валю не знаешь?

— А откуда у меня взялись деньги на коньяк? — возмутился дядя Валя. — И на портвейн?

Тут все зашумели, стали высказывать предположения, откуда взялись. Во-первых, дяде Вале срочно из Испании на детскую площадку подослали прибавку к пенсии. Вроде прогрессивки. Во-вторых, таких видных мужчин, как Михаил Никифорович или Игорь Борисович, многие женщины захотели бы взять на содержание, вот они и стали для начала приманивать их коньяком. В-третьих, Филимон Грачев мог по дороге продать вырезки с кроссвордами какому-нибудь особенному любителю.

— Ну галдите, галдите! — сказал дядя Валя. — А вот вы сейчас откройте другие бутылки, которые принес Филимон, из них, может, чего похуже женщины выйдет.

Действительно, те бутылки еще не трогали. Пришла их пора. Первое разочарование ждало нас при осмотре крышек: перед нами была продукция (я оставляю тут в стороне бутылки «Кавказа») исключительно Московского ликеро-водочного завода. Когда крышки сдернули, жидкость в бутылках осталась.

— А что ж ты нам-то подсунул Кашинского завода! — закричал дядя Валя на Филимона Грачева. Он был готов пойти врукопашную.

Филимон уже принял все свои капли и к разговору с дядей Валей не был расположен. Только пробормотал: «Да что вы все злоки какие-то...»

Раздались сомнения по поводу существования Кашинского завода вообще. И что за место такое — Кашин? Есть ли оно? И был ли кто в нем? Я развеял сомнения. Я был в Кашине. Стоит Кашин на тверской земле, на речке Кашинке, час плыть по ней тихим паромом до Волги, и это один из самых приятных городов, какие довелось мне увидеть на Руси. Что касается ликеро-водочного завода, то и такой стоит в Кашине, лет уже сто пятьдесят как стоит.

— Ну вот видите! — обрадовался дядя Валя. — Мне не дадут соврать! Есть завод-то! И Кашин есть! На тверской земле!

— Валентин Федорович, — уважительно сказал Собко, — существование Кашина и столь замечательного завода еще не может стать основанием веры в ваши слова о женщине, вышедшей из бутылки.

— Я один, что ли, ее видел? — горячо заявил дядя Валя. — А эти трое? Мишка, так тот ее и за зад хватал!

— Я не хватал, — сказал Михаил Никифорович. — И не за зад. Я ей руку положил на талию. Для поддержки. Она чуть не упала. Там ведь хламу много, на детской площадке.

Многие из страдавших с утра ожили теперь, как и Игорь Борисович Каштанов, и тоже с удовольствием вступили в беседу. В женщину, конечно, никто не верил, но отчего же и не поговорить о ней?

— И что же, ты и тело ее почувствовал?— спросил Толя Серов.

— Почувствовал,— сказал Михаил Никифорович.

— Ну и как?

— Тело как тело,— пожал плечами Михаил Никифорович.—

Женское.

— И сколько ей лет?

— Лет двадцать,— сказал дядя Валя.— Девчонка.

— Нет, нет, двадцать семь,— предположил Михаил Никифорович.— Дама в соку.

— Вот с такими щеками,— сказал Филимон Грачев.— И зубы кривые. Клыки!

— С какими еще щеками! Где клыки!— возмутился Игорь Борисович.— Она точно фея.

— Ведьма,— сказал Филимон.— Шесть букв лежа. Четвертая буква мягкий знак.

— Постойте,— сказал Серов,— она раба хозяина бутылки, да? Так чья же, выходит, она раба?

— Я понимаю твой интерес, старик,— сказал Собко Серову,— ты дал им шесть копеек.

— При чем тут шесть копеек?— обиделся Серов.— Я в теоретическом плане. Кто хозяин бутылки? И кто хозяин этой женщины?

— А мы на троих,— сказал дядя Валя.— Мы трое и хозяева.

— Тут все нужно уточнить,— продолжал Серов.— Паи-то вы вносили разные...

— Чего уточнять,— сказал дядя Валя.— Она на троих, и все. Она и сама понимает. Я ей велел: гони коньяк. Она — тут же.

— Да никто не оспаривает, дядя Валя, ваших прав,— поморщился Серов.— Но вот Михаил Никифорович внес два сорок, стало быть, у него прав больше ваших.

И снова начались прения. Нам бы — кому на рынок, кому домой, к житейским обязанностям, к умственной работе, к мировым проблемам, а мы все говорили про женщину, будто у нас своих фей и ведьм не хватает в квартирах. Начали даже считать. Два сорок внес Михаил Никифорович, это все видели. Рубль сорок четыре были дяди Валины, рубль тридцать шесть Игоря Борисовича. Итого пять двадцать. Шесть копеек взяли у Серова, четыре у меня. Сумма. «Вот и делите акции»,— сказал Серов. Собко выразил сомнение насчет Серова и меня как акционеров, заметив, что мы не вносили пай, а просто у нас взяли деньги подлинные пайщики. Я и не претендовал ни на какие права. Но нашлись защитники и моих интересов. А как быть с Филимоном Грачевым? Мог ли он считаться одним из хозяев бутылки, или гонец и есть гонец, пусть и с пятнадцатью каплями? Подавали голоса люди, не пожалевшие мелочь на помидоры, в том числе и Кошелев, но их урезонили, сказав, что из помидоров никто не вышел. Таксист Тарабанько указал как на существенное обстоятельство на то, что именно Михаил Никифорович открыл бутылку. «Джин»,— сказал он,— всегда служит тому, кто его выпустил». «Джин!— проворчал дядя Валя, недовольный этим соображением.— Ты еще скажи — виски! Нам на их нравы наплевать! У них своя посуда! А у нас была водка, старорусская, понял?» И все же сомнения остались. Ясности в ситуации с женщиной в нашей компании не было.

Тогда и возникли Шубников и Бурлакин, шумные люди. Закричали: «Здорово, деги подземелья!» Были они ровесники, прожили по тридцать пять лет, оба носили бороду и усы. Но Бурлакин, кандидат наук, математик или ракетчик, работавший в хорошей фирме, казался бородатее Шубникова. Борода у него росла лопатой и была

черная, как неблагодарность. Бурлакин был известен публике и тем, что раз в четыре месяца назло врагам неделями изнурял себя голоданием. Друг его Виктор Шубников окончил когда-то кинематографический институт (выпускников и студентов ВГИКа было всегда немало в нашем автомате), или не окончил, работал на телевидении, потом был фотографом, потом масовиком на турбазе, потом кто знает кем, теперь нигде не работал, а по субботам и воскресеньям торговал на Птичьем рынке шенками. Имел в базарные дни по семьдесят, а то и по сто рублей. Кандидат наук Бурлакин ему ассистировал. С утра они купали у мальчишек псин дворовых пород, а часа через два предлагали солидным людям благородных животных с княжескими родословными. Оба были артисты. Мы ездили на Птичий рынок смотреть их работу.

От большинства торговцев Птичьего Шубников с Бурлакиным отличались интеллигентностью (Шубников, кроме бороды, носил еще и очки). Таким можно было верить. От таких можно было без раздумий приобрести ньюфаундленда, пусть он и походил на помесь дворняги с таксой. Рассказывали, что однажды некоей дорого одетой даме Шубников сторговал хомяка, уведенного Бурлакиным из живого уголка 280-й школы, выдав хомяка за щенка-суку северокавказской овчарки.

И вот они теперь вклинились в нашу компанию, громкие, напоистые, удачливые, видно, что с Птичьего рынка, а потом и из рюмочной на Таганской площади. Услышав историю кашинской бутылки и женщины, Шубников радостно заорал:

— Михаил Никифорович, ты мой золотой! А ты ведь должен мне два с половиной. Брал неделю назад. Должен?

— Должен,— сказал Михаил Никифорович.— Вот бери.

— Ну уж нет!— захохотал Шубников.— Теперь я у тебя не возьму. Считаю, что это мои два с половиной пошли на ту бутылку. Стало быть, и все права на женщину мои!

— Точно! Его!— закричал Бурлакин.

— Таких, как ты, я в гражданскую расстреливал,— сказал дядя Валя. Потом добавил, указав при этом не только на Михаила Никифоровича и на Игоря Борисовича, но — для убедительности — и на нас с Серовым:— Мы, пайщики, клали на твои вонючие два с половиной.

Шубников был наглец. Иные заходят в троллейбус и робко объявляют — «сезонный», «единый», будто в чем-то виноваты, а Шубников басит: «Пригласительный!» — и садится. Однако он не любил какие-либо свои предприятия подводить к мордобою. Впрочем, тут он заупрямился.

— Мои права есть мои права, и я от них не откажусь!

— Точно! Не отказывайся!— снова заорал Бурлакин.

Публика зашумела. Некоторые считали, что коли два с половиной рубля имели место, то почему бы не принять их во внимание. Тем более что Шубников был брошенный женой и в будние дни — без реальных источников дохода. Большинство же полагало, что мало ли кто кому должен. И тут именно стали вспоминать, кто кому и сколько был должен. Разговор грозил принять малоджентльменский характер.

— Да прекратите!— громко заявил Собко.— Из-за чего шум? Из-за женщины, которая из бутылки... Пошутили, и хватит.

— Вон, вон она!— вскричал дядя Валя.— Идет!

Палец его указывал в сторону двери. Действительно, мимо стойки с раздатчицей монет Полиной шла женщина. Красивая. Со вкусом одетая. Волосы русалочьи. Трезвая. И что-то трепетное, ищущее было в ее глазах, стремилась она к кому-то. И не было в ней ни ненависти, ни брезгливости, ни чувства превосходства, ни победительной решимости, какие бывают у женщин, являющихся в наш

автомат за своими мужчинами... «Фея!»— тонко произнес Игорь Борисович Каштанов. «Ведьма,— пробормотал Филимон Грачев,— злокакая-то...» А мы замерли, молчали в оцепенении. Метров семь оставалось дойти ей... И тут двое мужчин, направлявшихся к выходу, заслонили ее, и, когда они прошли, женщины уже не было, а на ее месте столб синего дыма утекал потихоньку к потолку.

— Как будто бы она,— задумчиво сказал Михаил Никифорович.

— Видимо, никак контактов с нами не может установить,— предположил дядя Валя.— Что-то ломается в ней.

— Да бросьте вы! — сказал Серов, социолог.— Она же в дубленке! Как же это она в дубленке из бутылки вышла? Из кашинской!..

И все же мгновенная пропажа женщины удивила. Впрочем, нынче они именно в мгновение могут появиться и в мгновение пропасть... Разговор теперь шел как бы по инерции. Все будто притихли. Или задумались. Даже Шубников с Бурлакиным не шумели, не трясли бородами, не требовали ничего. Долго молчавший финансист Моховский произнес в связи с этим (а может, и просто так) свою любимую фразу:

— Главное, не бежать впереди паровоза.

И все потихоньку стали расходиться.

А Михаил Никифорович остался.

3

Дней десять не был я на улице Королева.

В среду зашел в автомат часа в четыре. Думал, постою минут десять и уйду. Знакомых было мало. Я подошел к Мише Лескову, тридцатилетнему инженеру-энергетику. Лесков болел за «Торпедо», с «Торпедо» и начался у нас разговор.

«Да, ты знаешь,— сказал Лесков,— Анатолий Сергеевич Серов в субботу будет есть шапку». «Нет, не знаю». — «Он тебя разве не пригласил?» — «Что значит пригласил? Я просто один из тех, в присутствии кого он обязан есть шапку. Если он порядочный человек». — «У него две шапки». — «Есть он должен ту, что из каракуля. Он в ней спорил». «Я вчера встретил Собко,— сказал Лесков.— Он говорит, Серов объявил: шапку будет есть в субботу».

Серов не верил в фортуна наших хоккеистов, в споре был упрям и безрассуден, а может быть, в тот вечер в автомате давал выход раздражению, причины которого нам были неизвестны, во всяком случае называл нас дураками и ставил на чехов. Спорил он сразу с шестью ценителями хоккея, и идея относительно шапки посетила именно его. Он тогда кричал: «Вы будете есть шапки, а я на вас погляжу!» Прошло три недели, и, когда стало ясно, что не мы теряли шапки, а обречен его коричневый пирожок, Серов вдруг заартачился. Мол, все это шутка и у нас должно быть чувство юмора. «Руки разбивали?» — спрашивали его. «Разбивали», — соглашался Серов. «Тогда ешь!» Вскоре многие перестали здороваться с ним, дали понять, что лучше ему съезжать из Останкина, здесь не любят людей, не умеющих держать слово. И вот Серов сделал объявление о субботе.

— Ну а Михаил Никифорович как? — спросил я.

Михаил Никифорович жил в соседнем доме, и по возвращении с работы ему нелегко было миновать автомат. По сведениям Лескова выходило, что за неделю Михаил Никифорович изменился. Больше молчит, пьет одно пиво и словно бы о чем-то думает. И глаза у него то мечтательные, то печальные. Видно, происходит что-то в его душе. А возможно, у него какие-нибудь неприятности по службе. Михаил Никифорович тоже спорил с Серовым, вернее Серов и его вынудил спорить с ним. Как и Игоря Борисовича Каштанова, меня,

Собко, летчика Германа Молодцова и Володю Холщевникова с телевидения. Михаил Никифорович Серова жалел и поначалу поддерживал старания того назвать весь этот спор шуткой. Конечно, шутка, согласился автомат. Но шапку он пусть ест.

Тут зашел в автомат сам Михаил Никифорович. Действительно, был он грустный.

— Что так рано?— спросил Лесков.

— Что-то неможется в последние дни,— сказал Михаил Никифорович.— Станный какой-то стал.

Он закурил. Стояли мы теперь не под табличкой «Не курить», а под гордостью автомата, да и всего Останкина — большим медным листом на деревянной основе, за который управление торговли уплатило чеканщику триста шестьдесят два рубля. Посреди листа была выбита радующая душу кружка, курчавая, как борода Зевса, медная пена вываливалась из нее. По обе стороны кружки лежали тарелки: справа на тарелке был расположен рак, слева — какая-то рыба, полторы штуки, нередко среди свежих посетителей автомата возникали споры: леж ли это, рыбец ли, сырок или же чехонь? Или же еще какая-нибудь историческая особь. Ясно было, что не вобла. Замечательная эта чеканка, как бы компенсировавшая отсутствие в автомате какой-либо закуски к пиву (кроме сушеного картофеля в пакетах), появилась здесь после ремонта. До ремонта заведение на Королева было грязным и вонючим. Некоторые женщины, неизвестно зачем возникавшие в мужском гуле, в сигаретном дыму, кривились и, может, вспоминали о противоязгах или иных средствах гражданской обороны... Голубовато-серые ободранные стены — пространство для движения рыжих тараканов, невымытые плитки под ногами располагали к тому, что прямо под ноги и бросали всякую дрянь — промасленную бумагу, яичную скорлупу, отрывки бутербродов, да чего только не валялось на полу! И пиво из кружек туда плескали. Мерзко тут было! Впрочем, никто об этом не думал, лилось бы пиво и не было бы разбавленным. А после ремонта, что вы! Мастера отделали помещение под избу, обшили стены досками, доски же покрыли лаком. Там и тут появились деревянные подзоры, солнца, полотенца и орнаментальные полосы с языческими мотивами. Под одной из арок поставили чугунные ворота, а за ними на жардиньерках разместили вьющиеся растения — как бы зимний сад. И вот чеканка. При такой чеканке дрянь уже не хотелось бросать на пол, руки сами тянулись к урнам. Раньше чего в туалете только не писали! Какие люди не оставляли здесь своих имен («Вася-псих из Оренбурга», «Коля из МИСИ, дипломник» и прочие), какие истины здесь не провозглашались! Теперь осталась только одна надпись в центре чистейшего потолка, видно, пожалели ее маляры: «Пусть стены этого сорта украсят юмор и сатира!»

Но сегодня и чеканка с закусками не радовала Михаила Никифоровича.

— Что это ты?— удивился Лесков.

— Да так...— вздохнул Михаил Никифорович. Тут он словно вздрогнул, зрачки его забегали, будто отыскивая кого-то в толпе, Михаил Никифорович напрягся... Но вскоре напряжение отпустило его.— Показалось, что ли...— пробормотал Михаил Никифорович.— Никто не окликал меня?

— Никто,— переглянулись мы с Лесковым.

— Не первый раз на этой неделе...— сказал Михаил Никифорович.— Будто кто-то хочет поговорить со мной. Но словно бы звонит из испорченного автомата...

— А ты попроси перезвонить,— предложил Лесков.

— Это не так смешно,— сказал Михаил Никифорович.— И моя душа будто ожидает чего-то, стремится, что ли, к чему-то...

Фраза была совершенно несвойственна Михаилу Никифоровичу. Мы с Лесковым опять переглянулись и, видимо, подумали об одном, но решили странной темы вслух не касаться.

— У тебя в аптеке, может, чего стряслось?— предположил Лесков.— Ну, в субботу развеешься. Серов будет есть шапку.

Эта новость несомненно оживила Михаила Никифоровича.

А в автомате становилось теснее. Уже спрашивали, нет ли лишних кружек. Тогда и появился Игорь Борисович Каштанов. Заметно возбужденный. К нам он не подошел, а остановился метрах в десяти, у окна. Потому как был с дамой. Даму эту мы хорошо знали.

Это была Татьяна Алексеевна, лет тридцати от роду, бывшая жена участкового милиционера. Но не Куликова, из-за кого наши пайщики ушли на детскую площадку, а приятеля Куликова лейтенанта Панякина, участкового иных кварталов. Но, может, и не приятеля, а так, сослуживца. Впрочем, бывшего сослуживца, потому что в милиции Панякин уже не работал.

Года два подряд Игоря Борисовича Каштанова сжигала страсть к Татьяне Алексеевне. Одно время он сильно пил, не имел средств, дружба с Панякиной его устраивала. Бывало, сидит он дома в тоске в час ночи, вдруг — стук в дверь, на пороге Татьяна Алексеевна, оставившая спящего мужа в квартире, и при ней авоська с пятью бутылками вермута. Игорь Борисович даже думал тогда жениться на ней. Татьяна Алексеевна иногда и на месяцы уходила жить к Каштанову. Служебные чины уговаривали ее вернуться по-хорошему. Но где уж там! Разве можно было женщине уйти от Игоря Борисовича!

Игорь Борисович Каштанов мужчина был примечательный. Окончил два института. Сначала строительный. Потом кинематографический. И как-то быстро сделал карьеру. Ему, молодому, дали редактировать журнал. Он и сам в ту пору пописывал. Выпустил с соавтором две книжки. Журнал дали не очень именитый и не толстый. Но журнал. Как полагается. Для Игоря Борисовича он был звездой пленительного счастья. И деньги приносил. Но что тогда были для Игоря Борисовича деньги! Бывало, в дни, когда Игорю Борисовичу выдавали гонорар или авансы, жена его, а Игорь Борисович был женат и любил свою Олю, посылала доверенных лиц, целую экспедицию, Долотова в числе других, сопровождать Игоря Борисовича в странствиях от кассы до дома. Но и доверенные лица не спасали семейство Каштановых от предвиденных потрат. Пройдет Игорь Борисович по дороге домой сквером, увидит на скамейке влюбленную пару и пошлет ее десятками. Спустится в туалет по нужде, протянет червонец уборщице, попросит: «Помолись, бабушка, за меня, грешного!» А доверенные лица, Долотов в том числе, бывали к тому времени уже в таком праздничном состоянии, что и свои деньги были готовы распылять по скверам. Или вот. Знаменит в Останкине ресторан «Звездный». Так Игорь Борисович снимет его на вечер, встанет в дверях и приглашает в зал любого проходящего по улице Цандера, кто ему приглянется. Он застолья любил в ту пору куда крепче, нежели заседания редколлегии. А потому и продержался редактором полгода. Душа его однажды поутру находилась в рассеянном состоянии, чуть притупилось, и он напечатал какие-то легкомысленные или даже безответственные фотографии. Его низвергли. «Ничего,— решил он,— будет больше времени для настоящей литературы». Он много надежд возлагал на свою прозу. Но она шла трудно. И Игорь Борисович оставлял на столе чистую бумагу и шел в автомат на Королева, тогда еще с винными и коньячными кранами. Жена Оля стала его упрекать. Правда, говорила: «Пей, но пиши. Я готова тебя кормить, но ты пиши». С работы Оля возвращалась полседьмого. Игорь Борисович каждый день спешил домой из автомата к пяти, садился за машинку, брал том Платонова, перепе-

чатывал из мастера страничку и вечером предъявлял ее жене. Оля умилялась, говорила: «Вот видишь, ты же талантливый, как ты пишешь! Неужели ты не можешь взять себя в руки!» Однако потом и перепечатывать Платонова стало Игорю Борисовичу лень. Ольга ушла от него.

Но давно это было. Лет десять назад.

И без работы и без жены Игорь Борисович существовал скорее весело, нежели грустно. В автомате, в ресторанах Останкина и Выставки он пребывал даже неким героем со всякими неправдоподобными легендами. Многим было интересно посмотреть на него и тем более напоить и накормить Игоря Борисовича, эти люди и на могилу Сережки Есенина ездили с вареными яйцами и белыми бутылками. Оставалось у Каштанова немало влиятельных друзей или приятелей, жалевших его, желавших вернуть Игоря Борисовича в большую жизнь, они устраивали ему командировки и авансы. Командировочные Игорь Борисович охотно брал, но куда-то не ездил, а широко гулял. Заключал и авансовые договора, однако не выполнял своих обязательств. На квартире его всегда было шумно, звучали и мужские голоса и, конечно, женские, и благородное стекло звенело, заставляя старушку, подселенную к Игорю Борисовичу после отъезда Оли, тихо сочинять в своей комнате жалобы на соседа. Иногда сердиты были на Игоря Борисовича и его гости. Кое-каких денег, и будто бы немалых, не обнаруживали они, случалось, в своих карманах и бумажниках. Некоторые горячие люди стремились что-то доказать Игорю Борисовичу кулаками. Порой готовы были сразиться с Игорем Борисовичем и неудачливые мужья. Дважды наносили ему тяжелые удары пивными кружками по голове, вызывая потерю сознания. Но Игорь Борисович выходил из больниц и улыбался. Он вообще был обаятельный.

Но тут в судьбу Игоря Борисовича вмешались судебные исполнители. Уж очень он задолжал разным учреждениям. И пришлось Игорю Борисовичу работать, чтобы расплатиться за командировочные и авансы. Сначала он был устроен мойщиком троллейбусов в проезде Ольминского. А затем его направили ночным сторожем в павильон юннатв Выставки. Игорь Борисович сокрушался, что все это дела не творческие, и был обрадован, встретив однокурсника по строительному институту. Тот взял его к себе в контору. Был Игорь Борисович разнорабочим, потом стал учетчиком, а потом и прорабом. Долги все еще висели над ним. Но надо сказать, что в последние месяцы Игорь Борисович был аккуратнее. Не в смысле внешнего вида. Тут Игорь Борисович даже и в дни безобразий был опрятен и красив, всегда в костюме, белой рубашке и при галстукe. Нет, теперь он мог зайти в автомат трезвый, взять лишь пару кружек пива и ни с чем то пиво не смешать. Говорили, будто страсть его к Татьяне Алексеевне угасала. А Игорю Борисовичу пришлось многое перетерпеть из-за этой страсти. Панякин развелся с Татьяной Алексеевной, но все же пытался вернуть ее в дом, действовал и угрозами. Игорь Борисович вступался за честь Татьяны Алексеевны, порой с нарушением правил, а потому однажды был увезен с улицы Королева в известном направлении на пятнадцать суток. Потом записал Панякин, был уволен из милиции и иногда братался с Игорем Борисовичем на наших глазах в автомате. И вот теперь Игорь Борисович начал жить аккуратнее. Страсть его к Татьяне Алексеевне, может, совсем угасла, Татьяна же Алексеевна все крутилась возле Игоря Борисовича, и сейчас разговор их с расстояния представлялся нам нервным.

- Вот, вот, опять!— быстро сказал Михаил Никифорович.
- Что — опять?— спросил Лесков.
- Кто-то окликнул меня.
- Не слышал,— признался я.

— А как тебя окликали-то?— спросил Лесков.— По имени или по фамилии?

— Не по имени и не по фамилии,— утрюмо ответил Михаил Никифорович.

В это мгновение Игорь Борисович Каштанов, чуть ли не кричавший до того что-то Татьяне Алексеевне, встал перед ней на колени, вернее, припал на одно колено, как подданный или как раб, и замер на секунду с опущенной головой. Татьяна же Алексеевна выпрямилась, застыла, будто дочь сандомирского воеводы вблизи фонтана, правую ногу выставила вперед и носком ее постукивала теперь по керамическому полу. Игорь Борисович поднял голову, протянул руки к постукивающей этой ноге — возможно, в то мгновение для Игоря Борисовича и царственной — и снял с нее туфлю. Тут в его движении вышла задержка. Туфлю он был вынужден поставить на пол и обратился к авоське, висевшей на крюке под полкой, вынул оттуда бутылку портвейна «Агдам», бутылку эту открыл. Татьяна Алексеевна держала ногу несколько на весу, видимо, не желая запачкать чулок. Игорь Борисович наполнил туфлю портвейном «Агдам», бутылку утвердил на полу, поднял туфлю торжественно, будто держал в руке турий рог, оправленный золотом, и был намерен читать стихи, губы его шевелились, потом он церемонно выпил темно-красную жидкость и не вставая преподнес туфлю Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна туфлю приняла. Рассмеялась зловеще и с силой с размаху туфлей ударила Игоря Борисовича по щеке. Громко заявила: «Так будет всегда!» — надела туфлю и победительницей отправилась к выходу. Игорь Борисович вскочил, побежал на улицу за Татьяной Алексеевной.

— Страсти-то какие! — сказал Лесков.— А ты, Михаил Никифорович, со своими сигналами!

Рассказывая об эпизоде с Игорем Борисовичем и туфлей, я как бы выделил его из жизни автомата, будто бы перенес его на сцену. У людей несведущих могло возникнуть впечатление, что жизнь в автомате прекратилась, все только и были заняты отношениями Игоря Борисовича и Татьяны Алексеевны, глазели на них. Нет. Движение людей с кружками вокруг Игоря Борисовича не прекращалось, если кто и смотрел на него, то так, краешком глаза. Между прочим. Мало ли какие драмы и комедии могли произойти сейчас на других площадках автомата. Кому какое дело до манер Игоря Борисовича! Ну хочет пить на коленях, ну пусть и пьет. Может, ноги его не держат. Это мы, знакомые Игоря Борисовича, проявили к нему внимание, и при этом нас более всего занимала мысль, будет ли пить Игорь Борисович из этой туфли... Однако выпил...

— Фу ты, как можно пить из такой разношенной! — поморщился Михаил Никифорович. Михаил Никифорович был известен своей чистоплотностью, кружки в автомате мыл минут по пять, хотя и понимал, что толку от этого мало.— Пойду-ка я подышу свежим воздухом...

Он дышал, я беседовал с Лесковым, и тут меня как будто бы кто-то окликнул. Назвал по имени и отчеству. Голос был женский. Я оглянулся. Женщины рядом не было. Спросить Лескова, окликал ли кто меня, постеснялся. «Неужели это из-за тех четырех копеек?» — подумал вдруг. И сейчас же прогнал нелепую мысль. Однако же кто-то окликал...

Автомат был уже забит. Знакомые люди теснились рядом. Кто-то принес кильку, кто-то болгарскую брынзу. Пили уже пиво дядя Валя, летчик Герман Молодцов, два брата инженеры Камиль и Равиль Ибрагимовы, Володя Холщевников с телевидения — тот угощал черными сухариками, приготовленными особым способом, с подсолнечным маслом и чесноком. Появились и таксист Тарабанько, и усатый красавец Моховский, работник банка, он же пан Юрек, и тихий человек

Филимон Грачев. Зашел на этот раз и Коля Лапшин. Он, как и дядя Валя, был шофером и тоже имел склонность к фантазиям. Фантазии Лапшина от дяди Валиных отличались. Лапшина влекли иные, нежели дядю Валю, моральные ценности, иные доблести и геройства. Коле было тридцать четыре года. Однако из его рассказов выходило, что он уже провел в колониях особого режима не менее пятидесяти лет. Убивал, участвовал в групповых насилиях и разбоях, грабил банки. Некоторые слушали рассказы Лапшина внимательно и уважали его. Верили, например, что он своим основным предметом может поднять ведро с водой или разбить граненый стакан. Другими же слова Лапшина брались под сомнение. В особенности дядей Валея. Дядя Валя готов был показать людям, что он-то ладно, а вот Лапшин по всем статьям лгун. Банков не грабил, никого не насиловал и приличный семьянин. Сегодня Лапшин пришел сильно покорябанный. В черных очках. И лоб его и щека были ободраны, а под глазом цвел синяк.

«Асфальтовая болезнь?» — участливо спросил дядя Валя. «Еще чего! — обиделся Лапшин. — Опять задавил». «На смерть». — «На смерть. Восьмой труп. Дура баба. Выскочила откуда-то, а там лед. Она как на коньках и прямо под меня». — «А морду где покорябал?» — «А я в столб». «Врешь», — сказал дядя Валя. — «Восьмого давишь — и ни разу не был виноват?» «Ни разу. Они сами». — «Дурочку-то не валяй! Мордой вчера проскребся по асфальту. А нам лапшу на уши вешаешь. У тебя и фамилия такая — Лапшин!» — «Да ты! Да я тебя!»

Их разняли. Лапшин еще бурчал что-то, а в зал вошли Михаил Никифорович и Игорь Борисович Каштанов. Каштанов был по-прежнему возбужденный. Минуты через две в автомате появился Собко, можно было предположить, что в его кейсе, как и всегда, лежит купленный по дороге килограмм трески горячего копчения в сетке. Так оно и оказалось. Треска была предложена нам.

— Ты что как обиженный воробей? — спросил Собко Игоря Борисовича Каштанова.

— Они нынче вино «Агдам» из туфли пили, — сказал Михаил Никифорович.

— Пил! Ну пил! — взорвался вдруг Игорь Борисович. — Что ты, Миша, понимаешь! Что ты видел в своих курских деревнях! — Игорь Борисович размахивал руками, движения его были красивыми. Как бы поставленными.

— А что же это вы туфлей по лицу схлопотали? — не выдержал Лесков.

— Ну... — сник вдруг Игорь Борисович. — А-а!.. Мне жалко ее... Да что говорить!.. Тут такой узел... И не развязать и не разрубить!..

И на глазах Игоря Борисовича появились слезы. Всем стало неловко. Кто-то пошел за пивом, тихий человек Филимон Грачев достал вырезку с кроссвордом, многие сразу принялись гадать вслух, какой же такой персонаж пьесы Островского «Без вины виноватые» из пяти букв.

— Серова нет, — сказал Собко, — а он просил напомнить, что известное событие у него в субботу в четыре часа.

Все зашумели, заговорили о шапке.

— Подумаешь, пирожок из каракуля! — сказал Лапшин. — Я однажды на спор съел радиолампу.

— Крошил, что ли, и глотал? Какую лампу-то?

— ЛД-34. Не крошил, а прямо жевал.

— Врет он! — обрадовался дядя Валя. — Он хлеб-то губами мнет. И лапшу.

— Я вру?! — вскипел Лапшин. — Да давай мне прямо сейчас лампу! Хоть целый приемник!

— Опять,— тихо произнес Михаил Никифорович.

— Ты что?

— Опять кто-то зовет меня...

— Тебе, Миша, действительно лечиться надо. Малинки бы тебе на ночь...

Но тут странная сила подняла, подбросила Михаила Никифоровича, повлекла его ввысь, несколько секунд на глазах у публики, растерянный, он висел возле самой чеканки и мог даже коснуться волшебной кружки с курчавой пеной, а потом был опущен на пол.

Хорошо хоть Лапшин был среди нас в тот вечер. Он заговорил первый.

— Это что! — сказал Лапшин.— А вот меня однажды в Калмыкии, только я в сайгака прицелился, так прихватило и подняло, что я полчаса висел над степью, тут мне бы по нужде сходить, а я ружье держу, штаны расстегнуть нечем, и сайгак убежал...

Эти слова Лапшина нас несколько успокоили. Даже дядя Валя не стал на этот раз оспаривать его сведений. А, видно, подмывало его сказать что-то относительно штанов...

4

И пришла суббота.

Накануне Серов обзвонил всех кого следовало и подтвердил на-счет четырех часов.

Была обговорена и процедура субботней встречи. Решили, что и со стороны проигравшего и со стороны победителей должны присутствовать секунданты или ассистенты, которые обязаны следить за чистотой исполнения условий пари. Чтобы потом Останкино не сомневалось. Победители могли пригласить также друзей — по другу на победителя. Желая проявить великодушие и не подрывать экономическую мощь семьи Серовых, мы постановили: совместить друзей и секундантов. «Как хотите,— сказал Серов.— На стол уже все куплено».

Стол у Серовых был накрыт богатый. Напитков хватило бы и на две смены друзей. Было и пиво. Серов, оказывается, собирал кружки, прекрасные экземпляры их, числом почти пятьдесят, были вывезены им из разных пьющих и непьющих стран, и теперь он хотел, чтобы мы опробовали в деле его коллекцию.

— Всему свое время, старик, — справедливо заметил Собко.

Игорь Борисович Каштанов явился без ассистента и без друга. Михаил Никифорович привел дядю Валю. Не такой уж дядя Валя был ему друг и ассистент, но, видимо, по дороге к Серову Михаил Никифорович увидел дядю Валю и позвал. Я так думал потому, что сам, гадая, кого вести к Серову, заметил тихого человека Филимона Грачева в печали и пожалел его. Летчик Герман Молодцов опоздал, он летал с утра куда-то в низовья Волги и прибежал к Серову без друга, но с семикилограммовым сазаном. Сазан был опущен в ванну. Ассистентом со стороны Собко был признан адвокат Миша Кошелев. Посоветовавшись, доверили ему составление протокола. Володя Холщевников с телевидения тоже пришел без друга. Казалось, Серов был несколько обижен столь малым числом участников встречи, он ждал более серьезного отношения к себе. При нем были два ассистента, его соседи. Конечно, присутствовала и жена Серова, Светлана Юрьевна, блондинка, веселая и крепкая. Такая, наверное, и в городки могла удачливо играть.

Надо сказать, что большинство из нас впервые попало в дом Серова. Мы стеснялись Светланы Юрьевны. Известно, что может думать жена о знакомых мужа по пивной. Но Светлану Юрьевну наше

происхождение не смущало. Возможно, она вообще была женщина без предрассудков.

— Ну что? — сказал Серов. — К столу? И нальем?

— Нет, — покачал головой Собко. — Мы не будем. До этого. А ты можешь.

Собко был самый крупный из нас и самый рассудительный, в командиры не лез, но порой виделся и командиром.

— Давай шапку, — сказал Собко.

Серов сразу стал серьезным, пошел за шапкой. Внес ее он торжественно, на блюде для заливной рыбы. Утвердил на столе.

— Нож точил? — спросил Собко. — Или будешь грызть?

— Точил, — вздохнул Серов.

— Но жевать-то ему все равно придется, — предположил летчик Герман Молодцов.

— Мы решили, — сказал Собко, — для облегчения твоей участи разрешить тебе воспользоваться растительным маслом или сметаной. Можешь макать кусочки в жидкость.

— Нет, — сказал Серов строго. — В этом нет нужды.

«Экая в нем гордость», — подумал я.

— Ты не робей! — вступил дядя Валя. — Михаил Никифорович врач, поможет, если что...

— Да, старик, — подтвердил Собко, — дело тут рискованное, и мы попросили медицинского работника иметь при себе аптечку, английскую соль и клизму.

Лицо Серова так и осталось строгим, а вот крепкая блондинка Светлана Юрьевна обрадованно рассмеялась. И мы поняли, что она не только крепкая, но и задорная.

— Прошу победителей, побежденного, секундантов и протоколита, — сказал Собко голосом церемониймейстера, — занять свои места. А уж Светлану Юрьевну в особенности.

Места были заняты мгновенно. Один лишь Серов не сел, застыл в задумчивости, его не терзали, может, он так себе и намечал — кушать стоя. Серов глядел на шапку. И мы стали глядеть на нее.

Некоторая метаморфоза происходила в нашем отношении к этой шапке. Раньше мы на нее и не обращали внимания. Ну шапка и шапка на голове у Серова. Ну пирожок. Правда, из каракуля. По нынешним временам, стало быть, дорогая вещь — только такое летучее соображение прежде и являлось. Но теперь-то перед нами, лишенная своей бытовой функции, переместившаяся с головы Серова или с вешалки в прихожей на фаянсовое блюдо для заливной рыбы, шапка превращалась в нечто особенное, чуть ли не в живое существо, которому сейчас предстояло быть принесенным в жертву, предстояло погибнуть и исчезнуть. Коричневые тугие завитки, казалось, вздрагивали и шевелились в ожидании заклания. Но и Серов будто бы сейчас изменился, словно бы разросся — так виделось мне, — стал фигурой особенной, идиолом каким-то или жрецом...

— Не жаль вам вещи-то? — обратился летчик Герман Молодцов к Светлане Юрьевне.

— У него есть еще одна, — рассмеялась Светлана Юрьевна. — А в случае чего пришьют шкурку из Бухары.

Их слова отчасти нарушили возвышенные состояния наших душ. Но отчасти...

Собко снял часы с руки, положил на стол, сказал:

— Я засекаю время.

— Да, да, — кивнул Серов. Нас он и не видел сейчас. Возможно, тоже находился мыслями и душой в неких высях. А впрочем, был он человеком практическим, как тот же Герман Молодцов, и вполне мог теперь думать и о стоимости вещи или же об услугах Михаила Никифоровича.

Но вот Серов сел на стул, подвинул блюдо к себе, взял вилку и нож. Наточенный нож долго не мог справиться с каракулем, еще и подкладка мешала. Теперь приходилось жалеть о том, что накануне не было консультаций с понимающими людьми, хотя бы со скорняками и шорниками, и вот Серов маялся, разделявая меховое изделие (живое жертвенное существо из квартиры уже как будто бы исчезло). Наконец он отрезал кусочек, выпилил, выковырнул его. Вцепиться в мех вилка не смогла, и Серов, забыв о приличных манерах, сдернув салфетку, пальцами сунул кусок шапки в рот. Долго жевал. И вот кадык его дернулся, челюсти разжались.

— Проглотил? — спросила Светлана Юрьевна.

— Проглотил,— кивнул Серов.

Тут мы ожили. Можно было и к угощениям тянуться. Но мы не потянулись. Серов стал отрезать новый кусок. Потолще.

Надо ли было ему есть дальше? Не одному мне, чувствовалось, пришла в голову эта мысль. Ну ладно, проявил Серов готовность к исполнению условий пари, убедил нас в том, что сможет, испортил шапку, и хватит! Мы строгие, но отходчивые. Кто-то сказал об этом, правда робко. Как бы от себя. Но Серов продолжал. Резал, жевал и проглатывал. Тут уже и Собко произнес с некоторой надеждой: «Ну, верное, хватит, старик». Но Серов только мотнул головой... Минут через пятнадцать он съел уже треть шапки. Он стал нам раздражать. Создавалось впечатление, что он издевается над нами или хуже того — получает удовольствие от своей пищи. Нам-то какво! Что же нам-то смотреть, как он выламывается, смотреть на стол, на котором стыннут и сами по себе холодные закуски. И в этом богатом столе виделось уже нам заранее придуманное издевательство. Когда Серов мучался с первым куском каракуля, он был нам друг. Теперь же, обдающий в одиночку, он стал нам врагом. А судя по скорости движения его челюстей, нам еще предстояло сидеть дураками не менее сорока минут.

И тут Серов подавился.

Он вздрогнул, дернулся, подался вперед, будто его должно было вырвать. Мы сразу же поняли, что дело тут серьезное. Михаил Никифорович подскочил к Серову, стал колотить его по спине. Не помогло. Лет десять назад один мой знакомый погиб оттого, что ему в дыхательное горло попал кусок отбивной. Сейчас Серов откинулся на стуле и был похож на того знакомого. Глаза его закатились, лицо синело. Лишь однажды дернулись веки, шевельнулись губы, какое-то усилие делал Серов, последнее, прощальное, или молил о чем-то, просил спасти, но сразу же лицо его стало неподвижным.

— Толя! Толя! — кричала Светлана Юрьевна. — Нет! Нет!

— В «скорую»! Надо в «скорую»! — бросился к телефону Собко. — В реанимацию!

— Миша! Ты же медик!

— Разрешите! — услышали мы вдруг.

Мы обернулись.

Женщина шла к столу. Шла быстро. Мягко, но и с силой отстранила, чуть ли не оттолкнула Михаила Никифоровича, склонившегося над Серовым, руку опустила на лицо Серова, прошептала что-то тихое, спокойное, и Серов ожил.

Он встал и принялся ходить вдоль стола. Правая рука его поднималась, будто указывая на нечто, и губы дергались. Сначала его движения показались мне бессмысленными, но потом я понял, что он пересчитывает свои коллекционные пивные кружки.

— Анатолий Сергеевич, — сказала женщина, — вы садьте.

Серов поглядел на нее удивленно, но не сел.

— Толик, — сказала женщина ласково, — сядь.

Серов кивнул, подошел к своему стулу, сел. Недоеденная шапка лежала перед ним на рыбном блюде.

Теперь удивленно поглядела на женщину Светлана Юрьевна. Потом она перевела взгляд на мужа, взгляд этот как бы соединил женщину с Серовым, и было в нем подозрение.

Надо сказать, что хождение Серова вдоль стола нас несколько успокоило. Суетились мы вокруг потерявшего сознание Серова, понятно, перепуганные, понимание же всей серьезности случая должно было прийти к нам после. И вот мы отдышались. Всё сознавали, и тем не менее мысли наши об отлетевшем ужасе, о возможности гибели Серова были теперь легкими. То ли оттого, что Серов ожил и позволил себе энергичное хождение вдоль стола. То ли оттого, что за его стулом стояла новая для нашей компании женщина.

— Садитесь,— твердо сказал Серов.— Надо доесть.

— Да ты что! Зачем! Хватит! — зашумели мы.

— Нет,— сказал Серов.— Садитесь.

И он доел шапку.

Доел быстрее, чем следовало ожидать. Мы не так волновались теперь и за него и за себя. Только Светлана Юрьевна нервничала, но не из-за шапки. Серов стал вытирать салфеткой губы, а Светлана Юрьевна сказала с укоризной:

— Толя, ты освободился и, может быть, познакомишь нас с новой гостьей?

— Я не знаю ее,— сказал Серов, впрочем, тут же спохватился, поклонился незнакомке, сказал: — Извините...

— То есть как не знаешь! — теперь уже с угрозой произнесла Светлана Юрьевна.

Этой угрозы я от нее не ожидал. «Ты врешь! — читалось на лице Светланы Юрьевны.— Ну а если и незнакома, что же торчит здесь, могла бы уже и катиться!»

Неловко нам всем стало.

— Это моя ассистентка! — вскричал дядя Валя.— И даже не моя! А Михаила Никифоровича! Ведь он тогда бутылку открывал! Не я же! Михаил Никифорович, ты что молчишь! — И дядя Валя толкнул Михаила Никифоровича в бок.

— Да... — пробормотал Михаил Никифорович,— моя... она... подруга и эта...

В иной раз педант Собко обратил бы наше внимание на то, что Михаил Никифорович привел уже одного друга и ассистента, а именно дядю Валу, и, стало быть, хватит. Но тут он промолчал.

— И как же вас зовут? — улыбнулась Светлана Юрьевна подружке Михаила Никифоровича.

Незнакомка словно бы растерялась.

— Любовь Николаевна ее зовут! — обрадовался дядя Валя.

— Да, Любовь Николаевна,— быстро согласилась гостья,— Любовь Николаевна Капшинцева. Или просто Люба.

— Что же вы стоите-то, Люба,— подскочил дядя Валя,— вы садитесь вот сюда, между мной и вашим Михаилом Никифоровичем.

Любовь Николаевна села, дядя Валя тут же обхватил ее за плечи, Любовь Николаевна руку его сняла, прошептала дяде Вале что-то строго, но доверительно, отчего дядя Валя рассмеялся и сказал громко: «Но беда-то ведь небольшая, а?» А Михаил Никифорович нахмурился и взглядом дал понять дяде Вале, что поведение его бестактное.

— Да я же к Любочке как отец,— объяснил свой порыв дядя Валя.

А Светлана Юрьевна отошла. И на Любовь Николаевну и на Михаила Никифоровича смотрела ласково. Победу Серова над каракулевой шапкой отметили шумно, со звоном бокалов. Протоколист Миша Кошелев представил нам проект протокола; имевшие право подписаться под ним — подписались. И понеслось застолье.

Тут мы потихоньку рассмотрели Любовь Николаевну.

Женщина она была приятная. То есть так казалось. Это именно она пыталась подойти к нам в автомате, но двое мужчин заслонили ее, и она исчезла. Тогда она шла к нам в свежей дубленке и большой лисьей шапке. И теперь она была одета прилично. Не знаю, какие нынче наряды в Кашине — я был там в последний раз лет пятнадцать назад, — но во всяком случае наша Любовь Николаевна провинциалкой не выглядела. Для Москвы, оговорюсь, для Москвы! Может быть, для какого-нибудь Парижа она была явная провинциалка. А для нас внешность и манеры ее сошли вполне за светские. К Серову явилась она в джинсовом костюме, и было видно, что костюм этот не от «Рабочей одежды». В красоте, или, вернее, миловидности, ее лица выдилось нечто стандартное, но, впрочем, забавный короткий нос, полные губы, тихая крестьянская улыбка, правда редкая, отчасти эту стандартность разрушали. И была сегодня у Любови Николаевны коса, темно-каштановая. Но не та коса, которая для иных женщин, особенно пышных, становится как бы сущностью природы, а коса скорее декоративная, элемент сложной прически, сочиненной дамским мастером в стиле ретро. Нет, неплохо выглядела подруга Михаила Никифоровича, и не наблюдалось в ней ни необыкновенных щек, ни кривых клыков, обещанных нам Филимоном Грачевым. Как и Михаил Никифорович, я дал бы ей лет двадцать пять — двадцать семь.

Сидела она смирно, больше молчала. Как бы прислушивалась и присматривалась к нам. Даже я ощутил дважды ее заинтересованный взгляд. Словно бы исследовательский. Мы и сами на нее глазели. Экое явление! Впрочем, скоро застолье отвлекло нас от наблюдений за Любовью Николаевной. Пошли в ход и коллекционные кружки, Светлана Юрьевна принесла из кухни горячие креветки, в шуме и звоне Любовь Николаевна как бы утонула, была она за столом и не было ее. Однако через час мы о ней вспомнили. Курильщики решили выйти из-за стола, я не курю, но тут понял, что и мне нужно выйти. И так случилось, что у шахты лифта мы оказались всемером: Михаил Никифорович, Игорь Борисович Каштанов, дядя Валя, Филимон Грачев, я, Серов и Любовь Николаевна.

Курила она «Новость», Игорь Борисович протянул ей зажигалку, она затянулась, пальцы у нее были тонкие, красивые.

— Извините, пожалуйста, что я об этом поведу речь, — сказала Любовь Николаевна, — но мне ночевать негде.

Мы молчали, смотрели в стены.

— Вы ведь разбили бутылку там, на детской площадке, — сказала Любовь Николаевна. — Где же мне жить?

— У меня вся комната завалена гирями и гантелями, — хмуро заявил Филимон Грачев.

— Жить я имею право лишь у основных владельцев бутылки, — сказала Любовь Николаевна деликатно, как бы извиняясь перед Серовым, мной и Филимоном.

Мы с Серовым только головами покачали. Вот, мол, какие печальные обстоятельства.

— Любовь Николаевна, — галантно произнес Игорь Борисович Каштанов, и было видно, что говорит он искренне, — я бы с удовольствием ввел вас в мой дом, но моя соседка тут же наскребет жалобу, я же в плохих отношениях с райисполкомом.

— А я импотент! — выскочил дядя Валя. — У меня был климакс! Я тем более не могу.

— При чем тут импотент? — удивился Каштанов.

— А при том! — обиделся дядя Валя. Потом он сказал: — И бутылку я не открывал и не разбивал. Я бы посуду сдал. Это Мишка трахнул ее о кирпичи!

— Я же нечаянно... — пробормотал Михаил Никифорович.

— А у меня из-за этой бутылки... — жалобно произнесла Любовь

Николаевна, и губы ее нервно вздрогнули, — у меня из-за нее... Я и прийти-то к вам не могла... И...

Она сразу же замолчала. Видно, и так сказала лишнее.

— Не печальтесь, Любовь Николаевна, — заверил ее растроганный Каштанов. — Мы вас пристроим. Вот у Михаила Никифоровича однокомнатная квартира.

— Да уж, — обрадовался дядя Валя, — ты, Миша, бери ее! Ты бутылку разбил!

Мы поддержали Каштанова и дядю Валью.

— Пожалуйста, — неуверенно произнес Михаил Никифорович, — только ведь Любовь Николаевна — женщина, я буду стеснять ее.

— Ничего, — сказал дядя Валя. — Да я бы на твоём месте!..

— Я столько пережила за эти дни... — сказала Любовь Николаевна. — Мне так нужно было выйти к вам, а я не могла... Вот только когда ощутила просьбу Анатолия Сергеевича, лишь тогда я прорвалась...

Мы вспомнили то мгновение. Просьба Серова, а то и мольба его, была существенная... Но сейчас мы уже думали о Любви Николаевне. Стояла она тихая, нежная, с влажными глазами, и мы расчувствовались, жалели ее, хотели бы ее поддержать, а то и приласкать, как беззащитное дитя.

Тут нас позвали к столу: была подана индейка.

— Знаете, — сказала Любовь Николаевна, — пока это все снова не началось...

— Пока глаза у нас еще умненькие! — уточнил дядя Валя.

— Да, именно так, — продолжила Любовь Николаевна. — Я бы хотела просить вас об одолжении. Мне нужно знать о ваших желаниях, но о желаниях не случайных, не пустячных, исполнение которых, может, и пользы вам не принесет, а о желаниях, для каждого из вас важных... Вы подумайте, и завтра мы встретимся...

— Зачем же завтра! — сказал Каштанов. — Вы отдохните, с Москвой познакомьтесь. Сходите на ВДНХ. Или в «Ванду» — в «Вечерке» пишут: там фестиваль косметики. Или на Таганку. А уж потом соберемся.

— Хорошо, — согласилась Любовь Николаевна.

Мы ели индейку и запивали ее кто чем. Тут и позвонили в дверь Шубников с Бурлакиным. В доме Серовых прежде они не были. Да и в автомате Серов вряд ли здоровался с ними, так, наблюдал их порой... А они пришли.

— Ба! — заорал Шубников. — Вот вы где от нас попрятались! В Останкине только и разговоров что про шапку. Мы с Бурлакиным на Птичке мерзнем, а они здесь пьют и закусывают! Нехорошо, господа офицеры!

И Шубников с шумом занял стул, руки протянул к блюду с индейкой.

— Слушай, Шубников, — сказал я, — чего вы пришли-то? Вас кто-нибудь звал сюда? Толя, ты звал их?

— Ну! — обиделся Шубников. — Это, наконец, не по-джентльменски! Вы, гости-ветераны и хозяева, нас, свежих, замороженных, должны были бы приглубить и обогреть, а ты дерзишь! — И он положил себе на тарелку приметный кусок белого мяса, в мюнхенскую же кружку плеснул сибирской.

— Что такое? Что такое?! — появился в комнате Бурлакин, задержавшийся было в прихожей.

— Да вот попрекают нас с тобой, Бурлакин! — сказал Шубников.

— Какие неблагородные люди! — взревел Бурлакин. — А у них там в ванне рыба плавает! И фыркает!

— Мой сазан, что ли? — удивился летчик Герман Молодцов.

— Сазан! Ничего себе сазан! Кит! Моби Дик! Нам бы его, мы бы на машину нагорговали!

— А они нам его подарят, — сказал Шубников. — Зачем им сазан-то? Мы здесь только одни с тобой и понимаем душу животных.

— Тут и женщины! — оглядев компанию, повеселел Бурлакин. — Но мы им не представлены.

И Бурлакин, как бы имея в виду женщин, исполнил некий книксен. Покачнулся, но все же выпрямился. Все были сытые и напоенные, благодумствовали, я со своим неприятием Шубникова и Бурлакина остался в одиночестве. Они были представлены Светлане Юрьевне, проявили себя комплиментщиками. Ручку у дамы целовали и вспоминали строки из песен трубадуров («Я, вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг...»). Словом, кое-как оправдали свое высшее образование, отчасти гуманитарное. Пришел черед Любви Николаевны. Услышав о том, что эта прелестная амазонка — подруга Михаила Никифоровича, Шубников, видно, сразу что-то заподозрил. «Миша, — заявил он тоном созерена, — а насчет трех рублей ты не забыл?» «Двух с половиной», — вздохнул Михаил Никифорович. «Ну двух с половиной. Экий ты педант!» — «Не забыл. Пожалуйста, возьми их». — «Ну уж нет! Ты мне их теперь не всучишь! Я догадываюсь, чем тут пахнет. Я свои права и возможности знаю!» «Мы знаем свои права!» — загоготал Бурлакин. «Меня не проведут. Я за эти три рубля и сотню не возьму! — заявил Шубников грозно. Но тут же успокоил публику: — А зот сазана я возьму. Не за те три рубля, конечно, а так».

Все пошли смотреть молодцовского сазана. Молодцов уверял, что его сазан еще утром резвился в Волге и лишь по дурости и недостатку воображения дернулся к проруби, но когда перед съедением шапки сазана выгружали из рюкзака и опускали в ванну, вид он имел скорее усопшего, нежели живого, хотя и дергал хвостом. Сейчас же он плавал и резвился и выглядел на все свои семь килограммов. Бурлакин с Шубниковым только руки потирали и охали: «Такого бы на Птичку! С этакой драматической мордой он бы им показал!» Неожиданно моим союзником выступил Собко. Он сказал Серову:

— Старик, отдай ты им рыбу. И пусть они катятся.

— Фу! Это грубо! — расстроился Шубников.

Впрочем, тут же он побежал на кухню, отыскал там ведро, какое не могло не оказаться на кухне останкинской квартиры, с трудами и воплями всунул рыбу в ведро и сказал Бурлакину:

— Пошли. Пока живой!

Уже в дверях Шубников скорчил зловещую рожу и сказал Михаилу Никифоровичу:

— Помни про три рубля-то! Помни! — Потом добавил: — Рыбка ты моя золотая!

Глядел он не на ведро с сазаном и не на Михаила Никифоровича, а прямо на Любовь Николаевну. И смех его был мерзкий.

После ухода Шубникова с Бурлакиным все вернулись к индейке, но тихим стало застолье. То ли о сазане скучали, то ли еще о чем... Потом возникла гитара. И запели. «Гори, гори, моя звезда», — громко пел Герман Молодцов. И мы подпевали. Неожиданно запела Любовь Николаевна. Голос у нее был красивый, низкий, грустный. Пела она вот что: «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг...» Пела медленнее, чем того требовал привычный темп песни, и оттого ее пение казалось усталым, печальным и вечным. Остальные голоса как бы расступились и отпали. Все умолкли. Я слушал Любовь Николаевну закрыв глаза. Деревня виделась мне, изгибы неспешной речки Кашинки, трепет листьев на прибрежных ивах, дрожание и покачивание водорослей в прозрачной, пока еще не зацветшей воде. И вдруг в видениях этих мелькнуло зловещее лицо Шубникова...

5

Назавтра мы, пайщики кашинской бутылки, встретились у Михаила Никифоровича.

Мы с Серовым сразу заявили, что свои голоса считаем совещательными, раз женщина и ночевать у нас не имеет права, поговорить поговорим, а решать дело не наше. Филимон Грачев промолчал. Он-то был намерен решать, но кроссворд. Он и достал вырезку из рекламного приложения к «Вечерке».

Поначалу мы прошлись по квартире, пытаясь обнаружить следы пребывания здесь женщины. Но ничего этакого не обнаружили. По сведениям Михаила Никифоровича, Любовь Николаевна на самом деле с утра ушла смотреть Москву, видно, ей тут все было в новинку.

— Небось с авоськами пошла,— предположил дядя Валя.— Или с рюкзаком. Я бы давно все электрички посжигал! Ну как, Миш, баба-то она ничего?

— Я-то откуда знаю..

— Ну ладно, Миш, дурачком-то не прикидывайся! — Дядя Валя подмигнул нам. — И ночевать она пошла сразу к тебе. Не к кому-нибудь.

— Дядя Валя,— сказал Михаил Никифорович,— она ведь и к вам просилась, да вы ей отказали...

— Просилась! Если б хорошо просилась, то и устроилась бы. И уж не жалела б. Но зачем мне она? У меня уже одно животное есть. Собака.

— Я пришел, постелил себе в ванной,— сказал Михаил Никифорович,— сразу заснул. Ее не видел.

— А что она ела-то? — спросил дядя Валя.

— По сковородке можно понять: делала яичницу.

— Этак она тебя по ветру пустит.

— Было бы что пустить,— сказал Михаил Никифорович.

— Ну ладно,— заметил Серов.— Она возьмет и придет. А мы так и не выработаем никакой программы.

— Я,— сказал Игорь Борисович Каштанов,— от такой женщины ничего не буду просить, ни тем более требовать.

— А что в ней такого особенного? — сказал дядя Валя.— Баба как баба. Только что из Кашина. Но Каштанов прав. Не должны мы, здоровые мужики, сесть на шею Любочке!

— Кстати,— спросил я,— почему Любочка? Почему — Любовь Николаевна? Откуда это?

— Оттуда,— сказал дядя Валя.— Была у меня когда-то Любовь Николаевна... И я вам доложу...— Дядя Валя замолчал. Застеснялся.

— Но ведь Любовь... эта женщина... она ведь не ваша подруга, а Михаила Никифоровича...

— Ну и придумывал бы Мишка ей имя! — сердито заявил дядя Валя.— И почему же это одного Михаила Никифоровича? Я что, не вносил рубль сорок четыре? Но не будем выключивать у Любочки того-сего. Не будем просить, чтобы у нас в домах кисель тек из кранов, чтоб ворота «Спартака» от мяча бегали, чтобы она нам носки штопала.

— А меня вот что волнует,— сказал Серов.— Не связаны ли будут... эти... ну, наши отношения с Любовью Николаевной с какими-либо обязательствами... Не придется ли нам за них расплачиваться... Как бы не было тут какой-нибудь шагреновой кожи или портрета Дориана Грея...

— Или геенны огненной! — вставил дядя Валя.

— Какие вы мистики! — удивился Каштанов.— Да такая женщина!..

Мы с Михаилом Никифоровичем посчитали соображение Серова здравым. И решили: выясним прежде насчет обязательств и уж потом

будем говорить об услугах и желаниях. Я-то вообще не стал бы ни о чем просить Любовь Николаевну, даже если бы и дал на бутылку не четыре копейки, а рубль пятьдесят. И Серов заявил, что ему никакие ее услуги не нужны. Тут, правда, была одна тонкость — Серов-то уже воспользовался услугой. Я чуть было не напомнил ему об этом, однако вышла бы бестактность. Да и вряд ли в то мгновение Серов мог помнить о кашинской бутылке и молить о чем-то именно Любовь Николаевну.

— Ну ладно,— сказал Серов,— надо составлять документ. Садитесь, Игорь Борисович, и пишите. А впрочем, что я вам говорю, вы документ и составляйте, а мы втроем будем зрителями.

— И советчиками,— сказал дядя Валя.

— По части формулировок,— уточнил Серов.

И действительно, документ был составлен без промедления. То ли из-за спешки, то ли потому, что авторы документа были не совсем искренни друг перед другом и как бы оставляли в стороне главные свои интересы и заботы, не проникла в документ особенно интересная информация о каждом из пайщиков кашинской бутылки. Была проявлена и некая осторожность по отношению к Любви Николаевне, а то ведь на самом деле, развесивши уши, можно было вляпаться с ней неизвестно во что. Пайщики давали понять Любви Николаевне, что они существа одушевленные и самостоятельные, что они сожалеют о требовании, предъявленном ей на детской площадке, хотя там заявка на коньяк ереванского розлива и портвейн «Кавказ» была отчасти вызвана драматичностью ситуации. «Больше никогда в жизни», просил записать лично от него в документ дядя Валя,— он был решителен и горд, правда, что-то тут же произнес, не слишком, впрочем, вытнутое, о прибавке к пенсии из Испании. С поправками к документу выступил Игорь Борисович Каштанов. Он просил подчеркнуть, что не намерен посягать на женские достоинства Любви Николаевны, не будет использовать никакие ее прелести, в чем и нам предлагает поддерживать его. То есть все были благонамеренными и никаких кусков ухватывать не желали.

— Ей самой надо помочь, Любочке-то,— сказал дядя Валя уже в лифте.— Что-то у нее там не получается, помните, как она вчера то и дело страдала.

— Затурканная она,— согласился Михаил Никифорович.

— И нежная,— сказал Каштанов.— И верно вы ей, дядя Валя, имя наши. Именно Любовью ее и звать...

— Какой Любовью! — поморщился Филимон Грачев.— Варварой ее звать! И больше никем!

6

На следующий день мы встретились с Любовью Николаевной на квартире Михаила Никифоровича. Опять возникло собрание. А когда мы стали рассаживаться, вышло так, будто бы мы избрали Любовь Николаевну председательницей. Или, скажем, будто бы Любовь Николаевна была народным судьей, а мы заседателями.

— Я познакомилась с вашей запиской...— начала Любовь Николаевна.

— Простите,— сказал Серов,— у меня есть своего рода предварительные соображения...

И опять пошли слова о шагреневой коже, о портрете Дориана Грея, но выяснилось, что ни Бальзака, ни Уайльда Любовь Николаевна не читала.

— Но я вас поняла,— сказала Любовь Николаевна.— Нет, вы не будете связаны каким-либо обязательством. Вы уже заплатили.

— Пять рублей, что ли? — спросил дядя Валя.

— Пять рублей тридцать копеек,— кивнула Любовь Николаевна.

— И все? — удивился дядя Валя.

— И все,— сказала Любовь Николаевна.— Но вы меня опечалили. Вы ведь мне ничего не приказали.

— В этом нет нужды,— сказал Каштанов.

— Да,— подтвердил Михаил Никифорович.— Нет нужды. Мы самостоятельные. Мы — мужики. И не расстраивайтесь. Как раба вы нам не нужны. И в бутылку мы вас не закупорим.

— Таковую-то женщину! — сказал Каштанов.

— Гуляйте себе, веселитесь,— продолжил Михаил Никифорович.— Тратьте свободно свою молодую жизнь.

— Нет,— сказала Любовь Николаевна грустно.— Вы все неверно понимаете. Я ведь теперь для вас неизбежна. Даже если вы намерены отказаться от меня, то я не имею возможности вас бросить. Вы поймите. Ведь я не только ваша раба, но и ваша берегиня.

Филимон поднял голову и посмотрел на Любовь Николаевну с удивлением. Таких слов он в кроссвордах не встречал.

— Что-то в «Неделе» было,— задумался Серов,— про берегиню...

— Нет, в «Труде»,— сказал дядя Валя, он уважал исключительно «Труд».

Я знал про берегиню, наверное, больше других пайщиков кашинской бутылки, читал труды академика Бориса Александровича Рыбакова и иные умные книги, но говорить об этом сейчас не стал.

— Я предупреждала вас еще там, на детской площадке,— сказала Любовь Николаевна,— что я раба и берегиня.

Некая энергия и резкость проявились в последних словах Любви Николаевны, будто она желала принудить нас к чему-то. Это мне не слишком понравилось. Впрочем, мне-то что было волноваться! Я себя и осадил. Я бы и на собрание пайщиков кашинской бутылки не пошел, но попробуй усмири любопытство...

— А как берегиня,— сказала Любовь Николаевна,— я обязана действовать самостоятельно, не дожидаясь ваших просьб.

— Так дело не пойдет,— покачал головой Михаил Никифорович.— Вы раба и уж будьте покорны!..— Михаил Никифорович, минуту назад улыбавшийся, сидел сердитый. Всегда он был мирный и доброжелательный, а сейчас в нем что-то выиграло.— Если вы будете так вести себя,— продолжал он,— я охотно признаю, что те два сорок были не мои, а Шубникова.

— Ты что, Миша! — испугался дядя Валя.— Он и так уже у нас рыбу унес. Семь килограммов.

— Ничего,— сказал Михаил Никифорович,— вот Шубникову нужны рабы и берегини.

А Любовь Николаевна заплакала.

Кому из мужчин приятно смотреть на женские слезы. Да еще в компании! Тут все сразу же принимаются изучать потолок и посуду за стеклом серванта — из деликатности и в расчете, что слезы скоро сами собой иссякнут. Не бросаться же за стаканом воды — вовсе не героиня Жорж Санд перед тобой, а современница Светланы Савицкой. Лишь чувство неловкости возникает, как будто нарушаются правила общезития или неизбежный ход эмансипации. Или даже подозрения вспыхивают — не артистические ли это слезы, не притворны ли? Но Любовь Николаевна, похоже, не играла, а заплакала честным образом. И та ее назидательная энергия, которая минутами раньше насторожила меня, забылась. И жалко стало Любовь Николаевну, будто она девчонкой-лимитчицей приехала к нам из своего добрейшего Кашина или ближней к Кашину лесной деревни с желтыми кувшинками в тихой поленовской воде и сейчас сидела раздавленная, испуганная напором жестокой столичной суеты. И нам ли, этой суетой взлелеянным, ко всему привыкшим, было терзать чистую, наивную душу! Нам бы подумать, сколько у этой кашинской девчонки забот и страхов — и с пропиской, и с устройством на работу, и вообще с гражданским состоянием, и с прочим! Может, и деньги, спрятанные где-нибудь в

платье или на груди, кончились у нее. Может, от троллейбусов она шарахалась, а в автобусах ее тошнило! И какие муки пришлось ей испытать, заставляя себя войти в пивной автомат. А нам бы только от нее отделаться, бросить ее, слабую, в водопады московской жизни!.. Не один я, видимо, так думал сейчас, и другие пайщики были растроганы. Дядя Валя встал, подошел к ней, даже движение рукой сделал, будто хотел погладить Любашу (Любаву?), успокоить ее, бедолагу, но сдержался.

Один Михаил Никифорович сидел строгий.

И этот строгий мужчина был намерен передать Любовь Николаевну наглецу Шубникову! Беззастенчивому торговцу перекупленными щенками и взрослыми вонючими псынами. А уж тот-то при своей склонности к авантюрам, при своем бузотерстве мог не только развратить Любовь Николаевну, но и вовсе погубить ее, мог вообще черт те чего наделать в Москве.

— Да ты что, Миша,— заговорил Филимон,— злюка-то какой!

— А ничего,— сказал Михаил Никифорович.

— Не позволим к Шубникову! — заявил дядя Валя.— Не дадим!

Шелковым платком Любовь Николаевна вытерла слезы. Улыбнулась. И будто бы мы услышали звуки деревенского утра, когда роса на листьях подорожника еще хрустальная и холодная, и будто бы запахом в комнате парным молоком.

— Извините меня,— сказала Любовь Николаевна,— за бабулю слабость... И не из-за Шубникова я... Я не знаю, как мне жить дальше... Как быть с вами... И с собой... Может быть, я не поняла многое из того, что должна была знать... Про свое назначение... Про то, что и как делать...

— Нет, надо пожалеть девушку,— обратился к нам дядя Валя. И спросил Любовь Николаевну: — А может, мне удочерить тебя? Любовь Николаевна покачала головой.

— Это лишнее, дядя Валя,— сказал Игорь Борисович Каштанов, и были некий протест в его голосе и словно бы напоминание и о его правах.— Нам просто надо принять условия Любви Николаевны. Придется помочь ей. Будем терпеть.

— А я что говорю? — сказал дядя Валя.— Тем более что тут кашинский эксперимент! — добавил он.

— Что там — эксперимент или еще что, нас это не должно касаться,— осторожно заметил Серов.

— Тебя это пусть и не касается,— указал ему дядя Валя,— а мы к экспериментам относимся серьезно. Штемпель-то на бутылке стоял государственный!.. А насчет удочерения вот что,— обернулся он к Каштанову.— Одна она в Москве пропадет. Ты же видишь, она не приспособленная. И как, ты думаешь, мы будем крутить с пропиской?

— Вы сначала у самой Любви Николаевны спросите,— сказал Каштанов,— согласна ли она на это ваше удочерение.

Глядел он на Любовь Николаевну с обожанием и с неким значением, будто бы Любовь Николаевна должна была показать теперь же всем, что он, Игорь Борисович, из пайщиков кашинской бутылки ей самый интересный и близкий.

— Ну если не удочерение,— сказал дядя Валя,— тогда фиктивный брак.

— С вами, что ли? — брезгливо сжал губы Каштанов.

— Ну пусть с тобой. Или с Мишкой.

— С Шубниковым,— твердо сказал Михаил Никифорович.

Все возмутились, стали стыдить Михаила Никифоровича. А Любовь Николаевна поднялась, сказала тихо:

— Спасибо вам за участие. Но ни удочерять, ни выдавать меня замуж не надо.

И она нам всем поклонилась. Словно прощаясь. Было ощущение, что она сейчас исчезнет. Изойдет тихим дуновением. Как некое наваж-

дение, бередившее наши души. И останется в нас только печаль. А может, и боль... Но Любовь Николаевна не исчезла, не рассеялась в прохладной мысленной дали, опять явно материальное и человеческое случилось в ней — снова глаза ее стали влажными.

— Как же мне жить,— сказала она,— если вы от меня отказываетесь?

— Все! — вскричал дядя Валя, сам чуть не плача.— Не могу больше!

— И я! — вскочил Каштанов.

— погоди, я первый,— осадил его дядя Валя.

— Но как же Михаил Никифорович,— сказала Любовь Николаевна,— ведь он...— Тут она замолчала, не желая, видно, из деликатности разъяснить, кто для нее Михаил Никифорович.

— Ладно, Любаша, вы на него не смотрите,— сказал дядя Валя.— Они, курские, сами знаете. Но беда-то ведь небольшая, а? А я уж ладно. Я сдаюсь. Готов на первое желание!

— Я вас слушаю,— кивнула Любовь Николаевна.

Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, тут же выразил желание побыть электросексом, который лечит и двигает глазами. После уточнения терминов он согласился быть экстрасексом.

— Экстрасенсом...

— Ну ладно... экстрасенсом,— сказал дядя Валя и нахмурился. Он, видно, засомневался в чем-то и потому добавил нерешительно: — Со следующей недели.

— Хорошо,— сказала Любовь Николаевна.

— Ну! — торжествующе обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу.— Теперь ты!

— Любовь Николаевна,— сказал Михаил Никифорович,— жидкость в той бутылке была какая? Пшеничная? Или из табурета?

— Ну если даже из табурета? — обиженно спросила Любовь Николаевна.— Что тогда?

— Что ты к ней пристал! — рассердился Каштанов.— Что ты взъелся-то! Из-за немьгой сковородки, что ли?

— Из-за какой сковородки? — насторожилась Любовь Николаевна.

— Это мое дело,— встал Михаил Никифорович.— Простите, я должен идти. Ждут рецепты.

Молча он направился в прихожую, надел свое серое пальто, кепку. Открыл дверь. А мы молчали. Делать нам в квартире Михаила Никифоровича больше было нечего. Мы вышли вместе с ним. Каштанов фыркал возмущенно, губы тонкие сжимал. Дядя Валя лишь плечами подергивал. А не нам с Серовым и Филимоном Грачевым было требовать от Михаила Никифоровича объяснений. Одно было отрадно: не попросил Михаил Никифорович Любовь Николаевну покинуть его квартиру.

Впрочем, нам-то какое до этого было дело...

7

Дней через десять я узнал, что дядя Валя надорвался.

Он еле ходил, плохо ел, мерз душой. Собаку дядя Валя по улице Кондратюка все же выгуливал, но получалось так, словно бы собака выгуливала его.

А началось все со случая с таксистом Тарабанько.

Случая этого я был очевидцем.

Открывая в пивном автомате банку трески в томатном соусе, Тарабанько порезал палец. Даже и не порезал, а поцарапал лохматым краем измученной ножом крышки. Но кровь была. Тарабанько стоял, отправив палец в рот. Понятно, пошли советы: звонить в «скорую», везти несчастного к Склифосовскому и прочее. Тут дядя Валя и за-

явил, что он берется прекратить кровь и без Склифосовского. Тарабанько вынул палец изо рта, кровь текла. Дядя Валя отошел от Тарабанько метров на шесть. «Оттуда слабó будет!» — говорили дяде Вале. «Да я хоть от той стены могу прекратить и заморозить!» — заявил дядя Валя. И он смело, будто Суворов на Чертовом мосту, ринулся к стене, на которой, между прочим, и была укреплена чудесная чеканка с кружкой пива и вымершими рыбами. У Равиля Ибрагимова не выдержали нервы, он крикнул, что предоставит дяде Вале за четыре сорок две, если тот прекратит кровь. «Тихо!» — сказал дядя Валя, даже и не приняв во внимание приманные слова Ибрагимова. Он был уже не здесь. И мы притихли. Казалось, и пиво нигде не лилось, и кассирша Полина прекратила размен монет. Тарабанько стоял базальтовым столбом — до того значительным и для него стало происходящее. Светильники горели не все, и в полумраке автомата глаза дяди Вали казались углями. Пламя вот-вот могло полыхнуть из них. Сколько мы так стояли? Минуту, две, три, больше? И в нас самих, похоже, кровь застыла. «Все! — хрипло произнес дядя Валя. — Опускай!» Тарабанько опустил палец, но не сразу, и поглядел на него как будто бы со страхом. Крови не было. То есть она была, но засохшая.

А дядя Валя в это мгновение рухнул.

Его подняли и поставили.

Возле стены он кое-как укрепился, но был не в себе. Сила из него вышла, поняли мы. «Исполняй обещание!» — сказали Равилю Ибрагимову. Он согласился исполнить, но при этом дал понять, что принимает во внимание лишь болезненное состояние дяди Вали, что же касается прекращения крови, то тут он не верит. За это время, считал Ибрагимов, кровь на тарабаньковской царапине и сама могла засохнуть. Тем более что палец был поднят вверх, а прямо над ним крутился вентилятор. Возможно, что Ибрагимов был и прав... Впрочем, о пальце Тарабанько скоро забыли. Пытались поправить здоровье рухнувшего дяди Вали. Ничто не помогало. Расстраивало нас полное безразличие дяди Вали к явлениям жизни. Лишь однажды губы его зашевелились, и мы услышали, что пусть ему, дяде Вале, не верят, пусть, еще пожалеют, вот он возьмет и на тех, которые не верят, наведет порчу. Однако угроза была тусклая и безвольная, никаких надежд на прибавление сил не дала, дядя Валя тут же затих. Пришлось его вести домой. Самое обидное было в том, что останкинские жительницы и тем более общественницы могли принять дядю Валу за нетрезвого, а ему сама мысль о спиртных напитках была в ту пору противна.

И вот неделю дядя Валя, рассказывали, страдал: не касался золингенговской сталью щек, не следил за политическими событиями в Испании. Только собака выводила его на полчаса на улицу. А так он лежал.

Рассказывали, что раза три посещал дядю Валу наглец Шубников.

Я купил апельсины, зашел к дяде Вале. Дверь дядя Валя не запер, лежал на диване. В ответ на мои слова прошептал что-то. Но вряд ли существенное.

— Помочь, дядя Валя, надо? — осторожно спросил я. — Может, врачей каких привести?

Дядя Валя не ответил.

— Шубников вам настроение не портил? — поинтересовался я после неловкой паузы. — А то скажите. Мы его отвадим.

И теперь дядя Валя не открыл рта. Он и глаз не открывал.

Глупым становилось мое пребывание возле недужного. Я стал оглядывать комнату. Я уже говорил как-то, что в доме дяди Вали я ни разу не был, хотя он и звал меня к себе. Я боялся, как бы знание тех или иных свидетельств дяди Валиной жизни не испортило и не исказило впечатлений от его повествований, прошлых и неизбежных новых, не стало бы своей определенностью одергивать мое воображе-

ние и дяди Валины фантазии... А тут я видел фотографии на стене над диваном. Вот жена дяди Вали, покинувшая его года три назад. Вот его дочь, смазливая девица, чернявая, видно, верткая, теперь она замужем — тоже за таксистом — и живет в Марьиной роще. Вот сам дядя Валя, молодой, ушастый, рядом именно с Эйзенштейном. Вот он положил руку на плечо Василия Ивановича Чапаева. Впрочем, в пору вскинутаго клинка Василия Ивановича дядя Валя по хронике его жизни был младенцем, и если точнее — грудным. Стало быть, кто же это — не Василий Иванович, а, предположим, Бабочкин? Определить точно я не смог. Подойти к стене не решился. Снимок тот так и остался для меня загадкой. Были и иные фотографии. Скажем, дядя Валя в красноармейской форме без погон, наверное, на финской. А вот он с погонами возле трехтонки, на ней, если вспомнить его историю, он возил снаряды в сорок четвертом в Белоруссии. Испанских снимков не было. Впрочем, это ничего не значило...

— Ты эту... не видал?.. — прошептал дядя Валя, открывая глаза и словно бы выныривая из дремотного состояния.

— Нет, — сказал я. — Работы было много. Никого я не видал.

— Что же это она?.. — еле произнес дядя Валя.

— А может, ее и вообще уже нет? Была — и нет... И потом, дядя Валя, ведь вы просили ее дать вам силу со следующей недели. А дожидаться не стали...

— Но сейчас-то уже срок пришел... — Кое-как он все же приподнялся, опустил ноги на пол. Сказал: — Положи на стол предмет.

Я достал из авоськи апельсин.

— Нет, — поморщился дядя Валя. — Мелкий предмет.

— Спичку, что ли?

— Спичку, — кивнул дядя Валя. — Две спички. Нет, стакан с водой.

— Да что вы, дядя Валя! Ну зачем!

— Неси стакан...

Прозвучало это как последнее желание, я вздохнул, пошел на кухню. Стаканы у дяди Вали были все деловые, граненые. Тяжелые. Воды я налил чуть-чуть. Стакан поставил на край стола, поближе к дяде Вале.

Он сжал губы и уставился на стакан. Такой приказ был в его глазах, что и меня, казалось, боковым течением его воли, как худого комара, отнесло к окну. Но стакан был будто примерзший. Пять минут пытался подвинуть дядя Валя глазами предмет. Я словами хотел помочь дяде Вале, но удержал себя, убоявшись спугнуть дяди Валино вдохновение. Или разрушить его энергию... На седьмой минуте дядя Валя и сам закрыл глаза.

— Замени стакан спичкой, — понял я из движений его губ.

Я уж нарочно — и не спеша — отнес стакан на кухню, чтобы дать дяде Вале мгновения отдыха.

И спичку дядя Валя сдвинуть не смог.

Слег опять, ноги еле-еле занес на диван.

— Может, я поищу Любовь Николаевну, — сказал я неуверенно. — Или хотя бы Михаила Никифоровича?

Опять молчание было мне ответом...

На самом деле, что же Любовь Николаевна-то? Странной казалась непоследовательность ее действий. Или просто необязательной была девушка? Ну ладно, не дала она пока силы дяде Вале (хотя, возможно, дядя Валя и сам что-либо напортил, принявшись прекращать кровь и двигать предметы раньше срока?). Ладно. Но что же дальше-то мучать его? Или Любовь Николаевна и вправду больше не существовала?

— Оставь меня, — сказал дядя Валя.

Я пошел к двери, хотел было еще раз спросить дядю Валу о посещениях Шубникова: отчего-то беспокоили меня эти посещения. Но дядя Валя повернулся к стене. «А не унес ли Шубников, между прочим, собаку?» — подумал я. Нет, собака спала на коврикe возле

двери, дышала невинно, но еле заметно, будто готова была испустить дух, видно, и ее, как хозяйина, покинули силы.

Стало быть, интерес Шубникова был не к собаке...

8

Пришлось искать Михаила Никифоровича.

Дома его не оказалось, как не оказалось там и Любви Николаевны, что, впрочем, нельзя было считать удивительным. Следовало ехать в аптеку. Но в какую? В одной Михаил Никифорович работал, в другой прирабатывал, служебного расписания его я не знал. На всякий случай попробовал обнаружить Михаила Никифоровича в пределах Садового кольца.

Читателю, коему хватило терпения следить за ходом останкинских событий, понятно, могла прийти мысль о том, что все житейские интересы моих знакомых были связаны исключительно с пивным автоматом. Да еще и с пивным автоматом именно на улице Королева. Это не так. Все мы работали. Кто где. И в иных зданиях и сферах были наши сердечные дела, наши коренные заботы и интересы. В автомат же в будние дни мы заходили ненадолго, чаще всего заскакивали туда в вечерние часы, когда вот-вот должна была появиться над оконцем кассирши валтасарова надпись «Пива нет» и печально прозвучать прощальные звонки. В выходные дни наши удовольствия продолжались дольше, впрочем, об этом уже было сказано. Тем более что полагалось отдохнуть, прежде чем волочить сумки и рюкзаки домой. Я не оправдываюсь. (Хотя для жены, ведшей, между прочим, в некоем издании раздел «НОТ в доме», мог бы произнести эти слова и ради оправдания.) Но где нам еще можно было встретиться со знакомыми, давними и случайными, постоять просто так в шумной компании, ни о чем не думая или, напротив, именно думая о существованном? Где еще можно было дух перевести? Где дать душе отдохновение после суеты, страстей, бед, хлопот и радостей летящей жизни? Не за решением же шарад и плетением входящего в моду макраме! И не было у нас в Останкине никакого мужского клуба. Вот мы и переводили дух на Королева, пять.

А так мы трудились. Даже профессиональным^{*} и вечным посетителям автомата и тем приходилось время от времени оставлять кружки и плестись в бакалейные, овощные, хлебные магазины, таскать там мешки с луком, ящики с крупами и макаронами, болгарские коробки с томатными банками, к чему они были принуждены административными решениями комиссий по трудоустройству.

Я ехал к Михаилу Никифоровичу и думал: а что я ему скажу? О дяде Вале? О чем спрошу? И чем его так рассердила тогда Любовь Николаевна, что за знак он углядел в ней? Отчего остался непоколебим в своем упрямстве, как скальная порода? Кто знает, может быть, вернувшись тогда домой из аптеки, он взял да и выгнал Любовь Николаевну на мороз. Или на панель. Или вообще учинил над ней какое-либо зверское насилие, что-нибудь испортил в ней, отчего дядя Валя и не получил возможность двигать глазами мелкие предметы.

Ну да, скажет читатель, что же вы только теперь хватились? Что же на другой хотя бы день не осадил Михаила Никифоровича или просто не поинтересовались обстоятельствами жизни Любви Николаевны? Не поинтересовался... Вообще намерен был не думать ни о Любви Николаевне с ее трепетной, птичьей, чуть ли не лебединой шеей, ни о разбитой бутылке, месте ее прежнего, одинокого, но спокойного обитания, положив: ладно, это дело не мое, лучше быть от него подальше... Однако теперь грустная история дяди Вали изменила мои настроения...

Михаил Никифорович в своей аптеке сидел в рецептурном отделе. Если бы вы видели Михаила Никифоровича лишь в Останкине и

лишь в пивном автомате, то в аптеке вы могли бы его и не узнать. И дело было не в цеховом одеянии Михаила Никифоровича — белом халате и белой шапочке. Дело было прежде всего в совсем ином, нежели в останкинские досужные часы, состоянии Михаила Никифоровича. Кем он пребывал там и кем здесь? Здесь он был Верховный жрец. Или даже Демиург. Здесь от него зависело течение жизни в природе, в людском сообществе, в любой человеческой натуре, в любой живности, в любом зеленом побеге. Здесь и каждая звезда, особенно влияющая на эпидемии и поветрия, была в его управлении, здесь каждая былинка, ядовитая и целительная, засушенная, попавшая в сборы трав или еще и вовсе не проросшая, вздрагивала при движениях его бровей и губ. Здесь Михаил Никифорович помнил о людских бедах и болях. Здесь он был целитель и колдун, здесь он был и хирург, и терапевт, и акушер, и хозяин сновидений, и знаток кровяных токов и давлений, и охранитель зеницы ока, и врачеватель душ.

Самые милостивые девушки — представим вдруг, и доброжелательные! — или же сонные, умученные собственным жизненным сроком дамы, хоть и провизоры по должности, чьи лица мы наблюдаем (порой и в раздражении) за аптечными стеклами, все же представляются нам подавательницами товара. Сунули мы им рецепт с чеком — и вон из очереди. Капли же с таблетками будто бы сами помогут от хворобы, если не подорвут печень. А присутствие в аптеке Михаила Никифоровича, мужчины в белом халате и белой шапочке, навело на мысль о встрече с профессором. Тут уж явно не за товаром стояли, а ради консультации у нездешнего светила в надежде, что оно выслушает, поймет и спасет.

Подойти просто так к окошку Михаила Никифоровича я не мог. Старушки из очереди меня бы сразу урезонили. А если бы Михаил Никифорович мне ответил как знакомому, доверие к профессору могло быть поколеблено. Я встал последним, достал листок бумаги и в письменной форме попросил Михаила Никифоровича удостоить меня разговором. Способ общения был проверенный. Однажды Кочетков, тридцатилетний дизайнер из Останкина, натура лирическая, оказался поутру в центре города с подорванным здоровьем. Кочетков изобразил на бумаге как бы рецепт и латинскими буквами написал: «Миша! Добудь три рубля!» Выстоял очередь, протянул бумажку. Михаил Никифорович терпеливо и с достоинством изучил рецепт, встал, сказал: «Пойду посмотрю, есть ли у нас ваше лекарство». Вернулся с маленькой коробочкой, Кочетков почувал, что три рубля в ней есть, а Михаил Никифорович сказал ему с долей назидания: «Но принимать его все же советую вечером». Вот и я стоял. Очередь шла тихо, по логике нашей жизни многим пора было уже и осерчать, но нет, Михаила Никифоровича спрашивали, и он отвечал. По привычке — с паузами, вспоминал случаи из практики, а когда выдавал наружное, мазь Вишневского, предположим, то и руками показывал, как и что надо делать. Мне он кивнул сдержанно, прочитал просьбу, подумал и сказал: «Попробуйте зайти через два часа».

Что, у меня время, что ли, лишнее было!

Лишнего не было, но свободное было. Я пошел на Покровку, посмотрел, как реставрируют палаты Сверчкова, а потом заглянул в Кривоколенный — не сломали ли там дети в забавах охранный забор у пустого нынче дома с подвалами семнадцатого века? Не сломали.

Через два часа Михаил Никифорович встретил меня у аптеки. Я был хмурый. Не на Михаила Никифоровича я хмурился, а на себя. Что я маюсь дурью, неужели мне не хватает своих забот? Но все же я рассказал Михаилу Никифоровичу о дяде Вале.

«Я знаю, — кивнул Михаил Никифорович. — Я у него был». «Ну и что же ты?» — спросил я с неким укором, будто бы Михаил Никифорович был в ответе за состояние дяди Вали. «А что я... — пожал плечами Михаил Никифорович, но глаза при этом отвел в сторону. —

Лекарства он не принимает...» «При чем тут лекарства! Ну ладно... А про Шубникова он тебе ничего не говорил? Зачем Шубников приходил к нему?» Михаил Никифорович не ответил. Что я его пытаю? — подумал я. Может быть, он и вправду доверил Шубникову попечение над Любовью Николаевной. «А как Любовь Николаевна?» — спросил я осторожно. «Как, как! — сказал Михаил Никифорович. — Живет у меня!» «Значит, она осталась...» «Ну осталась», — сказал Михаил Никифорович без особой радости. «И что же, она ничего не знает о дяде Вале?» Тут и Михаил Никифорович стал сумрачный. Закурил. «Надоело мне все это», — сказал он.

Михаил Никифорович жаловался редко и теперь скорее не пожаловался, а просто пожурил судьбу. Из нескорых и будто бы ни к кому не обращенных слов его я узнал вот что. Живут они с Любовью Николаевной, как разведенные судом супруги, вынужденные оставаться пока под одной крышей. Обращаются иногда друг к другу с холодными дипломатическими выражениями. Нецензурных слов, во всяком случае, Михаил Никифорович ни разу не употреблял. Поначалу, поняв, что к Шубникову ее не определяют, Любовь Николаевна запрыгала, чуть ли не приятельницей крутилась возле Михаила Никифоровича, вроде бы даже и глазки строила. Но он ее осадил. Любовь Николаевна замолкла, и Михаил Никифорович почувствовал, что она гордая.

— Так уж и строила? — засомневался я.

Ну, не строила, пояснил Михаил Никифорович, а пыталась приветливо улыбаться. Теперь не улыбается. Закуски утром и вечером берет из холодильника, а чем и где она питается днем, он не знает. Выдает ей рубль в сутки, больше не в состоянии. На три дня она пропала вовсе, Михаил Никифорович уже обрадовался, но она вернулась. Положила на стол три рубля, видно, кормилась где-то за чужой счет или бесплатно. Про устройство на работу, хоть бы и лимитчицей, Михаил Никифорович ей даже и не намекал, но пора было этой дармоедке и самой задуматься.

— Уж больно ты строг к ней, — сказал я.

Мне-то было легко говорить так. Не со мной в квартире проживала Любовь Николаевна. Но обычно Михаил Никифорович своих денег не жалел, а деньги у него были малые, аптекарские, дамские зарплаты, пусть и две. Что же все-таки он учуял в Любви Николаевне, отчего она так раздражала его?

— Ладно, — сказал Михаил Никифорович, — что уж...

Тут он словно бы застеснялся чего-то в самом себе. Или какую вину в себе обнаружил... Помолчав, он согласился со мной, что да, возможно, и слишком строг. Тем более что в последние дни что-то неладное происходит с Любовью Николаевной. Что-то мучает ее. Какие-то всхлипы и стоны слышит порой Михаил Никифорович. Как медик он должен был бы дать совет, но нужна ли тут медицина? Он и не суется. Возможно, за советами, поддержкой и наставлениями Любовь Николаевна и отправлялась куда-то на три дня. Возможно, летала на помеле. Но толку мало, коли дядя Валя ослаб. Порой она взглядывала на Михаила Никифоровича как бы украдкой, но тут же отворачивалась в испуге, а Михаил Никифорович видел в ее глазах и беспомощность, и растерянность, и мольбу о чем-то. Раза два она падала ни с того ни с сего, будто бы наткнувшись на железную палку. Вчера Михаил Никифорович пришел домой, а она сидит в халатике на диване, ноги поджав под себя, шепчет что-то просительно, а глаза у нее опять мокрые. То ли кто-то ей мешает. То ли она недоучка. То ли просто растрепа.

— Ты ее вчера успокоил? — спросил я.

— Еще чего! — сказал Михаил Никифорович.

Оказывается, не всегда она смиренная и затравленная. Оказывается, третьего дня Любовь Николаевна позволила себе разбушеваться. Швы-

ряла на пол одежду, книги и посуду. Правда, скромная посуда Михаила Никифоровича при этом не билась. А вот книги его, в том числе и «Определитель лекарственных растений», она топтала босыми ногами. Была Любовь Николаевна в те яркие полчаса разбойной, как Алла Пугачева в народных легендах. Но и прекрасной. Возможно, и нечто ведьминское проявлялось в ней. Грозил она кому-то. Но явно не Михаилу Никифоровичу. И не было в ней дикарской свирепости, а было нечто озорное, благородно-отважное, будто Любовь Николаевна тотчас же должна вступить в рискованное сражение. В сражение она вступала не в латах и не в кольчуге, а в одной лишь нежнейших свойств голубой ночной рубашке, без прочего белья, ничего не боясь и не стесняясь Михаила Никифоровича, принимая его как бы за своего. Однако не ее доспехи возмутили Михаила Никифоровича. Возмутило его топтание «Определителя». Он на Любовь Николаевну цыкнул, пообещал применить силу и буйство прекратил. Поэтому вчера он ни о каких успокоениях жилищки не думал. Сама, видно, при желании кого хочешь может успокоить.

— Отчего ты, Миша, тогда при нас рассердился на нее? — спросил я. — И теперь сердит...

— Бог Асклепий и дочери его Гигиея и Панацея!.. — резко произнес Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрей его задержалась. Выражение это, связанное отчасти с историей фармации, Михаил Никифорович произносил редко. Но коли произносил, следовало оставить Михаила Никифоровича одного.

— Извини, Миша, — сказал я. — Зря я к тебе пристал.

— Надо идти, — сказал Михаил Никифорович. — У нас там напряженное состояние.

Недели три назад Михаил Никифорович говорил о неприятностях в аптеке. Наверное, перемен не случилось.

— Пора бросать это занятие, — вздохнул Михаил Никифорович. — А то... Тут сто и там сто. Месяцами и пятьдесят. Это разве деньги для мужика? Никитин зовет меня на химический завод...

Совета я Михаилу Никифоровичу никакого дать не мог. Мы попрощались, предположив, что скоро увидимся на Королева, тем более что мне подарили воблу. Пообещали друг другу звонить, если что.

Свидание с Михаилом Никифоровичем меня огорчило. В самом Михаиле Никифоровиче было нечто тревожное... А я? Что я-то приставал к нему? Михаил Никифорович мог подумать, что из любопытства. Отчасти так и было. Но и что-то иное, смутное, для меня самого тайное толкало: иди, иди к Михаилу Никифоровичу. Ясно было, что Михаил Никифорович всего мне не открыл. Либо посчитал ненужным все-то открывать. Либо у него самого не было уверенности, что он в своих оценках и поступках прав.

Не зашел я в тот день к дяде Вале. Что я мог сказать ему?

Вечером я был направлен в овощной магазин за капустой провансаль. Было зябко. Ветер успокоился, снег, падавший нынче часа два, лежал мягкий и чистый. Мне бы с приобретением идти домой, а я минут сорок ходил возле дома Михаила Никифоровича, убеждая себя в том, что ходить полезно, что воздух — целительный, что снег, и весенние сумерки, и природа — прекрасны, что и сон будет хороший и что несомненно именно здесь и проходит тропа здоровья... Тогда я и увидел Любовь Николаевну. Она тихо шла от троллейбусной остановки к дому Михаила Никифоровича. Похоже было, что для буйств настроения у нее сегодня не было. Впрочем, Любовь Николаевна прошла от меня шагах в двадцати, а сумерки уже были синие. Заметил я вот что. Сутулилась она несколько, будто обреченно. Раза три вздрагивала испуганно, оглядывалась резко: не преследует ли кто ее. Никто не преследовал... Вот уж и лифт отвез ее, наверное, на восьмой этаж... А ладная все-таки женщина, не мог не отметить я, хоть и су-

тулилась из-за тяжких обстоятельств... Впрочем, женщина ли была Любовь Николаевна?

И тут из-под арки, ведущей во двор, словно из засады выскочили двое бородатых мужчин. Глядели они на мостовую и именно на следы, оставленные в свежем снегу легкими ногами Любви Николаевны. Были это Шубников с Бурлакиным. Будто охотники или любители природы и мира животных, исследовали они следы. Наклонялись, пальцами тыкали в снег и явно нюхали следы. Потом принялись укладывать что-то во вмятины от каблуков Любви Николаевны. Вернее, укладывал один Шубников, а Бурлакин, прыгавший рядом, давал советы. Потом Шубников пробежался вдоль следов Любви Николаевны, остановился возле одной из вмятин, расстегнул штаны и помочился в нее. И опять Бурлакин прыгал и кричал, видимо выражая радость.

Я не выдержал, двинулся к ним.

— Эй, живодеры, во что играете-то?

Явление мое подействовало на Шубникова и Бурлакина странным образом. Взрослые, здоровые люди, они словно бы испугались меня. Будто были застигнуты на месте серьезного безобразия не частным лицом с хозяйственной сумкой, а представителем власти. Конечно, они меня узнали, но, не дожидаясь моего приближения, бросились бежать и исчезли под аркой.

Я осмотрел следы Любви Николаевны. Струей Шубников опошили безукоризненный белый цвет нынешней мостовой. Некоторые следы были затоптаны. В один из них Шубников вмял гвоздь, в четырех других, удостоенных внимания, лежали: лезвие «Нева», чуть ржавое, обглоданный хребет рыбы, видно копченой, битое стекло и измятые бигуди. Мне захотелось все подарки вытолкнуть из следов Любви Николаевны. Я и сделал это носком ботинка. И не просто вытолкнул, а выбил чуть ли не к самой стене.

Гулять желания более не было, я пошел домой.

Обернулся. Две бородатые физиономии смотрели на меня из-под арки. Я погрозил мошенникам кулаком.

9

Дней через пять я узнал, что дядя Валя стал двигать в Останкине дома. Глазами. А иногда и опустив веки. Мысленным взором.

Не сразу он привык к домам, начал именно с мелких предметов. А прежде он просто ожил. Почувствовал на своем диване в какой-то особенный миг возрождение организма, вскочил, подпрыгнул и встал на ноги. Почувствовал он и возобновление аппетита. Стало быть, надо было идти к народу, на улицу Королева. Авось у кого-то и картошка с селедкой, разложенная на «Строительной газете», нашлась бы. Но тут, рассказывали, что-то словно бы осенило дядю Валю, что-то будто толкнуло его в грудь. Или в спину. Или в иное место. И он взглянул на стакан с водой. Или на мой апельсин. Или на запонку с фальшивым рубином. Напрягся, брови нахмурил, заиграл скулами — и предмет двинулся. Ожившая и зазвучавшая собака суежилась возле ног дядя Вали, дядя Валя посмотрел на нее строго, отважился и поднял блошиную суку в воздух. Подержал ее полминуты над столом и распоряжением воли мягко опустил на линолеум. Никакой опустошенности, никакой губительной усталости дядя Валя не ощутил, напротив, душа его рвалась к новым свершениям.

Палку дядя Валя все же взял. То ли желал на манер Ильинского, которому дядя Валя, а не Яшка Протазанов, наверняка подсказал трактовку образа в «Иоргене», явить останкинским жителям чудо, то ли все же оставались в нем сомнения. А встретили дядю Валю хотя и с радостью, но и с неперемными ироническими недоумениями и укорами. Скрывать силу дядя Валя не мог и, не усладив даже натуры,

принялся подымать и двигать отдельные тела килек, луковицы, ломти черного хлеба, а потом, разъярившись, и пивные кружки. Полные кружки дяде Вале поначалу не доверяли, но затем, убедившись, что пустую посуду дядя Валя поднимает и опускает ровно, без толчков и срывов, разрешили ему двигать кружки и с напитком. Дядя Валя не оплошал. Он вошел в кураж, раскраснелся, годы сбросил. «А вот мусорный ящик тебе, дядя Валя, слабо будет», — предположил таксист Тарабанько. «Чего! — возмутился дядя Валя. — Пойдем!»

Пошли во двор. Человек двадцать пошло. Про палку дядя Валя забыл. «Какой?» — спросил дядя Валя. Ящиков стояло три. Металлические, серые, они и пустые-то были тяжелые. А два из них уже и забиты всяким житейским хламом. Тарабанько заказал дяде Вале пустой ящик. Но дядя Валя поблажек не желал. «На сколько подымать?» — спросил дядя Валя. «Ну... на метр...» Тарабанько, похоже, и сам был не рад своей дерзости. «Стану я из-за метра суетиться!» — раззадорился дядя Валя.

И через десять секунд мусорный ящик висел над головой дяди Вали. Зрители, понятно, стояли в стороне. Мало ли чего. Дядя Валя, конечно, богатырь и дух, но вдруг в нем опять иссякнет сила и предмет рухнет. А был момент, когда ящик, взвешенный в весеннем воздухе метрах в семи над грунтом, вздрогнул, покачнулся, картофельные очистки, дырявый валенок, мятая целлулоидная кукла посыпались из него, зрители зашумели, призывая дядю Валу отпрыгивать, но тот не смалодушничал, остановил покачивание ящика и поднял его еще метра на два. Потом дядя Валя поднимал два мусорных ящика сразу и как бы жонглировал ими. Потом он заставил в некоей карусели носиться разные предметы детской площадки, памятной всем, в том числе цветные лавочки и стол, однако тут его опыты стали надоедать. Некоторые зрители пошли обратно в пивной автомат. И Тарабанько бы ушел, но он чувствовал себя как бы обязанным дяде Вале — и за остановленную прежде кровь, и за поднятые в воздух по его дурости мусорные ящики. Он стал осторожно намекать дяде Вале, что тот опять израсходует себя и сляжет с собакой в полном бессилии, но дядя Валя остановиться не мог.

Тогда он и пообещал двигать дома.

Его опять же образумливали, выражали беспокойство по поводу здоровья и благополучия жильцов, как бы их не опрокинуло, не расстрясло и не ужаснуло при передвижке. Дядя Валя заверил, что начнет он с домов пустых, обреченных на снос. Такие дома, деревянные, чуть ли не дачные, с террасами и мансардами, в один и в два этажа, действительно стояли в голых пока садах на северной стороне улицы Королева, той, что ближе к Шереметевской дубраве и Выставке достижений. При этих беспокойствах зрителей и кураже дяди Вали и появились, рассказывали, Шубников и Бурлакин. Они принялись подстрекать дядю Валу к свершению безрассудных и авантюрных действий. Шубников был при бороде, как всегда беззаботен и громок, а Бурлакин отчасти притих и надел на голову мешок из белого сурового полотна с прорезями для глаз, носа и рта. Будто гентский палач. Позже выяснилось, что накануне Бурлакин по своей склонности вязываться в пустые затеи съел на спор восемь килограммов фотографической бумаги. Бумага же эта, как известно, содержит галогены серебра. Другой бы сдох, а Бурлакина лишь пронесло. Но свойства бумаги перешли к нему. В темноте кожа Бурлакина была хорошей, а на солнце и даже при электрическом освещении становилась еще лучше — совсем черной, словно Бурлакин родился не на Большой Переяславской улице, а в пригороде Нджамены. Бурлакин тогда еще не привык к засвечиваниям, при всей своей наглости смущался последствий спора и ходил за Шубниковым смиренный. Но и он давал дяде Вале советы... Жаль, что я в тот день был занят работой.

Вот тогда дядя Валя и поднял первые в своей жизни дома. Начал

он, правда, с усадебных построек — летних кухонь, сараев, туалетов, — но потом неким винтом послал в воздух столетней красоты дом, то ли избу, то ли дачу, память о добашенном Останкине. А там уж взлетели дома покрепче и бараки в два этажа. Дом-музей Сергея Павловича Королева, стоявший поблизости, хотя Шубников и подзуживал, дядя Валя отказался трогать — все же в нем были экспонаты и люди.

Стоял дядя Валя со зрителями метрах в ста, а то и дальше от увлекших его домов. Стоял в сквере, известном местным жителям как Поле Дураков. Прохожие, проезжие, водители и пассажиры троллейбусов, работники милиции особого внимания на полеты деревянных строений не обращали. Мало ли что. Может, кино снимают. Скажем, режиссер Шамшурин. А может, пробуют новые способы удаления одряхлевших кварталов. Впрочем, никакого удаления не происходило. Постройки дядя Валя ставил на место. Ставил аккуратно, и они как бы снова прирастали к останкинской земле.

Шубников требовал, чтобы дядя Валя перешел к каменным строениям. Но дядя Валя сказал: «Хорошенького понемногу». Тут и Бурлакин стал подзуживать, стыдить, на что дядя Валя посоветовал ему высморкаться в мешок. При этом было видно, что он не устал.

Два дня он ничего не двигал и не останавливал кровь.

В субботу я пошел в магазин, теперь уже в очередь за югославским черносливом, и встретился с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым. Оказалось, что перемены случились не только с дядей Валей, но и с Каштановым. И с Любовью Николаевной. «С ней это я дал маху...» — поморщился Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрей его задергалась. Он стал говорить нервно про какие-то цветы и про каких-то дураков, которые покупают цветы.

Но вот чернослив был приобретен. И когда мы уже держали кружки, Михаил Никифорович объяснил мне, что дурак — это он. Именно он пять дней назад купил цветы. Как человек разведенный (о его разводе я сообщил в первых строках своего рассказа и буду вынужден позже вернуться к этому обстоятельству), Михаил Никифорович имел все права и желания, а порой и обязанности отпрапляться свободными вечерами к той или иной приятной ему знакомой. Но никогда в подобных случаях цветов он не покупал! А тут взял и купил. А женщины не оказались дома. Михаилу бы Никифоровичу швырнуть букет в урну, он же забыл о том, что у него в руках, и приехал с цветами домой. И преподнес цветы жиличке. Та снова сидела в халатике на диване, вздрагивала и вытирала слезы. Михаил Никифорович спросил, отчего она вздрагивает и ревет. Любовь Николаевна, не вступавшая в последние дни с ним в беседы, заговорила. Оказалось, что у нее воруют тень и что ей портят следы. «Ну не ревите! — сказал Михаил Никифорович. — Возьмите лучше». И сунул ей букет. Потом выяснилось, что это не букет, а три букета. Михаил Никифорович до сих пор не может простить себе, что потратил десятку на эдакую дрянь. «Это мне?» — робко и трепетно спросила тогда Любовь Николаевна, будто не веря своему счастью. «Ну а кому же еще? — сказал Михаил Никифорович. И соврал на всякий случай: — Других у меня нет». Он скоро заснул на раскладушке в ванной, но был разбужен. Любовь Николаевна плясала и пела. На голове у нее был венок, красное с желтым, и тюльпаны, и гвоздики, и еще какие-то растения венчали голову Любви Николаевны, надо признаться, красивую. «Все вернулось, все пришло! Все вернулось, все пришло!» — пела Любовь Николаевна. И когда Михаил Никифорович встал и попросил женщину не шуметь, Любовь Николаевна поклонилась ему в пояс, да так ладно, будто была воспитана в ансамбле танца Сибири... Теперь все, теперь она бойкая и задорная, хотя порой и снова вздрагивает... Перемены эти Михаил Никифорович связывал с венком, сплетенным из букетов, доставленных не по адресу.

— Значит, ты говоришь,— сказал я,— воровали тень и портили следы?

— Что-то вроде,— кивнул Михаил Никифорович.

— Насчет следов я видел. А вот тень... Тут для меня новое...

— Что ты видел?

— Видел кое-что...

Недалеке от нас стоял дядя Валя. И возле него, естественно, люди. Мы с Михаилом Никифоровичем подошли к ним. Дядя Валя был нынче значительный и задумчивый. В старые времена мы бы за полчаса узнали от него десятки острых и поучительных историй про войну и про искусство с непредвиденными поворотами, а тут дядя Валя молчал и курил. Я не выдержал и выразил дяде Вале свою жалость по поводу того, что не присутствовал при опытах с мусорными ящиками и останкинскими коттеджами. Прежний дядя Валя тут же бы сказал: «Но беда-то ведь небольшая, а? Пойдем!» И мы бы пошли. На это я и рассчитывал. Но этот дядя Валя строго — да и то после затяжки — заявил:

— С домами хватит.

Опять задумался. И сказал:

— Буду лечить.

— Лечить?

— Лечить не сразу... Сначала буду ставить диагнозы.

— На расстоянии? — поинтересовался Михаил Никифорович.

— И на расстоянии,— сказал дядя Валя.— Кому и через стену.

Кому по переписке. Кому по телефону. Кому прикосновением.

На всякий случай я отодвинулся от дяди Вали. Как человек с воображением, а стало быть, с предрассудками и суевериями, я предпочитал болеть без диагнозов. Так хоть какие-то надежды остались бы...

10

Перемены, происшедшие с Игорем Борисовичем Каштановым, были такие. Во-первых, он купил лошадь. Во-вторых, у него появилась жена, юная кабардинка.

О приобретении лошади Игорь Борисович при встрече охотно рассказал мне. Дня три назад он лежал утром в кровати уже почти одетый. Без желания опохмелиться. Без многих других желаний. Жизнь снова казалась ему погубленной. Все он проклинал. И себя. И Татьяну Алексеевну Панякину. И стройку, куда он должен был по принуждению отправиться через полчаса. Проклинал и долги, вызвавшие это принуждение. Вот, мечтал он, заплатит бы долги и заняться приятным делом. Предположим, снова начать писать прозу. Или пойти в мясники. Или еще куда-нибудь. Или вообще никуда не ходить... Вот если бы хоть тысячу рублей внести в счет погашения...

Когда Игорь Борисович все же смог поднять себя и стал надевать штаны, он нашел в кармане тысячу пять рублей. А накануне он и двух копеек не сумел выудить из того же кармана. Да и дыра вчера была в кармане. Сегодня же она оказалась заштопанной. Мечтать-то Игорь Борисович мечтал, но и в грезах своих к Любви Николаевне он не обращался. Выходило, ей было достаточно устного согласия принять ее услуги, вырвавшегося у Игоря Борисовича из жалости к Любви Николаевне на памятной встрече пайщиков кашинской бутылки. Выходило, она его желание подстерегла. Подстерегла, и нате вам — тысяча рублей! И еще пять рублей поверху.

Игорь Борисович растерялся. Что делать с пятью рублями, он знал. А что с тысячей? Одно дело мечтать о погашении долга несуществующими рублями, другое — нести чужим дядям живые, кровные деньги. Но нести было надо. «Отнесу», — пообещал себе Игорь Борисович. Впрочем, обещание не содержало в себе обязательного срока. Может, завтра, решил Игорь Борисович. Или еще когда... Но что-то и тяготило

его, будто бы он отчитываться должен перед кем-то за эту тысячу. Может быть, перед Любовью Николаевной? Не хватало еще. А вдруг и не из ее кошелька была та тысяча?

Однако он скоро забыл о Любви Николаевне. А возвращаясь со стройки, увидел, как извозчик бил лошадь. Извозчик и кобыла служили, видно, при складе стеклянной посуды, на телеге или на чем там, на конном прицепе, что ли, — колеса в резиновых шинах — были установлены в четыре ряда ящики с пустыми бутылками. Кобыла и так была измордованная, а свирепый мужик в черном тулупе все полосовал ее кнутом, впрочем, она все равно не шла. Среди выражений произносились и слова: «Когда я от тебя избавлюсь, старая кляча!» Каштанов хотел было вырвать кнут у мужика. Но не дотянулся. «Что ты делаешь, скотина! — закричал он. — Что ты мучаешь животное!» «Моя лошадь, — сказал мужик, успокоившись вдруг. — Что хочу, то и делаю. Купи себе лошадь, целуй ее хоть в зад. Да денег у тебя не хватит купить!» «У меня денег хватит! — возразил Игорь Борисович. — И на лошадь и на тебя в придачу!» Извозчик все же выразил сомнение по поводу богатств Игоря Борисовича, пришлось тому трясти в воздухе пачкой зеленых банковских билетов. «А бери ее к лешему! — заявил мужик. — За семьсот рублей». Каштанов тут же отсчитал семьсот рублей.

Пока мужик отвозил посуду на склад, Игорь Борисович нервничал, все не верил, что ему удастся выкупить животное. Однако сделка состоялась. Мужик освободил кобылу, протянул поводья Игорю Борисовичу. В воодушевлении находился Игорь Борисович, долгие версты от Бескудника до улицы Королева вышагивал он легко. Все вспоминал: нет ли у кого нынче либо на неделе дня рождения? Предположим, у Скорупы или у Добкина? Он лошадь преподнес бы в подарок. Но нет, торжества вроде бы ни у кого не намечалось. На Королева, у автомата, Игорь Борисович привязал лошадь к тополю, публика ходила смотреть на нее, пока Каштанов пил пиво и разговаривал. Но надо было найти животному крышу.

Во дворе дома Игоря Борисовича на Кондратюка пустовал гараж, хозяин его за пятьдесят рублей в месяц согласился сдать помещение в аренду. Игорь Борисович достал лошади и пищу — купил сена и овса у служителей павильона животноводства на Выставке.

Относительно жены, юной кабардинки, Игорь Борисович говорить не захотел. Сообщил только, что ее зовут Нагимой. «Нет ли у нее братьев?» — спросил я. «Есть. Три брата, в ауле под Нальчиком. А что?» «Да так...» — сказал я. И лишь добавил, что кабардинцы народ горячий, особенно братья юных красавиц. И коней любят. Все наездники — из Кабарды. «Ничего», — сказал Игорь Борисович и грудь распрямил.

А я вспомнил, что в своем утреннем монологе на кровати Игорь Борисович, по его словам, проклинал Татьяну Алексеевну Панякину. Возможно, что и тут Любовь Николаевна подстерегла некое мечтание Каштанова, оттого и возникла в жизни Игоря Борисовича кабардинка Нагима.

Многие ходили смотреть лошадь Игоря Борисовича (кто-то говорил, что и не лошадь, а коня). Михаил Никифорович, рассказывали, кормил лошадь овсом из ладоней и гладил ее по холке. Что же касается дяди Вали, то утверждали, будто он поставил лошади диагноз. Как раз напротив домов дяди Вали и Каштанова на Кондратюка в зеленом месте находилась известная в Останкине ветеринарная лечебница. Лошадь можно было отвести туда и проверить справедливость диагноза. Дядя Валя отверг это предложение, посчитав его унижительным. Он брался и лечить лошадь без ветеринаров и костоломов. Впрочем, лечить ее он был намерен не сейчас, тем более что недуг не был смертельным. В ближайшие недели дядя Валя полагал заняться лишь диагнозами. Лошади дядя Валя ставил диагноз сначала прикоснове-

нием, а потом и через обитую железом стену гаража. Показания вышли одинаковыми.

Иные посвященные останкинские жители, впрочем, их было немного, с интересом поглядывали на Михаила Никифоровича. Дядя Валя и Каштанов уже начали. Следовало ожидать, что и Михаил Никифорович начнет. А он не начинал.

В автомате в часы досуга крутились возле Михаила Никифоровича Шубников и Бурлакин. Действие галогенов серебра на организм Бурлакина так и не прошло, но Бурлакин уже не смущался засвечиваний и перестал носить мешок. «Ну, Миша, ты-то чего-нибудь такое отмочи!» — хитро шептал он Михаилу Никифоровичу. «А то ведь я не выдержу!» — громко добавил Шубников. — Отберу у тебя права! За свои-то четыре рубля!» Михаил Никифорович молчал.

— Сазана-то съели? — спросил я как-то Шубникова.

— Отчего же, — сказал Шубников. — Он живет в ванне. Вот какой стал!

— Мы его воспитываем, — добавил Бурлакин.

Такие времена наступили в Останкине. В ванне плавал и рос волжский сазан, в гараже квартировала лошадь. Причем Каштанов предполагал через месяц, коли позволит природа, начать пасти ее на Поле Дураков, возле дома-музея Сергея Павловича, а потом, возможно, и отправлять в ночное в Сокольники, на Оленьи пруды.

— А что же вы женщине следы портили? — спросил я Шубникова. Спросил, отчасти прикидываясь простаком. Я-то догадывался, зачем они портили следы.

— А затем! — сказал Шубников. — Дальше будет хуже. Увидите.

Менее всего я узнавал в те дни о Любви Николаевне. Иногда я все же встречал ее, но разговоров с ней не вел... Кое о чем сообщил мне Михаил Никифорович. Да, Михаил Никифорович временами был молчун, но все же не до такой степени молчун, как тургеневский Герасим. И однажды он в явной досаде рассказал мне о приходе в его квартиру участкового милиционера Куликова. Якобы было получено анонимное письмо с намеками о присутствии на жилплощади Михаила Никифоровича Стрельцова, в особенности в ночные часы, когда город безмятежно и доверчиво спит, таинственной женщины без прописки. Возможно, что и иноземки. Возможно, что и из страны с конвертируемой валютой. Куликов частично зачитал Михаилу Никифоровичу письмо. Михаил Никифорович услышал выражения, свойственные устной речи Шубникова и Бурлакина. Дать отповедь авторам письма и участковому, заявив, что никакой таинственной женщины не было и нету, Михаил Никифорович не мог, потому как женщина, и именно Любовь Николаевна, открыла дверь лейтенанту. Поняв, в чем суть деликатного прихода участкового, Любовь Николаевна, поначалу любезная и улыбкавая, несколько возмутилась, принесла сумочку и резко протянула Куликову паспорт, какие-то справки, еще какие-то документы. Из них и из слов Любви Николаевны Куликов и Михаил Никифорович узнали, что Любовь Николаевна Стрельцова придется Михаилу Никифоровичу племянницей, она дочь его старшего брата Николая, проживающего ныне в городе Ровно Украинской ССР; окончив институт, она два года работала в городе Кашине Калининской области, а теперь поступила в аспирантуру Московского стоматологического института, могла бы устроиться в общежитии, но участливый дядя Миша пригласил ее в свой дом. Штамп временной прописки был поставлен в паспортном столе пятьдесят восьмого отделения, где служил и лейтенант Куликов. Никаких сомнений документы и справки у него не вызвали, он стал шутить с Любовью Николаевной, на прощанье пожелал ей счастливой учебы и выразил мечтание, если у него заболит зуб, доверить этот зуб именно Любви Николаевне... «Ну вы наглеете! — заявил жиличке Михаил Никифоро-

вич.— Вы хоть санитаркой себя объявили бы, а то аспиранткой... Вы хоть бормашину-то от унитаза отличите?» Любовь Николаевна ответила, что она изучила паспортные порядки и что приезжая племянница-санитарка вряд ли бы имела право на временную прописку. «Ну ладно,— сказал Михаил Никифорович, надо полагать, строго.— Но чтоб больше ни о каком моем брате вы не вспоминали!..» Брат Михаила Никифоровича действительно проживал в Ровно и по стечению обстоятельств был там заведующим стоматологическим отделением больницы. «Как скажете, так и будет»,— согласилась Любовь Николаевна. Но особой почтительности в ее словах Михаил Никифорович не почувствовал.

— Может, она и аспирантские деньги получает?— предположил я.— А ты ей еще по рублю даешь.

Это предположение озадачило Михаила Никифоровича. Он долго молчал. Потом все-таки сказал:

— Пусть.

Однажды, когда кто-то стал рассуждать о простудах, я поинтересовался у Михаила Никифоровича, не подвержена ли Любовь Николаевна воздействиям весенней дурной погоды. Михаил Никифорович посмотрел на меня с неким удивлением и сказал: «Нет. Она крепкая, как тумбочка»; я хотел было спросить, почему именно как тумбочка, но Каштанов тут же стал говорить о повышении цен на Мальте.

11

2 мая Любовь Николаевна посетила пивной автомат на улице Королева.

Накануне дядя Валя поднял в воздух пятиэтажный кирпичный дом в Хованском проезде, возле входа на Выставку достижений. Через полчаса он поставил его на место, не повредив ни людей, ни их судеб, ни мебели, ни электрических проводов, ни системы водоснабжения и канализации.

Это было отчасти удивительно, потому как дядя Валя— все помнили — обещал теперь лишь ставить диагнозы и лечить.

В автомате Любовь Николаевна пробыла часа два. Стояла со всеми. Лишь однажды отходила в сторону по просьбе Михаила Никифоровича для частной беседы. Михаил Никифорович потом сообщил мне, что он решил сразу же предупредить Любовь Николаевну о возможных затруднениях. О том, что, если она собралась стоять в автомате и пить пиво, ей придется терпеть. Во-первых, терпеть матерные выражения, истребить которые здесь никто не в силах. Во-вторых, помнить, что пиво куда стремительнее арбуза, а туалет в автомате таков, что им могут воспользоваться лишь мужчины. Как решились сложности с туалетом, сказать не возьмусь, а вот выражений — в нашем по крайней мере углу автомата — в те часы не прозвучало ни одного. Все стали рыцарями, говорили, правда, медленнее, чем обычно, будто бы подбирали слова из чужого языка. Чувствовалось, что не чья-то чужая воля искажила словарный запас участников беседы, а виной тому — общее расположение душ.

«Отчего это Михаил Никифорович сравнил ее с тумбочкой?» — снова подумал я. Никак Любовь Николаевна не была похожа на тумбочку.

Очень приятная и ласковая стояла она в тот день с нами. И кружку с пивом держала изящно. Не портило ее место. Напротив, она облагораживала и само место и нас, постоянных посетителей. Погибших — в глазах иных жен — людей (почти никто из нас не имел автомобиля). Нынешних ее собеседников. Любовь Николаевна даже приняла участие в решении двух кроссвордов. Надо заметить, что кроссворды были не простые. Один в виде танка с пушками. Другой, из «Гудка», с железнодорожными смыслами. И не все слова в них

даже самые энциклопедически образованные любители смогли взять. А Любовь Николаевна, пусть и не сразу, эти слова отгадала. В частности, вспомнила, что «часть здания, выступающая за основную линию фасада», зовется ризалитом. И когда стали судить, какая же такая была первая киргизская опера, она без колебаний назвала «Ай-чурек», а сомневающимся напомнила и фамилию композитора Малдыбаева. Проще всего, как казалось мне, было ей сообщить нам имена всяких птиц, лесных, болотных, прочих. Хорошо известны были ей деревья и растения, в частности лекарственные и медоносные... Вполне возможно, что нынешняя Любовь Николаевна знала и о шагреневой коже и о Дориане Грее, которыми мы морочили ей голову совсем недавно. Было видно, что за последние недели представления Любви Николаевны о мироздании и его частностях углубились. Или расширились.

День был праздничный. Славно грело солнце. Кто-то заметил, что скоро в сквере возле автомата и на Поле Дураков вспыхнут одуванчики. Любовь Николаевна стала говорить о свойствах и запахах одуванчиков, потом о ландышах. Говорила она складно, с неким поэтическим чувством. С удовольствием говорила. Но вдруг замолчала. Будто спохватилась...

Позже, думая о 2 мая, я вспомнил, что на самом деле Любовь Николаевна в автомате говорила не больше других. А создавалось впечатление, словно она в разговоре главная.

Праздник уже устал, но совсем не иссяк и не утих. Люди, кто с Выставки, кто из Останкинского парка, кто из дубрав и оранжерей Ботанического сада, заходили в автомат семьями. Поздравляли знакомых и незнакомых. Случалось, ввозили и коляски с младенцами. Непременные воздушные шары, красные, лиловые, желтые, напрягали нити, готовы были, казалось, поднять коляски в выси. Иные из шаров обретали свободу, уплывали в предполоточье, качались там в воздушных струях беспечно, способствуя общему благодушию. Известная художница Жигуленко, хоть и пришла с приятелями в автомат (со мной раскланялась) в праздном настроении, не выдержала, достала из кармана кожаного пальто то ли открытку, то ли вчерашнюю телеграмму и фломастером стала что-то набрасывать на бумаге. Потом выяснилось, что все бывшее тогда с нами она хотела вместить в себя и выразить в линиях и в цвете. Осенью на Кузнецком мосту мы увидели ее картину «Праздник», и на холсте были мы с кружками и с сумками, и Любовь Николаевна, и коляски с младенцами, и лиловые шары под сводами.

А я смотрел тогда на как бы высвеченную изнутри вдохновением художницу и вдруг сообразил, что и Любовь Николаевна сегодня в кожаном пальто.

Кожаное пальто знаете сколько стоит? Иному кумиру дважды придется выступать в концертах минут по пятнадцать (не менее того), прежде чем он сможет приобрести натуральное кожаное пальто. А Любовь Николаевна уже являлась на встречу с нами в хорошей дубленке, возможно, что и в канадской. Да и платья, кофточки, брюки, однажды — джинсовый костюм, носила она отменные, вряд ли бы они вызвали презрительные усмешки останкинских модниц.

Подумал я тогда и о другом.

Менялись не только наряды Любви Николаевны. Менялся и ее облик. Вот сегодня носик у нее оказался вздернутый. Одежды — ладно, их и погода заставляла менять. Да и дамы, украсившие Москву, не могли не влиять на туалеты Любви Николаевны. Как подтвердилось позже, была она особой наблюдательной и азартной. Да и вообще женщина есть женщина... Но вот носик... Я помнил точно (хотя теперь, конечно, и имел причины для сомнений в этом), что в первые минуты посещения автомата Любовью Николаевной нос у нее был пря-

мой. Не большой, не малый, а совершенный. Приятно было смотреть на этот нос. Но вот пришла художница Жигуленко, сама по себе симпатичная, хотя шустрая и ветреная, со вздернутым носиком, и сразу, а может быть, и через полчаса, изменилась форма носа Любови Николаевны. То ли позавидовала Любовь Николаевна женщине, то ли понравилась ей ее внешность, то ли нечто родственное (вдруг и ведьминское?) почувала она в художнице. Словом, с носом ее случилась метаморфоза. И когда художница ушла, помахав мне своей талантливой рукой, нос Любови Николаевны прежним не стал.

И еще я вспомнил. В мартовский день, когда Любовь Николаевна вышла к нам впервые, из-под ее лисьей шапки на дубленку падали волосы золотисто-апельсиновые. Затем у нее была коса, тяжелая, как самородок. Вскоре волосы у нее стали темные и короткие. Потом опять была коса, и уже русая. Конечно, тут можно было вспомнить об услугах парикмахерских, о свойствах шампуней и красителей. Но я понимал, что всегда цвет волос Любови Николаевны был естественный, от рождения. И что коса, возникшая сразу после короткой стрижки, лежала на ее спине своя. При этом мысль о подмене у меня не возникала. Наверное, всегда это была именно Любовь Николаевна. Но как будто бы каждый раз и вариация на тему Любови Николаевны... То она являлась полная, то худая, как ветка карагача... Опять же на ум могут прийти соображения о нервной московской жизни, о невзгодах существования под одной с Михаилом Никифоровичем крышей, о недостаточной силе рубля для взятия сытного обеда, отсюда, мол, и колебания веса Любови Николаевны. Но нет, тут явно было нечто иное. Менялся и рост Любови Николаевны. (Я здесь не принимаю во внимание высоту ее каблучков.) То она была с Михаила Никифоровича, то ниже его на полголовы. И годы при разных встречах угадывались в ней разные. Порой она виделась (и была ею!) двадцатилетней женщиной, еще с надеждами, порой — совершенной и успокоенной дамой, а то и совсем девчонкой. И менялись линии ее бровей, рта, губ. То это были линии из журнала «Бурда», то они вызывали мысли именно о лесной тверской деревне. А вот теперь — вздернутый носик. Зачем это ей? Случайно ли так выходит из-за каких-либо особенностей натуры Любови Николаевны? Или мучается она, стремясь найти наиболее верное свое воплощение?

— Что это вы так смотрите на меня? — спросила Любовь Николаевна. Улыбка ее была отчасти одобряющая, а отчасти строгая.

— Да нет... Это я так... — растерялся я. — У вас есть вкус. Вы любите хорошо одеваться?

— Да... люблю... — теперь уже смутилась Любовь Николаевна.

— Я знаком с Зайцевым, — сказал я. — Вы слышали о нем?

— Да, — кивнула Любовь Николаевна.

— Я могу рекомендовать вас ему. Если вы захотите что-нибудь у него сшить.

Мне сразу же стало стыдно. Желая быть приятным Любови Николаевне, я теперь просто хвастался. Это жена моя была знакома с блистательным модельером, брала у него интервью.

— Правда, его работа дорого стоит... — нерешительно добавил я. — И сейчас его нет в Москве. Он вместе с Волчек готовит «Вишневый сад» в Веймаре...

— Но ведь он скоро вернется?

— Да... Конечно... — пробормотал я. — Если он куда-нибудь еще не унесется... В крайнем случае я познакомлю вас с моей женой. У нее все последние журналы мод...

Вовсе я не был намерен знакомить Любовь Николаевну и с женой. Да и жена бы, наверное, отнеслась к моему пособничеству в модных делах Любови Николаевны холодно, а то бы и поставила меня в угол. Однако остановиться я не мог... Любови Николаевне учуять бы мое состояние, а она охотно согласилась увидеть модные жур-

налы и дала при этом понять, что журналы журналами, а встречу с Зайцевым заменить они никак не смогут.

— А вот вы, Любовь Николаевна,— восторженно вдруг финансист Моховский,— начали говорить про одуванчики. Про их целебные и питательные свойства... Вы считаете, что они выгоняют желчь?

— Выгоняют.

— Это вы по Ковалевой?

— По какой Ковалевой? — удивилась Любовь Николаевна. Но тут же как бы и вспомнила:— Да, по Ковалевой. И еще по Туровой.

— Турова куда суше в описаниях,— сказал Моховский.

— Корни и трава одуванчика,— заговорил Михаил Никифорович, и словно бы аптекарская шапочка возникла на его голове,— находят применение как горечь для возбуждения аппетита при анорексиях различной этиологии и при анацидных гастритах для повышения секреции пищеварительных желез. Рекомендуются также применять в качестве желчегонного средства. Корни используются и для приготовления пилюльной массы.

— Понял? — обратился к финансисту Моховскому Собко.— Гони из себя желчь. Или жуй одуванчики. Или закажи у Михаила Никифоровича пилюли.

— А, скажем, полынь? — то ли Любовь Николаевну, то ли Михаила Никифоровича спросил таксист Тарабанько.

— Полынь! — обрадовался Собко.— Полынь — это абсент.

— Полынь,— сказала Любовь Николаевна,— бывает горькая, мельчатая и таврическая.

— Смертельная доза сухой полыни,— строго сказал Михаил Никифорович,— равна двумстам пятидесяти — двумстам семидесяти граммам. Во время похода в Персию Петр Первый возле Кизляра потерял за ночь пятьсот лошадей, накушавшихся полыни таврической.

— Это ихняя, таврическая! — возмутился Собко.— А наша-то горькая чем плоха?

— Из нашей горькой,— сказал Михаил Никифорович,— выходят препараты, полезные при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Они рекомендуются также для улучшения аппетита после перенесенных истощающих заболеваний...

— Ну! — восторжествовал Собко.— После истощающих заболеваний! А я что говорю!

— А вот лебеда... — опять вступил таксист Тарабанько.

— Погоди! — сказал Собко.— Мы не кончили про полынь..:

Однако видно было, что все хотели говорить про лебеду. Иные из нас росли в войну или после войны и знали лебеду. Кто-то стал лебеду бранить, сравнивать ее пренебрежительно с капустой. Но нашлись и почитатели лебеде. Все в их детстве было хорошим, куда лучшим, чем в годы зрелые, щи из лебеде в частности. Впрочем, большинство из постояльцев автомата выглядели нынче скорее упитанными, нежели тощими, и мысли о лебеде, корнях айра, крапиве казались больше баловством, а не напоминанием о горестной поре. И Михаил Никифорович стоял достаточно плотный, хотя питался в последние годы в столовых, где натуральная лебеда, айр, крапива могли и поспорить с блюдами, интересно названными в меню. И предположить можно было, что не одну лебеду Михаил Никифорович ел в детстве. А еще и картошку.

— И картошку,— согласился Михаил Никифорович.

Он заулыбался и стал вспоминать, как он ел картошку. Протяженные рассказы противопоставлены пивной. И теперь Михаил Никифорович говорил недолго, но мы уже знали кое-что о его детстве. А я нечто и домысливал. Вот о чем был рассказ.

Многого из войны Михаил Никифорович по малости лет не помнил. Но как и что ел — помнил... Была зима сорок второго. Февраль, на-верное. Лежал большой снег. Однажды поутру немцы стали сгонять

всех ельховских жителей на площадь. К церкви? Нет, не к церкви. Было у них в Ельховке две церкви, обе на концах деревни, километра два меж ними, сейчас их нет, пошли на щебень. Сгоняли к сараю, тот до войны и после нее был колхозным клубом. Гнали прикладами, люди и бежали. Погнали и мать Михаила Никифоровича. То есть какой он тогда был Михаил Никифорович! Ему, Мишке-то, неразумному, сидеть бы в тепле, а он бросился вдогонку за матерью. В одной рубашке, босой, с голым задом. Провалился в сугроб, пополз по снегу. Дурак был четырехлетний. Соседка Евдокия Николаевна, тетя Дуся, увидела Мишку, подхватила его, на площади у клуба передала матери. На руках у нее Мишка и просидел всю казнь. Расстреливали двух наших, окруженцев, пробиравшихся, наверное, к линии фронта. Каких красноармейцы были лет, он не знает. Потом он не раз вспоминал о них, сам строил предположения, что и как было тогда, спрашивал мать, и теперь его догадки и опыт взрослого добавились к запечатленному в сорок втором. Теперь ему виделось, что один был совсем молоденький, второй — пожилой. А немцев стоял взвод. Может, и больше. Человек двадцать. Не человек. Солдат. Тот, молоденький, не дожидаясь залпа, дернулся первым. И побежал. Пожилой не сразу, но бросился к лесу. Молоденького застрелили быстро — у мелового оврага, оттуда брали мел на побелку хат. А пожилой добежал почти до леса. Но и в лесу бы он не спасся. Лес малый, степной... Каково тем бабам было смотреть! Им и кур-то резать страшно. Да и не в страхе дело. У каждой муж или сыны в армии... Похоронили наших там, где они упали. С одного, с пожилого, сняли тулуп, в крови, отдали зябнущему парню из Старковых. Носи! А что? Жить было надо... В тот день мать и накормила Мишку картошкой. Скотину, все харчи немцы забрали, припрятанной картошкой мать тянула до весны, до зелени, из очистков картофельных пекла олады, в супы и на варено шли сушеные травы и корни. А в тот день мать разрыдалась и отварила картофелин десять. Крупных. Была еда. Память — на всю жизнь. О тех красноармейцах плакала мать, о себе, о муже, Мишкином отце, в армию он ушел в июле сорок первого. Плакала и о других. О дяде Мишкином, наверное, плакала, старшем отцовом брате, Павле Ивановиче. Месяц назад по чьему-то доносу немцы искали партийца Стрельцова Ивана Павловича, а пришли к Павлу Ивановичу. Переводчик шел с ними плохой, понять или объяснить толком ничего не смог, отцова брата увели и расстреляли... Потом Мишка долго не ел картошку. И еще были годы голодные. Сорок седьмой среди них. Его Михаил Никифорович помнил уже хорошо. Щи были именно из лебеды и из крапивы. Из крапивы вкуснее. Молока хватало лишь плеснуть каждому в тарелку — щи все же получались беленые. Дети в Ельховке пухли, болели, соседская девочка, дочь тети Дуся, умерла. А Мишке повезло. Отец каждый год брал его с собой в Дом инвалидов войны.

Отец воевал под Ленинградом. Рядовой пехоты. Пеший пехотинец. Выдержал чуть ли не все горькие дни блокады. Часто, ну как часто, по очереди, наверное, а может быть, и чаще других, с термосом за плечами ходил с передовой к кухне за обедом. Однажды его и подстрелили. Как поленом ударило по ноге. Перебили сухожилие. Отец упал, потерял сознание. Свои, голодные, поползли из окопов навстречу и нашли. На машине вместе с ранеными, вместе с женщинами и детьми отвезли на Большую землю. А там в тыл, в пермские края, в Кудымкар. Если бы сразу соперировали, может, нога и осталась бы живой, теперь-то швивают, а тогда потеряли время... И все же в Кудымкаре его выходили, сначала в госпитале, а потом в доме у одной женщины, пермячки, отец всю жизнь благодарил пермяков. Там таких, как он, калек после курса лечения передавали в деревни на содержание. Одна женщина и кормила его. Молоко, картошка, что еще надо? А потом, когда освободили курскую землю и война по-

шла дальше, в Ельховку отправили письмо. Так и так, живы ли? А если живы, не сможете ли принять раненого мужа и отца? И вот, в сорок четвертом уже, прибыла в деревню повозка и на ней Никифор Иванович Стрельцов с медсестрой. «Принимайте раненого»,— сказала медсестра. А какой он раненый, никто не знал. Костылей не нашлось. Кое-как доставили отца в хату. Собрались родственники, уцелевшие приятели, бабы. Сидели хорошо. Понятно, возник и самогон. Отец, правда, почти и не пил. С блокады мучался желудком. Выпьет полрюмки, а его выворачивает. От желудка через четверть века он и умер. Страдал, не ел дней десять, икал и умер.

А тогда отца устроили в колхозе ночным сторожем. Он ходил в правление, это почти напротив их дома, спал там. Научился шить тапочки, катать валенки. Правда, катал не слишком крепко оттого, что катал сидя. Каждый год он обязательно ездил в Курск на два, на три месяца в Дом инвалидов войны. Поначалу его пробовали лечить, делали операции, колдовали ортопеды, старались, чтобы из его ноги вышел хотя бы протез. Не вышел. Дом инвалидов стоял на горе, возле собора, если кто знает Курск, на улице Добролюбова, у кинотеатра. В сорок девятом его закрыли, устроили поликлинику. А после войны фронтовиков там не лечили, а сохраняли. Мишка ездил в Курск с отцом. Он был самый малый в семье, поздний ребенок, так хоть этот рот надо было брать в сытное место, коли можно было брать.

В Доме инвалидов имелась комната для родственников калек или для людей, привозивших калек в Курск. Там они ночевали, несколько дней их кормили. Мишка же каждый год оставался с отцом на весь срок. Спал с отцом на кровати. Был как свой. И вот отчего. Палата считалась тяжелая. В ней всегда жил Самовар, Герой Советского Союза, человек без рук и без ног. Лежать с ним в палате многие отказывались, а Мишкин отец соглашался. Оттого и прощали его, Мишку. Самовар кричал иногда, просил убить его, пристрелить или отравить. Жена отказалась от него. Дети? Но они были еще малые, двое их. Запомнилось Михаилу Никифоровичу, как Самовар читал. Над его лицом укрепляли рамку с досочками, туда и клали книгу. Мишка переворачивал страницы. Самовар читал вслух. Мишкин отец был неграмотный, слушал чутко. Как-то к Самовару приезжал генерал. Самовар спас генерала, тогда его и изранили. Тот генерал узнал Мишкиного отца. В первую мировую они служили вместе. Уже в гражданскую охраняли мост через Волгу под Сызранью. После гражданской им, молодым красноармейцам, предложили учиться. Мишкин отец поспешил домой, знакомец же его согласился на курсы... Все обстоятельства жизни Дома инвалидов ему, Мишке, были хорошо известны. То и дело его о чем-то просили, а то и поручали что-то. Да и сидеть все время в одной палате было бы ему скучно. Его прозвали медбратом. Просьбы-то, впрочем, были простые: позвать медсестру, подать то да се. Мал он был, чтобы делать большее. Однако делал все, о чем просили. Жалел он калек. Они были, как отец, а отца он любил.

— У меня тоже отец был без ноги,— сказал я, растолкав слова Михаила Никифоровича. Сказал я как бы для самого себя, подумал вслух. А вышло неловко. Будто я со своим отцом намерен был пристроиться к рассказу и судьбе Михаила Никифоровича.

Но Михаил Никифорович лишь кивнул мне и стал говорить дальше. О том, как хорошо и вкусно кормили в Доме инвалидов, как они с отцом отъедались там. Пока не полегчало в сорок восьмом. А какие в Доме инвалидов давали кисели и суфле!.. Впрочем, выяснилось, что и мать Михаила Никифоровича Антонина Васильевна умела готовить кисели. Не хуже курских. Из дикого терна, в частности, коли случалась ягода (терн у них в деревне шел и на настойки). Выходили кисели и из корня лопуха. Корни лопуха мать и пекла, и жарила, прежде отварив в подсоленной воде, и делала из них повидло — застывшее, оно походило на мармелад, с которым Михаил Никифорович

познакомился впервые в юношеском возрасте, когда уже щупал девок... Тут Михаил Никифорович замолк, покосился на Любовь Николаевну, но та проявила деликатность, и Михаил Никифорович быстро сказал, что в их семье вообще понимали в травах и корнях, и его мать, и бабушка, и их, наверное, матери и бабушки. В голодные годы к ним приходили за советами, что можно и что нельзя и как стряпать, мать объясняла, а все равно стол у нее получался богаче. Были у них дома салаты из свербиги восточной, а проще — дикой луговой редьки с желтыми цветами, собранными в кисточки, и салаты из ярутки, из чертополоха со щавелем, и из сердечника лугового, и из молодых листьев кровохлебки. Молола мать муку из корней кубышки желтой, или — по-дачному — кувшинки, их Мишка добывал на речке, знал тихие места, из той муки пекли лепешки, жарили котлеты, рекой они, казалось Мишке, и пахли. Жарили и пекли не только корни лопуха, но и клубни зопника и корни лапчатки гусиной. Корневища же розга иногда тушили с картошкой. А уж на чай шли многие травы...

— Это какой еще зопник? — выказал удивление Моховский.

— А вот такой, — сказал Михаил Никифорович, — с метр высотой, рос в кустах, но у нас редко, стебель лиловый, а цветы розовые, чуть беловатые. Выкопаешь корни, они тоненькие, а на них катыши — клубни. Горькие. Но хорошо прогреешь — и горечи нет.

— Слово-то какое грубое! Зопник! — поморщился Моховский.

— Хорошее слово, — сказал Михаил Никифорович.

— Нет, дрянь! — стоял на своем Моховский.

Но было заметно, что разговор о ельховских кушаньях вызвал у слушателей мысли о доме, о кухонных столах, о закусках из праздничных заказов, еще мерзнущих в холодильниках. И, конечно, о фюрэчем. Было удивительно, что мы так долго молчали, а Михаил Никифорович так долго говорил. И еще. К Любви Николаевне, если помните, он относился строго, порой и с раздражением, причины которого угадать я пока не мог. Нынче они стояли рядом мирные. Будто семейные. А когда Михаил Никифорович говорил о травах и печеных корнях, Любовь Николаевна смотрела на него чуть ли не с обожанием. Словно притихший болевщик «Спартака» на вратаря Дасаева... А за словами Михаила Никифоровича вставали картины, многим знакомые. Растрогали нас отчасти его рассказы...

Тут нечто случилось с нами. Все шумы исчезли из пивного автомата. С улицы Королева. Из Москвы.

И мы замерли. И никого вокруг себя не видели. Будто каждый впал в состояние нирваны. Впрочем, это я потом предположил, что каждый. Тогда-то я подумал, что самопогружение внутрь себя, в глубины собственной сути и жизни, произошло только со мной (а может, и вообще не думал об этом). И слово «нирвана» здесь неточное. Нирвана — скорее сладостное и горестное забвение, остановка мысли и чувств. Здесь же забвения не было. Движения мысли продолжались. И некие видения стали возникать во мне. Рассказы Михаила Никифоровича вызвали и воспоминания. Поначалу о детстве. Воспоминания эти и никогда не покидали меня, нынче же они явились как ожоги и как доброе прикосновение женской руки (или души?). Вот мать на теплой террасе теткинго дома в Яхроме подбрасывает меня чуть ли не к потолку (так мне тогда казалось) и ловит, я вижу — от страха, от удовольствия, — и громкие летние мухи с обидой разлетаются. Вот пароход везет нас в эвакуацию, я на палубе прижался к матери, нижегородский берег горит, туда, где автозавод, где делают «эмки», падают бомбы, в небе огненно и на земле огненно и черно, воют самолеты, световые столбы вцепились в небо. Страшно... Вот ноябрьским днем отец ведет меня на «Динамо», сорок пятый, зябко, то ли снег, то ли дождь, асфальт мокрый, черные резинки на костыле и палке отца не дают ему скользить, финал Кубка, играют ЦДКА и «Динамо», титаны и рыцари, в перерыве отец пьет пиво, а я, давась от

жадности и счастья, жую горячие сосиски с белой булкой, о чем я мечтал всю войну и всю жизнь и о чем я всю жизнь не могу забыть... Потом были видения отроческих лет. Видения любви... Возникали и видения странные, грезы какие-то, словно бы музыкальные или цветочные выражения нестойких, случайных моих дум и смятений или же, напротив, коренных моих житейских исканий. Виделись мне люди близкие и неприятные мне люди, виделись друзья, какие есть и каких уже нет, виделись мимолетные знакомые. Виделись звери, цветы, деревья (лябры, отчего-то я подумал тогда — с чего вдруг? почему? Лябрами называли деревья мастера шпалерной мануфактуры в Петербурге в восемнадцатом веке, я читал об этом, потом забыл и вот вспомнил)... Чего только не увидел и не почувствовал я. И испытал я тогда некое просветление. Будто бы вот он наконец я истинный. Каким я себя хотел бы видеть и каким я нужен людям. Будто бы мне нечего в себе стыдиться, нечему в себе отчаиваться, будто бы я все сделаю, что мне предназначено, и для себя и для людей. Или уже делаю... Высокий был миг.

Какая-то зеленая птица с красной головой, видел я ее в Пуще-Водице под Киевом, а имени не узнал, пролетела мимо меня, холодные капли стряхнула с голубых веток ели... И все зашумело.

Я очнулся. Я был в пивном автомате на улице Королева.

Я посмотрел на своих знакомых. Сколько времени я отсутствовал здесь и был в себе? Час? Два? Год? Или минуту? Или мгновение? Не знаю... Тут я заметил, что и знакомые мои тоже как бы смущены. У иных же лица были напряженные. Или растерянные. А Михаил Никифорович стоял задумчивый. На него и глядели теперь посетители автомата.

На Любовь Николаевну, похоже, в те минуты никто и не взглянул.

12

4 мая день был рабочий, и именно 4 мая закрыли на улице Королева пивной автомат.

Сначала думали, что недоразумение. Что, наверное, после праздников на Останкинском заводе кончилось пиво. А до Бадаевского далеко. Стояли у дверей в ожидании. Жаждающих было немало. Кто имел отгулы. Кто шел на работу вечером. И горло у многих пересохло.

Я проходил мимо. Постоял со всеми.

Оказалось, не все кроссворды в суете праздников были решены, теперь пришла и их пора. Иные вопросы вызывали досаду, до того коварными представлялись их составители. В частности, «Водный транспорт» озадачил видом конденсатора, последняя буква «д». Нет, говорили, таких видов конденсатора. А среди думавших были и знатоки конденсаторов.

— Есть на «д»! — горячился таксист Тарабанько. — Есть! Я знаю! Только забыл. Вот в тех телефонах, которые барышни соединяли...

Когда-то на каких-то курсах Тарабанько разбирал телефонный аппарат времен бруслиовского прорыва, и был в нем конденсатор с последней буквой «д». Лесков заявил, что на тех аппаратах вообще никаких конденсаторов не было. Тарабанько возмутился, стал рассказывать, что они на курсах только тем и занимались, что вертели динамомашины и подзаряжали конденсаторы, правда не на «д», а другие. Однажды он замкнул пальцем проволоочки, его так тряхнуло, только что не взорвало и не сожгло. Он пришел в себя, обрадовался свежей мысли и в день полочки сунул три заряженных конденсатора в карманы пиджака, два в боковые, один во внутренний. Его разбудили крики жены. Жена оказалась натурой упрямой и отважной, за что Тарабанько стал уважать ее еще больше, — она разрядила все три конденсатора. С тех пор в его карманах она ничего не ищет. Мрачный шофер Коля Лапшин сказал, что можно отучить жену лазать по карманам и

другим способом. Он не сразу, но заметил, что в его карманах стала бывать женская рука. Он обиделся. До того он любил свою жену, что не мог ожидать от нее никакой низости. Публика удивилась. Коля Лапшин обычно рекомендовал себя жестоким мужчиной, убийцей, насильником, бандитом, а тут мы услышали о его тонких чувствах, пусть хоть к жене. Лапшин подтвердил, что да, любил, и не просто любил, а сильно любил, так любил, что даже расширил для нее туалет. Дом у них пятиэтажный, панельный, туалет известно какой, а жена у Лапшина метр пятьдесят ростом, но если приложить рулетку к ее заду, сантиметров окажется, может, и не меньше, за что Лапшин, в частности, ее и любил. В туалет она входила боком, маялась. Лапшин с трудом, но расширил туалет за счет ванной. И вот при такой его любви она стала шарить в его карманах. Деньги он всегда носил в верхнем кармане пиджака. Когда он стоял, достать их оттуда ей было трудно. Когда же лежал или вешал пиджак на стул — что ей стоило их достать? Ну ладно, сказал себе Лапшин. И в день полочки наломал три лезвия «Балтики», сунул в карман. Утром обломки бритв там лежали, а денег не было. Пальцы жены оказались забинтованными. «Что это?» — спросил Лапшин. «Да так, — сказала жена, — обожглась». «Нужка разбинтовывай!» Понятно, что на пальцах были порезы от лезвий. «Поняла? — спросил Лапшин. — И верни деньги владельцу!» С той поры его карманы стали для жены запретной зоной... В очереди нашлись практики, поставившие под сомнение способы Тарабанько и Лапшина отстаивать свою финансовую независимость. Можно, сказали, и без конденсаторов и без бритв. Можно, предположим, с помощью валерьянки. Как это делает летчик Герман Молодцов. Молодцов был теперь в полетах, и о валерьянке вспоминали с его слов. Молодцов холостой, жил с матерью, ей всегда и отдавал деньги. Мать его, старенькая, рассеянная, часто не помнила, куда их прятала. Молодцов, чтобы не беспокоить мать, прежде чем отдать ей деньги, серьезно смачивал их валерьянкой. Когда возникала необходимость пополнить карманный фонд, Молодцов брал кусок колбасы или рыбы, выходил во двор и приманивал в дом корыстного кота. Попадались коты, какие тут же угадывали место залежи. Бестолковые же по полчаса мыкались в комнатах. Потом коту, естественно, доставалось под зад ногой, а Герман Молодцов оказывался при средствах.

Разговоры эти никак не подвинули знатоков к решению кроссворда в «Водном транспорте», хотя сведения о пользе динамо-машины и в особенности о заде лапшинской жены и произвели на некоторых сильное впечатление. Но пусть так коротали время. Двери автомата не открывались, никаких движений в недрах его не возникало, и машина с пивом — ни с Бадаевского завода, ни даже с Очаковского — не прибывала.

Кто-то сказал, что, наверное, сегодня в городе вообще нет пива. Разведчики отправились в павильон у Крестовского моста, или в «Кресты». Там давали не только пиво, но и креветки. Тогда-то и возник слух, что автомат закрыли совсем. Лапшин знал, где живет одна из уборщиц, пошел к ней на квартиру, уборщица подтвердила: «Закружи!» Позвонили из треста, сказали — все. Теперь на Королева, пять будет то ли галантерея, то ли диетическая столовая, то ли архив райотдела милиции.

Вечером — до восьми часов — толпа мужчин стояла у дверей автомата не сломленная, но удивленная. Можно было ожидать брожения умов. Но нет, кто-то предположил, что в стеклянном магазине на Аргуновской может кончиться и бутылочное пиво. Туда толпа и хлынула.

Мертвым был автомат и в День Победы. О причинах его закрытия никаких объявлений не делали. Некоторые полагали, что закрыли из-за иностранцев. По Королева ходят стада их от метро и до башни, к столикам на «Седьмое небо». Глядишь, забредут в автомат — и что увидят? Большинство же грешило на жильцов дома номер пять. Не на

всех, конечно. А на особенно оголтелых общественников. Те не одну жалобу направляли в низкие и высокие учреждения. Вспоминали, что и перед выборами автомат был под угрозой. Жильцы-будораги — а их якобы раздражали голоса посетителей пивной — куражились и грозили не явиться к избирательным урнам. Теперь и без урн они добились своего.

«Никакие это не жильцы! — заявил, однако, при народе Михаил Никифорович. — Это она, стерва!»

13

3 мая утром Михаил Никифорович ушел на работу. На Любовь Николаевну зла он тогда не держал. Напротив, после вчерашнего стояния в автомате он испытывал к ней чуть ли не нежность. «Душа у меня к ней лежала», — сказал мне позже Михаил Никифорович. Утром она даже показалась ему отоцавшей. Михаил Никифорович пожурил себя, пообещал сегодня же вечером накормить Любовь Николаевну мясом. На самом деле он ни разу не порадовал ее московским хлебоиспечением.

Мысль об угощении не покидала Михаила Никифоровича и на работе. Трудился ли он у окошка рецептурного отдела, брал ли порошки с вертушки, ходил ли в ассистентскую или материальную комнату, он не забывал о мясе. Хотел в обед выскочить в магазин, но его позвали на заседание группы народного контроля — сегодня предстояло говорить об экономии электроэнергии. Михаил Никифорович вздохнул, сказал себе: «Ну ладно, после работы». Никаких происшествий в тот день в аптеке не случилось. И не было особенных покупателей. Запомнился Михаилу Никифоровичу лишь один взволнованный парнишка. Впрочем, парнишка оказался отцом двухлетнего Васи. Вася простыл, кашлял, Михаил Никифорович выдал отцу микстуру от кашля. Тот не отходил. «А вот, говорят, от кашля помогает, — заторопился он, — отвар веток багульника. А?» «Помогает, — сказал Михаил Никифорович. — Надо порубить ветки багульника и отварить вместе с алтеем». «С чем?» «С алтеем. Трава такая. Подойдите к штучному отделу, у них есть». Михаил Никифорович рассказал, как готовится отвар. А парень все стоял. «Вот еще, — сказал парень. — Говорят, есть очень полезная трава. Трава меланхолия». «Меланхолия? — спросил Михаил Никифорович. — Может, вам сказали — хаммомия? Это ромашка». Михаил Никифорович стал объяснять, что меланхолия — это определенное состояние человека, но парень твердил свое: «Нет, мне точно сказали!»

«Трава меланхолия, трава меланхолия... — повторял Михаил Никифорович, оставив в аптеке халат и направляясь к продовольственному магазину. — Трава меланхолия...» Он прошел метров сто по улице Кирова и увидел Сергея Четверикова. С Четвериковым Михаил Никифорович учился в Харькове в фармацевтическом. В столице оседали не только харьковчане, но и знакомые Михаилу Никифоровичу киевляне, крымчане, магаданцы. Всякие. Четвериков, завоевав Москву, года три работал в аптеке рецептаром, стал заведующим отделением готовых форм, но посчитал, что он уже взрослый мужчина и на аптекарские копейки жить ему не резон. Пятый год он санитарный врач. Четвериков и Михаила Никифоровича призывал образумиться, он бы помог однокашнику добыть приличное место. Доказательства его житейской правоты были теперь у Четверикова в руках. Его хозяйственную сумку растянули приятные на вид упаковки, а могучий черный портфель разнесло.

— Куда направился? — спросил Четвериков.

— Да так... — смутился отчего-то Михаил Никифорович. — Мясо надо достать...

Тут Четвериков обеспокоился, взглянув на сумку и на портфель, будто бы Михаил Никифорович претендовал на его добычу. Сказал быстро:

— А ты к Петьке Дробному зайди.

— Может, и зайду... — кивнул Михаил Никифорович.

И они разошлись... «И вправду, что ли, к Дробному?» — задумался Михаил Никифорович. Он не хотел идти к Дробному, не в его это было правилах. Но взглянув в четыре магазина, понял, что принесет домой лишь кости, в лучшем случае — обрубок грудинки для щей. «Зайти, что ли, к Петьке? — затосковал Михаил Никифорович. — Посмотреть, что у них в магазине?» Он свернул в Банковский переулок и вышел к зданию, где рубил туши Петя Дробный.

Мясо в магазине было, на глазах Михаила Никифоровича принесли два полных лотка. Но и очередь была. Ощущая неловкость, Михаил Никифорович подошел к прилавку, смиренно спросил продавца: «Петр Иванович сегодня работает?» Спросил с надеждой, что не работает. «Тут он, — сказал продавец и бросил подсобику, черному халату: — Позови Петра Ивановича!» В очереди привычно молчали: что сердить кормильца, да и каждый небось в своем месте тоже вызывал такого же Петра Ивановича. Дробный пришел не сразу. Михаил Никифорович заметил, что он в возбуждении. «Ну что тут у вас?» — сухо спросил Дробный и продавца и очередь. Несмотря на то, что белый халат его был запачкан красным, Дробный производил впечатление не кого-нибудь, а именно директора магазина. «Ну что тут у вас? — спросил он уже устало. — А вы, — обратился он к Михаилу Никифоровичу, — пройдите ко мне в кабинет. Нет, нет, не здесь, а через парадный подъезд».

«Зачем я припелся сюда!» — ругал себя Михаил Никифорович, однако обогнул магазин и подошел к черному ходу. Дробный уже ждал его в дверях, сказал: «Давай, давай, быстрее! А то мне сейчас надо рубить». Мясницкая помещалась в подвале со сводами, была хорошо освещена, и Михаил Никифорович сразу же понял, отчего Петя Дробный, всегда корректный и холодноватый, показался ему нынче возбужденным.

Рубили деньги.

То есть какие деньги. Так, рубли. В мясницкой стояли четыре колоды. Четыре стула, на языке Дробного. А рубчиков было пятеро. Находился при них и шестой, черный человек в очках, лет тридцати пяти, но он выглядел наблюдателем. Черный человек в очках, как выяснилось позже, был известный хирург Борис Шполянов, остальные же, как и Петр Иванович Дробный, служили рубщиками мяса. Одного из них Михаил Никифорович через Дробного знал. Фамилия его более подходила для молочного магазина — то ли Маслов, то ли Сметанин. Он окончил университет на горах, работал ядерным физиком, а потом пошел в мясники. Трое же других соперников, как вскоре узнал Михаил Никифорович, были мясниками по образованию. Что же касается Пети Дробного, то он, как и Четвериков, учился вместе с Михаилом Никифоровичем в Харькове, но на педиатра. Диплом получил с отличием, чего и теперь в разговорах не стыдился. Петр Иванович Дробный был всегда изящен, знал манеры, ассистенты Бондарчука вполне могли пригласить его для съемок сцен в салоне графини Шерер. Халат, запачканный кровью скотины, не портил его. Рубашка под халатом была свежайшая, галстук Петр Иванович завязывал без единой морщинки. Побывав года три назад в гостях у Дробного, Михаил Никифорович был удивлен его книжными богатствами, в том числе изданиями по искусству. «Что касается книг, — сказал тогда Дробный, — то тут я запойный». Собирал Дробный и живопись. Икон не держал, считая их приобретение делом пошлым, а вот за портретами начала девятнадцатого века охотился. А уж конца восемнадцатого тем более. Интересовали его и художники круга Александра Ивановича Ве-

нецианова, «русский бидермайер», как разъяснил Дробный. Как бы между прочим, но и не без удовольствия представил он Михаилу Никифоровичу раму, купленную у известного мастера за восемьдесят рублей. Рама висела пока без холста. Была хороша и сама по себе. «Для такой рамы,— сказал Дробный,— нужен либо Глазунов, либо Шилов». На Глазунова Дробный уже выходил, но ничего не купил, на Шилова же его только обещали вывести. Вполне возможно, раме предстояло совместиться с портретом самого Петра Ивановича Дробного. Что ж, он того стоил...

Дробный надел фартук из серой клеенки, ему предстояло разделывать говяжью и бараньи туши. Остальные же были и без халатов. Один из мясников, толстый короткий мужчина по прозвищу Росинант, как-то лежал в клинике доктора Шполянова, попал туда с острым животом. Шполянов его спас, сделал рискованную операцию. «Доктор, вы — ювелир,— сказал ему Росинант,— но и мы не лыком шиты, вы вряд ли разрубите рубль по-нашему...» Вот теперь хирурга и пригласили в мясницкую. Топоры (тупицы, как их называл Дробный) — и Михаил Никифорович в том убедился — были наточены на совесть, делом занимались люди серьезные.

Михаил Никифорович в годы юности попадал и в помощники экскаваторщика. Помнил, как большие мастера на спор поднимали ковшами карманные часы, среди прочих и женские. У мясников были свои нравы. Рубль у них полагалось разнести топором так, чтобы ни один клочок государственной бумаги не вмялся в раздробленную, шершавую, чуть ли не клыкастую поверхность колоды. И не приклеился к ней. Хирург Шполянов на глазах Михаила Никифоровича дважды махал топором и дважды, к удовольствию мясников, вминал раскрошенный рубль в колоду. «Это вам, доктор,— радовался Росинант,— не людей потрошить!» Шполянов, и сам по себе, видно, застенчивый, улыбался виновато, говорил, что устал за праздники, дежурил оба дня в клинике, вчера сидел в реанимации с больной до двенадцати ночи. Объяснения его серьезными не посчитали. «Давайте я,— сказал Дробный,— мой черед». Однако явился подсобник, очередь требовала мясо. «Ну ладно, сейчас»,— сказал Дробный. Место его занял мясник-физик, то ли Маслов, то ли Сметанин. Дробный с подсобником уложили на колоду баранью тушу, по жиру видно, что новозеландскую. Физик разместил на своей колоде три рублевых бумажки, но не поднимал топор, а словно бы поджидал работы Дробного. Дробный и начал. Он был артист. Михаил Никифорович ни разу не видел, как он рубил, а тут увидел. Дробный не суетился и не нервничал, движения его были с некоей долей небрежности или даже высокомерия. К кому? К чему? К делу ли своему полезному, к судьбе ли своей, к людям ли, заставившим его возиться с тушей, к миру ли всему, к художникам ли, чьи холсты еще не оказались в его рамах, к красной ли бараньей плоти? Не ухал Дробный, как делал потом Росинант, и не испытывал каких-либо напряжений. Взмахи его были моментальны и изящны, туша лежала перед ним мороженая, кровь не стекала с дубовой, словно бы выросшей из бетонного пола колоды. Или плахи. Впрочем, отчего плахи? Не казнь тут была, а именно раздел туши. Но, может быть, и казнь? Второе разрушение, второе исчезновение живого недавно существа, брата меньшого, части природы, творения, возможно, и случайно возникшего после стараний или игры чьей-либо воли или возникшего не случайно, а в результате неизбежного движения материи. И вот теперь это бывшее живое существо сокрушалось ударами топора Дробного, рассекавшего мышцы, сухожилия, кости, нервы, сосуды, хрящи убитой уже кем-то другим части природы, предназначенной для поддержания жизненных токов в иных существах, жестоких и хищных. В некоего исполина вырастал сейчас Дробный, оттого он и позволял себе быть высокомерным. Будто бы выделился он теперь из природы, стал над ней, крушил ее и давал понять, что и

впредь всегда он будет всемогущ и жесток и, коли захочет, разрубит не одну лишь красную плоть глупого агнца, жевавшего клевер на лугах под Оклендом, но и Млечный Путь размахнет, разгонит скопления звезд, планет, черных дыр, пульсаров, облаков ионизированного водорода в разные углы галактик... «Давай хватит! — сказал подсобник. — Уже три лотка насекомых. Эти горлопаны пока обойдутся. За говядину берись».

«А вот теперь мы!» — обрадованно заявил физик. Он так и не поднимал топор, видимо, засмотрелся на работу Дробного, а может, и какие секреты старался угадать в этой работе. В его-то движениях не было строгости и высокомерия Дробного, нечто египетское, даже клоунское, хотя опять же и артистическое было в них. Маслов или Сметанин и приседал, и будто бы подпрыгивал, и топор, вскинутый над головой, подбрасывал, ловил его рукой на лету и уже тогда с силой разил им колоду. Первый рубль он разрубил легко, правда несколько наискось, но, как и требовалось, не вмяв бумажку в дерево. При осмотре на остатках рубля и следа не обнаружилось. Два других приготовленных денежных знака физик разнес быстро и уже не наискось, а напрямую, листочки четвертого рубля поднялись в воздух и лепестками южного растения опали на сырой пол. Физик принимал от зрителей рубли и трешки. Но и своих денег не было ему жалко. «На четыре слабо будет!» — подзадорил его Росинант. «На четыре! — воскликнул Дробный. — На четыре каждый дурак сможет. Пусть он на три! Или на семь!» «И на три! И на семь! И на сколько хочешь!» — кричал физик, взмахивая топором, и рубли с трешками рассекались действительно и на три и на семь клочков, физику бы успокоиться, а он не мог, деньги ему все подавали, пошли и десятки, отрубая им углы, физик объявлял с торжеством и сладостью страсти: «А это вот мы от почечной части! Для плова! Для пловчика! А это от тазобедренной! Отличный кусочек, пальцы оближешь! А это на шашлык! На шашлычок! На дачу в воскресенье! Костерок с дымком! А это с костями на лоток и на прилавок! А это будут голяшки! Голяшки!» Все же его призвали уговориться, напомнили о совести. Да он и сам, видно, напустился, допустил к колоде Дробного.

Но не было Дробному везения, опять спустился продавец, требуя говядину. «А-а-а! Чтоб вас!» — выругался Дробный. Матерных слов он не употреблял, вырос в нежной семье. Подсобники притащили ему половину коровьей туши. Теперь рубшички у колоды с деньгами менялись быстро, чтобы не раздражать друг друга; возвращаясь к колоде, приемы не повторяли, а показывали новое, нынче в ходу еще не бывшее. «Ух ма!» — восклицал Росинант и крошил рубли, то тяжело держа топором обеими руками возле металла, то схватив его за самый конец одной рукой, однажды — правой, в другой раз — левой. Рубшик из магазина у Сретенских ворот по фамилии Фахрутдинов, сменивший Росинанта, тоже хватал конец топором, но свирепотворил топором над головой будто томагавком; деньги же, казалось, рассыпались сами по себе, не дожидаясь его ударов, а просто от страха. Пятый же, весельчак Николай Ефимович, при бороде и усах, словно был не мясник, а цирюльник и не топор держал в руке, а золотниковскую бритву, короткими ласковыми движениями сбивал клочки рублей с дерева, оставляя колоду чистой. А Дробный рядом снова исполином сокрушал природу в уверенности, что теперь-то он сокрушит все и обретет наконец успокоение. Или даже свободу... Один лишь хирург Шполянов был как бы и не здесь или просто спал, сидя с закрытыми глазами в углу на отставленной колоде. А ведь из-за него были затеяны нынче мясницкие игры, именно ему Росинант желал показать, какие они мужчины и виртуозы. Впрочем, Росинант и его коллеги о Шполянове забыли. До того ли им было? Оказывались на колоде десятки, четвертные, пошли и зеленые — казначейские билеты в пятьдесят рублей, — и сотенную положил первым под лезвие топора, под лезвие томагавка

отчаянный Фахрутдинов. «Призовой фонд подавайте!» — приказал Дробный. Отправив говядину очереди, принесли деньги на лотке, был пущен в дело и призовой фонд, мастера рубили в нетерпении, но все по правилам, ошибок себе не позволяли, нарезанные, настриженные будто бы для карнавальных буйств цветные кусочки бумаги лежали, теснились вокруг колоды, их пачкали, давили толстые подошвы и скошенные высокие каблуки фирмы «Саламандра», вминали в сырость бетонного пола. «А ты-то что стоишь? — обернулся Дробный к Михаилу Никифоровичу. — Ты ведь тоже медик. Один вон хирург уже оказался слабаком. Ты хоть не посрами профессию!» И Михаила Никифоровича увлекло соревнование, и он, случалось, на спор ломал сушки на три части, Михаил Никифорович шагнул к колоде, но чуть было и не остановился, вспомнил, что у него в кармане пять рублей тремя бумажками. Не то чтобы он их пожалел (хотя и пожалел), нет, просто он не забыл о своем намерении угостить Любовь Николаевну. На какие шиши стал бы он ее угощать? Однако что уж тут было жадничать. Михаил Никифорович расправил мятый рубль, бросил его на колоду, неловко это было делать после сотенных-то, но, похоже, достоинство его бумажки не вызывало ничьего ехидства. Замахнулся Михаил Никифорович мощно, будто лаппенрантский лесоруб, и топор послал вниз, ахнув с удалью, но бумагу не разрезал. И не разрубил. И после второго замаха рубль остался целым. В третий раз Михаил Никифорович уже и не думал о чистоте рубки, он хотел одного — рубль разнести, пусть и вмяв его в колоду. Не разнес и не вмял. «Да что же!» — обиделся Михаил Никифорович, швырнул на колоду трешку, но и трешку его свирепый удар не повредил. Трешку, чтобы не мешала, Михаил Никифорович убрал, а по рублю своему зловредному, осердившись, бил и бил топором снова. «Да что же это!» — все удивлялся он и не мог образумиться, ахал и рубил, пока не развалил колоду.

Хирург Шполянов так и проспал это происшествие.

Дробный жалел изувеченную колоду. Ее недавно красили суриком, она была могуча и так широка, что могла служить постаментом для парковой скульптуры. Именно была. Теперь на полу валялись две ее половинки и щепка с бумажками вокруг. Наглый же рубль Михаил Никифорович поднял совершенно здоровым, без единого повреждения. Стыдно было Михаилу Никифоровичу на него смотреть. «На вид будто Котовский, — Росинант поглядел на Михаила Никифоровича как на больного, — а бумажки разрубить не можешь». Он хотел показать Михаилу Никифоровичу, каким должен быть настоящий мужик, но и сам осрамился. И его топор на свежей колоде рубль Михаила Никифоровича не одолел. Опозорились и другие рубщики.

А хирург Шполянов все спал.

«Забери ты, Миша, свой рубль, — сказал Дробный, отчасти озадаченный. — Может, он заколдованный. Или неразменный». Михаила Никифоровича эти слова не обидели, он видел, что рубщики в смущении. Как, впрочем, и он сам. Однако комплекс непобежденного рубля недолго печалил мясницкую. Положив на колоду свои деньги, рубщики опять ощутили возможности топора и собственных рук. О происшествии с рублем Михаила Никифоровича тут же было забыто. Однако наличные деньги соревнвателей скоро исчерпались. Чудесный Фахрутдинов вызвался идти добывать новые. Но видно было, что страсти уже удовлетворены. И победителя не определяли. Тем более что призовой фонд был израсходован.

Росинант сказал, что надо идти к нему и просто отметить. Разбудил он хирурга Шполянова, снова заявил, торжествуя: «Это тебе не людей потрошить! Да и это что! Рубить рубль — дело техники. А вот рубить мясо — дело ума. Тут уж надо стратегом стоять с тупицей у стула. Новичок-то или просто глупый нарубит пятьсот килограммов на пятьсот килограммов, а мастер нарубит пятьсот килограммов на девятьсот! Понял?» А Михаил Никифорович, как, наверное, и доктор

Шполянов, признал в Росинанте мастера. «Все,— сказал Дробный подсобнику.— Мясо кончилось. И до восьми осталось пятнадцать минут... Пойдешь с нами?» — спросил Дробный Михаила Никифоровича. «Нет,— сказал Михаил Никифорович,— у меня дела». «Ну смотри,— киенул Дробный. Потом спросил: — А что ты приходил ко мне?» «Да так,— смутился Михаил Никифорович.— Просто... Давно не видал». «Ну спасибо,— сказал Дробный,— что просто заходил. А то все заходят за чем-нибудь. Будет скучно, еще заглядывай...»

Они простились. Хирург Шполянов тоже отстал от компании, хотя его звали настойчивее, чем Михаила Никифоровича. Сонный, он двинулся за Михаилом Никифоровичем к станции «Тургеневская».

— Надо бы вегетарианцем стать,— сказал вдруг Шполянов.— А?.. Но ведь не смогу...

— И я не смогу,— вздохнул Михаил Никифорович.

— Приятно было познакомиться,— протянул ему руку Шполянов, сойдя с эскалатора.— У меня такое ощущение, что мы с вами еще встретимся.

— Только не в вашей клинике,— сказал Михаил Никифорович.

— Нет, нет,— успокоил его Шполянов.

«Что же делать?»— думал Михаил Никифорович. В Останкине магазины уже закрыли. Единственно что смог Михаил Никифорович, это купить в киоске возле метро два больших пломбира. Но разве мороженым собирался он кормить отощавшую Любовь Николаевну?

А Любовь Николаевна 3 мая ночевать не явилась.

Улегшись на раскладушке в ванной и закрыв глаза, Михаил Никифорович опять увидел, как крушил Дробный пачку десятков, стянутую банковской ленточкой, и как опадали на пол бумажные лепестки...

14

Между прочим, два пломбира Михаил Никифорович купил на рубль, не поддавшийся топору. Неразменным он не оказался. Михаилу Никифоровичу дали четыре копейки сдачи.

Той ночью Михаил Никифорович вставал два раза. Пил воду. Любовь Николаевна однажды уже исчезала на три дня и три ночи. Тогда Михаил Никифорович не волновался, а надеялся. Сгинула бы она совсем! Теперь же Михаил Никифорович был готов звонить в милицию и в бюро несчастных случаев, будто Любовь Николаевна приходилась ему дочкой-семиклассницей. Но была-то она именно не дочкой...

Под утро он, правда, заснул крепко и спал спокойно. А когда проснулся, Любовь Николаевна уже присутствовала в его квартире. Михаил Никифорович собирался было пожуричь Любовь Николаевну, спросить, есть ли у нее совесть. Но не спросил. Любовь Николаевна была поутру хорошенькая, со вздернутым чуть-чуть, как и вчера, носом (или носиком), но уставшая и озабоченная. Ночью, возможно, была в путешествиях или полетах. Михаилу Никифоровичу и иные картины рисовало воображение. Но зачем рисовало? Что ему было до приключений Любви Николаевны?

— Михаил Никифорович,— сказала Любовь Николаевна робко, будто бедная Лиза Эрасту,— вы не смогли бы сделать мне укол?

— Там мороженое в холодильнике,— сердито сказал Михаил Никифорович.— Ешьте. А то пропадет. Куда укол? В вену или в мышцу? Сейчас?

— В мышцу,— совсем смутилась Любовь Николаевна.— Сейчас.

— Ладно, поставлю кипятить шприц.

Шприцы Михаил Никифорович держал в доме всегда. Когда-то у соседей больная старушка нуждалась в уколах, и Михаил Никифорович вызвался заменитьходящую сестру. И с других этажей дома Михаила Никифоровича в ожидании неотложек не раз вызывали оказывать помощь. Никелированная коробка со шприцами и иглами стоя-

ла в шкафчике в ванной, и Любовь Николаевна ее, вероятно, видела. Михаил Никифорович налил в коробку воды, поставил ее на газовую плиту, приготовил пилку для ампул, вату и пузырек со спиртом. Один из брикетов пломбира, твердый еще, Михаил Никифорович положил в глубокую тарелку и вместе с ложкой протянул ее Любви Николаевне. Любовь Николаевна взглянула и на мороженое и на Михаила Никифоровича с неким испугом. Словно бы и пломбира, лучшего в мире, ей не хотелось. Однако сердитый взгляд Михаила Никифоровича заставил ее проявить покорность. А сердился Михаил Никифорович сейчас отчасти и на себя. На ум ему то и дело приходила Люся Черкашина. Черкашина, красивая, тонколицая женщина под тридцать, хохогушка, склонная с Михаилом Никифоровичем пошутить, и не раз, в особенности когда Михаил Никифорович, подменяя грузчика, тащил тесным коридором тяжеленные упаковки или мешки, с удовольствием и шумом щипавшая его, работала у них ассистенткой. Перед праздниками Михаил Никифорович прямо в ассистентской трижды колол ее. Ассистент Петр Васильевич, человек нравственный, ворчал и уходил покурить, а девочки оставались, смотрели на действия Михаила Никифоровича с интересом и давали рекомендации, как ему не повредить благородный Люсин зад. Люся была свободная женщина, ухаже-ры всегда возникали вблизи нее увлекательные и неумемные, а она уже растила двух детей, новых заводить не собиралась и, когда возникали критические ситуации, сама назначала себе уколы, а Михаил Никифорович их исполнял. Он славился легкой, ласковой рукой, желваков не оставлял. Какие причины побудили Любовь Николаевну терпеть укол, не его было дело, и уж во всяком случае не следовало ему вспоминать именно о Люсе Черкашиной. Глупости какие-то лезли сейчас Михаилу Никифоровичу в голову.

— Шприц остыл, — сказал Михаил Никифорович.

— Хорошо. Я готова, — встала Любовь Николаевна.

— Идите в комнату. Там и ложитесь.

Михаил Никифорович вымыл руки и вспомнил, что он даже не спросил, какое лекарство он должен ввести Любви Николаевне и из каких склянок. А когда вошел в комнату, увидел, что Любовь Николаевна уже лежит на диване лицом вниз, на столике же у окна стоит флакон из-под духов, заткнутый бумажной, что ли, пробкой. А может, тряпкой. Жидкость во флаконе была светло-коричневая и мутная, напоминаящая то ли брагу, то ли медовуху. Михаил Никифорович вытянул пробку, она и впрямь была скручена из обрезка кухонного полотенца. «Не с нашей ли кухни?» — удивился Михаил Никифорович. Но полотенце полотенцем, а Михаил Никифорович был озабочен сейчас другим. В медицинском деле он был педант, считал обязательным соблюдение правил, а тут — какая-то брага и тряпичная пробка. Михаил Никифорович понюхал жидкость и спросил:

— Это хоть что такое?

— Это мне надо, — сказала Любовь Николаевна, не меняя позы, а лишь повернув голову, на губах и на щеках ее Михаил Никифорович увидел белые и шоколадные следы мороженого. — Вы не опасайтесь. Пить это мне не следует. Можно лишь внутримышечно. Полный шприц. А я сама не умею.

Она будто бы стыдилась и своего неумения, и того, что вынудила Михаила Никифоровича кипятить шприц, и как бы обещала, что больше подобного не случится.

— Ладно, — сказал Михаил Никифорович. — И это... Приготовьте место... Пожалуйста...

Михаил Никифорович опустил шприц во флакон, жидкость, бесцветная на вид, оказалась тягучей и плотной. Он подумал, что иглы у него старые, наверное, затупились и Любовь Николаевна будет больно. «Да небось у нее и кожа-то казенная», — попробовал успокоить себя Михаил Никифорович. Однако чувство тревоги и, уж точ-

но, ощущение неловкости не отпускало Михаила Никифоровича. Он и к дивану подходил, глядя в пол, словно бы голое тело Любови Николаевны (какое там голое! чуть-чуть приоткрытое!) могло взволновать его или возбудить в нем нечто стыдное или дурное. Это он-то, медик, в юнца, что ли, превратился тринадцатилетнего!.. Кожа у Любови Николаевны оказалась нежная, чистая, приятная на ощупь. И прикосновение к телу Любови Николаевны Михаила Никифоровича взволновало, как юнца! Тело ее было идеальных линий, крепкое, опрятное и вовсе не отошавшее, как предполагал вчера Михаил Никифорович. К стыду Михаила Никифоровича, игла и вправду затупилась, гнулась, никак не могла проколоть кожу Любови Николаевны. «Сейчас, сейчас! — говорил Михаил Никифорович. — Потерпите чуть-чуть...» А когда игла вошла наконец в ягодные места Любови Николаевны, Михаил Никифорович вынужден был давить на поршень шприца так, будто держал в руках отбойный молоток. Серьезным, видно, было мутно-коричневое снадобье. «Ну все», — сказал он. Вату со спиртом приложил к ранке. Лоб его был мокрым. Михаил Никифорович отвернулся, давая возможность Любови Николаевне привести себя в порядок. Впрочем, она и была в порядке. Во время процедуры Любовь Николаевна не произнесла ни звука. «Она, наверно, и не чувствовала ничего», — подумал Михаил Никифорович. Спросил на всякий случай:

— Больно-то не было?

— Было больно, — тихо сказала Любовь Николаевна.

Михаил Никифорович удивился, посмотрел на нее. Губы Любовь Николаевна сжала, лицо ее было блее обычного. «Что она, как человек, что ли?..» Михаил Никифорович был готов даже взять платок и стереть со щек Любови Николаевны следы мороженого. Платка под рукой не было, а вата была, ею Михаил Никифорович и воспользовался. Любовь Николаевна улыбнулась ему благодарно и беспомощно.

— Вы ложитесь, — сказал Михаил Никифорович. — Я сейчас сделаю грелку. На полчаса. Чтобы не вышло желвака.

Полчаса, однако, Любовь Николаевна пролежать не смогла. Минут через пять она уже стала вертеться. Лишь укоризненные взгляды Михаила Никифоровича останавливали ее. А видно было, что она готова нестись куда-то. «Хоть не окочурилась она от укола, — думал Михаил Никифорович, — и то хорошо. Иначе пришлось бы...» Впрочем, сразу же мысль Михаила Никифоровича как-то смялась. Что пришлось бы? Отвечать, что ли, ему? Но перед кем? А перед самим собой. Более, сказал он себе, никакие таинственные жидкости никому и никуда вводить он не будет. Все! Впрочем, что он волнуется? Что случилось бы с ней, в чем могло состоять ее окочуривание? Ну исчезла бы она. И все. А вот, понял вдруг Михаил Никифорович, и не нужно ему ее исчезновение... А тело это ее, чуть-чуть обнаженное... Сколько раз прежде бродила она по квартире, одетая по-домашнему, явилась как-то к нему буйная и прекрасная, в нежнейших свойств ночной голубой рубашке, но женщиной для него не была, а была неизвестно кем. Холодно оценивал Михаил Никифорович ее линии и формы. Терпел. А тут вот коснулся чистой кожи Любови Николаевны и... Было от чего смутиться Михаилу Никифоровичу... И о всяких подозрениях по поводу Любови Николаевны он теперь забыл.

Напрасно забыл.

Пока Михаил Никифорович был в раздумьях, Любовь Николаевна вскочила, минут пять причесывалась и красилась в ванной, из ванной же вышла готовая не только нестись куда-то, но, похоже, и взвизгивать и летать, а может, и рушить горы. И озорство, и удаль, и воля, и некое важное решение были в ее глазах. «Спасибо, — быстро сказала она Михаилу Никифоровичу. — Я пошла».

В тот день на улице Королева и закрыли пивной автомат.

15

До 11 мая (исключая, конечно, обстоятельство с автоматом) ничего важного в Останкине не случилось.

Известно: первые десять дней мая — безалаберные, перескакивают с праздника на праздник и несут в себе не только удовольствия, но и опасности для любого организма, для мужского в особенности. Впрочем, те десять дней прошли для меня тихо. Меня щадили и не трогали. Но с 11 мая — началось...

11-го я проснулся с ощущением, будто бросил курить. То ли сам бросил, то ли меня вынудили.

Сорок лет свои я прожил некурящим. Чем удивлял, а то и раздражал знакомых. А тут почувствовал, что я курил, а с 11 мая прекратил. И осознание некоего самоуважения создалось во мне, словно я совершил долгожданный волевой поступок. И отчего-то тошнило. И хотелось, чтобы истребить в себе злонамеренность, сосать леденцы или жевать ломти сухого сыра.

Совершалось и иное. Прежде я жил совой (и это при наличии жены-жаворонка). До двух или трех часов ночи в придремавшем доме тихо сидел на кухне, писал и читал. Вставал поздно, разбитый, с тягучими, обидными мыслями. Теперь же в половине двенадцатого я начинал кругло зевать, закрывал глаза, сдавшийся, в полусне добирался до дивана. А вскакивал я в шесть утра, крутил головой, чуть ли не кричал петухом, со злой энергией, будто за мной наблюдали тренеры Тарасов и Тихонов, принимался делать зарядку, а потом в чешских неразмятых кроссовках давно забытым стайкерским шагом бежал пустыми и чистыми тротуарами и скверами к зазеленевшим уже дубам, липам, вязам и тополям милого сердцу Останкинского парка. На что раньше никак не мог отважиться. Да ведь и не верил я в удачи трусаков...

А какие действия совершал я теперь в собственной квартире! Я уже рассказывал, что моя жена в некоем издании вела, в частности, раздел «НОТ в доме». В том разделе шли справедливые соображения о равноправии, о дружбе в семейной жизни, следовали советы, как мужчине в быту и на отдыхе вести себя по-хозяйски и по-рыцарски. И я стал хозяин и рыцарь. Я начал для мелких нужд вбивать гвозди в стены. А прежде это у меня не выходило. Я натянул струны в ванной. И даже перетянул их от старания. Раньше я, морщась и злясь, соглашался пылесосить в исключительных случаях, в надежде реабилитировать себя за какие-либо домашние проступки. Теперь я хватался за пылесос сам, не ожидая понуканий и щелканий бича, вскакивал из-за письменного стола, до того мне хотелось, чтобы ни одной пылинки, ни одной закатившейся пуговицы не было ни в одном углу. Я поливал цветы, все эти густые, многолистные примулы и дылды герани, а недавно я был намерен повышвыривать их с подоконников: что я, в саду, что ли!.. Жена, возвращаясь со службы, опускала пальцы в цветочные горшки, находила землю влажной и растроганно смотрела на меня (но, может быть, и с подозрением?). В час дня я шел на кухню, по-вызывал льняной фартук с вышитым на нем тигром и принимался стряпать. Варил почки для рассольника, жарил лук и морковь, чистил картофель, рубил капусту, провертывал мясо для котлет или пельменей. Что-что, а готовить блюда из мяса я всегда любил. И готовил. Причем часто импровизировал, словно бы ставил опыты, шпиговал, предположим, говядину или баранину, прежде чем отправить ее в духовку, не только чесноком и черносливом, а и иными сушеными фруктами из компота — курагой, грушами, яблоками, изюмом, иногда и разломанными дольками грецких орехов, и, поверьте, гости и домашние едоки опытами моими бывали довольны. Теперь я готовил только по науке. По советам проверенных людей. Брал легендарную «Книгу о вкусной и здоровой пище» с кулинарной мифологией три-

дцатых годов и пожеланиями наркома А. И. Микояна. Или работы Похлебкина. Или умные рецепты из издания моей жены. И считал граммы. Сколько чего и в какой очередности. Не забывал и о советах врачей. Скажем, с недоверием стал смотреть на сливочное масло. Оно и само по себе вызывало недоумение: при перетопке в русское испускало из себя странные черные комки, хлопья и пузыри. Но я уже думал не о комках и хлопьях. Я думал о липидах. Эти скверные частицы могли содействовать ожирению и сердечно-сосудистым недугам. Ну их к лешему! А соль? Она задерживала жидкость в организме, от этого могло повышаться давление. Строг я был теперь и с солью. О вяленой рыбе как будто бы перестал и думать. Помнил предупреждения о вреде сахара, даров моря, перца, острой югославской приправы «Вегета», говяжьих мозгов, пусть и в сухарях, молодых грибов свинушек. И прочего. О многом помнил. Благоразумным пребывал я теперь на кухне.

Да только ли на кухне!

Всегда я предпочитал носить свитеры и куртки. Галстуки душили меня. Теперь же я увидел в своих привычках разболтанность, фрондерство этакое, а может, и эгоизм. Мне стало казаться, что выходить к людям на улицу и по делам надо непременно при галстукке и в костюме. Хорошо бы и в деловой серой тройке. Но ее у меня не было. Однако и в двух обнаруженных в гардеробе костюмах я, по всей вероятности, выглядел куда более приличным и дисциплинированным гражданином, нежели в дни моих беспечностей. На джинсы я смотрел как на баловство, о коем следовало забыть. Все я делал нынче без раскачки, без долгих внутренних уговоров и колебаний, свойственных мне всегда. Раза четыре в день вставал под душ, чтобы избежать привычных обвинений жены в неряшливости. Года полтора висели у нас в доме без окантовки картины Жигуленко и Нестеровой, подарки художниц, музейные вещи, теперь окантовка моментально состоялась. Лет двадцать я собирался, предвкушая большие радости, составить каталог домашней библиотеки. Теперь составил за два дня. И узнал, что у меня во вторых рядах. Обнаружил, предположим, Макиавелли под редакцией Дживелегова, изданного в тридцать четвертом году «Academia». «Чистую вынашивал мечту Макиавелли скорбный...» А я недавно пускался на охоту за этим же скорбным Макиавелли и тревожил Садовникова... И еще немало открытий совершил я в книжных шкафах и завалах. А главное — сколько же непрочитанных книг стояло и лежало вокруг меня! Я сейчас же напечатал список книг, которые я должен был одолеть в первом наступлении. Названий оказалось семьдесят три. В поддержку списку я отпечатал график усердий с книгами, которым я задолжал свое время и внимание. Вообще возникли самые разные списки и графики моих дел, увлечений, предполагаемых походов в концерты, на спектакли, на собрания и в гости. Телевизор, хоть бы и цветной, я перестал смотреть, чтобы не отвлекать себя от реальной жизни. Меня звали, я не шел. Раньше я не мог писать писем, тем более отвечать на чьи-то чужие послания. Если бы мне стали грозить дыбою или прорубью, я сказал бы: «Нате, жрите, вешайте, топите, а письма я не напишу». Не мой это был жанр. Дело в том, что я долго работал в газете в отделе писем. Каждый день приходилось читать десятки, а то и сотни писем. Это-то ладно. Но и отвечать надо было на десятки писем, порой и самых глупых. Или хуже того — разбираться в историях чужой и, естественно, неудачливой любви и по просьбе корреспондентов давать советы. Я отравился этими письмами. И своими ответами. А в доме нашем скопилось немало писем, на которые я обещал — самому себе — ответить, мучался, каялся и не отвечал. Слава еще богу, что письма эти не касались любви. Теперь я чуть ли не с остервенением заклеивал конверты. Извинялся, понятно. Перед кем-то — «за задержку с ответом», перед кем-то — за то, «что так долго заставил ждать...». Ростовскому театру кукол

я должен был ответить четыре года назад, вряд ли в Ростове люди и куклы с особенным нетерпением ждали сейчас мое письмо, но я и перед ними извинился и им отослал заказное. А как же! Порядок следовало соблюдать во всем. Разгреб я и свои бумаги — рукописи, договорные листы, блокноты с летучими записями, документы, все подобрал по делам и темам, разложил в папки и завязал тесемки папок уважительными узлами. Папки получили и названия.

Я любитель московской архитектуры. Иные здания, намеченные к сносу или сами по себе развалившиеся, приходилось отстаивать. Коли бы возникла необходимость, я бы, наверное, мог сообщить собеседникам или оппонентам сведения об истории и свойствах немалого числа московских построек на улицах не только замкнутых Садовым кольцом, но и протянувшихся до Камер-Коллежского вала. Какие-то сведения выкопал в книгах, журналах и рукописях, какие-то открытия (для себя, естественно) сделал сам, обнаруживая в частях, порой и случайных, хождениях по Москве забытые путеводителями и перестроенные палаты семнадцатого века и начала восемнадцатого или церкви, как принято говорить в искусствоведческой литературе, приведенные в гражданское состояние. Потом об этих палатах и храмах я наводил справки, как и о показавшихся мне занятными зданиях других эпох — кирпичного стиля или, скажем, стиля модерн в среднерусском его выражении. Такое уж увлечение, и не осуждайте меня — я люблю свой город. Но увлечение мое было чисто любительское, я уповал на память, записи же, нужные мне, были разбросаны в самых разных бумагах, бестолково и бессистемно. Я все собирался привести их в порядок. Устроить досье. Или завести картотеку. И не заводил. Теперь, понятно, возникла и картотека.

Моя мать, хоть и учительствовала в Яхrome и полвека жила в Москве, в сути своей оставалась крестьянкой. Видеть человека в безделье, да еще и видеть в своей семье, было ей нестерпимо грустно. Вот если бы я на ее глазах с рассвета и до полуночи пилил дрова, копал землю, окучивал картошку, чинил электропроводку, кормил отрубями поросенка, сгонял опрыскивателем с деревьев злых насекомых, строил сараи, выкладывал кирпичами погреб для хранения овощей и разносолов, позволяя себе отвлечься от занятий лишь на минуту, чтобы промочить горло холодной водой или же стаканом парного молока, вот тогда бы мое существование могло показаться ей нормальным и нестыдным. Но мой образ жизни был иным. И этот образ жизни, в особенности с тех пор как я ушел из газеты, реже стал ездить в командировки и околачивался дома, мою мать, по всей вероятности, смущал. Своего смущения мне она почти никогда не выказывала, то ли боясь обидеть, то ли находя все же оправдания и моей жизни. Однако иногда мелкие обстоятельства давали поводы для ее ворчанья как бы про себя, но и вслух: «А мусор вынести некому! Опять книжки читает, опять на диванах валяется!» На диванах я особенно не валялся, не любил этого занятия, а вот, оставив на столе тетрадь и ручку, часами мог слоняться по комнате из угла в угол, никого не видя и ничего не слыша. Что варилось во мне — было делом исключительно моим. Когда роман жил во мне (или я в нем), то повсюду: на улице ли, на собрании ли каком дремотном, в гостях ли или в том же пивном автомате на улице Королева, — я был именно внутри романа, в его жизни и его реальности, в обстоятельствах, приключениях, чувствах его (и моих) людей. Все то, что происходило вокруг меня и со мной, втягивалось в роман, как в черную дыру. И слова, слова возникали во мне... «Что ты? Что с тобой?» — одергивали меня, предположим, в пивном автомате. «А?.. Что? — терялся я. — Да так... думаю... Извините...» Слово «думаю» я произносил в некоей неловкости. Да и неточным было оно. Только ли я думал? Происходило во мне нечто иное, для меня — большее... А за столом я сидел мало. Мало! Записывал то, что возникало и оживало во мне, потом переписывал, и не раз,

правил, калечил, корежил слова, увлекался, возможно, что и мучался, возможно, что и в поднебесьях парил, но через час (или через два, или через три) вскакивал и опять ходил из угла в угол. Каково было смотреть на меня матери! Когда-то полагал: вот уйду из газеты, и все, ковшем экскаватора меня от стола не отделишь, воблою астраханской не отмишишь. Ан нет!

Галеру бы мне устроить дома. Или же держать меня, как медведя, на цепи вблизи стола. Бог ты мой, отчего же я такой родился! Я обвинял себя в склонности к мечтаньям, в шалопайстве, в дурости, в лени душевной, в частности. Читал книги о художниках. Кричал себе: вот учись! вот Микеланджело! вот Ван Гог! Их-то от холстов, от глыб мрамора, от стен, покрытых сырой штукатуркой, оторвать было нельзя. Я понимал, что разные способы выражения человеческой личности (я уже не беру тут степени талантов и сути натур) имеют свои особенности и бумага не холст и не костяные клавиши мануалов органа, но страсть-то и одержимость должны были бы жечь душу любого художника! И меня ведь жгло нечто. Но я чуть что — шмыг от стола! И — в сады своих воображений...

Но так было! Так было до 11 мая.

С 11 мая я стал именно галерным гребцом, прикованным к столу. Исчезли лень и шалопайство. Отлетели мечтанья. Бумага, бумага была нужна мне! Я писал, писал, печатал, писал, иссушая стержни и стирая до бесцветья ленту машинки... Понятно, отвлекался и на дела домашние, о коих уже рассказывал. Но людьми, смыслящими в здоровьях и в недугах, и были рекомендованы такие отвлечения... На столе у меня теперь лежало пять раскрытых тетрадей. Я знал известного литератора, тот всегда писал пять или шесть вещей сразу. Драму, роман, рассказ, мемуары, либретто, памфлет, бичующий чьи-то происки. Час напишет что-нибудь одно, потом — по графику — пододвинет к себе ждущую очереди рукопись. И все успевал, потому как был серьезный, работающий и знал цену своей фамилии. И у меня появились нынче графики с красными, синими и черными энергичными линиями. Жена и тут дивилась мне, то ли радуясь, то ли справляясь с подозрениями. Звонила с работы, интересовалась, не подорвал ли я здоровье. А у меня и голова не болела, и мышцы играли. Трижды, по распорядку дня, я вставал на легкую олимпийскую «грацию», упирался пальцами в стену и с усердием, в охотку четверть часа вращал ногами зеленые металлические блины, исполняя губительные для гиподинамии упражнения. Моя мать уже не ворчала на меня, теперь я не то чтобы соответствовал ее житейскому идеалу, но хотя бы отчасти мог сравниться в ее сознании с настоящим мужиком, который пилит, рубит, ходит за плугом, понимает в электричестве, кормит отрубями поросенка или, на худой конец, кролика, строит сарай.

Иногда, правда, приходилось отрываться от тетрадей и на несколько часов. И заниматься делами, связываться с какими прежде у меня не было желания. Или духа не хватало. Раньше я легкомысленно полагал, что для меня, такой уж уродился, в делах главное — терпение. Пусть все идет как идет, авось что-нибудь и выйдет. Когда я что-либо предпринимал или суетился, чаще всего ничего хорошего и не случалось. Теперь же я решил: все, хватит. Что я? Лежачий камень, что ли? Или не имею прав? Я отругал себя опять же за лень и за отсутствие отваги. Мужчина должен быть отважным! И даже наглым! Я подал в те дни много заявлений. Был намерен вступить туда, куда прежде вступать у меня никакой охоты не возникало. В частности, в дачный кооператив, будущее у которого было ясное, но вряд ли в нашем тысячелетии осуществимое. Я записался в очередь на машину, естественно «Жигули», и в кооператив на строительство гаража для машины. Машина была мне не нужна, и водить ее я не собирался, но я убедил себя в том, что нужна и что всякий приличный мужчина должен водить автомобиль. Убедил я себя и в том, что обязан стать при-

личным мужчиной. Казалось, что я и становлюсь им. Я начал выступать на собраниях и обсуждениях, тем более что вот-вот в говорильных делах должны были наступить летние каникулы. Я корил, подерживал и предупреждал. Меня принялись сажать в президиумы. Приглашали участвовать в дискуссиях, их вели две уважаемые в Москве газеты. Проблемы дискуссий не были мне близки и вообще казались пустыми, в них как бы выяснялось, нужна ли такая птица соловей или ее следует заменить барабаном, но я сказал себе: «Надо», предположил, что, наверное, коли возьмусь, смогу углубиться в проблемы, и дал согласие участвовать. Дело было престижное, да и условия существования требовали лишних средств. Вообще я предписал себе жить через «не могу», быть в напряжении, припомнив, что звучит только натянутая струна, и так далее. Слова напоминания были банальные, но меня они удовлетворили. При этом я старался никаких противных собственным принципам действий не совершать, а поступать по совести. Мне представлялось, что так оно и выходило.

Эдак я жил месяца два. Или чуть больше. В Подмоскowie косили траву, а охотники, говорят, уже резали в лопасненских грибных лесах ранние колосовики. А я все пробуждал в себе новые свойства. Но однажды будто очнулся. Мы с женой были в гостях у Муравлевых. Вилку я держал левой рукой, произносил, как мне казалось, необходимые собеседникам слова, не разводя дипломатии, а следуя лишь правде. В тот вечер Муравлев мне и сказал: «Что с тобой? В кого ты превратился? Отчего стал таким занудой?» Я промолчал, но в такси по дороге домой не выдержал и спросил жену, что это Муравлев напустился на меня. Жена ответила не сразу, и я понял, что у Муравлева, видимо, были основания назвать меня занудой. «Знаешь...— сказала жена,— ты сейчас много работаешь, помогаешь по дому и вообще...» Она замолчала, потом добавила деликатно: «Может, устал... Или в тебе что-то изменилось...»

Утром я захотел услышать пластинку. Она не звучала давно. Возможно, в последний раз я заводил ее, развлекая сына, лет десять назад. Впрочем, я ничего не заводил, заводят патефоны, я же опускал пластинку на диск проигрывателя. Но пластинка была именно патефонная, тяжелая, Ногинского завода, военных, а может, и довоенных лет. Отыскал я ее легко, и в нашем собрании пластинок введен теперь чрезвычайный устав, все диски получили в картонных коробках постоянные квартиры. Край вынутой мною пластинки был когда-то отбит, порченная пластинка видом своим вызывала у меня раздражение. «Не надо ее ставить!» — будто бы приказал я себе. Тут же я рассердился: надо же, еще и внутренние голоса завелись во мне! Ну уж нет! Я включил радиолу, положил диск на иглу. Зашипела. И стала Рина Зеленая излагать историю Агнии Львовны Барто про снегира. «На Арбате в магазине за окном устроен сад...» Дальше знаете сами. И дошла до слов, какие, как выяснилось, и были мне нужны: «Было сухо, но галоши я послушно надевал. До того я стал хорошим — сам себя не узнавал!» Вот оно! Я сейчас же выключил радиолу. Фу ты, гадость какая, подумал я. Ну ладно, тот мальчик, которому сейчас лет под шестьдесят, галоши надевал из-за снегира. А я-то ради чего надеваю галоши? Что я с печи-то прыгнул? Из-за чего вдруг решил себя облагородить? У бургомистра Брюгге Мартина ван Ньювенхове, чей портрет в 1487 году написал Ганс Мемлинг, был жизненный девиз: «Есть причина». Какая причина была у меня? Ответить на это я не мог... Мне бы сейчас в своих сомнениях посоветоваться с мудрецами, заглянуть в тома, предположим, Монтеня или Гёте, а я отчего-то захотел слушать пластинку с отбитым краем. Но, может, именно младенец, мальчишка из моего детства, очарованный снегирем, и должен был сейчас окликнуть меня? Или одернуть?

Я призадумался. А выходило так, что в последние месяцы задумывался я редко. Делал что-то, суетился, спешил, а вот думал редко.

Я писал, писал. А написанного и не перечитывал, не имея на то времени. Теперь перечитал и ужаснулся. Какая дрянь была в моих тетрадах! Рвать их надо было. Или жечь!

Страниц в тетрадах исписано действительно было немислимо много. А толку-то что? Эти страницы можно было бы отдать за два порядочных абзаца. Они были чужие, бойкие, но и холодные, мною не пережитые. Да и не мог, видимо, я в сорок лет ни с того ни с сего начать жить и писать иным способом, нежели это делал прежде. Возможно, кто-либо другой и способен переменить себя, но не я. В сорок лет походку не меняют... В отчаянии сидел я за столом. Неужели никогда не избавиться мне от лени, медлительности, склонности к рассеянному и будто бы досужим мыслям? Но вдруг это не лень, а непрременное свойство именно моей натуры? Каждому свое. Не могу, видно, я стать расторопным и деловым, пусть мне того и хотелось бы. Но, может быть, именно нерасторопный и неделовой я и соответствовал и самому себе, и людям, и бумажному листу? Однако я теперь ни ответить себе толком, ни успокоить себя не мог.

Вспоминая же последние недели, я ощутил себя в них человеком заведенным. Будто в действительности гнутой ручкой коломенского патефона, под мембраной коего и рассказывала когда-то Рина Зеленая о снегире, напряглись во мне несуществующие пружины, и я закружился. Возможно, что не мои обороты, не ту частоту вращения определили мне, отчего голос мой, наверное баритон, превратился в нервное и суетливое колоратурное сопрано. Однако кто «завели» и «определили»? Не сам, что ли, я закрутился и зашпешил? Так думать было отраднее всего...

Возникли и сомнения. Ну ладно, скверными и вышли мои описания. Способности, стало быть, такие мне даны. Но ведь и нечто полезное я сделал. Завел, скажем, картотеки... Но и тут были поводы для печали. Книги я энергично просмотрел, расставил и описал, однако при этом не получил никаких долгожданных удовольствий. Просто произвел механическую работу. Не было в ней смака! И создание моего московского досье вышло скучным. Я занимался инвентаризацией.

Все, хватит! — сказал я себе. Пожил месяца три правильным человеком. И хватит! В сорок лет походку не меняют...

Два дня я пребывал в состоянии некоего протеста. Или даже бунта. Мне хотелось курить. Я купил три пачки сигарет. Я уже сообщал, что прежде меня никогда не тянуло курить. А тут яростно потянуло. Однако сигарета мне не давала удовольствия. Но я понял: и еще буду курить! Назло! Кому назло? Против кого или чего я желал бунтовать?

И посетило наконец меня одно соображение...

Неужели это все из-за тех четырех копеек?

Я должен был увидеть Михаила Никифоровича. Или дядю Валю. Или Каштанова. Или Серова. Или, на худой конец, Филимона Грачева.

В последние месяцы я не встречался с ними. В делах, в беготне о них почти и не вспоминал. Где они, как они, я не знал. Работай пивной автомат на улице Королева, я, может быть, увидел бы их или хотя бы добыл сведения об их жизни. Заскочил бы в автомат на минуту и... Впрочем, мог бы и не заскочить. Я почти не пил теперь пива. Не курил, не пил и произносил одни благородные слова, будто окончил Смольный институт.

Я позвонил Михаилу Никифоровичу. В квартире Михаила Никифоровича трубку не подняли. Не обнаружил я Михаила Никифоровича и в аптеках. «Может, у него отгул? — предположил я. — Может, он в «Крестах»? Или в Останкинском парке? Или на Выставке?»

И в Останкинском парке пивом теперь не торговали. А на Выставку пиво не завезли по причине недомоганий водителей пивных цистерн.

В «Крестах» стоял Михаил Никифорович. И были там многие останкинские жители. Всем им я пожал руки. «Ну как сам-то?» — спрашивали меня. «Ну ясно как...» «Ну и ладно», — кивали мне.

С кружкой пива и тарелкой креветок я подошел к Михаилу Никифоровичу. «Михаил Никифорович, — спросил я, — есть какие-нибудь изменения в твоей жизни?» «Есть, — сказал Михаил Никифорович. — Некоторые...» «В квартире-то, — осторожно начал я, — ты, надеюсь, теперь живешь один?.. Или...» «Или!» — нахмурился Михаил Никифорович. «Сигаретой ты меня не угостишь?» «Разве ты куришь?» — удивился Михаил Никифорович. «Не курю. А вот сейчас захотел». «Я бросил», — сказал Михаил Никифорович. «А дядя Валя не бросил, случайно?» «И дядя Валя бросил». — «А Каштанов?» — «И он... Вроде бы...» «Что же она меня-то курящим посчитала? — сказал я. — Ведь ошиблась».

Об изменениях в жизни Михаила Никифоровича спросить я постеснялся, да и приятны ли были ему эти изменения, доставили бы ему радость напоминания о них?

— Еще закурим, — произнес Михаил Никифорович, но с неким отчаянием.

Помолчали.

«А дядю Валу ты давно не видал?» — спросил я. «Он здесь. Только на улице. В загоне. И Каштанов там». — «Ты здесь давно не был?» — «Давно... Вот сегодня взял и поехал...» «Я вижу, — сказал я, — ты будто бы из пустыни выбрался... А может, в ней что-нибудь ослабло?»

Михаил Никифорович пошел за пивом, принес и пачку сигарет.

— Будешь? — спросил Михаил Никифорович.

— Нет, — сказал я и удивился себе. Опять вдруг я ощутил, что никогда не курил и никогда не хотел курить.

— А я посмолю, — сказал Михаил Никифорович, сказал с вызовом, но при этом нервно оглянулся, будто кто-то строгий и бдительный стоял за его спиной. По залу бродил местный смотритель в белом халате, но явно не его имел в виду Михаил Никифорович. — Да курить-то здесь нельзя... рубль еще потребуют... — пробормотал Михаил Никифорович, но, видно, ему стало стыдно своей нерешительности, он зажег сигарету и затянулся.

И через минуту его сигарета не погасла.

— Ослабло, — сказал я.

Из двора-загона, называемого, впрочем, в отличие от Греческого зала, где стояли мы, Летним садом, за креветками явился дядя Валя.

«А вот Михаил Никифорович закурил», — сообщил я дяде Вале. «Но беда-то ведь небольшая, а?» — сказал дядя Валя. «Вы не пробовали?» «Ну, — кивнул дядя Валя. — Закурил минут пять назад. И Каштанов». «Точно, в ней что-то ослабло», — сказал я уже уверенно. «А если ее придушить? — задумался дядя Валя. — Эту гадину». «Как придушить?» — «Напрочь. Закаим-нибудь шнуром. Или полотенцем». — «Вы же были намерены ее удочерить?!» — «И дочку такую придушить не жалко». — «Вам-то что она сделала плохого?» «Может, одно хорошее и делает, — сказал дядя Валя. — Оттого и надо ее придушить. Или переехать автомобилем». «Вы же никого не давили! Это Коля Лапшин давит всех!» «Вот его и нанять», — сказал дядя Валя.

Пришел из Летнего сада и Игорь Борисович Каштанов. Поздоровался со мной.

— И Игорь Борисович хотел бы ее придушить? — заинтересовался я.

— Нет, — сказал Игорь Борисович. — Она — женщина. И красивая. А вы не джентльмены.

Игорь Борисович был в свежей серой тройке, являвшейся мне недавно в мечтаниях, вид имел человека здорового, разумного, готового

к государственным делам. Впрочем, к государственным делам, казалось, были готовы и дядя Валя и Михаил Никифорович. Что им-то пришлось перенести, подумал я, коли на меня из-за моих четырех копеек выпало столько улучшений!

— Значит, вы, Игорь Борисович, довольны? — спросил я. — А как ваша семейная жизнь? И молодая жена Нагима?

— Я опять холостой, — резко сказал Каштанов.

Я хотел было просить извинения за свой бестактный вопрос, но дядя Валя не дал открыть мне рта, а сообщил как бы из сочувствия к Игорю Борисовичу, что неделю назад на дом к нему прискакали три брата Нагимы в бешметах, в папахах и с кинжалами, три всадника из Кабарды, завернули Нагиму в ковер или в ковровую дорожку и увезли ее под Нальчик, в предгорья Кавказа, заросшие буком и грабом, славные своим целительным воздухом и видом на Эльбрус, а Игорь Борисович, чтобы не испортить братьям впечатление от столицы, был вынужден провести час в ванной, запертой им на крючок.

«Все было не так! — обиженно сказал Каштанов. — Не совсем так!»
 «Однако увезли, — сказал дядя Валя. — Но беда-то ведь небольшая, а?»
 «Вы, дядя Валя, — губы Каштанова сжались и утончились, — лучше расскажите, за что ваши коллеги, шоферня, вам стекла побили в автомобиле. «Ладно, хватит, — помрачнел дядя Валя. — Они уже извинились, когда я им все рассказал. Они меня уважают. Несмотря ни на что...»
 «Михаил Никифорович, — сказал я, стараясь увести разговор на иные тропы, — ты сегодня в аптеку не пойдешь? Выходной?» «Я не хожу в аптеку, — сказал Михаил Никифорович. — То есть захожу туда. Но не на работу». «Куда же ты ходишь на работу?» «Теперь никуда. Третий день на инвалидности». «Ты что, Миша!» — удивился я.

Удивились и Каштанов с дядей Валей.

А Михаил Никифорович показал нам бумажку, видно, временную, с заключением врачей, посчитавших, что он, Михаил Никифорович Стрельцов, страдает токсическим гепатитом, а потому должен пребывать инвалидом второй группы.

— С такой дрянью, — сказал дядя Валя, — тебе и пиво нельзя пить.

— Нельзя, — согласился Михаил Никифорович и поднял кружку. — Но беда-то ведь, дядя Валя, небольшая, а?

Оказывается, однажды в цехе химического завода, где с конца мая трудился Михаил Никифорович, произошла утечка четыреххлористого углерода, не имеющего запаха, вечером Михаила Никифоровича стало рвать, температура пошла под сорок, «скорая» отвезла Михаила Никифоровича к Склифосовскому в реанимацию. В Склифосовском, уже в общей палате, Михаил Никифорович пролежал десять дней. Теперь ездит туда, наблюдается, и вот три дня назад его одарили представленной нам бумажкой. Михаил Никифорович полагал, что ему удастся упротить лекарей сменить группу на профессиональное заболевание.

Я стоял, браня себя. Вот, значит, как. Ну ладно Каштанов и дядя Валя. Они все же не из числа моих друзей. Они мне интересны, но они могут прожить и без меня, как и я без них. Месяцами, случалось, не виделись, и ничего, жизнь продолжалась, трава росла, трамваи ходили... Но вот Михаил Никифорович... Собственно говоря, и с ним мы были лишь собеседниками, разговаривали о том о сем в останкинских проездах, в магазинах и в автомате на улице Королева. И все. Однако... Однако о том, что «скорая» увезла его к Склифосовскому, что он лежал там, я должен был бы знать, я должен был бы проведать его, помочь ему, коли возникла бы нужда, да и коли бы она не возникла! И о том, что он взял да и ушел из аптекарей на химический завод, я обязан был бы знать! Что же я за человек оказался? Выходит, в том моем праведном деловом существовании последних недель люди, жившие рядом со мной, стали мне безразличны, я и думать о них не думал, мне и в голову не приходило, что с ними может что-то случиться,

дурное или хорошее, они исчезли для меня. Если так, зачем были нужны мои совершенствования? Да и совершенствования ли это?

Горько мне было. И стыдно.

— Почему ты ушел из аптеки? — спросил я.

— Долгая история, — сказал Михаил Никифорович.

Он опять закурил, говорить далее как будто бы не желал. Да и что ему было открывать нам душу?

— У меня есть приятель, — не выдержал я, — известный врач, желудок, печень, гепатит — как раз его дело.

Михаил Никифорович промолчал.

— А ведь она себя объявила берегиней, — опять сказал я. — Что же она-то смотрела?

И снова Михаил Никифорович промолчал.

Последние слова я произнес скорее для самого себя. Теперь подумал: ведь и дядя Валя в апреле испытывал болезненное состояние. Но тогда и сама Любовь Николаевна хандрила и теряла способности. Почему нынче она допустила гепатит у главного пайщика?

«Мне стекла в автобусе вставили сами, которые выбивали», — сказал дядя Валя. «Но ведь выбивали, — сказал Каштанов. — И за дело». «За дело, — согласился дядя Валя. — И вставили. А тебе Нагиму обратно на лошади не привезли». «Нагима супы готовить не умела», — вздохнул Каштанов. «Сам бы и варил. Брал бы концентраты...» «Я и варил», — опять вздохнул Каштанов. «Моя-то дура, — сказал дядя Валя, — тоже плохо варила супы, а вот ушла к таксисту, и без нее тошно...» «Зато какие рекорды вы ставили на своем автобусе в прошлом месяце!» — усмехнулся Каштанов. «Ладно, хватит! — сердито произнес дядя Валя. — И с автобусом хватит... И от донорства откажусь завтра же...» «Я свой пай продам Шубникову, — сказал Каштанов. — А документ заверю у нотариуса...» «Не выйдет! — взволновался дядя Валя. — С дезертирами знаешь как!.. Шубникова развращать! И не выход это. Ее надо душить, коли нет бутылки, куда ее можно было бы засунуть. Михаил Никифорович молчит, а бутылку разбил он!» «Пусть она его сначала вылечит, — сказал я. — Или просто отменит болезнь... Кстати, дядя Валя, ведь вы же собирались лечить людей и животных, ставить диагнозы, что же вы-то прохлопали гепатит у Михаила Никифоровича?» «Она меня в такой оборот взяла, — махнул рукой дядя Валя, — что я сам стану скоро инвалидом... Единственно что она мне... это... восстановила...» «Что это?» «Ну... это... — замялся дядя Валя. — Теперь как у допризывника...» «Что же вы ее душить собрались?» — спросил Каштанов. «А зачем мне теперь-то как у допризывника? Баба моя все равно с таксистом. На нее у Любови Николаевны, видно, нет силы». «Но если вы Любовь Николаевну придушите, вы и всяких надежд лишитесь».

Дядя Валя задумался.

«Все равно, — сказал он, отпив пива, — дело тут решенное». «А вы интересовались, — спросил я, — мнением на этот счет Михаила Никифоровича?» «Михаил Никифорович и будет душить», — сказал дядя Валя. «Может, сменим тему? — строго сказал Михаил Никифорович. — Может, просто постоим, а от нее наконец отдохнем?»

Час стояли, наверное, мы еще в «Крестах». Рассуждали о футболе, сравнивали Блохина и Шенгелию. Сошлись на том, что Шенгелию через два сезона забудут. Потом отправились по домам в Останкино. Ждали трамвай, и тут дядя Валя не выдержал и проворчал в сердцах, что хоть бы автомат на Королева надо эту Любовь Николаевну заставить открыть, доколе ж она будет издеваться над народом!

Утром слабости и недомогания Любови Николаевны, видимо, прошли. Опять я почувствовал себя человеком, бросившим курить.

А накануне я клял себя. И ругал Любовь Николаевну. Стало

быть, 2 мая Любовь Николаевна вынула из нас души и заглянула в них. Мы тогда призадумались, замолчали после воспоминаний Михаила Никифоровича, размягчились, мечтали или даже грезили о чем-то, а она наши души держала на ладонях. Я в те минуты испытывал некое просветление. Думал: вот он наконец я истинный, каким я себя хотел видеть. И еще я думал о том, что мне как будто бы нечего в себе стыдиться, не от чего в себе отчаиваться, что я все сделаю, что мне предназначено, или уже делаю это...

Любовь же Николаевна, поняв наши сути или посчитав, что она поняла их, взялась за наше совершенствование. Она желала нам добра. Она желала видеть нас хорошими.

Но что вышло? Тошно подумать... Впрочем, последнее соображение касалось только меня. Сведений о последних неделях жизни Михаила Никифоровича, дяди Вали, Каштанова я ведь почти и не имел. Я только ощутил их недовольство... Но, может быть, настроения моих знакомых были случайными, может быть, каприз некий возник в них сроком на три часа? Впрочем, в случае с Михаилом Никифоровичем, похоже, было не до капризов...

Однако, как я сообщил, Любовь Николаевна тут же вновь окрепла. А я впал в суету. Стремнина праведной жизни повлекла меня дальше, к чему — неизвестно. Но что-то во мне и изменилось. Теперь, когда я знал, что, не явись и не займись мной Любовь Николаевна, перемен, несмотря на все мои упования, наверное, во мне никаких не произошло бы, я порой думал: «Да что же, игрушка, что ли, я в ее руках? Нет уж, дудки!»

Я стал сопротивляться стараниям Любви Николаевны. Полагал, что Любовь Николаевна ощутит сопротивление и задумается: права ли она, не ошиблась ли в чем?.. Ведь ошиблась она, приписав мне любовь к табаку. И вот я, проснувшись, например, постанавливал: а посплю-ка еще часок, куда спешить, или просто полежу, закрыв глаза, фразу одну серебряную обдумаю... Нет, одеяло сейчас же само сплывало на пол, а меня нечто подбрасывало и ставило на паркет. «Увиливаешь! — шипело во мне это нечто. — Поблажек хочешь! А тебя ждут великие дела!» Я мог предположить, что шипящий зверь или, может быть, кусачее насекомое существовали теперь и в Михаиле Никифоровиче, и в дяде Вале, и в Каштанове, и в Серове, и в Филимоне. Да и еще десятки останкинских жителей могли попасть вблизи нас под напряжение полей Любви Николаевны...

Настроение мое становилось все более угнетенным. Я нервничал, часто раздражался, хотя и говорил себе, что раздражение не должно быть свойственно праведному человеку. И Любовь Николаевна, видимо, не могла отменить мои раздражения.

Значит, все-таки чего-то не могла?.. Значит...

Словом, однажды, опять возроптав, я пришел к некоей тайной мысли. То есть мне хотелось бы, чтобы она оказалась тайной для Любви Николаевны. Не могла же Любовь Николаевна ежесекундно иметь в виду все наши состояния. Да и на ошибки, как вы знаете, она была способна. И я, случалось, минутами или часами ощущал свою самостоятельность. Не раб я совсем-то! — полагал я (впрочем, с сомнениями).

И я пошел к дяде Вале.

Рассказы дяди Вали были будто выцветшими. Где машковские колориты славных его фантазий! Или правд! Но вот что я узнал. Стекла дяди Валиного автобуса его коллеги били за неожиданную для них прыть водителя Зотова. А главное — за прыть, по их разумению, вредную. Дядя Валя их донял. Или достал. В своем трудовом, а возможно, гражданском усердии дядя Валя, по мнению коллег, стал издеваться над ними. Автобаза дяди Вали была ведомственная, виды не портила, получала и знамена. Заданий ей не занижали, да и кто бы позволил. Однако план перевозок за прошлый месяц дядя Валя

выполнил на шестьсот четырнадцать процентов. Откуда только взялись перевозки и маршруты для этих шестисот четырнадцати процентов? Но вот взялись... За месяц дядя Валя выступил с семнадцатью инициативами, из-за которых на автобазе то и дело толклись представители и ученые. Четыре инициативы были связаны с экономией горючего, две — с запасными частями, четыре — с резким улучшением работы тормозов, одна — с бесперебойным проливом на Москву дождей, остальные шесть — с нравственной атмосферой на автобазе. После речи дяди Вали на автобазе создали отделение Вентспилсского общества любителей вереска. Он же предложил столовой базы уменьшить выходы мясных изделий, памятуя о голодающих в азиатских и ближневосточных трущобах. Стал дядя Валя и донором, хотя у него временами, после закрытия автомата на улице Королева, и кружилась голова. Люди, являвшиеся по делам на автобазу со стороны, говорили о водителе Зотове с умилением и предлагали всем по жизни ехать за ним следом. Говорили, что труд и порывы дяди Вали дают основания снизить расценки. За полтора месяца дяде Вале четырежды удавалось спасать детей. Проезжая мимо Останкинского пруда, дядя Валя увидел панику на берегу, выскочил из автобуса, вытащил из воды уже затонувшую и притом, видно, укушенную мелким ротаном девочку семи лет. Откачал. В подмосковной деревне Большой Двор Талдомского района, будучи в рейсе, дядя Валя вынес из горящей избы близнецов Курнениных, дошкольников. Труднее было снять десятилетнего путешественника, застрявшего на уровне восьмого этажа на водосточной трубе дома номер одиннадцать по Аргуновской. Руки у того дрожали, женщины внизу плакали, и пока катили к объекту из Рыбникова переулкa пожарники с лестницей, дяде Вале с помощью связанных простынь пришлось спускаться к оболтусу. Оболтус потом уговорил дядю Валу накормить его мороженым. И прежде, случалось, дядя Валя в часы энергических настроений проявлял себя общественником и по месту жительства. В частности, как-то заставил дворовых мальчишек залить на задах ветеринарной лечебницы хоккейную площадку и купил им десять шайб. Теперь же во дворах домов по Кондратюка и по Цандера общественные инициативы, возбужденные дядей Валей, стали чуть ли не извергаться. Оживил дядя Валя работу уснувших было ремдружинников, рожденных когда-то отчаянными и пробивными мыслями бытового фантазера Матвея Розова. Дядя Валя сам ходил по квартирам, предлагая хозяевам помыть им полы. Брался и отвезти хоть в Луховицы на автобусе. Хозяева смотрели на него с испугом, полы мыть не доверяли, а вот отправить вещи на дачу с дяди Валиным автобусом двое согласились. Не было покоя дяде Вале и по ночам. Из газет, из передач телевидения он узнавал о множестве событий в мире, и сейчас же в нем возникало желание откликнуться, или высказать протест, или даже предупредить кого-нибудь по-хорошему. Предупреждал дядя Валя принца Сианука, но вежливо, Сианук был для него как малое дитя. Предупреждал и президента Картера, но куда строже. Бросался дядя Валя и в эпистолярную полемику с ведущими телепередачами «Это вы можете», призывая их не спускаться на лыжах с горы, а возлетать мыслью в бирюзовые высоты. Были направлены им и чувственные послания во внеземные галактики в надежде, что братья по разуму, пусть на лицо и уроды, ощутят его сигналы и вступят для пользы человечества с дядей Валей во взаимоотношения...

Я понимал, что дядя Валя сейчас не фантазировал. Не вспоминал он ни маршала Жукова, ни Сергея Михайловича Эйзенштейна, ни чудесных творцов легких песен, ни сражений под Гвадалахарой и Теруэлем. Я даже загрузил. А может, и встревожился.

Что касается стекол дяди Валиного автобуса, то дело обстояло так. Окружили как-то дядю Валу коллеги, водители и механики, сказали:

«Дядя Валя, мы тебя уважаем. Но ты нас доведешь!» «А что такое?» — удивился дядя Валя. «А ничего! — сказали ему. — Ты в школе учился? Приятно тебе было выслушивать попреки завуча и сравнения с отличниками?» «Чего уж приятного...» — сказал дядя Валя. «Ну вот. А что же нам занозой задницу колешь? Мы сознательные не хуже тебя, а ты нас загнать, что ли, хочешь? Ты уймись... Взрослый человек, на пенсию пора, а туда же...» Но уняться дядя Валя, увы, не смог. Тогда кто-то из мужиков покаянней и применил к нему меру. Побил стекла. А стекла в автобусе известно какие. Сразу их и не одолеешь.

Только тогда дядя Валя будто бы и сообразил, что он несется куда-то с отчаянным превышением скорости. «Куда гоню-то я?» — спросил себя дядя Валя. На колени был готов встать водитель Зотов перед персоналом предприятия. Он сказал: «Все. Больше мучать вас не буду!» Он и от донорства, как обещал нам, отказался, сославшись на шевеление осколков в ноге. Но толку-то что было от его повинных слов и обещаний персоналу? Завод-то в нем от этой шелудивой Любви Николаевны так и не прекратился.

— Вы же сами,— сказал я осторожно,— предложили называть ее Любовью Николаевной...

— Филимон был прав,— сказал дядя Валя.— Варвара ее имя!

Так бурно и страстно жил дядя Валя в летние недели, что спал два-три часа в день. Забросил собаку. Та вынуждена была стать совершенно самостоятельной. Обедать ходила в диетическую столовую, соседствующую с рестораном «Звездный». Дядя Валя дверь в квартиру не запирает. О всяких подъемах в воздух жилых и служебных зданий, о диагнозах через стены и с закрытыми глазами забыл. До того ли ему было! Изнурила дядю Валю просветленная жизнь. Следует при этом напомнить, что дяде Вале была возвращена мужская сила. Ощувив ее явление, дядя Валя поначалу обрадовался; возможно, что и трудовые порывы его были подстегнуты сознанием, что сила вернулась. Но потом-то она стала чуть ли не обузой. Куда ее было употребить дяде Вале? С кем расходовать? Ездил дядя Валя к своей бывшей жене Нине Борисовне, вез в черной синтетической сумке цветы жасмины и гостинцы, полкилограмма северога горячего копчения в частности. Но ничего, кроме конфуза, из этого визита не вышло. Цветы и гостинцы Нина Борисовна приняла, а дяде Вале сказала: «Цурюк!» — и напомнила о месте прописки: улица Кондратюка, четырнадцать. Уже тогда в сердцах дядя Валя бранил Любовь Николаевну. Коли эта Любовь Николаевна на самом деле вышла к нам из бутылки добродетельной, она бы обязана была к возвращению дяде Вале мужской силы приурочить и возвращение навек покоренной Нины Борисовны. Но или беззаботной порхала в столице Любовь Николаевна. Или, что более похоже на правду, не распространялось ее влияние на такую женщину, как Нина Борисовна. Неужели эта проходимка Любовь Николаевна не могла вылезти из посуды пять лет назад, когда его, дяди Вали, беды лишь начинались и Нина Борисовна еще жила в его квартире!

Дядя Валя замолчал, а я хотел обратить его внимание на то, что в конце рассказа его обнаружилось противоречие. Да и хвастался дядя Валя прежде, что жена женой, а и дамы и барышни разных пород и калибров никогда прохода ему не давали, да он прохода от них и не требовал.

«Но беда-то ведь небольшая, а?» — сказал дядя Валя. «Что будем делать?» — спросил я. «Душить паскуду!» — сказал дядя Валя.— И все!» «А может, мы не правы?» — предположил я. «В каком смысле?» — насторожился дядя Валя. «А в таком, что, может быть, она старается реализовать стремления каждого из нас к идеалу, пусть и неосознанные стремления, а мы недовольны, сопротивляемся ей и сами отказываемся от себя».

Дядя Валя задумался. Потом сказал: «Знаешь что. Какая у меня есть судьба, такая и есть. И нечего ей в мою судьбу лезть. И без нее хватало войн и прочих обстоятельств». «Однако же вы досадуете, что пять лет назад, когда жена еще не ушла от вас, Любовь Николаевна не вылезла из бутылки...» «А тебе-то что?» — взглянул дядя Валя на меня с подозрением. Расстались мы с дядей Валей, как бы стыдясь друг друга. Поговорить-то мы поговорили, обсудили свое житье и Любовь Николаевну; возможно, и выглядели теперь вонтелями, дядя Валя тот и вовсе мог вызвать мысли о генерал-губернаторе графе Палене, задумавшем истребить несносного императора в Михайловском замке. Но, расставаясь, мы опять спешили угодить в ярмо. Я понесся к столу, на котором неизбежно должны были возникнуть пять тетрадей. Дяде Вале, наверное, выходило теперь думать уже не о шестистах четырнадцати процентах, а о полных семистах. Чему еще, кроме стекла, предстояло пострадать в его автобусе?

Через неделю, когда вновь пришло ощущение, что гнет Любви Николаевны ослаб, я нашел Каштанова.

— Ты где сейчас трудешься? — спросил я Игоря Борисовича.

Оказалось, что все в том же строительном управлении. Но и еще в одном месте.

— А конь твой жив? Или кобыла...

И кобыла Игоря Борисовича, или конь, или мерин, во всяком случае — лошадь, жила и по-прежнему квартировала во дворе в гараже. Три брата, всадники из Кабарды, ее с собой не увели, а ведь могли использовать в дороге как сменное животное. Но опять же — почему Любовь Николаевна в день похищения братьями Нагимы не оберегла интересы Игоря Борисовича? Или именно оберегла?

Ни о бывшей молодой жене Нагиме, ни об известной в Останкине женщине Татьяне Панякиной, ударившей на наших глазах Игоря Борисовича туфлей по чистой щеке, Каштанов сам говорить не стал, я же о них не спросил. И все же он, видно, что-то хотел открыть мне, вот-вот намерен был начать рассказ, но не отважился. Или боялся, или стыдился чего-то.

Все же из новых и как бы нечаянных реплик Каштанова я понял, что Любовь Николаевна преобразила его существование. Но что это за преобразование, знать мне не было дано. Понял я, что Игорь Борисович в своих чувствах к Любви Николаевне не столь тверд и воинствен, как, скажем, дядя Валя. Сомнения терзали тонкую натуру Игоря Борисовича. Он и прежде склонен был топтаться на перепутьях. Опека Любви Николаевны, возможно, и тяготила Каштанова, но, возможно, и была ему сладка. Когда я спросил: «Что делать будем с Любовью Николаевной?» — он лишь пожал плечами.

С Серовым и Филимоном Грачевым встретиться мне не удалось. О Филимоне Грачеве я все же кое-что услышал. Каким он был, таким и остался. Хотя и не совсем. В гиревом спорте он словно бы перешел из третьеразрядника в мастера международного класса. Теперь и по ночам крестился двухпудовиками и рвал на грудь штанги. На заводе «Калибр», в случае нужды и когда запаздывали краны, при толпах глазевших поднимал станки. Достал Энциклопедический словарь и выучил его наизусть. Если просили, мог подолгу произносить тексты из него страницей за страницей. Покончив со словарем, Филимон записался в районную библиотеку, часами сидел там с томами двух последних изданий Большой Советской Энциклопедии. Изучал и энциклопедии специальные — медицинские, географическую, литературную, музыкальную. Досадовал на то, что они краткие. Успехи его образования были очевидны — иные кроссворды, даже такие сложные, какие преподносят народу «Гудком» и «Лесной промышленностью», он разносил за две-три минуты. Выходило, что над Филимоном Любви Николаевне и не слишком много пришлось тру-

даться. Она лишь подчеркнула особенности его личности, усилила их проявления. Причин для огорчений, видимо, у Филимона не было.

Интересовало меня, случилось ли что удивительное в жизни останкинских бузотеров Шубникова и Бурлакина. Но нет, никто из моих собеседников о них ничего не слышал. То ли они притихли. То ли успокоились.

А вот встретиться с Михаилом Никифоровичем я никак не мог отважиться. Все чувствовал себя виноватым перед ним. Но надо, надо было зайти к нему... И отчего-то тянуло увидеть Любовь Николаевну. Поздороваться с ней и взглянуть ей в глаза... Смutil меня однажды дядя Валя. Мы оказались вместе с ним в вагоне метро. Потом шли от станции к своим домам. Дядя Валя молчал. Лишь у ветеринарной лечебницы, когда мы уже пожали руки друг другу, он сказал: «Одному-то мне с ней не справиться. Придуши-ка ее в одиночку! Вы-то все — в сторонку!» «И Михаила Никифорович?» — «Михаил Никифорович только мешать будет. Влюбился, похоже, в нее Михаил Никифорович». — «Чепуха какая! Она же...» — «Что ей стоит околдовать кого хочешь! Она же ведьма!» — «Прежде вы такого не говорили...»

Дядя Валя лишь махнул рукой. И пошел к себе.

17

Видимо, дядя Валя что-то знал. Вряд ли бы он, не имея оснований или хотя бы подозрений, мог позволить себе сказать эдакое о Михаиле Никифоровиче. При всех фантазиях и полетах мысли дядя Валя обычно был деликатен и почти никогда не касался роковых или легкомысленных чувств своих знакомых, знаменитых и безвестных. А тут такое откровение!

Однако и поверить дяде Вале я не хотел. Это Каштанов, временами мечтатель и романтик, да и в летящие дни человек ветренный, смог бы вообразить нечто, окунуться в грезы или музыку, уверить себя в том, что он увлечен кашинской легкокрылой берегиней, но Михаил Никифорович, крестьянский сын, способен был, полагал я, отличить пшеничное зерно от пуха...

Размышляя так, я столкнулся на Звездном бульваре с Шубниковым. Шубников шел мрачный.

— Что с тобой? — спросил я.

— Этот идиот Бурлакин... — начал Шубников.

Оказалось, что этот идиот Бурлакин, чье тело так и не выпустило совсем галогены серебра, поймал сачком, а может быть, трусами в Останкинском пруду годовалого ротана. Бурлакин посчитал, что сазан, доставленный с низовьев Волги летчиком Германом Молодцовым и проживающий в ванне Шубникова, скучает и ему необходим собеседник и друг. Не посоветовавшись с Шубниковым, а как бы готовя сюрприз, он подпустил ротана к большой и миролюбивой рыбе. Энциклопедически образованный Филимон Грачев, коли бы его спросили, объяснил бы, что ротан — особь из породы окунеобразных, заезжая с Дальнего Востока, в просторечье — головешка. Так вот эта головешка за ночь съел сазана. Сожрал, не оставив ни костей, ни жабр, ни чешуи. При этом нисколько не увеличился в размерах. А в сазане уже было девять килограммов. Шубников его холил и лелеял, угощал размоченными в квасе пряниками, квашеной капустой, нюхательным табаком, иногда наливал в ванну до стакана портвейна «Кавказ», связывая с сазаном планы покорения Птичьего рынка. И вот такая оказия!

Бурлакин каялся, но сазана-то вернуть он не был в силах! Бурлакин предлагал казнить ротана и им, испеченным в сметане, заесть напиток, но ротан, подлец, все понимал и ни в руки, ни в сачок не давался. В Останкинском пруду под башней ротан, видимо, жил

впроголодь, теперь сжирал все, что Шубников по глупости или, будучи находясь, оставлял в ванной комнате. Выпрыгивал из воды и проглатывал зубные щетки, мыло, мыльницы, флаконы дезодоранта. Шубников остался без полотенец и без потрепанного, но любимого халата. Ротан сгрыз подставку из стальной проволоки, над которой крепилось зеркало, и теперь покусывал и само зеркало. При сазане из уважения к тихой рыбе Шубников не пользовался ванной, но и нынче, при ротане, ему приходилось мыться в Астраханских банях, вот до чего дошел. Сейчас он возвращался из Астраханских бань.

— Найди покупателя,— предложил я.

— Кому нужна эта мелочь! Он жрет, но не растет!

Шубников сплюнул и пошел дальше.

Он не поинтересовался останкинскими новостями. И о Любви Николаевне не спросил. Видно, ротан был отловлен Бурлакиным и впрямь каверзный и эгоистичный. Впрочем, дурные обстоятельства жизни Шубникова не слишком опечалили меня.

А я, не дойдя до дома, свернул на улицу Цандера и потом дворами выбрался на Королева к жилищу Михаила Никифоровича.

Михаил Никифорович открыл мне дверь, пригласил в кухню. Возле ванной в коридоре стояла собранная раскладушка. Дверь в комнату, где когда-то проживал Михаил Никифорович, была закрыта, и, как мне показалось, Михаил Никифорович взглянул на эту дверь с неприязнью. Никаких вещей Любви Николаевны я не увидел, но женщина в квартире Михаила Никифоровича несомненно жила. Или хотя бы ночевала.

— А что она... эта...— помолчав, начал было я, но отчего-то шепотом и сам шепота устыдился.

— Ее нет,— сказал Михаил Никифорович.

— Совсем нет?

— Сейчас нет.

— Слушай, а ведь наверняка ты надышался этой химической дряни именно из-за Любви Николаевны. Не явись она, не ушел бы ты на завод.

— Мне сорок, я взрослый и сам за себя в ответе.

— Все мы взрослые... И должна ли быть при нас Любовь Николаевна?

Да, мы взрослые и сами за себя в ответе... Однако возникают на моем столе пять тетрадей. И били стекла автобуса Валентина Федоровича Зотова.

— Дядя Валя, похоже, терпеть более не может...

— Знаю,— сказал Михаил Никифорович.

— Ну и как?

— Ну и никак.

Неловким и даже неприятным получилось наше свидание с Михаилом Никифоровичем на кухне. Мы молчали. Михаил Никифорович закурил. Был ли это поступок, или же Михаил Никифорович из-за неловкости, возникшей в разговоре, закурил просто так, по давней привычке, я оценивать не стал. Я корил себя. Вовсе, видимо, и не нужен был Михаилу Никифоровичу мой приход. Что я явился бедить ему душу? Я хотел встать и уйти. Узнать у Михаила Никифоровича, нужно ли какое доступное мне участие в его делах, и уйти. Я и спросил:

— На что живешь теперь? Деньги-то есть у тебя? Если нужно, возьми в долг у меня...

— Спасибо. Пока есть. Потом, может, и возьму.

Опять замолчали.

— К матери в этом году поедешь? — спросил наконец я.

Михаил Никифорович каждый год ездил в свои курские земли, к матери. Брал две недели отпуска в пору, когда копали картофель, доставал банок двадцать тушенки, коли удавалось, гречневой крупы,

жесткой колбасы и покупал билет до Рыльска. Братья Михаила Никифоровича жили кто где, звали мать к себе, она гостить у сынов гостила, но совсем уезжать из Ельховки не собиралась. На здоровье, слава богу, жаловалась мало. Михаил Никифорович на всякий случай возил ей пузырьки валокордина, она их раздавала соседкам, сама же верила травам. В прошлом году Михаил Никифорович и меня чуть было не уговорил ехать с ним в Ельховку, обещав за труды на огороде оделить меня мешком курской картошки. Не из-за копки картофеля он меня звал, а хотел показать свою родину, я было загорелся, но какие-то пустяки перечеркнули мои намерения.

— Может, и не поеду,— сказал Михаил Никифорович.— Если не подлечусь. Зачем магери...

Я взглянул на него. Он был хмур.

— Павел поедет,— сказал Михаил Никифорович.— С детьми. Я написал ему.

Опять я был готов бранными словами напомнить о Любви Николаевне.

А Михаил Никифорович стал говорить. И многое мне рассказал в тот день. Теперь я жалел, что не пришел к нему раньше. Недавние мои сомнения оказались вздорными. Михаилу Никифоровичу собеседник был нужен. Не позвонил бы я ему в дверь, он бы нашел меня.

Начал он с 4 мая. С того самого дня, когда на улице Королева перестал работать пивной автомат.

4-го, отправляясь на работу, Михаил Никифорович ощутил, что в нем (или с ним) возможны перемены. Он почувствовал, что вот-вот начнет ерепениться.

Михаил Никифорович чаще всего проявлял себя человеком уступчивым и покладистым, что давало основания его бывшей жене Тамаре Семеновне, или Мадам, укорять Михаила Никифоровича и называть его тюфяком, тряпкой, диванным валиком. Мадам Тамара Семеновна, учительница географии, считала Михаила Никифоровича своим вечным должником. А он оказался должником с дырявым карманом. Именно Тамара Семеновна улучшила социальное и даже словесное положение Михаила Никифоровича, согласившись расписаться с ним, и Михаил Никифорович превратился из обыкновенного провинциального жителя в москвича. Познакомились они в Яле в курортный сезон. Михаил Никифорович работал тогда в аптеке богатого санатория, а Тамара Семеновна отдыхала в Яле, пробивалась вместе с подружкой на санаторный пляж — там хоть можно было сесть на гальку. Сначала к Михаилу Никифоровичу приблизилась подружка Мадам. Подруга в мечтах похудеть выпрашивала у Михаила Никифоровича упаковку фуросемида, при этом ссылаясь на опыт знакомых, прежде грузных. Михаил Никифорович объяснил, что фуросемид полезен не всем и может привести к критическому упадку давления и общей слабости. Но подружка будущей Мадам играла глазами, разжалобила душу Михаила Никифоровича, он протянул ей упаковку фуросемида. При этом все же счел нужным сказать, что барышню могут ждать и огорчения на пляже, тут, коли она намерена худеть всерьез, ей придется быть готовой к частым пробежкам. Так оно и случилось. Но подружка все перетерпела, хотя потом уже и не бегала, а еле волочила ноги. Однако шести килограммов она лишилась.

Тогда и пришла к Михаилу Никифоровичу Мадам. То есть какая она еще была Мадам? Тонкая, скромная девушка, глаза — в пол. И отчего-то совсем не крымская, не загорелая. Не то что ее подружка. Смущаясь, она рассказала Михаилу Никифоровичу о недомоганиях подруги. «Пусть ест больше,— холодно произнес Михаил Никифорович.— Тут же на ноги встанет». Все же он дал ей серо-бурые таблетки: вдруг у подруги вместе с жидкостью вышло и много калия. Для себя Мадам, то есть Тамара Семеновна, попросила бироксан. Михаил Никифорович удивился: «Вам-то зачем?» «Это не мне,— совсем смути-

лась тонкая девушка, заговорила быстро: — Это отцу. В Москве никак не могли достать, а у вас, говорят, есть...» «Есть-то есть...» — сомневался Михаил Никифорович. В ту пору харьковские фармацевты, к школе которых относился Михаил Никифорович, изготовили и пустили в промышленное производство препарат бироксан. Бироксан, полагали, мог противостоять облысению. Полагали также, что он был способен дать обновление природы и совершенно лысым. Сейчас этот препарат с производства сняли, сообщил мне Михаил Никифорович, хотя, как выяснилось, бироксан все же помогал, лысым не лысым, но людям, страдающим витилиго, от которого по телу идут белые пятна. Однако в ту пору надежда на него еще была... Но и на бироксан требовался рецепт. Что-то тогда с этими двумя подругами нашло на Михаила Никифоровича. Дурман какой-то. Без рецепта он отпустил фуросемид, без рецепта выдал Мадам бироксан. И нельзя сказать чтобы московские барышни произвели на него сильное впечатление. Вдогонку Мадам, уходящей с оротатом калия и бироксаном, он чуть ли не произнес пустые слова, чуть не передал обижаемому природой отцу Мадам совет не сидеть с головой, намазанной бироксаном, на солнце... В тот вечер Михаил Никифорович о Мадам не вспомнил, а наутро он взволновался. Да и есть ли у этой дуры отец с лысиной, не свою ли белую кожу она решила натереть бироксаном? Были ведь случаи! Были! И один серьезный. Прошел слух, что бироксан помогает загорать. Выходило, что помогает. Одна дама из Алушты, сама по образованию провизор, в день голубого неба намазала себя бироксаном. То ли организм ее оказался восприимчивым, то ли кожа была особо нежной, только получила она ожог третьей степени, ей делали переливание крови, вводили плазму, еле спасли. Михаил Никифорович бросился на пляж. Ни Мадам, ни ее подруги он не увидел. А солнце уже грело хорошо и не первый час. В одном из галантных разговоров с Михаилом Никифоровичем подруга сказала, что они сняли комнату на Старокрымской улице. Назвала и фамилию хозяев. Михаил Никифорович и поспешил на Старокрымскую. Ему, бывалому-то мужчине, мерещились ужасы. Случалось, виноватыми оказывались судьба, стихия, война, злоба, зависть. Здесь виноват был он... Мадам на самом деле обгорела. Не так, как алуштинская провизорша, но болезненно. Хорошо хоть догадалась быстро уйти с пляжа. Лежала, постанывала при движениях, вечером температура у нее была под тридцать девять. Михаил Никифорович вызвался быть сиделкой. Подругу Мадам, ослабленную борьбой с плотью, все еще качало. Чувство вины и жалость в иные дни приводили Михаила Никифоровича на Старокрымскую. Михаил Никифорович носил мази, дыни «колхозница» с рынка, веселил разговорами. Подруги поправились, а вина и жалость Михаила Никифоровича, известное дело, претерпев метаморфозу, превратились в романтическое увлечение. При этом ни чувство вины, ни жалость не исчезли вовсе. Михаилу Никифоровичу и Тамаре Семеновне показалось, что они полюбили друг друга. Может, так оно и было... Иначе бы, наверное, Тамара Семеновна не предложила ятинскому аптекарю расписаться с ней, а Михаил Никифорович при его щепетильности и гордости не согласился бы переехать в столицу. В Москве они прожили домом пять с половиной лет. А потом развелись. О чем мне пришлось сообщить на первой же странице рукописи.

К чему это он все ведет, пояснил мне Михаил Никифорович, а вот к чему. К набату домашнему, к кличу призывному: «Взъерепениться!» Тамара Семеновна, давая советы Михаилу Никифоровичу, вынуждена была повторять: «Тебе надо взъерепениться!» На развод Михаил Никифорович согласился без особых колебаний. Хотя и понимал, что ему будет о чем жалеть. Пять с половиной лет семейной жизни для него, побродившего по морям и землям, будто приписанного судьбой к нарам, койкам, каютам, палаткам, казармам, общежи-

тиям, были погружением в уют. Но что делать? Он разрушил надежды Тамары Семеновны. Ее житейские претензии вошли в противоречие с натурой Михаила Никифоровича.

Причем Тамара Семеновна не была вредной. Просто она хотела от Михаила Никифоровича большего. У нее были идеалы, ее посещали грезы. В грезах, девичьих еще, догадывался Михаил Никифорович, она видела себя и Наташей Ростовой, явившейся на первый бал. Даже если и не самой Наташей, то хотя бы ее сверстницей, и хорошенькой, естественно, имевшей на том балу не меньший, нежели графинюшка с Поварской, успех. И, предположим, не князь Болконский приглашал ее на тур вальса, а князь Барятинский. Или какой-нибудь Лобанов-Ростовский. И были в тех грезах мраморные колонны благородного зала, и надменные кавалергарды, и ироничные гусары, и князья, и знатные маменьки, и прочее. Словом, Высший Свет. И позже Мадам, женщина на вид тихая, строгая, но с явным норовом, готовясь к урокам по программе учебника профессора Барановского «Экономическая география СССР», выписывая, например, из газет сведения о строительстве Шарыповской электростанции в рамках КАТЭКа, наверное, не выпускала из виду Высший Свет.

Были времена, когда Мадам мечтала о детях. Впрочем, она полагала, что у нее будет одна девочка и она поступит в Плехановский институт. Однако муж девочки должен быть непременно из международных отношений. Или хотя бы из внешней торговли. Михаил Никифорович чуть было не рассказал Мадам, как он с аттестатом зрелости, или аттестатом глупости, приехал из Ельховки поступать в Институт международных отношений. Но не рассказал, и хорошо сделал.

Впрочем, уповать на девочку было рискованно, да и ждать пришлось бы долго. Конечно, профессия Михаила Никифоровича, разъясняла ему Мадам, не самая престижная и не самых Высоких Выходов, но и будучи аптекарем, а в особенности заведующим аптекой, пусть даже не Ферейновской, пусть хотя бы первой или второй категории, он все же может рассчитывать на приближение к нынешнему Высшему Свету. «Пошла ты знаешь куда!» — рассердился однажды Михаил Никифорович. Но он был отходчив. А женские слезы или хотя бы укоризненные вздохи тяготили его, заставляли думать о собственном несовершенстве, о том, что на самом деле надо что-то предпринимать, ведь он мужик и ему за тридцать, а сколько он приносит в дом?

Образование Михаила Никифоровича, его опыт и послужной список и, наконец, то обстоятельство, что он мужчина, вполне могли обеспечить ему достойное положение в профессиональных регистрах. Но не выросал из Михаила Никифоровича добытчик положений!

Ходил он, случалось, и в заведующих аптеками. Правда, не первой категории и не второй. Одна из тех аптек размещалась у нас в Останкине, на Цандера. В соседнем с рестораном «Звездный» доме, под парикмахерской. Теперь там пункт проката. В пору заведования Михаилом Никифоровичем останкинской аптекой Мадам относилась к нему искательно и нежно. Сколько раз прежде она отчаивалась, сколько раз стыдила Михаила Никифоровича! Она уже и возможность явления девочки ставила в зависимость от его служебных взлетов. На что же иначе покупать коляски, кровати, пеленки, югославские корма ребенку? А тут она опять дала волю надеждам и грезам. Теперь-то ей казалось, что все, что Михаил Никифорович понял истины жизни. Сколько достойных людей Останкина сразу же стали ее знакомыми — и из трех продовольственных магазинов, и из зеленого, и из мебельного, и из хозяйственного, и из здешних мастерских, обувной и мелких металлических работ, и из кинотеатра «Космос», где, между прочим, в дни фестивалей шли внеконкурсные фильмы и люди плакали. И из парикмахерской.

Эта парикмахерская и привела к разводу Мадам и Михаила Никифоровича.

В одну из майских ночей парикмахерская протекла на аптеку. Мастерницы из дамского отделения, в числе их, наверное, и большая художница Кирпичеева Юнона, улучшавшая в последние месяцы прелести Тамары Семеновны, ушли с работы, забыв выключить воду в душе. А душевая была как раз над материальной комнатой аптеки. А в материальной комнате заместительница Михаила Никифоровича заведующая отделом запасов Ольга Ефремовна Чеснокова распорядилась накануне выложить на столы лекарственные препараты. На предмет учета. Михаил Никифорович был на больничном. Прибежал в аптеку, звонил в Тимирязевское аптекоуправление. Оттуда сейчас же явились инспектор и бухгалтер. Охали, ругали. Призвав на помощь райисполком, заставили возмещать ущерб парикмахерскую. Кое-какие лекарства сочли возможным спасти. Все это — на пятьсот рублей. А семьсот рублей остались за аптекой. Правила хранения товара были нарушены. Резких слов Чесноковой Михаил Никифорович говорить не стал. Не смог. Видел: она сама не своя, того и гляди наложит на себя руки. Чеснокова поднимала двух дочек, мужа не имела, зарплата у нее была — сто двенадцать. Михаил Никифорович покряхтел-покряхтел и в объяснительной райздравотделу виноватым во всем объявил себя. И семьсот рублей легли на него.

Мадам Тамара Семеновна никогда не кричала. И тут голоса не повысила. Просто глазами, губами дала понять: все, конец. «Что же мне, эту Чеснокову, дочек ее топить, что ли,— говорил Михаил Никифорович,— из-за этих дур с ножницами?.. Заплачу потихоньку, из зарплаты будут вычитать понемногу, займу у братьев...» «Все, Миша! — сказала Тамара Семеновна.— Все! Привык калечить добротой свою жизнь — и калечь. А с меня довольно!»

Аптека на улице Цандера труды прекратила. Ее сразу же закрыла санэпидемстанция. Разумные головы из проверяющих и вообще удивились. Как это аптеку устроили в здании, для ее существования непригодном? Михаила Никифоровича освободили от долга. Однако новую аптеку ему не предложили. Возможно, при решении его судьбы произносились слова: «Это который Стрельцов? Который аптеку затопил? Ну ясно...» Вода из парикмахерской и в будущем могла плескаться в делах Михаила Никифоровича. И стал опять Михаил Никифорович просто аптекарем.

Когда он им стал, Мадам Тамара Семеновна и написала заявление о разводе.

Во дни разбирательства потопа она давала Михаилу Никифоровичу понять, что все, конец, однако чего-то и ждала. Поступка ли какого необыкновенного Михаила Никифоровича, вмешательства ли судьбы либо вмешательства неизвестного ей влиятельного лица. Но нет, ничего не случилось. Михаил Никифорович опустил на прежний собственный знаменатель, определенный, видимо, ему обстоятельствами жизни, и застыл на нем. При размене квартиры Михаил Никифорович остался в одиночестве, чувство же его вины перед Тамарой Семеновной обострилось... Сначала он полагал уехать из Москвы и оставить Мадам всю квартиру. Но куда уехать? К матери в Ельховку? А что делать там?.. Вскоре Мадам удачно съехала с родителями (кстати, отец Мадам, бывший тесть Михаила Никифоровича, волосы имел густые, хоть стриги их на носки, и не нуждался в бироксане). И вышло так, что Мадам не потеряла ни метра. Однако и известие об этом не слишком успокоило Михаила Никифоровича. Он не переставал отчитывать себя за слабость и малодушие. Ну ладно, не может быть он пронырой, но деловым-то и гибким мужчиной он должен стать. Приятно ли жить мямлей и рохлей, когда вокруг тебя — чаще всего — именно деловые и гибкие мужчины и женщины? И что толку от его доброты и жалости, коли он своей добротой и жалостью об-

легчает жизнь людям недобросовестным и безответственным. Ладно, у Чесноковой — дочки, но ведь и ей самой надо было иметь голову на плечах... Получалось к тому же, что он в конце концов не был добр к Мадам. Нет, порой он старался угодить ей и что-то предпринимал. Случалось такое. Но не мог поломать в себе нечто, хотя и намерен был поломать. А проводив Мадам в новую жизнь, он и вовсе махнул рукой на многое. А-а-а!.. Пусть все идет как идет.

Оно и шло...

18

А 4 мая Михаил Никифорович понял, что он взъерепенится. Странности какие-то возникали в нем. Будто потоки, вихревые и музыкальные, должны были поднять его и повлечь куда-то. К синим лесам. Или к гималайским вершинам. Словно бы стал он воздушным шаром, разумным к тому же, отважным в своей разумности, способным стрясти с корзины мешки с песком и вознестись в выси подлунные.

Но это были лишь предощущения...

Народу в аптеке толпилось много. Кто утомился в дни пролетарской солидарности, кто изжевал все таблетки, кто прогулял сроки выдачи порошков и микстур. Возникали очереди. Разговоры у касс и окошек случались громкие, нервные. Стучались в дверь заведующей. Были в аптеке лица унылые, удрученные, помятые. А Михаил Никифорович то ли из-за своих предощущений, то ли из-за легких воспоминаний о Любви Николаевне, коей делал вчера укол, желал всех носить на руках. Всем готов был помочь. И помогал, когда его подменяли в рецептурном отделе. Ящики и мешки с лекарствами, предметами сангигиены, травами, оправками для очков таскал от машин и на склад. Зашел в ассистентскую, увидел, как Люся Черкашина — колоть ее сегодня не требовалось, но шлепнуть поощрительно по заду было можно и надо — мыкалась, растирая порошок пестиком в ступке, а ступка прыгала и ерзала по столу. Стал ругать себя, он-то еще четыре дня назад придумал — и сделал! — особую подставку под ступку, забыл, дурья башка, побежал, принес подставку, ступка перестала ерзать и прыгать. Случалось Михаилу Никифоровичу в тот день подменять и химика-аналитика, и дефектора, и даже заведующую отделом готовых форм. Все делал он хорошо. Сидел он также и у себя в рецептуре, и в ручном, и в оптике.

Сцены в аптеке происходили знакомые, но отношение к ним Михаила Никифоровича было нынче, пожалуй, особенное. Он и прежде нередко ставил себя на место посетителей аптеки. Теперь же он словно бы оказывался в их судьбах, как будто бы переселялся в их жизни. Он был алкашом из Уланского переулка, по прозвищу Штурман, дрожавшим от колотуна, с глазами пса, изловленного живодерами. Штурман три года назад еще летал на «Илах», теперь же дошел до «аптеки», до тройного одеколona и чесночной настойки, вливая в себя жидкость из флаконов в кабинках туалетов у Кировских ворот: из пивной и из пельменной его бы погнали. Михаил Никифорович был и одним из мальчишек-восьмиклассников, нагло вато — от смущения — требовавших пачки тройчатки, они еще станут штурманами, дай бог, чтобы не стали, нынче же они полагают, что, проглотив после стакана молдавского портвейна таблетки тройчатки, они словно бы героин примут и будут вместе с подругами балдеть, как настоящие. Михаил Никифорович был и инвалидом войны Шаньгиным, давним своим собеседником, или дядей Шурой, когда-то наводчиком «сорокапятки», теперь же хозяином киоска «Союзпечати» на Сретенском бульваре. Шаньгин страдал астмой, и жилы и нервы на ноге, как говорил он сам, перекрутили ему после ранения в госпитале, определив его тем самым в предсказатели погоды. И неизвестной ему доселе женщиной, прибывавшей в испуге за кислородом для отца, стал Михаил Никифоро-

вич. Присоединяя подушку к баллону, он успокаивал ее и успокаивал себя. Отчаяние и тихие печали больных, получавших лекарства, прописанные районным онкологом, ощутил Михаил Никифорович. И даже супруги Лошаки, пенсионеры, вечные ходоки по аптекам, городским и ведомственным, настырностью и бестолочью своими способные вывести из себя и зимнюю черепаху, не вызвали у Михаила Никифоровича усмешки. Лошаки не верили врачам, но открывали в себе все новые недомогания, каких на самом деле не было; они бы умерли, если бы не чувствовали этих недомоганий. И без новейших, теперь-то уж точно спасительных препаратов, им не нужных, они не могли жить. О каких только лекарствах они не разносили! А разносив, тотчас же бросались их доставать. Сейчас им непременно был необходим сандратол югославского производства по швейцарской лицензии. Но следовало ли над ними смеяться? Разве они были не такие же люди, как он, Михаил Никифорович Стрельцов? Ничем они не были хуже его...

К середине дня чужие боли, печали, надежды и страхи осели в Михаиле Никифоровиче, и он уже не был так легок и светел, как утром. А к вечеру он неожиданно для себя и для сослуживцев повздорил с заведующей аптекой Ниной Аркадьевной Заварзиной и ассистентом Петром Васильевичем.

И уж совсем стал серьезным Михаил Никифорович после разговора со своим харьковским однокашником Сергеем Батуриным. Батурин был биохимик и работал теперь в институте на Пироговке. Михаил Никифорович его уважал. Они столкнулись на Кировской, поинтересовались делами друг друга и решили зайти в шашлычную «Ласточка», ту, что напротив Сретенского монастыря.

— Слушай, что за штука сандратол? — спросил Михаил Никифорович в ожидании закусок и горячего. Напиток в продуктовом магазине был заготовлен свой и пребывал пока в укрытии в портфеле Батурина.

— Сандратол?

— Югославского производства по швейцарской лицензии.

— Не знаю. Не слышал. Наш институт получает информацию со всего света. Такого препарата, видно, нет.

— Раз Лошаки говорят, значит, есть. Или будет.

— Кто такие Лошаки?

Михаил Никифорович объяснил, кто такие Лошаки. А уже были поданы маслины.

— Будь здоров, — сказал Батурин. — Слушай, Миша, а не надоело ли тебе сидеть в аптеке? Не надоело иметь дело со всякими идиотами вроде Лошаков?

— Лошаки тоже люди, — сказал Михаил Никифорович.

— Ну ладно, люди, — согласился Батурин. — И все же... Шел бы ты к нам. И место бы нашли.

— Я человек аптеки, — сказал Михаил Никифорович.

— Брось, Миша! — со страстью и громко для шашлычной заговорил Батурин. — Я помню о твоих принципах, но что такое аптека в нашем веке и кто в ней аптекарь? Магазин! И ты в ней продавец! Ты, Миша, торговый работник. И все. И успокойся.

— Не шуми, — сказал Михаил Никифорович. — Цыплят принесли.

— Аптека нынче — старческий сон, — не мог унять Батурин. — Статика! Неужели тебе не скучно? Какие могут быть у вас происшествия, какие драматические коллизии, какие бури, возвышающие человека или опрокидывающие его в пропасть, могут бушевать у вас? Сейчас назову. Мне хватит трех пальцев. Палец первый! Дефектура. Нехватка нужных, или, вернее, модных, лекарств. Следствия: возможность спекуляции для кого-то, а для кого-то — нервотрепка с покупателями. Второй палец. Ошибка в изготовлении лекарства. Доза не та. Компонент не тот. Не учтено противопоказание. Бывают слу-

чай трагические, редко, но бывают. Тогда аптеку трясет. Но все это из-за рассеянности, из-за безграмотности, из-за чепухи. Третий палец. Бытовые беды. Вроде вод из парикмахерской. Прочее-то еще мельче. Тут и пальцы не нужны... Ну ладно, наведи ты в аптеке порядок, пусть на все, что требуется больным и страждущим, можно выбить чек в кассе,— дальше-то что? Скука, Миша, скука!

— У вас, стало быть, веселее...

— У нас, Миша, динамика! Динамика! Не такая, как, скажем, в хирургии, но динамика. Со всеми возможностями для опыта, исследования, терзания мысли, риска, настоящего дела. Для открытия. И для провала. А значит, и для нового риска и для нового дела. И у нас есть суета, но она ли главное?

— А не служите ли вы Лошакам?

— И Лошаки люди. Ты сказал.

— Не служите ли вы одним Лошакам?

— Миша, возможно, я тебя обидел. Извини. Из-за обиды, возможно, тебе нелегко понять меня. Однако пойми... Берут, к примеру, в вашей аптеке контрикал?

— Берут.

— Берут! При наших-то ценах на медикаменты, когда в аптеке можно обойтись не только рублем, но двадцатью копейками или даже тремя, берут контрикал, цена которому сорок восемь рублей. Но в горестных случаях без контрикала не обойдешься, и семья больного денег не пожалеет, и государство не станет жадничать. И будут эти деньги тратить, какой вопрос, но вот мы сейчас в нашей лаборатории...

И Батурин стал рассказывать, что они делают в своей лаборатории, как они, в частности, создают верный и недорогой заменитель контрикала, мнил Михаила Никифоровича замыслами ближними и дальними, аж до самых горизонтов, и чуть ли не нобелевские награды плавали, шевеля золотыми хвостами, над теми горизонтами. Назывались имена дерзких умов. Среди прочих Михаил Никифорович услышал и фамилию хирурга Шполянова, с кем он на днях познакомился у Дробного в мясницкой. С клиникой Шполянова Батурин был связан работой.

— Ну и что! А толку-то что из всего этого! — резко сказал Михаил Никифорович.

Отчего так резко он возразил Батурину, Михаил Никифорович и сам не знал. Батурин всегда был ему приятен, но сейчас и сам он и слова его чуть ли не подстрекали Михаила Никифоровича протестовать.

— Как толку что? — удивился Батурин.— Что же, выходит, что вы в аптеке хороши, а мы бесполезны? Или даже вредны?.. Мы ищем новое, как будто бы не свойственное человеку, но мы не противоречим природе, нет, мы опираемся на резервы человеческого организма, мы их будим...

— И побегут за вашим новым Лошаки и будут хвастать: «Доставили наисовременнейшее, самое чудотворное...» Вы свысока смотрите на каких-то там Бомелиев из шестнадцатого века, а их снадобья тоже были когда-то наисовременнейшими, и ради них суетились Лошаки... Хотя Лошаки тогда не суетились...

— Мы, по-твоему, шарлатаны? — чуть ли не крикнул Батурин.

— Мальчишки! — миротворицей взмолилась официантка, женщина пышная, огненная, в меру обтянутая форменной юбкой.— Вы оба такие симпатичные. А ссоритесь. И цыплята увяли.

— Ладно,— кивнул Батурин и, оторвав кусок цыпленка, сказал:— Бомели — шарлатан. А куда ты нас поставишь в историческом ряду? К алхимикам не отнесешь?

— Из алхимии — вся наука... Вы взяли на себя часть алхимии.

— Спасибо. А алхимики? Они тоже были бесполезны и вредны?

— Нет,— замялся Михаил Никифорович.— Я про них ничего дурного не скажу.— И вдруг рассердился:— А к пенициллину эти сволочи бактерии взяли и приспособились.

— Ну и пусть. А мы-то на что?

— Вы,— сказал Михаил Никифорович,— на то, чтобы люди несли из аптек домой товару не меньше, чем из булочных. А скоро будут носить, как из овощных. Вы к этому людей приучаете. Попали бы нынешние москвичи во времена Бориса Годунова да не обнаружили бы в лавках Аптекарского приказа привычных им килограммов лекарств, они тут же все и передохли бы. Стало быть, теперь в аптечном деле важнее всего отпускатели товара и грузчики. Вот я и есть. Но дальше-то что? Толку-то что?

— Миша, тебе ли это говорить?

— А почему бы и не мне? Не ко мне ли бегут с подушками для кислорода? Не я ли вижу, что стопка рецептов, подписанных районным онкологом, тоньше не становится? Не скорбный ли дом магазин, в котором я служу продавцом? Не я ли желал, чтобы люди, которых я знаю и которых я не знаю, коли они люди, жили бы долго, всегда, болезни же их были бы временными и не гибельными, лишь напоминающими им о ценности бытия? Но нет этого...

— Михаил Никифорович, вон ты куда! — изумился Батурин и как бы даже обрадовался.— Ты уже не нами недоволен, а порядка-ми в мироздании!

— А бывают минуты,— словно бы и не услышал его Михаил Никифорович,— иногда и там, в аптеке, когда мне хочется всех спасти! Всех! Всех!.. Дать и этому, и тому, и тому здоровье, спокойствие и благо... Кем-то таким стать, чтобы дать это...

Михаил Никифорович замолчал. Его самого смутило признание.

— Нет, ты не свое дело выбрал,— сказал Батурин.— Тебе надо было идти в хирурги. Ты бы спасал...

Михаил Никифорович посмотрел на свои руки. Покачал головой.

— Руки не те. Пальцы не те.— Потом добавил, как бы оправдываясь:— И конкурс на хирургов, помнишь, был какой.

— Чего ты тогда хочешь? — взвился Батурин.— От себя? От меня? От всех?

Они уже с официанткой расплатились, и та, пышная и огненная, жалела их, советовала беречь нервы, как бы они из-за своих нервов не попали в Красную книгу на манер лошадей куланов. И на улицу они вышли, но разойтись никак не могли. И все старались вразумить, урезонить друг друга с таким усердием и жаром, что со стороны их разговор мог показаться скандалом, обещающим драку. Радиофицированные ходоки-милиционеры с интересом и надеждой поглядывали на них. А ведь не были собеседники пьяными, не те сосуды опрокинули они под птицу и маслины. Но словно бы неприятеля видел теперь перед собой Михаил Никифорович, все слова Батурина казались ему обидными, неверными, чуть ли не опасными для человечества. «Опять ты тычешь своей лабораторией! — кипятился Михаил Никифорович.— Не там вы ищете, не там! Вся история рода людского — это история приспособления человеческого организма к травмам, растениям, у нас с ними одна биохимия, мы живые и растения живые...» «Ты латынь-то помнишь еще?» — спрашивал его Батурин. «Наверное, не хуже тебя, что же мне было забывать-то ее!» — «Ну так мне латынью или отечественными словами напомнить истину: «От смерти нет в саду трав»? Нет, Миша! Нет их! Хочешь громить порядки в мироздании? Громи!» — «И все равно ты не прав. Не прав! Надо найти что-то такое, чтобы всем помочь и сразу!» — «Ну поищи!» — «И поищу!» — «Ну и найди!» — «И найду!» На этот раз Батурин не ответил, а поглядел на Михаила Никифоровича по-иному, как бы жалеючи однокашника.

— Что-то ты, Михаил Никифорович, разошелся,— сказал он.— Или тебя волхвы посетили? Или какой-то волшебник обещал спуститься к тебе?

— Какой волшебник?— Михаил Никифорович взглянул на Батурина настороженно, чуть ли не с испугом. — С чего ты взял? Какой еще волшебник?

— Я не знаю,— усмехнулся Батурин,— какой волшебник. Может, и не волшебник даже, а, предположим, всемогущий демиург. Или развитой пришелец со сверхвозможностями.

— Нет никаких волшебников,— быстро сказал Михаил Никифорович, оглянувшись при этом.

— То-то и оно что нет,— назидательно произнес Батурин.— А потому и милости прошу в нашу лабораторию.

— Нет никаких волшебников,— повторил зачем-то Михаил Никифорович.— И хватит. И прекрати.

Однако прекратить был намерен сам Михаил Никифорович. Он забормотал тут же про чрезвычайные дела, повернулся, руку забыв протянуть на прощание, и пошел к остановке девятого троллейбуса. Батурин кричал ему что-то вслед, напоминал свой адрес и номер телефона, а Михаил Никифорович будто бегством спасался.

Затейница Любовь Николаевна прохлаждалась в московских кушах. Или где еще. А похоже, и Любови Николаевне Михаил Никифорович мог наговорить в те часы немало обидных, хотя, впрочем, и благородных слов. Однако по адресу наговорил бы?

Но он быстро остыл. То есть вскоре не был более в настроении спорить с Батуриным или ругать Любовь Николаевну. А себя-то, сидя на кухне и отложив «Вечернюю Москву», бранил и склонял. Вспоминал разговоры с заведующей аптекой Заварзиной, с ассистентом Петром Васильевичем и особенно с Серегой Батуриным. Дивился на самого себя: он ли все это наговорил или какой другой Михаил Никифорович?

Печалили его и мелочи. Скажем, принялся он чуть ли не в обиде утверждать, что помнит латынь не хуже Батурина. Какое там не хуже! Что он помнит? Ну читает рецепты и справочники, и ладно! Впрочем, подумаешь — латынь! Но каков он был, когда заявил, что непременно будет искать — и найдет! — нечто спасительное для человечества! Хорош гусь! И что он взъелся на Батурина? На заботы и старания Батурина и ему подобных не следовало хмуриться и тем более издеваться над ними, что-то ведь и вправду дают они людям, дают. Обольщаться, конечно, их делами не стоит. Но ведь кому не стоит обольщаться? Не приказчику в лекарственном магазине, а действительно существу, взлетевшему над жизнью, влияющему на ход бытия, проникшему разумом и душой в суть мироздания, в глубины времени. Может, и именно демиургу. Или хотя бы просто ученому уму, ироничному или даже скорбному из-за тщеты своих усилий улучшить участь людского рода. А он-то, Михаил Никифорович Стрельцов, аптекарь, какие такие научные или житейские подвиги свершил, чтобы отменить формулу «От смерти нет в саду трав», или хотя бы для того, чтобы иметь право не обольщаться открытиями Батурина? Никаких не свершил. А стало быть, только уповал... И что делал в последние годы, как жил? Что он может изменить в себе, в людях, в ходе событий? Вот сегодня наругал Нине Аркадьевне и Петру Васильевичу, и что? Петр Васильевич чуть ли не носом стал хлюпать, а Нина Аркадьевна, заведующая, смотрела на Михаила Никифоровича удивленно, повторяла, как бы журуя его и в то же время жалея по-матерински: «Да что ты, Миша? Что с тобой сегодня? Что ты сердиться на нас, будто какой-то человек со стороны?» Это «человек со стороны» и именно что сегодня, а не всегда, она подчеркивала. Нина Аркадьевна Заварзина была женщина властная, деятельная, но безалаберная. Образцовым хозяйст-

вом их аптеку назвать было никак нельзя. Однако внешность и манеры Нина Аркадьевна имела самые представительные. Без нее сиротели президиумы. Да что президиумы! Такую хоть отправляй послом в Португалию. Или еще куда. К тому же и супруг ее служил на одной из ближних улиц заместителем министра. В районе ею были довольны. А может, и не только в районе. На взгляд Михаила Никифоровича, баба она была безвредная, он с ней ладил. Интриг в аптеке не поощряла. И сама не заводила. Или почти не заводила. Может, нужды в них не имела. А то, что дела в аптеке, хотя аптека нередко и отмечалась премиями, шли не самым идеальным образом, что особенного? Где они идут идеальным-то образом? Словом, не было никакого резона Михаилу Никифоровичу нападать сегодня на Нину Аркадьевну. Ладно, упрекнул он — и резко притом — ассистента Петра Васильевича. Тихий Петр Васильевич, возмущенный нынешними дамскими нравами, в годы войны оказавшийся нервным расстроенным, но теперь как бы и имевший отношение к победе хотя бы в силу возраста, симпатий Михаила Никифоровича не вызывал. Работник был аховый. По его вине не приготовили сегодня два порошка, а люди с квитанциями пришли. Михаил Никифорович произнес ему слова. Петр Васильевич было огрызнулся, а Михаил Никифорович добавил: «Меньше реплик по поводу барышень отпускайте. От них-то толк есть. А от вас...» Петр Васильевич и захлопал носом. А Михаил Никифорович не успокоился, зашел к Нине Аркадьевне и обличительными словами изложил ей все, что думал — сегодня! — о порядках в аптеке. Были бы столь же серьезных свойств упреки произнесены лет сто пятьдесят назад какому-нибудь гвардейскому офицеру, тот, коли порядочный, сейчас же должен был бы застрелиться. А Нина Аркадьевна обошлась тем, что напомнила Михаилу Никифоровичу о персонаже из современной драмы. Но что он приставал к Нине Аркадьевне? Прав Багурин. Пусть и наступит в их аптеке золотой или изумрудный век со сверканием порядков и трудов, перестанет ли аптека быть магазином, а он в ней — продавцом? Ведь нет. А главное — не исчезнут страдания и болезни людские. «От смерти нет в саду трав». И он, Михаил Никифорович, изменить что-либо в миропорядке не в силах. Стало быть, и нечего ерепениться. А он как будто начал следовать призывам Мадам Тамары Семеновны. Впрочем, ее ли призывам?..

Михаил Никифорович постановил тут же прекратить думать и каяться, а жить, как жил прежде. В частности, пойти и включить телевизор. Но не встал и не пошел. И думать не прекратил. Он сидел на кухне виноватый перед всем миром.

И это чувство вины в нем все разрасталось и как бы даже вскипало. Напряжение в нем возникло такое, что Михаилу Никифоровичу плакать хотелось. А видел ли кто прежде слезы на его глазах? И был он готов броситься сейчас же куда-то и подвиг совершить. Драконов рубить или менять сущность галактик, чтобы всех излечить и спасти, или даже дать человеку бессмертие. Жизнь свою он не задумываясь положил бы за это.

Однако и останкинское обыденное благоразумие не оставило совсем Михаила Никифоровича. Оно-то и не позволило разойтись героическому куражу и вселенской тоске аптекаря Стрельцова. Михаил Никифорович на подвиги никуда не отправился. Но всю ночь взъерошенный ходил по квартире из угла в угол. Курил. Любовь Николаевна, надо полагать, знала о состоянии Михаила Никифоровича и ночевать не явилась. И разумно поступила.

Но и дальше терзания Михаила Никифоровича продолжались. Дерзкие мысли и намерения все больше взъерялись в нем. Никогда таких смерчей и самумов не ощущал в себе Михаил Никифорович. Откуда взялись они? Все Михаил Никифорович готов был привести в идеальное состояние. И аптеки, естественно. Но истинным ли по-

причем были для него теперь аптеки?.. Михаил Никифорович начал было бунт на корабле, но сразу же понял, что никакой пользы от его действий не выйдет, а выйдет мелкий производственный конфликт. Или скандал. Тогда Михаил Никифорович, чтобы не злить себя и других, решил немедленно уйти из аптеки. Но и не в лабораторию Сергея Батурина.

Ушел он на химический завод, куда его давно манил Никитин. Никитин тоже оставил аптеку. Во-первых, объяснял Никитин, у них на заводе — мужское дело. Во-вторых — хорошие деньги за вредность и пенсия чуть ли не в сорок пять лет. А дальше можешь начинать жить заново. Хочешь — для себя, хочешь — для человечества... Оформляли Михаила Никифоровича недолго, хотя имелась там и свои сложности. И превратился Михаил Никифорович неизвестно в кого, то ли в лаборанта, то ли в оператора, то ли в человека на подхвате. Рангом, во всяком случае, он был ниже техника. Но процессы-то химические шли и без его усилий. А в денежных ведомостях отношение к Михаилу Никифоровичу было самое уважительное.

Но утек четыреххлористый углерод. Не по вине Михаила Никифоровича утек. Однако дышал им Михаил Никифорович. И вечером его доставили к Склифосовскому.

Теперь Михаил Никифорович — вольный гражданин со справкой о недуге. Может начать жить заново. Хочет — для себя. Хочет — для человечества.

Вот что я узнал от Михаила Никифоровича в разговоре о событиях, начавшихся 4 мая.

«А вдруг это она тебе знак дала?» — предположил я. «Кто она?» «Любовь Николаевна». «Может, и знак», — сказал Михаил Никифорович. «Она тебя к подвигам призывала, а ты дезертировал. А впрочем, если это так, она может его и отменить. Обязана даже». — «С чего это обязана?» — «Она ведь не только раба. Но и берегиня». «Берегиня! — сказал Михаил Никифорович. — Они все с этого начинают». Мог ли я не согласиться с Михаилом Никифоровичем? «Ладно, — сказал я. — Но зачем тебе надо было идти именно на химический завод?» «А затем! — горячо произнес Михаил Никифорович. — А затем, что мне надо было идти куда похуже. Ведь на самом деле я возжелал всех и все спасать и сейчас желаю. Может, и сильнее прежнего! А что я могу? Ничего. Что же мне мучаться-то? Вот я и пошел туда, где уж никаких возможностей у меня не могло бы быть!» Тут Михаил Никифорович как бы устыдился произнесенного им и добавил: «И потом деньги...» «И пенсия...» «Ну и не смейся».

Сидел он теперь предо мной совсем растерянный, я удивился ему. «Неужели она так прибрала тебя к рукам?.. Или ты...» Я чуть было не сказал Михаилу Никифоровичу о догадках дяди Вали. Но и без того фраза мною была произнесена не слишком рыцарская. А Михаил Никифорович стал чрезвычайно серьезен. Совет ли какой желал испросить у меня? Или не все он мне открыл, а открыть хотел? Снова закурил Михаил Никифорович.

«Михаил Никифорович, — начал я, стараясь говорить как можно деликатнее, — тут тебе надо осмотрительнее... Мало ли что может прийти в голову... А ведь выйдет-то чепуха какая-то... Если посмотреть на всю эту историю холодным взглядом...» «Вот именно — холодным взглядом...» — вздохнул Михаил Никифорович. «А ты что же?..» Я сразу же замолчал. «Слушай, — спросил я погодя, — а на заводе наказали кого-нибудь за утечку?» «Никого». — «Отчего так?» — «Я сказал, что отравился случайно. И никто не виноват. Дело далеко не пошло». — «Ну, Михаил Никифорович!.. Ведь была же почти авария. Ведь вполне тебя еще и других повезут к Склифосовскому!» «Теперь будут внимательнее, — сказал Михаил Никифорович, не слишком, впрочем, уверенно. — Да и не мог я ставить под удар Ники-

тина... И люди под суд пошли бы...» «Я тебе не судья, Михаил Никифорович,— сказал я.— Но ты шутики шутишь! И если бы эти шутики тебя одного касались!» «В чем же я виноват? И перед кем?» «Михаил Никифорович, ты ведь сам говорил, что перед всем людским родом виноватый». «Это другое», — сказал Михаил Никифорович. «Другое, — согласился я.— Но неизвестно, что тяжелее весит. Это другое, высшее, или то мелкое, из чего у тебя и у меня вся жизнь».

Михаил Никифорович мне не ответил.

Похоже, больше он ничего не намерен был сказать.

— По моим предположениям,— произнес я уже у двери,— главные пайщики долго не выдержат. Бунтовать начнут...

19

Они и начали.

Дядя Валя и Игорь Борисович Каштанов дней через пять явились ко мне, оторвали от стола и тетрадей, сказали, что все, они больше не могут.

Я не то что удивление им выказал, я был возмущен. «Вытащил бы я вас, дядя Валя, на ходу из-за руля автобуса,— сказал я,— вы бы на меня с лопатой бросились!» Но я лукавил. И от работы я был не прочь сейчас отлынуть. И некие эгоистические надежды связывал я с порывом дяди Вали и Каштанова. И я, видно, уже не мог. Каштанов же выглядел измученным, такой теперь мог и муху тронуть.

— А Серов и Филимон? — поинтересовался я.

Ни Серов, ни Филимон Грачев, оказывается, не пожелали вступить в сражение с Любовью Николаевной (дядя Валя уже не называл ее Любовью Николаевной, а говорил: «С этой...»). Филимон был упоен своим творческим растворением в чайнвордах, кроссвордах, крестословицах, шарадах, своими блистательными, прямо-таки корсунь-шевченковскими погромами когда-то труднодоступных для него ведомственных умных задач даже и в «Лесной промышленности», и в «Водном транспорте», и в «Московском автозаводце», и в зарайской районной газете. Серова же, выходило, Любовь Николаевна никак и не сдвинула. То ли оказался он невосприимчивым к ее энергии (или к чему там), то ли и скрытых резервов или узких мест в нем никаких не было.

— Но присутствие Серова и Филимона Грачева при этом разговоре необходимо,— сказал я.

— Я их приведу,— кивнул дядя Валя.

Каштанов дрожал, дергался, будто его бил колотун, но можно было понять, что происхождение колотуна Игоря Борисовича не связано с напитками. Одет он был чисто — костюм уютный, рубашка свежая,— однако вид имел измятый.

— Этот-то,— указал на Каштанова дядя Валя,— уже намылился продать свой пай Шубникову.

— Терпения больше нет,— сказал Каштанов.

— Ну уж шиш!— оборвал его дядя Валя.— Прежде ее надо придушить! А Шубников ее душить сразу не даст.

— Нельзя ее душить!— чуть ли не с мольбой в глазах сказал Игорь Борисович.

Между ними тут же возникла перебранка, и я снова ощутил себя на грани веков, среди заговорщиков, измученных доктринами и выходками хозяина Михайловского замка. И раздавались сейчас реплики смельчаков, способных на тираноубийство, и слышались жалостливые голоса миротворцев, отвергающих насилие. Смельчаки не исключали возможности наемных или добровольных убийц. В частности, на роль штабс-капитана измайловца Скарятинна, порешившего императора, рекомендовался мрачный водитель Коля Лапшин с его бешеным самосвалом.

— Никогда!— кричал Каштанов.— Нельзя этого!

— Чистеньким хочешь быть!— отвечал ему дядя Валя.— Ну и мучайся дальше! И нас мучай! И все Останкино!

— А что Михаил Никифорович?— спросил я на всякий случай. Заговорщики умолкли. Дядя Валя, видно было, смугился.

— А что Михаил Никифорович?— быстро сказал он.— Ты и сам знаешь... Влюбился Михаил Никифорович!

— Безответственно вы говорите, Валентин Федорович. Как это можно влюбиться в фантом, в движение воздуха?— сказал я на всякий случай.

— Это она-то движение воздуха?— поинтересовался дядя Валя.

— Отчего же нельзя в нее влюбиться?— печально сказал Каштанов.

— Мы тебя и зовем,— объяснил дядя Валя,— чтобы ты Михаила Никифоровича поколебал.

Устройство встречи с Михаилом Никифоровичем дядя Валя брал на себя, полагал, что провести ее удастся сегодня же. Когда дядя Валя и Каштанов уже уходили, я спросил, каковы нынче обстоятельства жизни Шубникова, не огорчает ли его подброшенный Бурлакиным ротан. О ротане дядя Валя с Каштановым толком не знали, но слышали, что теперь Шубников средства для поддержания сил добывает шапками. До него дошло, что шапки из собак дороже самих собак, он завел дела с умельцами и стал уводить или перекупать животных для шапок. «Живодер!»— поморщился Каштанов. «Живодер!»— согласился дядя Валя.— А ты хочешь загнать ему пай!» Они ушли. Через час дядя Валя позвонил и сказал: «В восемь вечера на моей квартире».

В восемь вечера на квартиру дяди Вали шесть останкинских жителей явились без опозданий. Три пайщика-фундатора и три соучастника с совещательными мнениями. Серов давал дядю понять, что он человек воспитанный, оттого и принял приглашение дяди Вали, но ему пора домой. Филимон Грачев достал семь газет и ручку. Собака дяди Вали, возможно не вызвавшая симпатий Шубникова, улеглась у серванта и уставилась на Михаила Никифоровича, будто укор какой желая ему высказать. Михаил Никифорович был в напряжении, словно душить предполагали его.

— Начнем,— сказал Серов.

— И кончим,— кивнул дядя Валя.

— Кого кончим?— удивился Филимон Грачев.

— Варвару!

— «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то»,— произнес Филимон, уткнув ручку в лист «Книжного обозрения».— Кто автор? Семь букв. Вторая «и», шестая «о». Либо Тихонов, либо Симонов? А? Кто?

Прежние бы милые времена! Дядя Валя тотчас бы вспомнил или Колю, или Костю, как они с Костей били самураев на Халхин-Голе или как они с Колей лазали по индийским горам. Но нет, нынешний дядя Валя был строг.

— Прекрати, Филимон!— сказал дядя Валя.— Ну как, Михаил Никифорович, вы с нами или опять в либерала будете играть?

Михаил Никифорович сидел молча.

— Все страдают. Мы пятеро,— сказал дядя Валя твердо.— И другие в Останкине. Наверное, и еще где-нибудь в Москве. Или в области... Михаил Никифорович, мы вас спрашиваем: будете вы по-прежнему потакать ей или нет?

Собака дяди Вали подняла голову и кивком поддержала хозяина.

— Что я-то?— сказал Михаил Никифорович.— Разве я могу больше, чем вы?

— А кто вносил два сорок?— спросил Каштанов.

— Ага,— сказал дядя Валя.— Эгоистом быть легко. Пусть, мол, другие страдают, а я буду жить в наслаждениях.

— Кто это живет в наслаждениях?— спросил Михаил Никифорович.

— Это я так, к примеру,— сказал дядя Валя.— Все мы считаем, что ее для пользы людей надо ликвидировать, один ты...

Тут дядя Валя умолк, и мне стало ясно, что никаких консультативных бесед дядя Валя с Михаилом Никифоровичем не имел и мнение о взглядах Михаила Никифоровича на кашинскую гостью вывел из неких наблюдений и догадок.

— Нельзя с ней так,— возмутился дяди Валиным словам Каштанов.— Можно ведь и договориться по-хорошему...

— А тебя и не спрашивают. Спрашивают Михаила Никифоровича. Будет он устраивать свою судьбу за счет несчастья других? Или хотя бы воздержится?

— Дядя Валя,— сказал я,— по-моему, у вас нет оснований для подобных претензий к Михаилу Никифоровичу. И вообще вы сегодня много берете на себя.

— Имею право! Не пожалел бы в тот день рубль с мелочью, и ты бы имел право...

— Спасибо за напоминание. И разрешите откланяться.

— Нет. погоди! Извини! Она ведь и тебе не нужна. Сейчас быстро решим и все уйдем. Ну, Михаил Никифорович?

— Ладно,— сказал Михаил Никифорович,— поговорить поговорим. Но без всяких душегубств.

— Это мы еще посмотрим! — заявил дядя Валя.

20

Разговор с Любовью Николаевной состоялся в субботу в четыре часа на квартире Михаила Никифоровича.

Встретиться с пайщиками дядя Валя предложил у бывшего пивного автомата, мертвого теперь помещения, и уж оттуда идти на квартиру, будто какие чувства факельные должны были обостриться в нас на месте встречи, по замыслу дяди Вали, возможно, сначала чувство жалости к себе, а потом и бунтарского протеста. Дядя Валя посмотрел на часы и сказал неожиданно:

— Еще могут успеть и пиво завезти!

Трех минут дороги к дому Михаила Никифоровича хватило дяде Вале для произнесения огненных слов «огласим приговор!» и «доведем до акта полной капитуляции!». И иных. Тут уже не грани прошлых столетий и не императорские замки приходили на память, а казалось, что дядя Валя выводит нас на Зееловские высоты.

— Ну? Тут она?— спросил дядя Валя Михаила Никифоровича, открывшего дверь.

— Здесь.

— Пошли!— чуть ли не приказал дядя Валя.

Однако решимость наша тут же куда-то истекла. Даже дядя Валя и тот засмутился. Мы долго терли ноги о плетеный коврик, будто выбрались из болота. И волосы наши, оказалось, нуждались в услугах расчесок. Вышло так, что мы опять как бы просителями пришли на беседу с Любовью Николаевной...

А она сидела на диване в свободной артистической позе, красивую руку легко положив на спинку дивана. Может, и не совсем мадам Рекамье, возлежавшая когда-то на ампирной кушетке вблизи холста Жака Луи Давида, но сегодня, похоже, не менее той воздушная и пленительная. И ноги ее были красивыми. В лице же Любови Николаевны никаких изменений со дня майского посещения ею пивного автомата я не углядел. Но, пожалуй, Любовь Николаевна несколько повзрослела. И было видно, что пленительная-то она

сегодня пленительная и милая, но и властность свойственна ей. Впрочем, порой и прежде властность в ней ощущалась...

Мы уселись на предложенные нам Михаилом Никифоровичем стулья и табуретки. Молчали. Михаил Никифорович смотрел в пол.

Дядя Валя быстро взглядывал то на меня, то на Каштанова, как бы требуя от нас слов.

— Я жду,— сказала Любовь Николаевна.

Сказала она вроде бы лениво и дружелюбно, будто благодушный профессор онемевшему на экзамене первокурснику, но по дрожанию ее русалочьих губ я понял, что и она волнуется.

— Давайте: Давайте!— опять взглянул на нас с Серовым дядя Валя.— Сами же гнали нас!

— Извините, дядя Валя,— сказал я.— Тут трое главных пайщиков с правами. Мы же с совещательными мнениями.

Но и теперь люди с правами не заговорили.

— Странно получается,— сказала Любовь Николаевна. И даже улыбнулась.— Вы собрались пойти на меня чуть ли не с вилами и топорами, а пока и рта не раскрываете...

— Если бы вы не были женщиной...— вздохнул Каштанов.

— Да какая она женщина!— прорвало наконец дядю Валя.— Она — стерва! Филимон сразу сказал, что она ведьма. Вот с такими клыками! А вы нам не верили!

— Валентин Федорович! Гражданин Зотов!— сказала Любовь Николаевна.— Вот уж не ожидала, что вы, бывалый человек, унизитесь до базарного крика.

— Ты, стерва, довела нас до...— вскочил дядя Валя.

— До чего?— спросила Любовь Николаевна.

— До того,— сказал дядя Валя и сел.

Чувствовалось, что ему неприятно открывать собравшимся, до чего довела его Любовь Николаевна. Да и я постеснялся бы говорить вслух о своих заботах последних недель.

— Вот даже пивной автомат закрыли!— проворчал дядя Валя.— Все Останкино мучаешь!

— Это да!— встрепенулся Филимон Грачев.

Слова дяди Вали, похоже, нашли поддержку у всех. Справедливые были слова.

— Автомат — еще мелочи,— сказал дядя Валя.— А вот...

И опять дядя Валя не отважился на откровенность.

— Я ведь хотела как лучше,— сказала Любовь Николаевна.

— Мы — переростки! — взъярился дядя Валя.— Нас поздно улучшать!

— Тут, дядя Валя,— вступил в разговор Серов,— вы отчасти не правы. Улучшать себя никогда не поздно. Однако, видимо, методы Любви Николаевны могут показаться странными и не для всякого приемлемыми.

В иной день дядя Валя сразу бы поставил Серова на место, но нынче он не был намерен иметь его оппонентом. Он как бы не услышал Серова.

— А что она ко мне в душу полезла? — обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу.— Кто дал ей на это право?

— Я так просила вас открыть мне ваше сокровенное,— сказала Любовь Николаевна.— А вы не стали. Мне и пришлось...

— Нет, зачем надо было ко мне в душу лезть! — не мог успокоиться дядя Валя.— Хватало таких, которые ко мне уже лезли!

— Я была обязана все узнать о вас,— сказала Любовь Николаевна, и чувствовалось, что она, набравшись терпения, малым детям разъясняет очевидное и неизбежное.— Я и узнала. И поняла, что вы можете жить лучше, чем жили прежде. А раз можете, стало быть, и должны.

— Во дает! — заявил дядя Валя. — С чего это вдруг — и должны?

— Предназначение у вас такое.

— Тебе-то какое дело до наших предназначений?

— Я ощутила ваши свойства и ваши устремления, какие вы сами чаще словами назвать не можете, но какие в вас есть. Этим вашим порывам, желаниям я и дала ход и усиление. Тому, что всегда билось в вас и не находило выхода. Как вы не можете понять это? И отчего вы не хотите согласиться с тем, что вы можете быть куда полезнее и необходимее и самим себе, и всему, и всему? Вы же сами желали этого!

— Утомили нас научные организации жизни... — вяло и словно бы для себя сказал Каштанов.

— Ты нас взбудоражила! — заявил дядя Валя. — А какие средства ты нам дала? Слаба оказалась! И тут драмы. Желания-то наши — одно, они при нас, они разрослись! А что мы можем? Ерунду! Вот я должен был эту паскуду Уриэрте выгнать из Гондураса³ и все переменить... А выгнал? Как же!..

Дядю Валю, как потом выяснилось, всегда, с отроческих лет, задевали и беспокоили состояния народов, пусть и самых малых, пусть и вовсе ему неизвестных. В особенности находившихся в бедственном, разбойничьем мире. Тут и испанские происшествия дяди Вали имели объяснения. А теперь-то дядя Валя ощутил себя стратегом и тактиком, готовым устроить всюду порядок, каким он себе его представлял: тех-то сместить, а этих возвысить, этим, достойным и труженикам, все отдать и поручить, а этих, кровавых, мордами провести по столу. Глобус появился в квартире дяди Вали, а потом и атлас мира по весу не легче ведра с мокрым песком, и дядя Валя часами с лупой инспектировал континенты, водоемы, страны, департаменты, штаты, вилайеты, кантоны. Поначалу думал, что порядки он сумеет наладить, и скоро. Думал, предположим, что это после его усердий христианские демократы потеряли на выборах места в ландтаге земли Северный Рейн-Вестфалия. Сейчас-то понял, что нет, он ни при чем... Долго раздражал дядю Валю подонки Уриэрте. Появись он в пределах присутствия дяди Вали, скажем на улице Цандера возле «Кулинарии» и ресторана «Звездный», пришлось бы махровой марионетке с прокишшими усами и в генеральских штанах размазывать по физиономии горячие слезы. И ветеринарная лечебница на Кондратюка его бы не приняла. До того ненавидел дядя Валя Уриэрте за страдания народа. Но как ни напрягался дядя Валя, какие слова, достойные и сессий и ассамблей, ни произносил он вслух и про себя, каналья Уриэрте из Гондураса никуда не убирался⁴. Отсюда и вышла драма, о которой намекнул дядя Валя. То есть, можно было догадаться, одна из драм, пережитых дядей Вaley у политических карт мира...

За дядей Вaley и Каштанов было поднялся с намерением — так казалось — объявить Любови Николаевне о своих печалях, ею вызванных, но храбрости не хватило.

— Вы нетерпеливы, — сказала Любовь Николаевна. — Вы захотели все сразу. А спешить нельзя.

Потом она задумалась.

— А может быть, я дала каждому из вас слишком энергичный толчок...

— Я его не ощутил, — вежливо сказал Серов.

— Нет! Мы так больше не можем! — выдохнул дядя Валя.

— Ну почему же... — начал было Филимон Грачев.

³ Должен заметить, что сам я ни про какого Уриэрте и ни про каких других политиканов из Гондураса не слышал. Возможно, и дядя Валя напрасно сгоряча приписал этого Уриэрте Гондурасу. Но для Валентина Федоровича Уриэрте несомненно существовал.

⁴ А его там скорее всего и не было.

— Помолчи ты, жертва интеллекта! — оборвал его дядя Валя.— Мы не можем так, непонятно, что ли!

— Дядя Валя прав,— кивнул Каштанов.

— А ты-то что молчишь? — обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу.— Она тебя своим участием искалечила, превратила в инвалида, а ты молчишь! Не такая она уж и красивая, чтобы ей все можно было прощать!

Михаил Никифорович слова не произнес.

Губы Любви Николаевны опять задрожали.

— Я ведь не все могу,— сказала она тихо.— Я, наверное, не все умею... Но ведь вы должны были сами...

— Вот тебе раз! — возмущился я.— Если вы не все умеете, зачем же вы поставили Михаила Никифоровича в такое положение, что при нем утек четыреххлористый углерод? Это ведь нехорошо...

— Но я...— начала Любовь Николаевна. И не договорила.

Укорить-то я Любовь Николаевну укорил, но тут же и ощутил возможную несправедливость собственных недоумений. Сейчас воинском рати Валентина Федоровича Зотова я был ненадежным. Я не противился бы тому, чтобы Любовь Николаевна сгинула, исчезла бы из останкинской жизни. Но я и жалел ее. И себя опять упрекал в малодушии, житейской лени, в намерениях существовать гедонистом, стрекозой порхающей. Плохого нам Любовь Николаевна, выходило, не желала, а мы ее произвели во вражью силу. Старания Любви Николаевны мы посчитали ярмом, игом. Но не стали бы мы потом горевать об этом иге и ярме? Час назад я был уверен в том, что действия Любви Николаевны вредны, что они — насилие надо мной, над нами, что она над нами — кнут, чьи удары еще исполосуют в кровь наши натуры. Но оказавшись рядом с Любовью Николаевной, существом неизвестно каким, но живым и несомненно женщиной, ослабевшей теперь, растерянной, впрочем, не потерявшей привлекательности, а потому и трогательной, я снова чуть ли не «Сентиментальный вальс» Михаила Ивановича Глинки желал услышать... Словом, я не знал, что делать и что говорить.

И все молчали.

— Я не все могу и не все умею,— снова сказала Любовь Николаевна, и твердость уже появилась в ее голосе (руку Любовь Николаевна прежде сняла со спинки дивана и более не вызывала мыслей о мадам Рекамье).— Но вы должны были рассчитывать и на самих себя, на свои решения и поступки.

И далее она голосом классной руководительницы или голосом постового милиционера стала говорить о нашем жизненном предназначении, о наших обязанностях перед планетой, людьми и самими собой. И выходило так, что уроки мы приготовили плохо и следует ожидать переэкзаменовки осенью.

— Может, ты еще и родителей вызовешь?— сказал дядя Валя.

— Каких родителей?— спросила Любовь Николаевна.

— Наших,— сказал дядя Валя.— Чтобы призвали детей к порядку и надрали уши. Но с вызовом моих родителей могут возникнуть сложности.

— Вы шутите, Валентин Федорович...

— Шучу,— сказал дядя Валя.— Но беда-то ведь небольшая? И пора кончать комедию! Мы хозяева бутылки? Мы! И испытывать на себе опыты не согласны. На кой ты нам сдалась со своими уздечками? Насилиев терпеть не будем. Сгинь, и разойдемся по-хорошему.

— Я не могу сгинуть,— кротко сказала Любовь Николаевна.

И взглянула она на нас чуть ли не с мольбой, словно бы давая понять, что она готова ради нас и сгинуть, но не может, беда такая и для нее и для нас. Дядя Валя и тот замаялся.

— Тогда хоть пивной автомат откройте,— сказал Филимон.

— Да погоди ты!— рассердился на Филимона дядя Валя. И обра-

тился к Любви Николаевне:— А ты, если не врешь и вправду не можешь сгинуть, сама придумывай способ, как от нас отстать. Не будем же мы об тебя руки пачкать... Или как?— Теперь уже дядя Валя взывал к нам.

Но было видно, что террорист и каратель из Валентина Федоровича Зотова вряд ли получится. Хотя как знать... Ведь и безмятежного голубя тротуарного можно ввести в раздражение и заставить взлететь.

— Пусть сама что-нибудь предложит,— сказал Игорь Борисович Каштанов.

— Пусть сама,— согласился Михаил Никифорович. Это были его первые слова при разбирательстве с Любовью Николаевной.

— Что же я могу придумать? Что я могу предложить?..

— Мне думается,— вступил я,— Любовь Николаевна, прежде чем освободить нас от своих забот, должна излечить Михаила Никифоровича.

— Я не смогу сделать это,— печально произнесла Любовь Николаевна.— Не могу сразу... И я...

— Что значит не можешь!— вскричал дядя Валя.— Калечить людей ты можешь, а лечить отказываешься?! Если ты его сейчас же не поставишь на ноги, мы тебя разорвем в клочья!

— Оставьте мои недуги,— рассердился Михаил Никифорович.

— Нет,— сказал я,— это дело важное не только для тебя, но и для нас.

— Я не смогу.— Теперь уже не печаль, а страдание было в голосе Любови Николаевны.— Здесь случай особенный... Но я... Я попробую... Позже... Я не могу вам все теперь объяснить...

— Да вылечит она! Вылечит!— принялся уверять нас Каштанов.

— Врет она все!— взревел дядя Валя.— Притворяется она! Цепляется за Москву и морочит нам головы! А ей и в Кашине делать нечего. Будет тянуть время с излечением, чтобы мы ее сразу же не прихлопнули!

— Вы не правы, Валентин Федорович, гражданин Зотов,— сказала Любовь Николаевна.

— Чего не прав! Чего не прав!— не мог утихнуть дядя Валя.— В общем, так. Ты сейчас же подпишешь акт о полной и безоговорочной капитуляции, а там мы решим, оставлять тебе жизнь или нет. А о Москве перестань и думать. Михаил Никифорович, носи бумагу и чернила. И печать.

Михаил Никифорович ни за какими чернилами никуда не пошел. Тогда дядя Валя достал из кармана пиджака кусок плотной розовой бумаги, использованный, впрочем, уже коммунальными работниками для сообщения о летнем отдыхе горячей воды.

Любовь Николаевна сидела бледная, горем убитая.

— Зря вы, Валентин Федорович,— жалобно сказала она.— Вы ведь себе хотите сделать хуже...

— Молчи!— оборвал ее дядя Валя.— Ты — раба хозяев бутылки! И все! Мы натерпелись от тебя.

Любовь Николаевна, будто и не говорившая с нами полчаса назад властно и своевольно, теперь руки смиренно на коленях сложившая, носиком своим вздернутым шмыгавшая, робко взглянула на Михаила Никифоровича, может быть, вымаливая у него заступничество, однако Михаил Никифорович заступником себя не проявил. А вот дядя Валя настроился: мало ли какие изменения могли внести в ход разговора женские жалостливые взгляды. Он потягелевшей рукой, будто бы готовой в глубины земли вмянуть танки и самоходные орудия, незамедлительно, снимая все сомнения и не дав компании дух перевести, вывел на не запачканном коммунальным распоряжением боку розовой бумаги слова: «Акт о капитуляции». Потом добавил буквами помельче: «полной и безоговорочной».

И теперь Михаил Никифорович облегчать судьбу Любви Николаевны не вызвался.

Составление документа как будто бы увлекало пайщиков кашинской бутылки. И фундаторов, исключая, правда, Михаила Никифоровича, который молчал, и нас троих, пристяжных с совещательными мнениями. Все мы были приучены жизнью обсуждать формулировки не спеша и подолгу, порой и купаясь в их сметанных волнах, а сейчас словно бы началась для нас и умственная игра. Серов был деликатен, старался смягчить и облагородить казнящие слова. И его можно было понять. Мало того что Любовь Николаевна спасла его, она и позже ему не мешала. Не мешала она и Филимону Грачеву, напротив, стараниями своими совпала с его сутью и в выси его подбросила, однако Филимон, наверное, посчитал, что он и без Любви Николаевны хорош и в выси шарад и гиревого спорта сам подпрыгнул, а потому теперь он, неожиданно для меня, оказался самым — после дяди Вали — кроважандым. Игорь Борисович Каштанов опять начал проявлять себя романтиком с останкинскими особенностями, дядю Валу он раздражал.

Говорили много. Однако слов на розовой бумаге не прибавлялось. Поначалу спросили, от чьего имени должен следовать текст. Любовь ли Николаевна будет сдаваться в документе пайщикам? Или же пайщики сами все назовут и постановят? Последнее посчитали более достойным и отвечающим историческим традициям. Но как только дело доходило до разделов и параграфов акта, телега начинала скрипеть и застревать колесами в весенней алтуфьевской глине. То есть требования общие — для преамбул и деклараций — были ясны, но о случаях частных, а стало быть, и существенных для каждого из нас пока не говорилось, отчего документ получался лишенным определенности и юридической точности. Повторялись лишь два требования с отчасти конкретной информацией: «Вернуть Михаилу Никифоровичу здоровье» и «Возобновить работу пивного автомата (типа магазина) по улице академика Королева, пять». К пункту насчет Михаила Никифоровича предполагали добавить справку о несчастном случае на производстве и заключение врачей, подтвержденное печатью. Что же касается пивного пункта, то Филимон Грачев настаивал на том, чтобы усилить фразу и начать ее словами: «Возобновить бесперебойную работу...» Поправку приняли, но о самом пункте говорили теперь и с некоторой неловкостью. Мелочный пункт-то был, хотя и справедливый.

Игорь Борисович Каштанов, разгорячившись и будто бы в останкинские Ликурги себя произведя, предложил «Акт о капитуляции» отставить, а назвать документ «Постановлением о разводе». Поначалу мы растерялись, но потом зашикали на Каштанова. Ведь на бумаге при разводе пошла бы житейская дребедень — раздел имущества и жилой площади, алименты и прочее. И с кем будет развод у Любви Николаевны? Со всеми нами? Или с кем-нибудь одним? А не потребует ли при этом Любовь Николаевна раздела имущества с Михаилом Никифоровичем, не отхватит ли у него полквартиры, не преподнесет ли ему в день аванса дитя в сырых кружевных пеленках, требующее средств на воспитание? Да и станет ли к тому же разведенная жена, ну не жена, а неизвестно кто слабого пола, лечить мужа, ну не мужа, а Михаила Никифоровича, и открывать для него и для его приятелей пивной автомат? Последнее соображение отрезвило и Игоря Борисовича. Нет уж, акт так акт. Капитуляция так капитуляция.

«Но какую капитуляцию вы имеете в виду?» — спросил Серов. «Как какую?» — удивился дядя Валя. Серов с терпением лектора, прибывшего к людям с путевойкой общества «Знание», объяснил ему, что капитуляции бывают разные. Чаще всего капитуляция — это неравноправный договор государства, зависящего от сильного государства, с этим самым сильным государством, устанавливающий для представителей и граждан последнего особый режим привилегий. Скажем,

предоставление им льгот налогового порядка, закрепление размера таможенных пошлин и так далее. «Это разве капитуляция!»— возмутился дядя Валя. И бывают капитуляции военные, продолжил Серов. Это прекращение сопротивления сухопутных, воздушных, морских сил на условиях, предъявленных победителем. «Вот!— возрадовался дядя Валя.— Это настоящая капитуляция!» При этом, не мог остановиться Серов, все вооружение, все крепости и военное имущество передаются победителю, ему же личный состав побежденных поступает в качестве пленнх. «Пленнх мы брать не будем!»— заявил дядя Валя. «Не один вы имеете право решать!»— возразил Каштанов, и губы его утончились. «Все равно, если возьмем пленнх,— не сдавался дядя Валя,— можно будет устроить потом Нюрнбергский процесс».

Решили наконец в тексте акта выразить главное, а частности содержать в уме. Но опять термины, какие требовались для документа, стали вызывать споры. Серов считал, что надо употреблять слова «хозяева бутылки» и «раба хозяев бутылки» и нет никаких оснований называть пайщиков победителями, а Любовь Николаевну— потерпевшей поражение. Дядя Валя настаивал, что нет, была истинная война, а в войне всегда случаются победители и побежденные. Споры прекратил Филимон Грачев. Он напомнил нам, что при капитуляции всегда устанавливается час, с которого начинается действовать акт, а сейчас уже пятнадцать минут шестого и до семи может не успеть прийти машина с Останкинского завода.

Документ закончили за десять минут. В нем было указано, что так называемая Любовь Николаевна, существо неопределенных свойств, сдается на милость победителей, основных хозяев бутылки и трех сопричастных к ним останкинских жителей с совещательными правами. Она обязана освободить их от своих напрасных, навязчивых забот, каких— она знает сама, предоставив каждому путь самостоятельного развития и существования. Так называемая Любовь Николаевна обязана немедленно вывести себя и свои вещи из жилого помещения М. Н. Стрельцова без всяких территориальных и имущественных к нему претензий. Документ вступал в силу в восемнадцать часов.

— Подписывай!— приказал дядя Валя Любви Николаевне.— А не то мы...

— Я прошу вас,— сказала Любовь Николаевна с жалостью к нам, а возможно, и к себе самой,— подумайте обо всем еще раз. Ведь вы испортите свои жизни.

— Мы все обдумали!— сказал дядя Валя.— Подписывай!

Любовь Николаевна подписала.

И все мы подписали. Валентин Федорович Зотов подписывал акт как главнокомандующий. А мы как члены делегации.

И Михаил Никифорович подписал.

Я со значением сообщаю об этом отдельно.

— Печати нет,— сказал дядя Валя.— Завтра могу взять на автобазе. Но ждать нельзя. А-а-а! Можно и кровью.

Он достал из кармана перочинный нож, грозный, с полным холостяцким набором, с ножницами, с шилом, с консервным ключом, и порезал себе палец. Испачкал пальцем розовую бумагу. Предложил и нам скрепить акт кровью. Мы с возмущением (или с высокомерием? или с брезгливостью?) отказались, а Филимон и выразился при даме.

— И мой хватит,— не стал настаивать дядя Валя.— А она пусть приложится.

Не дожидаясь наших слов, Любовь Николаевна взяла у дяди Вали нож, ткнула— и сильно— острым концом его в палец, будто проколоть его в отчаянии желала, брызнула кровь ее на документ. Кровь Любви Николаевны была красная, словно бы человеческая. Михаил Никифорович поднялся, намереваясь, надо полагать, принести бинт и йод, но Любовь Николаевна остановила его, слизнула с руки кровь и обвязала палец льняным платком.

— Теперь это документ,— сказал дядя Валя.

Я с некоею неприязнью смотрел на то, как дядя Валя видавшей виды из шоферской жизни тряпкой, впрочем, выстиранной, фланелью, что ли, вытирал нож, собирал его, а потом и неторопливо, степенно, чуть ли не торжественно укладывал в карман, не клал, не совал, а именно укладывал, как музейную теперь вещь. А Любовь Николаевну было жалко.

Дядя Валя мог бы успокоиться и примеривать на себя лавровые венки, триумфальные арки заказывать придворным живописцам и архитекторам, назначать сюжеты фейерверков, но нет, в нем еще бурились страсти. Акт был подписан, но чувствовалось, что Валентин Федорович Зотов жаждет и процесса. Времени до шести еще оставалось.

— Убрать ее из квартиры Михаила Никифоровича мы постановили,— сказал дядя Валя.— Но ведь она возьмет да и останется в Москве.

Потом он подумал и добавил:

— А захочет — и начнет портить жизнь не нам, а другим.

И дядя Валя потребовал от Любви Николаевны исчезнуть вообще из реальной действительности, не являться на наши глаза ни под каким видом и тем более не возникать из бутылок — и винно-водочных, и молочных, и с подсолнечным маслом, и в особенности из азербайджанского портвейна «Чишма», который и без всяких ведьм управляет жизнь. Если же возникнет — в ключья!

— А как же милость победителей?— спросила Любовь Николаевна.

— Какая еще милость?— удивился дядя Валя.

— А вы, Валентин Федорович, взгляните на документ.

Дядя Валя взглянул. Там действительно было написано: «Сдалась на милость победителей». Дядя Валя осмотрел составителей акта, стараясь обнаружить автора упомянутой оплошной фразы. Но фразу эту, как мы помнили, предложил он сам.

— Ну и что?— сказал дядя Валя.— Ты наивная, что ли? Или прикидываешься дурачком? Это дипломатическая формулировка. А они ничего не значат.

— Нет,— сказала Любовь Николаевна,— значат. И милость есть милость. Тем более победителей. Вы же победители...

— Ты что глазками играешь!— рассвирепел дядя Валя.— Ты что, издеваешься, что ли, над нами?!

А и мне показалось, что Любовь Николаевна глазами играет и издевается. И я рассердился. Не задумала ли чего Любовь Николаевна нам в отместку?

— Ну и все!— заключил дядя Валя.— Опять ты нас доводишь! Никаких поблажек тебе не будет. Сгинь! И навсегда.

И тут Любовь Николаевна, чуть ли не спрыгнувшая, чуть ли не взлетевшая с дивана, рухнула на колени перед Михаилом Никифоровичем.

— Не погуби! Вызволи! Спасенья прошу!

Не театральные уроки были в словах Любви Николаевны, а чувства искренние, испуг и мольбу ощутили мы в них.

Михаил Никифорович растерялся. Потом вскочил, стал поднимать Любовь Николаевну.

— Да что вы, Любовь Николаевна! Зачем вы так!

Теперь и Игорь Борисович Каштанов, и Серов, и я бросились к Любви Николаевне, успокаивали беднягу, заверяли ее в том, что не звери мы лютые, не птицы-стервятники, не акулы из австралийских прибрежных волн.

Любовь Николаевну усадили на диван, спрашивали, не подать ли ей лекарств или воды, говорили, что, конечно, коли слово «милость» попало в документ, придется вспомнить о милости. И придется придумать нечто, облегчающее участь Любви Николаевны.

— Ага! Облегчайте!— мрачно сказал дядя Валя.— Опять на шею сядет.

— Без пяти шесть,— напомнил Филимон Грачев.

Серов засуетился. «Ну вот! Ну вот! — говорил он.— Надо и честь знать. И свое время надо ценить!» И мы с Игорем Борисовичем было засуетились, но тут же поняли, что это нехорошо, не дети мы, которым в шесть обещано мороженое, а уж суетиться сейчас перед Любовью Николаевной было и вовсе неприлично. Серов, взглянув на нас, снова присел. Притих. В ходе разговора он как будто бы и поддерживал пайщиков, но и давал понять Любови Николаевне, что он зла на нее не держит. Однако можно было предположить, что присутствие вблизи его жизни и служебных занятий женщины из бутылки или неизвестно откуда его тяготило. И, понятно, никак не совмещалось это присутствие с его представлениями о возможностях мироздания. Поэтому он почти и не противостоял дяди Валиному напору, а лишь старался придать разговору изящное направление.

— Действительно,— сказал он,— Любовь Николаевна теперь не представляет для нас... для вас... опасности. Но пока не поправится Михаил Никифорович, существовать она должна, вот и...

— Где она будет существовать?— грозно спросил дядя Валя.— Здесь, что ли, останется? А Михаил Никифорович опять на раскладушке, что ли, будет?

— Пусть остается,— сказал Михаил Никифорович.— Пока...

— Ну ты, Миша, даешь!— расстроился дядя Валя.

— Но беда-то ведь небольшая, а?— сказал Михаил Никифорович.

— Седьмой час,— обратил наше внимание на ход времени Филимон Грачев.

Он встал. И я встал. Одна Любовь Николаевна осталась сидеть. И было видно, что она оживает. На Михаила Никифоровича она смотрела не только с благодарностью, но, похоже, и с обожанием. Красивая сидела Любовь Николаевна, можно было позавидовать Михаилу Никифоровичу... Впрочем, с чего бы это завидовать? И чему?

— Михаил Никифорович, ты пойдешь с нами?— деликатно спросил Каштанов.

— Пойду,— сказал Михаил Никифорович.

Мы двинулись к двери, не найдя ни единого слова для Любови Николаевны. А она, поднявшись, проводила нас хозяйкой квартиры. Будто и не хотела отпустить приятных ей людей, но, однако, и не намерена была уговаривать их остаться.

У двери дядя Валя остановился и сказал опять фанфарным голосом главнокомандующего:

— К мерам мы еще вернемся!

В ответ на слова дяди Вали Любовь Николаевна поклонилась, будто девушка из тверского хоровода. И возникли запахи влажного леса, деревенского утра, парного молока... Дверь уже была открыта, свет падал на лицо Любови Николаевны, и зеленые глаза ее показались мне в тот миг лукавыми, а то и шалыми. Пожалуй, и кураж был в них.

По улице Королева мы шли молча, быстро, как спортивные ходяки, готовые побежать, не страшась судей, шли волнуясь, то ли боясь опоздать куда-то, то ли не веря в избавление.

Волнения наши оказались напрасными.

Возле дома номер пять по улице академика Королева наблюдалось праздничное брожение мужчин.

Пивной автомат был открыт.

(Продолжение следует)

(Я видел,
 видел,
 видел это!)
 Фонтанчик у стены незрячей,
 плющ,
 протянувшийся к балкону.
 (Все было так —
 и чуть иначе,
 необъяснимо по-другому!)
 Я этих улочек не знаю,
 я никогда здесь не был раньше.
 Но вот хожу
 и вспоминаю.
 И странно так,
 что даже страшно.

* * *

Филологов не понимает физтех —
 молчат в темноте.
 Эти
 не понимают тех,
 а этих —
 те.
 Не понимает дочки своей
 нервная мать.
 Не знает,
 как и ответить ей
 и что
 понимать.
 Отец считает,
 что сыну к лицу
 вовсе не то.
 А сын не может сказать отцу:
 «Выкинь пальто...»
 Не понимает внуков своих
 заслуженный дед...

Для разговора глухонемых
 нужен
 свет.

* * *

За датую — дата.
 Простой человеческий путь.
 Все больше
 «когда-то».
 Все меньше
 «когда-нибудь».
 Погода внезапна,
 но к людям, как прежде, добра.
 Все крохотней
 «завтра».
 И все необъятней
 «вчера».
 Найти бы опору
 для этой предзимней поры.
 Как долго мы —
 в гору.

За что же так быстро —
с горы?!

Остаток терпенья
колотится в левом боку...

Все реже:
успею.
И все невозможней:
смогу.

..*

Помогите мне,
стихи!
Так случилось почему-то:
на душе
темно и смутно.
Помогите мне,
стихи.

Слышать больно,
думать больно.

В этот день и в этот час
я —

не верующий в бога —
помощи прошу у вас.
Помогите мне,

стихи,
в это самое мгновенье
выдержать,
не впасть в неверье.
Помогите мне,

стихи.
Вы не уходите прочь,
помогите, заклинаю!
Чем?

А я и сам не знаю,
чем вы можете
помочь.

Разделите эту боль,
научите с ней расстаться.
Помогите мне
остаться

до конца
самим собой.
Выплыть,
встать на берегу,
снова голос обретая.
Помогите.
И тогда я
сам
кому-то помогу.



ГЕОРГИЙ ПРЯХИН

★

МАТЬ И МАТИЦА

Рассказ

Ехал я в поезде. В купе оказался один. Читал, а когда наскучило, стал невольно прислушиваться к разговору, отчетливо доносившемуся из-за перегородки. В спальный вагон попал случайно — билет купил на вокзале с рук. Человек, продававший билет, интеллигентного вида, нестарый, был готов даже не продать, а подарить его. На радостях.

— Сын родился, понимаешь! — говорил восторженно мне, заурядному командированному, прижатому к нему людской толчеей. — Какой, к черту, семинар!

«Сын родился!» — повторял он. Я же, занятый одним — как бы не выпустить его из объятий, как бы не подпустить к нему других страждущих безбилетных, как бы не прозевать билет, — и не обратил особого внимания на эти слова.

А вот разговор за стенкой купе заставил вспомнить о них. И о сыне и, главное, о семинаре.

В соседнем купе ехали участники семинара. Речь там зашла о положении в современной науке, и кто-то невидимый сказал, что больше всего он надеется на тех молодых ученых, кому сейчас до тридцати или немногим за тридцать. То есть почти на студентов. На старых, гнутых, битых и на таких вот — зеленых.

— Те же, кому сейчас сорок, бесплодны. Сформировались в эпоху застоя и не способны на живую мысль. Приспособленцы. Конформисты. Прилипалы. Ничего кроме цитат произвести не могут. Таких категорий, как вечность, смысл жизни, смерть и бессмертие, не просто избегают, а еще и выработали к ним, прикрывая творческое бессилие, этаким снисходительным скепсис. В общем, летают, как домашние хохлатки. Хотя многие при этом уже умудрились обзавестись весьма тепленькими гнездами. И вся задача теперь — удержать эти гнезда. Ничего удивительного: это ж только кажется, что курица от себя гребет. Словом, пробочное поколение.

— Как, как? — переспросили за стенкой.

— Пробочное. Так и будет существовать инертной массой, мешая другим. А вот те, кому двадцать, от силы тридцать, — люди думающие, это первое поколение ученых-обществоведов, растущее в естественных, я бы сказал, дарвиновских условиях. В обстановке свободной конкуренции идей и мнений. Общественного спроса на смелость, на поиск. А где есть спрос, там будет и предложение. Эти мальчики мне положительно нравятся. В них изначально есть некий бес — нет, бог здорового инакомыслия, без чего философа быть не может. Почка роста нашей науки — в них.

«Пробочное поколение» — стояло у меня в ушах.

Не могу сказать, что отнес обличение и на свой счет. Какой из меня философ! И все-таки. Сидел в купе, потом, возвратившись из командировки, занимался будничными делами — и лопатками чувствовал окончательность приговора.

Протеста не было. Он предполагает активность действий, что-то яркое, «шум и ярость», по выражению Шекспира. А тут не до шума и ярости, тут и крыть-то нечем: все, в общем, так и обстоит на самом деле. (Такая покладистость, она ведь тоже обусловлена конформизмом. Еще одно свидетельство полного отсутствия здорового инакомыслия.)

Казалось бы, что мне до этого случайного чужого разговора? В одно ухо влетело, в другое вылетело.

Никак не вылетало — насчет «пробочного». Застряло.

Ну разве это протест, когда душа где-то там, далеко-далеко, самой младенческой частью своей потихонечку — в разноголосице привычных хлопот, команд — тенькает и жалится?.. Как будто отказали ей в родстве, в котором она и сама толком не уверена: так, седьмая вода на киселе. И вот тут-то, в заполощных буднях, не в ущерб им, а словно бы над ними, как возникает в степи никому не мешающее, свободно текущее марево, возникла в памяти картина, которая казалась совершенно забытой, истраченной, зажитой (по аналогии с заспанной).

Обжигающе ясно, больно так возникла.

Искала душа аргументы, нащупывая их в той сфере, в которой она, душа, заведомо была сильнее разума? Протестовала — если такую грустную реакцию можно назвать протестом? Или, напротив, соглашалась? Доводила чужую мысль, чужой приговор до логического корня, до исходного пункта: вот оно, дескать, начало траектории, которая казалась траекторией полета, а на самом деле явилась траекторией падения? Искала защиты — у детства, как уже не раз бывало?

Картина, как мы с отчимом ломаем хату...

Впрочем, здесь надо сделать одно отступление. По поводу глагола «ломать». Он первым подвернулся под руку, но, употребив его, казалось бы, такой очевидный, я погрешил против правды. В те времена — а это было самое начало шестидесятых — в нашем селе уже не говорили: ломать хату. Говорили: валять хату.

Глагол — да не тот!

Глагол разрушения — и все же в нем уже появился какой-то вздох, проблеск, отчего он уже стал как бы и глаголом созидания. Уже нет угрюмой бесповоротности, окончательности. Есть лазейка для жизни. Он мягче, в нем толика шутливости, даже какой-то своеобразной удалы: валяй, деревня, строить будем!

Ломать же — это про другое.

Про те развалины, останки — иногда это были просто холмы наподобие больших безымянных могил, — которые я еще застал и которые там и сям были разбросаны по селу.

Если можно сказать о пустоте, что она разбросана.

Прямо напротив нашего дома через затравевшую дорогу стояли, доживали свое остатки некогда мощной глинобитной стены. И по бокам от нашего дома, там, где должна была бы идти, продолжаться улица, возвышались один за другим округло-правильные невысокие холмы. Их основания уже заросли травой, а макушки еще были лысыми. И только по ним, по маковкам, видно, что холмы эти из глины. Что это не степь еще, не земля как таковая, а крестьянские руины, которые легче, быстрее любых других руин становятся степью и землей.

У нас не было соседей ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. На все четыре стороны — простор, до ближайшей хаты шагать и шагать. Только эти взгорки, многие из которых уже почти и не выделялись — так, припухлость. Село длинное, но домов в нем едва ли не меньше, чем холмов. Дома и могилы домов вперемежку.

На бледных маковках, венчая их, любили нежиться змеи.

Вот эти хаты — л о м а л и. Да что хаты — жизнь ломала рука более скорая и беспощадная, чем человеческая. Голод тридцать третьего, военных и первых послевоенных лет...

Но в начале шестидесятых валять уже означало строиться. Валяли землянку — с азартом, с ликованием — и строили дом. Помогали соседи, родня. Мать моя, когда была здоровой, часто приглашалась на такие помочи. Все умела делать: и глину месить, и саман штуковать, и мазать. Вальковать — вот еще работка для двужильных. А она такой и была. Ничего лишнего — ни в росте, ни в весе, ни в разговоре. И только жилы — две. Как тетива. Мешок зерна, словно заправский мужик, поперек спины несет, а ногу ставит легко, без натуги да еще улыбается — молча, радуясь доброй ноше. Сбросит его, распрямится — и никакой остаточной деформации. Как будто и не было его, непосильного, на этих узеньких и таких чутких даже не на ласку, а уже на ласковое слово плечах.

Когда была здоровой.

А на сорок четвертом году тетива беззвучно — так сильно была натянута — оборвалась.

Мать стала желтой тенью матери. Кожа да кости. Обтянутое лицо, враз поредевшие, посеревшие, потерявшие теплый блеск волосы. Были тонкие, рыжеватые, с веселым подсолнечным отливом, в сырую погоду по-девчоночьи курчавившиеся на концах, а стали — жалкий пучочек серой, пыльной амбарной паутины. Руки, доселе не знавшие усталости, все чаще повисали как плети, удивленные собственной немощью. В течение нескольких месяцев сохлась, как старый, продавленный кокон. Жизнь, влажно блеснув бесплотными крылышками, вылупилась и выпорхнула.

Жизнь выпорхнула, а душа задержалась. Лампадно светились глубоко провалившиеся глаза. Обычно маленькие, серенькие, ничем особенно не примечательные — два пестреньких воробьиных яичка ласково и беззащитно светились из своих маленьких гнезд навстречу каждому, — глаза вдруг стали пугающе значительными. Наверное, сам провал, в котором они оказались, изменил угол падения солнечного луча. Так бывает с заброшенными степными колодцами. Заглянешь в них, а из их дымной глубины ударит такой сноп солнца, что поневоле вздрогнешь и зажмуришься. Так и тут. Солнце ли преломлялось, душа ли зацвела на излете, но такая горячая, медовая волна хлынула из этих ранее таких обыкновенных глаз, что мы, дети, осязали ее кожей, купаясь в ней, как в слепом дожде.

Взрослые же, встречаясь с нею взглядами, отводили глаза. Видимо, о т т у д а уже заговорило, жарко и бессвязно, нечто такое, чего по неразумению не боялись мы, дети, но что смущало, тревожило людей более сведущих, чем мы. Впрочем, я уже понимал, что происходит. Двое других же материных сыновей, совсем малые, четырех и семи лет, даже радовались переменам: в кои-то веки мать, вечная подъяремная невольница работы, всецело принадлежала им. Была свободна, как птица. Часами сидела с ними, расходуя на них последнее тепло.

А иногда не удерживалась и начинала что-то делать по дому, по двору, пытаюсь отстранить от этих дел меня. Ходила уже с трудом — а ведь недавно еще летала над землей — и при этом держалась рукой за правый бок. Ухватит кожу в кулак — она, как и платье, стала для нее просторной, будто с чужого плеча, — зажмет что оставалось силы и ходит, делает что-либо одной левой рукой.

Ей казалось, что так у нее меньше болит. Сама того не понимая, отвлекала на кожу куда более нестерпимую боль. Работала, зажав, стиснув в кулаке даже не болезнь, а душу — чтоб удержать, чтобы не выпустить.

Только на животе платье почему-то топорщилось. Только живот на исхудавшем теле выделялся неровным и неловким комом. Она сама его стеснялась и всячески прикрывала рукой. Помню, навестившая ее соседка — мать уже почти не поднималась с постели — наклонилась к ней и спросила что-то на ухо. «Да нет, — слабо улыбнулась та в ответ. — Что ты, Нюся...»

Гладила, нежила детей, расходуя на них, как голодная волчица, физическое тепло, а другой рукой гладила, баюкала живот. И та, другая рука, наверное, забывалась, верила, что и под нею в утробе ребенок. Может быть, даже девочка, которую мать так ждала, на которую надеялась, когда была беременна в третий раз. И когда опять родился сын.

Баюкала — или молила. Болезнь стала божеством, воплощением своевольного, карающего — за что?! — бога, и она ее молила. Не за себя — за них.

За нас.

Опухоль...

Нельзя сказать, что дом наш стоял на окраине. До околицы было еще далеко. Но улица перед нашим домом делала такую затяжную паузу, что он торчал, как зуб в старческой десне. После «паузы» опять начинались дома, тоже довольно редкие, затем и они сходили на нет, и открывалась совсем голая степь.

Когда-то село было большим, многолюдным, осененным садами. Потом голод, война, опять голод, непомерные налоги на каждое «дойное» дерево. Я еще помню, как трепетала мать, завидев в окно бочком, крадучись приближающегося к дому агента по сельхозналогам Манина, чистого, совсем не сельского вида человека в костюме, с портфелем, в очках (Четырехглазый — звали его в селе и за очки и за всевидящую осведомленность обо всем, что творится-размножается в каждом деревенском дворе), хотя трепетать, по правде говоря, было не за что: дети, слава богу, налогом не облагались... Все это крепко проредило село. Исчезли многие хаты, пали под топором сады. И в селе, лежавшем на меже, где плодородные ставропольские степи, истощаясь, переходят в Прикаспийскую полупустыню, продолженную за морем совсем уже бесплодными, грозно-бескрайними пространствами, резко выперло глиняное, глинобитное, азиатское начало.

Обособленность, одиночество нашего дома доставляли много неудобств. Далекое ходить в школу, в магазин. Даже по воду с коромыслами не меньше часа ходу. В селе уже было электричество, провели радио. И только мы жили и без электричества и без радио. Слишком много бы столбов потребовалось — и все из-за одной хаты. А лес в наших степных краях и сейчас в цене.

Честно говоря, я лично от этих неудобств не страдал.

Да разве ж это неудобство: вышел во двор — и все вокруг твое! Не надо ни с кем делить ни улицу, ни всю мальчишескую поднебесную, начинавшуюся сразу за твоим порогом.

У меня была овчарка, у меня был закадычный друг, живший относительно неподалеку, а значит, у меня было все.

Степь кормила нас: мы косили молодую сочную траву и возили ее в мешках на велосипедах домой, скотине. Она же зимой обогрела нас: поздней осенью мы собирали в канавах набивавшийся туда курай и тоже тащили домой, он жарко трещал в печи, пламя гудело так мощно и сладостно, что казалось, будто оно не просто обогрывает, а еще и приподымает дом, и он, мягко покачиваясь, парит над холодной, унылой землей. На месте исчезнувших хат были пригорки, а на месте былых огородов, окруженных некогда чуть ли не крепостными рвами, голые, застарелые канавы. Все, что несло по степи, — а созревший, оторвавшийся от земли курай, перекати-поле, и впрямь несся, гонимый осенним ветром, вскачь, подпрыгивая и падая, как под-

ранок,— все оказывалось, как в фильтре, в этих заброшенных канавах.

Надо ли говорить, что степь развлекала нас. Чего стоили одни погони за зайцами! Заложивший уши зайчишка кувыркался над степью, как перевернутая запятая, за ним на вполне безопасном расстоянии для обоих неся, визжа от восторга, пес, потом, перекрывая воплями собачий лай, бежал я, а за мною спотыкался мой закадычный друг, на два года моложе меня.

Мы все были бусинками на одной нитке, на упругой нитке азарта, восторга — и еще боязни, как бы погоня и впрямь не завершилась кровопролитием.

В весенние дни, когда степь ненадолго заливалась тонкой и нежной глазурью разнотравья с млечными скоплениями ромашки, нам казалось, что земля и небо и в самом деле поменялись местами и мы барахтаемся в небесах где-то рядом с ополоумевшими жаворонками.

У меня были мать, овчарка, закадычный друг — а в таком случае какая разница, где жить?

И не столь уж плоха была керосиновая лампа. Почему-то больше помню даже не вечера, а утренние часы в доме. Наверное, потому что по вечерам ложились рано, а утром мать поднималась чуть свет и я вставал вслед за ней. Взял моду учить уроки по утрам. Она растапливала грубку — так в селе называли печь, — управлялась по хозяйству. В настывшем за ночь доме волнами прибывало тепло, я сидел за чисто выскобленным дощатым столом, под золотисто-спелым — с него как будто кожуцу содрали, и он светился самым нутром, нежной абрикосовой мякотью — фонарем семилинейной керосиновой лампы, стоявшей тут же, на щелявом столе. В черном окне рафинадно светилась холка сугроба. Управившись по двору, со скотиной, мать окончательно перемещалась в хату. Вымыв руки, подсаживалась ко мне. Лепила вареники, пельмени. Просила:

— А ты почитай вслух. И я между делом послушаю.

Мать была неграмотной, и я знал, что она не хитрит, не проверяет меня — я и так учился неплохо, — что ей и впрямь интересно. И читал вполголоса, чтобы не потревожить братьев, сладко сопевших за пределами дрожавшего в центре хаты светлого круга, сияющего спицами обода, — там, в теплой домовитой темноте.

Где-то там, в темноте, оставался и отчим — в те редкие дни, когда он бывал дома. И я в те минуты как никогда остро и счастливо чувствовал, что, заключенные в золотое колечко света, мы с матерью составляем в этом мире одно неделимое целое. Она — моя. И я — ее.

Может, поэтому и вставал вслед за нею до света — пока окружающая жизнь докучно и властно не посягала на нее.

Так и врывались мы с нею в утро, оберегаемые керосиновой лампой — бакеном, покачивающимся на развидняющихся глубинах наступающего дня.

Будучи здоровой, мать не сетовала на отдаленность нашего дома. С отчимом у них нередко случались нелады, ибо, напиваясь, а напивался он таки часто, он вновь буйствовал, скандалил, ревел благим матом, крушил все налево и направо. В общем, лучше жить подальше от чужих глаз.

Она не состояла с ним в зарегистрированном браке. Так, приняла невесть откуда заблудшего в село — после войны, в пятьдесят первом — кочевого сапожника, вот и вся регистрация. Катился-катился, как перекаати-поле, пока не зацепился за наш на семи ветрах стоявший дом. Зацепился, но довольно часто исчезал, отбывая на лесоповал за неуплату налогов или алиментов — какие алименты с перекаати-поля! — законным женам, которых у него, оказывается, и до войны и после войны было немалое количество. Однажды в нашем доме даже появилось юное, вот уж истинно нездешнее существо. Таких в нашем селе не было и быть не могло — это я знал абсолютно точно!

И в гербарии моей сегодняшней памяти она осталась так, как остается у человека чей-то взгляд: ничего вещественного, а вместе с тем помнится, не стирается. Не одежда, не выражение лица, а ощущение девичества, той нечаянной весенней свежести, которая как бы озонирует все вокруг себя и от которой в груди поднимается холодок.

Пришла, появилась в нашем дворе — я-то заметил ее издалека, но никак не смел предположить, что она к нам. Думал, чиркнет по небосводу и растает. И потому следил за ее приближением разинув рот и не в состоянии вымолвить слова: мол, смотри, мам, кто к нам идет. Подошла к возившейся во дворе матери, поздоровалась — мать изумленно, даже с некоторым испугом смотрела, разогнувшись, на гостью, — сказала:

— Меня зовут Света. Я младшая дочь Василия Степановича Колодяжного. Вы позволите мне повстречаться с ним?

Мать застыла как громом пораженная. Потрясенная не столько фактом существования младшей дочери Василия Степановича, сколько тоном обращения к ней. «Вы позволите...» — так ее никогда не просили.

У меня же мелькнуло: значит, есть еще и старшая дочка!

— Я его почти не помню. Он ушел на фронт, когда мне было три года. А с фронта он к нам не вернулся, — продолжила, по-своему истолковав материно замешательство. В этих словах, сказанных просто и грустно, было что-то такое, что позволило моей матери, обычно робкой и нерешительной, обнять девчонку за плечи и повести в дом, приговаривая:

— Ну что ты, доченька, что ты...

И так они доверчиво приклонились друг к дружке, что пойти за ними следом я не решился. Торчал во дворе как пень.

Я ведь тоже своего родного отца не помню. Не видел, хотя он и не на войну уходил, а на восстановление разрушенных войной шахт Донбасса.

А отчима-то как раз и не было. Находился в очередной отсидке — на сей раз его «посадила» какая-то послевоенная жена.

Несколько дней горожанка прожила у нас. Ей стелили на моей кровати, а меня спровадили на пол. Тем не менее я был счастлив.

Да и весь наш дом на эти несколько дней преобразился, посчастливил.

Мать, стараясь угодить гостье, пекала свои знаменитые оладьи. Их знаменитость, а точнее сказать — знатность заключалась в том, что испеченные оладьи укладывались высокой горкой в огромную чугунную сковороду, заливались доверху густой — палец не провернешь, — атласистой, с медовым отливом (не зря корову Ночку у нас потом, когда матери не стало, не просто купили, а прямо выхватили из рук) сметаной и ставились на некоторое время в русскую печь.

Их еще не вынимали из печи, а весь дом и даже половина улицы (мой закадычный друг в такие моменты был тут как тут) знали, чувствовали, обоняли, какие замечательные у Насти оладьи!

А вынет их мать, протомившиеся, изошедшие янтарной юшкой, поставит на стол, откинёт крышку — и надо видеть в ту благословенную минуту и ее, стряпухино, довольство и наше, едоков, отменное рвение.

— Да вы просто кудесница, тетя Настя! — воскликнула, захлопав в ладоши, горожанка. — Можно я вас расцелую?

Мать зарделась от такой похвалы. Вот когда, думаю, и зародилась в ней мысль о девочке, о дочке, о желаннице — она тогда как раз ждала третьего.

А девочке хоть бы что: поднялась, чмокнула мать в правую щеку — та и опомниться не успела, — уселась на место и принялась по-городскому, с вилкой и ножом, накладывать оладьи в тарелку перед моим младшим братом.

Перед ее младшим братом, как считала, наверное, она.

Господи, да я и не против! Я очень даже за: пусть он, сопливый, будет и ее и мой.

Мне очень бы хотелось иметь такую красивую, такую легкую, такую юную и праздничную сестру. Желание, атавистически сохранившееся до сих пор. Когда я сам уже взрослый лысый человек с многочисленными дочерьми. Всю жизнь хотел иметь старшую сестру, но когда не стало матери, а следом и отчима, сам превратился для братьев не только в старшего брата, но и в старшую сестру. И в брата и в сестру — во все.

Удивительно быстро освоилась она в нашем доме! Каждому из нас нашла ласковое слово. Даже овчарке.

— У-у, какой стра-ашный, — выпела изумленно и, присев на корточки, почесала безропотно подставленную свирепую морду. Не боясь запачкать свои нарядные платьица, а их в ее крохотном дерматинном чемоданчике (в те времена такие чемоданчики называли балетками, это был последний писк моды) оказалось несколько, она пыталась помогать матери: заметила, что та в «интересном положении». Но мать мягко отстраняла ее. Все-таки наша деревенская работа была и впрямь не для ее лилейных рук, не для ее стройных, козьих, изящными туфельками подкованных ножек — не случайно-таки она приехала с балеткой! Играла со мной, неуклюже и счастливо робевшим в ее присутствии восьмилетним мальчишкой.

Но больше всего возилась с моим братом, которому только-только исполнилось три года и который ковылял за нею повсюду, как веревочкой привязанный.

Видимо, ей давно хотелось повидать отца, и его отсутствие не на шутку огорчило ее. (Мать не сказала, что он в тюрьме, а сказала, что его надолго усадили в командировку. Какая командировка, если он и в артели-то никакой не состоял, так, кустарь-одиночка, объект неусыпного надзора со стороны четырехглазого Манина.) Но и это не омрачило ее пребывания в нашем доме. Она как-то спрятала разочарование, справилась с ним. Даже сами по себе мы были ей интересны, чувствовали это и старались как могли скрасить ее неудачу.

В нашем большом доме впервые звучал девичий смех. Он рождался так, как зарождается в голубятне звучный переплеск голубиных крыльев — ни с того ни с сего. Так и она: улавливала какое-то ей только слышимое дуновение — и смеялась. Да так заразительно, что начинал смеяться и мой — наш! — младший брат, а следом и я. И даже мать начинала смеяться. Обычно она только улыбалась, тихо, робко, да при этом еще почему-то прикрывая губы ладошкой. А тут хохотала в полный голос. Я сам с удивлением обнаружил, какой у нее кружевной, полновесный, в несколько ярусов смех.

Вот ведь как получается: приехала и играючи извлекла у матери смех. Самый музыкальный, самый заветный, самый счастливый звук. А мы-то, обормоты, мужичье неотесанное...

Мне она предложила побегать наперегонки. Я отказался. Во-первых, знал, что обгоню ее, но эта победа не принесет мне ровно никакого удовольствия. В ее присутствии мое обычно болезненное тщеславие дремало, да и что-то еще примешивалось. Во-вторых, мне казалось, что это слишком прозаично для нее — бегать со мной наперегонки. Для этого существует Митька Литвин, тот самый, закадычный...

«...И легкой ножкой ножку бьет» — вот ее истинное назначение, думаю я сейчас.

Неделю прогостила она у нас. Когда уезжала, мать дала ей корзину, в которую уложила сотню куриных яиц. Уложила и сверху обвязала корзину новой, ненадеванной хлопчатобумажной косынкой.

— Свои, домашние...

Не думаю, что девчонке улыбалось ехать с шикарной балеткой в одной руке и деревянной корзиной в другой. Но она не отказалась от корзины — чтобы не обидеть мать. Мы провожали ее до грейдера на автобус, проходивший вдоль нашего села раз в сутки. Мать и гостя по очереди несли младшего брата. Я следовал за ними с балеткой в правой руке и с корзиной в левой. Надо отметить, что балетку я нес с куда большей предосторожностью, чем корзину, хоть та и была с яйцами. Да и весила балетка, признаться, меньше.

Впрочем, так и должно быть.

Ровно ничего не весила балетка, которую я бережно нес в правой руке.

За мною, норовя потрепать меня за штанину, трусил овчарка. Замыкающим являлся все тот же Митька Литвиц, который опоздал к выходу процессии из дому, но теперь целеустремленно догонял нас, никак не желая пропустить такое важное событие.

Подошел автобус, с усилием волоча за собой хвост тяжелой плюшевой деревянной пыли. У нас его называли пассажиркой — смешно, не правда ли? Помните эти востроносые уютюговатые автобусики с плоской жестяной крышей и частыми-частыми, но почему-то без стекол окнами? И дождь, и ветер, и пыль — все продувало его насквозь. Навылет. Шофер с удовольствием раскрыл дверь перед нашей гостьей — видать, обрыдли ему наши вечные старухи, непоседливые, как переезжие свахи. Чмокнула она каждого из нас, даже Тузика, да что Тузик — даже Митьке Литвину досталось. Помогли мы ей взобраться, вернее помогали корзине, а она впорхнула, едва коснувшись железной пупырчатой подножки. Уселась — и переполненный автобус взял с места ретивее прежнего, как будто в нем не прибыло весу, а, наоборот, убавилось. Вновь погребенные пылью, мы сразу потеряли пассажирку из виду, но махали, махали. И она нам, казалось, машет, машет.

Когда возвращались, брат достался мне. Я тащил этого прожорливого битючка и думал: «Ну брата ладно, он все-таки и ее брат, а вот зачем она Митьку целовала?» Тот, как бы чувствуя свою вину, понуро шел рядом.

Лучше б еще раз поцеловала меня.

Мать кончиком платка вытирала глаза — пыль, наверное, застряла.

Вспомнилось: когда гостя, прощаясь, целовала мать, они опять приклонились — как бы сказали у нас в селе: притулились — друг к дружке, как и в первый раз, когда мать вводила ее в хату.

Как две сироты.

Больше я младшую дочь отчима ни разу не видел.

В общем-то, хорошо, думал я тогда, что она приехала к нам (после десятого класса) в отсутствие отчима. А то еще, не ровен час, увидела б его пьяным, бешеным, матюгающим. И что б, какую бы память увезла тогда?

Мне кажется, и мать моя тоже так думала, возвращаясь от грейдера домой.

А вообще он, отчим, был разным. Не только бешеным. Помню джемпер, который он мне привез в очередной раз откуда-то с Севера. Джемпер был импортный, яркий, тонкой вязки, какие-нибудь зарубежные пай-мальчики ходили в таких в школу. Для нашей же деревенской жизни он был слишком сочен, я сам себе казался в нем цыпленком и носить джемпер наотрез отказался, чем обидел и отчима и мать. В другой раз он привез из столь же отдаленных мест две картины. Настоящий холст, настоящие масляные краски. Тайга, деревья тоже как настоящие, и на переднем плане пенится холодный-холодный ручей. Тайга и на второй картине, только погребенная в снегу. Лишь крохотная белка, как искорка жизни, проскакивает между око-

ченевших ветвей. В самом уголке обеих картин красовалась витиеватая подпись. «Скотленд-Ярд», — прочитал я по слогам.

Почему Скотленд-Ярд? Кто такой Скотленд-Ярд?

Отчим был человеком немногословным. Сказал только, что за этого скотленд-ярда он целую неделю отработал на лесоповале. За двоих. Такова, как я понял, была стоимость искусства. Картины были водружены в хате, и захаживавшие к нам односельчане с уважением смотрели на них — столько леса они никогда не видели.

Так вот, когда мать заболела, у нее появилась навязчивая идея: переехать поближе к центру. Вроде она и болезнью и этой идеей захворала одновременно. Ей, наверное, казалось, что, переедь мы к центру, к людям, и нам, ее детям, будет легче жить — потом, после. Без нее. А так умрет она, и люди нас забудут здесь на отшибе. На отчима она не надеялась.

Почему-то с самого начала знала, что умрет.

Мне же это и в голову не приходило — что она может умереть. Потому что до этой своей хворобы она и не болела-то ни разу.

Так или иначе, мать торопила с переездом. Торопилась успеть. Продала свинью с поросятами, овец, сдала бычка. Наверное, у родичей заняла — я даже не знаю толком, где она раздобыла деньги, — и все-таки сумела. Успела. Купила дом почти в самом центре села, прямо напротив школы. Из окна этого дома были видны окна класса, в котором я учился.

Дом был из тех, что на вид ничего, выглядит, как говорили в таких случаях в нашем селе. А на ощупь, колупни его поглубже — и окажется, что к дому этому нужно покупать еще и руки. И крыша с чердаком, и надворные постройки, и даже тын вокруг огорода требуют рук. Огород тоже большой, но неухоженный, часть его вообще не использовалась — так, цвел какой-то самосев. Крепкому, хозяйственному мужику надо было покупать это. И делать из этого дом. Собственно говоря, несколькими годами позже, когда я приехал в село уже молодым, не очень удачливым горожанином погостить, я и увидел этот возможный дом и этот возможный двор. У дома укрепили фундамент, облицевали его кирпичом, на крыше содрали шифер, настелили железо, оно сияло на солнце до ломоты в глазах. И подвал обновили, и летнюю кухню, и сарай во дворе, и загалу, ограду вокруг огорода, поправили. Провели воду, в огороде не лебеда буйствовала, а полезные растения.

Хорошему хозяину достался после нас этот дом.

Мать, судя по всему, купила его недорого, а новому хозяину он и вовсе достался за бесценок: дом, как и корову, продавали наспех.

Когда я бываю в селе, раз в четыре-пять лет, так или иначе прохожу или проезжаю мимо него. И ничто не тянет меня зайти, попроситься внутрь. Грустно — да, но сердце не переворачивается. А вот когда случится оказаться ненароком (а иной раз ноги сами ведут) там, на том пустыре, где мы когда-то жили и где сейчас вообще шаром покати — ни развалин, ни деревьев, одна полынь на все четыре стороны, — ох как же заночует сердце, как же оно там заворочается!

Полынь да два бугорка: один от нашего, а другой от дома Митьки Литвина. А потом уже и бугорков не осталось, все сровнялось, улеглось, перегнем подернулось. Но тот давно не существующий дом в памяти встает во всех подробностях — я б его и сейчас нарисовал, не отрывая пера от бумаги, как нынче учат писать первоклассников. И снится в снах — как будто душа навек заблудилась в том неказистом жилье. А этот, существующий, очень даже существующий, не тянет. Не греет. Наверное, потому что там, на пустыре, на отшибе, мы жили. А здесь, в новом доме посреди села, умирали.

Да, тут, в новом доме, и я понял, и все мы поняли: мать умирает. Всего полгода продержалась она после переезда. То были и полгода

агонии для всей нашей нескладной семьи. Матери не стало — и семьи практически не стало. Окончательно исчез отчим. Меня с братьями разметало по разным детским домам и интернатам. Вместе, под одной крышей, мы больше так и не собрались...

Стало быть, переехали.

Окончательно переезжали в начале лета. Совхоз выделил бричку с парой лошадей. Ездовой нам не требовался, я к тому времени уже имел навык обращения с лошадьми. Наверняка мы делали несколько ездок. Вначале перевезли живность, оставшуюся после распродажи. Да и скарба, пусть копеечного, скопилось немало. Был и не совсем копеечный. Например, разборный шкаф из чинары, сработанный не только без гвоздя, но и без клея. Тонкие стены, шишечки, строгая резьба... Я любил засунуть голову внутрь и вдыхать стойкий запах вечности; я знал, что шкаф, старинная горка, достался матери от ее матери, а материной матери от ее матери. А дальше цепочка утеряна.

Вечность пахла корицей и ванилью, использовавшимися матерью при выпечке пасхальных куличей. Стало быть, пасхой. И еще — сухим-сухим нездешним деревом, так, наверное, пахли приносимые паломниками-пилигримами кипарисовые кресты да ладанки из Палестины.

Где теперь этот шкаф? И где тот скарб?

Сохранилось только одно — льняная скатерть. Купленная когда-то «на яички», то есть в обмен на сданные в сельпо куриные яйца, она была материной гордостью. Покрывала стол лишь по праздникам, при гостях. Сейчас мои дочери используют ее, вылинявшую, порыжевшую, при глажке белья. Это у нее теперь единственная возможность попасть на стол. Ума не приложу, каким чудом она сохранилась, выжила.

Дочки и не знают, на чем глядят...

Последняя ездка запомнилась мне больше всего. Почему-то этот путь — от старого дома до нового — мать решила проделать пешком. Как я ни уговаривал ее сесть в бричку — место нашлось бы, — не согласилась.

— Я сама. Я своими ногами, — сказала. — Ты только не торопись, сынок. — Взялась рукой сбоку за борт брички и пошла. Потихоньку, босая. — Давно не ходила босиком, хочу пройтись — пусть ноги отдохнут, — тоже с грустной улыбкой.

Одна рука на бричке, другая на животе, и босые ноги в теплой пыли.

Я тоже шел рядом с бричкой, придерживая рукой вожжи. Средний брат, который к тому времени уже пошел в школу, важно шагал с другого бока телеги.

Даже лошади подлаживались к медлительному шагу матери.

Лишь самый маленький, третий, которому еще не исполнилось и пяти лет, восседал на возу, как раз на чинаровой горке, болтал ногами и радовался, что сидит вот так, выше всех, что едет, радовался переезду, переменам — всему. Мать ласково посматривала на него. Кроме младшего, никто не веселился.

Иногда мать просила остановиться. Она отдыхала, я поправлял поклажу, вразнотык торчавшую из брички. Кони сбивались на обочину и вяло пощипывали молодую траву. День завершался не жарко, мягко, прощально. Мы выбрали дорогу, бежавшую не по улице, а по широкой балке, разделявшей две — их и всего-то было две — сельские улицы. Она и короче и безлюднее. Так мы по ней и двигались, скрытые пологими склонами балки от любопытного глаза.

— Наверное, я умру, — тихо, только мне одному, но так, что я расслышал это и за скрипом колес, и за лошадиным фырканьем, и за радостным щебетом малыша, сказала мать.

Волна горячей нежной жалости захлестнула меня, я на ходу обернулся, мы какое-то мгновение смотрели в глаза друг другу, но ни она больше ничего не сказала, ни я ей ничего не ответил.

Переезжали мы без отчима, а вот старый дом после я ломал вместе с ним.

Да, все-таки мы с ним не валяли наш старый дом, а ломали. Не валяли, потому что не собирались на его месте ставить новый. Да мы и не в состоянии, не в силах были вдвоем развалить его так, как требовалось бы для нового строительства. Можно было бы, конечно, попытаться продать его, но, господи, кто б его купил? Кто б захотел селиться на пустыре?

И вот мы его ломали — с единственной целью изъять, выдрать из его глинобитного нутра деревянные ребра и перевезти их на новое место жительства. Чтобы пустить их там в дело — на починку подворья, на другие нужды. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Правда, дом при всем при том паршивой овцой не был. Старым — да, достался матери еще в тридцатых, в голод, когда она осталась сиротой. Конечно, он был помоложе чинарного шкафа, но и его корни уходили далеко вглубь. Я в точности не знаю, в каком колене его строили, но когда-то он, вероятно, был одним из лучших домов в селе.

Сложен он был из крупного, круто замешенного на полове самана, универсального степного стройматериала. Основательный, я бы сказал — дородный дом. В нем были сени с сараем под одной крышей — в сарае стояла корова с теленком — и три просторных комнаты, одну за ненадобностью мы использовали под чулан. Закром, укромные затишки для соломы и сена — все было при нем.

Лично мне, как и любому мальчишке, больше всего нравился в доме чердак — потолок, как его называют в этих краях. Во всю длину дома, высокий, — я проходил под коньком, едва пригнув голову. Сухо, тишина. Из двух слуховых окон с противоположных концов тянутся два светлых столба. Но, постепенно истончаясь, редая, не дойдя до середины, они пропадают совсем. Растворяются в темноте и тишине. С тех пор как я научился взбираться на чердак, что стоило немалых трудов, ибо дом был высоким, я осваивал его, как соседнюю небезопасную планету. Поначалу просто сидел возле слухового окошка на солнышке, там, где все было светло и нестрашно, где лишь в углу залегали неясные тени. Потом стал по лучу света, по самому его стрезню доходить почти до середины потолка. Потом отважился, крепко-крепко зажмурил глаза, так мне казалось безопаснее, пробежать эту коварную, полную непроницаемой, прямо-таки вяжущей тьмы середину. Бежал, вытянув руки вперед, и кончиками растопыренных пальцев почти видел, почти осязал липко кишевшую к ем-то пустоту. Бежал, пока не попадал в объятия второго, встречного потока света. Пока не почувствую его — кончиками растопыренных пальцев, лицом, крепко зажмуренными глазами. Попадал в этот встречный поток и, слыша удары собственного сердца, трепыхался в нем, как мотылек.

Я так и не дорос в собственном доме, не осмелел до того, чтобы обшарить все укромные углы потолка. Не успел.

На потолке было так замечательно прятаться — и от матери, и от братьев, нянькой которых я был и которые, признаться, порой крепко надавали мне, и от загадочного друга Митьки Литвина, и от всех-всех. И люди, и звуки, и сама будничная, не очень веселая жизнь — все остается там, внизу. А ты, вознесенный, паришь. Витаешь мыслями бог знает где. Ну, например, году в сорок третьем, где ты, замечательный красноармеец Сергей Гусев, лежишь в прифронтовом госпитале раненный в руку, нет, лучше в ногу, пониже колена, и замечательной красоты медицинская сестра склоняется над твоими орденами и медалями. Потом она учит тебя ходить. А потом, окрепнув немного,

ты оставляешь ей на подушке записку: мол, встретимся в шесть часов вечера после войны,— и в сумерках спускаешься на простыне со второго этажа военного госпиталя...

Медицинская сестра поразительно похожа на младшую дочку отчима... Вот почему еще я не торопился обследовать все закоулки потолка — потому что самые тайные тайны все равно рождались и проживали не там.

Со временем дом, конечно, ветшал. Камышовая крыша, густо поросшая травой, уже проминалась под ногами. Но мать как могла ходила за ним: каждый год мазала, подправляла, поддерживала. И дом как бы остановился в одной поре — ни туда ни сюда, как то бывает иной раз и с зажившимся человеком. На селе уже появлялись дома, облицованные кирпичом, первые шиферные крыши забелели на улицах, закрипели деревянные, крытые масляной краской полы, мы же с матерью только-только застелили земляной, глинобитный пол толем. Дом отставал. Укатали сивку крутые горки — то было видно уже невооруженным глазом.

Хотя, в сущности, отставал не он — отставали мы, его обитатели.

И все же мы с отчимом с ломами, лопатой и топором выглядели перед ним, пустым, но еще могучим, как два злобных насекомых. Нам предстояло его сокрушить. Начали с оконных рам и дверей. Двери снимали с петель, притолоки выбивали топором. Собственно говоря, для отчима это занятие было не внове. Напиваясь пьяным, он регулярно высаживал то притолоку, то оконный переплет — ударом кулака. Кулак у него был железный.

— Десятым сталинским ударом! — в бешеном азарте кричал он, если мы запирались, пытаюсь не впустить его, пьяного, в дом. Но своей обреченной попыткой мы только раззадоривали его, и страшный треск прокатывался по всем нашим трем комнатам.

Я еще помнил, как плакал мой родной дядька, — для меня тогда было открытием, что такие здоровенные заскорузлые мужики могут плакать, — когда объявили, что Сталин помер. Принесший нам эту новость дядька сел за щелявый стол, уронил чубатую голову на руки и заплакал, размазывая слезу кулаком. Так плачут в двух случаях: либо от нестерпимой мальчишеской обиды, либо по потерянной России.

Как ни напуган был я, прижимавшийся к материнскому подолу в последней комнате, а краешком сознания все же отмечал, сколь причудлива закономерность употребления имени вождя в нашем доме.

Кто бы мне сказал тогда, что и сам-то я появился на белый свет во многом благодаря вождю. Есть жертвы культа личности, а я вот — живой плод. Ибо по доброй воле мой отец ни за что бы не очутился столь далеко от родных мест и ни за что бы не встретился с моей матерью. Их траектории просто-напросто не соприкоснулись бы — даже на миг, которого оказалось достаточно, чтоб посеять меня.

Посеять — этот глагол в нашем селе чаще употребляется в значении потерять. Траектории соприкоснулись на миг, и вскоре отца отравили еще дальше — на восстановление угольных шахт. Он, судя по всему, даже не знал, что посеял. И всходами не интересовался...

Покончив с дверями и окнами, мы взобрались на крышу. Предстояло разметать ее, чтобы добраться до бревен. До тех самых толстых, сухих ядреных стропил и балок, что, сцепленные железными скобами, мощными треугольниками стояли на чердаке, создавая жесткий каркас всей крыше. На тех балках я и любил сидеть и видеть сны наяву... Разметать оказалось непросто. Камыш хоть и почернел, подпреп местами, но покоился на стропилах одной тяжелой, крепко улежавшейся массой. Вдобавок еще и придавленной многократными слоями глины. Сколько раз ее мазали, эту старую крышу, да еще добавляли в глину половы, сырых кизяков — словом, крыша буйно поросла травой и пшеницей, тем, что составляло пропитание местным коровам и телятам, чьи горячие лепешки без промедления подбира-

лись в ведро: это был своего рода цемент, теин, придававший мазке должную крепость и влагостойкость. Впору косою косить или корову тащить для подмоги. Все это — и зеленый покров, и глина, и связанные проволокой мертвые камышовые маты — никак не хотело покидать насиженного места. Лом, лопаты, топор — все пошло в ход.

Отчим сбросил рубаху. Он скаргател зубами — то пыль, тучей висевшая над нами, скрипела на зубах — и шепотом, чтоб я не слышал, матюгался. Он вошел в раж: не только камыш, но и горбыли, стропила — все летело. Зная, что он совершенно трезв, я поначалу даже струхнул маленько: уж не контузило ли его вторично?

Он не валял этот дом. Он его крушил. Он раздирал его зубами, как раздирают ненавистную плоть. Он словно вымещал на нем что-то.

Стыдно признаться, но мало-помалу эта истерия разрушенья овладела и мной. Конечно, я не шел ни в какое сравнение с отчимом. Какая там убойная сила у тринадцатилетнего сосунка. Так, слону дробина. Но запал был всамделишным. Всамделишно сумасшедшим. Особенно когда мы проникли через крышу к нутру, к чердаку. Когда стали потрошить его — вот когда я смело добрался до всех его укромных закоулков, до всех его паутинных, пазушных тайн! Вывернул их наизнанку — ничего таинственного...

— Десятым сталинским ударом! — вопил я, пытаюсь обухом топора выбить балку из паза.

Еще куда ни шло — отчим. Человек контуженый, человек, ни к селу, ни к дому нашему не привязанный. Но что мог вымещать я, родившийся под сенью этого дома и проживший тут лучшую часть своей жизни? Почему я поддался этой волне ненависти и уничтоженья и был даже злее отчима — как волчонок, ослабившийся подле матерого волка? Что за сила ввергла меня в этот яростный раж предательства? С кем я квитался — и за что?

Два дня мы крушили дом. Когда вечерами доплетались домой, вымотанные, пропыленные, в ссадинах и кровоподтеках, будто из драки, и мать и младшие братья с некоторым испугом смотрели на нас. Сторонились нас, как убийц.

— Ну как там? — робко, с затаенной болью спрашивала мать.

— Работаем, — неохотно буркал отчим.

Как будто то, что мы делали, можно было назвать работой.

Мы, поливая друг друга, смывали пыль, ели вяло, без аппетита — теперь в доме было и радио, и электричество сияло над головой — и валились спать. Как убитые.

К концу второго дня мы выворотили матицу. Главную несущую балку, на которой, по существу, и зиждется все перекрытие. Массивная, зажелезившаяся — и цвет ее тоже был скорее железный, нежели древесный, — нигде ничем не траченная. Не трухлявая, живая. Ее старательно побеленное матерью подбрюшье выпирало и в комнате на потолке. В него был вбит крюк, на котором висела люлька. Люлька, в которой я качал, баюкал своих братьев. И в которой рос сам.

И вот мы ее, корнями вросшую в дом, поддели ломami, подперли, поднатужились, крякнули по-солдатски, по-суворовски, и матица, сокрушая все на своем пути, рухнула вниз. Клуб пыли взметнулся аж до чердака. В образовавшуюся длинную рваную брешь стала видна убогая пустота ободранных комнат.

Стало быть, они рухнули почти одновременно — мать и матица. Только одна вот так — со стоном, с бешеным сопротивлением, с клубом горячей пыли, а вторая беззвучно и безропотно.

На третий день мы все на тех же лошадях перевозили лес (было домом, стало — лесом) на новое подворье. Делали последнюю езду, и я в последний раз оглянулся на свой дом. На то, что было моим домом. И что от него осталось. Обезглавленный, с выдранными рамами, в кучах мусора и хлама, он стоял на пустыре, как после бомбежки.

Кругом ничего нет, и этот одиночный, одинокий дом — такая заманчивая цель. В него и всадили весь наличный боезапас..

Я смотрел на эти свежие руины, на свое собственноручно разоренное гнездо, и во мне впервые за эти дни что-то глухо стонуло. И защемило. И зародилось неясное чувство утраты. И ощущение, что я сделал что-то не так и не то.

Не стану преувеличивать тех своих ощущений, но зерно пало тогда. Посеялось. Правда, я и не думал, что всходы будут такими. Что с этой вот минуты и начинается у дома вторая жизнь. Во мне, в моей памяти — жизнь моего родного, утраченного, несуществующего дома. Другого своего дома у меня больше так и не было, только чужие и казенные. Я стал единственным его вместителем. И жильцом и домом дома. Ибо братья мои были столь малы, что и не запомнили его как следует. А матери вскоре не стало. А отчиму он был до фени. Да и его, отчима, через год после матери тоже не стало. И у моего родного отца, даже если он до сих пор чудом жив, дом наверняка вытерся из памяти. Вылинял.

Значит, я остался один, кто помнит его, дом, до мельчайших подробностей. Значит, ему суждено существовать столько, сколько отпущено мне.

Может, это и есть цена? Или искупление?

Ибо если б я его не ломал, то, возможно, и не помнил бы теперь столь явственно и больно. Как я в раздуваемой ветром рубашонке стою на верхотуре своего дома и изо всех сил крушу его. Я полон разрушительного восторга, он раздувает меня, как ветер мою рубаху. Я пьян и контужен одновременно...

Знаю точно, что сначала был переезд, а потом уже ломали дом. Да это вытекает и из самой логики событий. И однако в памяти все почему-то выстроилось в обратном порядке: сначала — ломка и я, раздуваемый вожделием немотивированной мести и разрушенья, а потом уже — переезд, пыльная, безлюдная дорога, тихие материны слова: «Наверное, я умру...»

Сколько уже раз так со мной было: о чем бы ни задумался, ни затосковал душой, все равно получается о детстве. Точнее, о той поре — около четырнадцати лет, — которую прожил подле матери. Рядом. На одном белом свете. А жизнь идет, и шагреньевый лоскут детства (мать умерла, а дальше какое уж там детство) уменьшается, стремится к нулю. И ты стараешься его удержать, раз за разом все перетряхиваешь, выворачиваешь наизнанку котомку, с которой пустился в дорогу, выщупываешь голодными пальцами грубые швы — не затерялась ли, не застряла ли где еще кроха?

Глоток детства.

Дышать труднее, что ли? Или — бежать?

И вот, кажется, все пережито, выдышано — дотла, зафиксировано, вспомнано. Надо жить дальше. И вдруг ни с того ни с сего, достаточно случайной чужой реплики, вот как теперь, в поезде, и вспыхивает в мутной пелене ослепительно обжигающий глоток неба, словно кристалл синьки бросили в воздух, — что-то давно забытое и растраченное... И начинает не то чтобы преследовать тебя, а просто существовать рядом, совсем близко, молча дышать в висок, и все начинаешь видеть окрашенным этой призрачной фосфоресцирующей дымкой. Проходят дни, забываются случайности, давшие непосредственный толчок воспоминанию, а дымка, выдох, боль все не тают.

Свежие дымящиеся руины нашего дома на грозном вечерющем фоне — как знак, предвестие другой, еще большей, горшей утраты.

Такая вот картина. Аргумент ли это в споре о поколениях? А если аргумент, то в пользу или не в пользу моих сверстников? Я, конечно, не философ, основными для меня являются совсем другие, прозаические, материально-технические, а никак не научные занятия. Но и я, Сергей Никитович Гусев, тоже принадлежу этому послевоенному

поколению. Зачатому в красном вине победы, подчас даже неизвестно от кого — от победителя (помните: отцовство не устанавливали, за аборт преследовали, потому что отцов было так драматически мало, а детей требовалось так много?) и познавшему пусть не поголовно, но в значительной своей части горький пафос разоренья отчих гнезд.

В возрасте, который называют нежным.

Пафос крушенья, мести — неизвестно кому и неизвестно за что. Подросткового, отчаянного, неосознанного бунта — чтобы потом до срока, по сути, и не взлетев, приземлиться, угнездиться в своей лунке.

Так ли, не так ли — кто разберет?..

А на четвертый день после того, как сломали дом, отчим жестоко напился. Высаживать окна в новом доме не стал — не с руки при таком тесном соседстве с односельчанами — и опять надолго куда-то канул. Лес же в дело так и не пошел. В ту последнюю зиму мать окончательно слегла. В доме не оказалось никакой топки, а зима выдалась на редкость жестокая. Мы пилили, рубили стропила и балки, тем и топили до самого тепла. В том числе распилили, спалили и матицу.

Хотя как же тогда не пошел в дело? Дом грел — до последней щепы, до последней смоляной капли. Как и положено дому.



ИЗ ЭСТОНСКОЙ ПОЭЗИИ



ПАУЛЬ-ЭЭРИК РУММО

..*

ВОТ СТОИТ ОН, многих кровей,
отсюда — швед, оттуда — цыган,
с капелькой родственно-финского, ингерманландского,
голубого датского, польского,
благородного нижненемецкого,
в последних годовых кольцах русского,
да примешалось еще дегенеративное захолустье,
кровосмешенье, да в войнах, в чумные года кровь почти
до последней капли в землю ушла,
и только язык еще жив, кровоточит, только язык
еще как-то стар и здоров, еще действует,
стоит человек, стоит человек многих кровей,
проблематичный, весьма проблематичный потомок
древних охотников и мореходов
(«таи свободу!», скрывай, тащи ее в лес, зарой
в мох, возьми с собой в море),—
так кто же он, от кого он пришел, от кого остался,
от кого он остался, который стоит здесь,
под мышкой у него бедняжка Калевипоэг,
покойничек, ноги отрублены по собственной дурости,
над головой ревут самолеты, стоит
и пытается медитировать на финно-угорский манер,
лес редок, море замкнуто, граница
закрыта, стоит и бросает порою
в адрес зрителей иностранноязычную шутку, стоит
посреди своей готики и своих можжевелников,
каких не найдешь больше нигде в целом свете,
посреди можжевелников, растущих точно по горло,
и готики, до которой ему не более дела,
чем до какого-нибудь минарета.

Summa

Несколько лет подполья,
риска, впроголодь, спрятанное знамя, явки, типография, демонстра-
ции, хвосты, тюрьма, почти двадцать лет, стойкость, освобождение,
а мир уже иной... персональная пенсия, галстуки пионерам, отредак-
тированные воспоминания, похоронные хлопоты в Концертном зале,
известные корреспонденты, аппассионата, прекрасная аранжировка—
старые революционеры,
старые революционеры, самопожертвование от начала до конца,
смерть как пропагандистский акт — только некого пропагандировать.

Сыновья и дочери

Посмотрел документальный фильм «Сыновья и дочери». Американский («Your sons and daughters»).

На киностудии, в Эстонской ССР, в Таллине, на улице Харью.

В зале включили свет.

Один оператор из кинохроники задремал в уголке в своем кресле, вызвав братский веселый смех своих

собратьев по ремеслу; преодолев искушение, я не стал оценивать ситуацию символически, сделал две сотни шагов и теперь ем пирожок в зарезервированном зале кафе «Пегас», прорвавшись мимо бдительного швейцара, нарушив закон, уж если на то пошло, или толкнув другого (швейцара) на нарушение закона.

В фильме показывали студенческий марш протеста, они направлялись на вербовочный пункт агитировать юношей, чтобы те не шли воевать во Вьетнам,—

в известном смысле, уж если на то пошло, неудавшийся марш протеста, подавленный марш протеста, закончившийся сидячей забастовкой задолго до конечного пункта.

Показывали мирных демонстрантов, многих с детьми; показывали «адских ангелов» («Hell's angels», членов пресловутого клуба мотоциклистов), которые всячески задирали и оскорбляли участников марша, кляня за отсутствие патриотизма,

показывали полицейских, долговязых, спокойных, умеренно вежливых, в касках,

показывали военные похороны, где прицепляли медали к флагу, по одной на каждого павшего; офицер каждый раз отдавал честь, и каждый раз этому сопутствовала одна и та же гримаса на его мрачном, довольно мужественном, несколько рыхловатом лице человека средних лет, будто поднятые руки каждый раз причиняло ему нестерпимую боль, что вполне возможно, словно имя каждого павшего отзывалось в нем острым приступом горечи и стыда, что также возможно, а может быть, это был нервный тик, никак не связанный с происходящим, в чем

тоже нет ничего необычного, к тому же этот повтор мог быть попросту кинематографическим трюком, хотя в нем не было особой необходимости, потому что это лицо и эта гримаса все равно бы запомнились,

показывали парней, подлезавших под колючую проволоку на спине, головой вперед, показывали объятых пламенем буддиста. Ожидая, пока принесут вино, поглядывая вокруг,

смотрю в окно на вечернее оживление, на людскую толпу. Видя множество лиц, легко представить себе

кого полицейским в худшем, кого «адским ангелом» в лучшем случае,

но мне вспоминается собственное лицо
в зеркале, когда, перед тем как поехать
в город, я выдавил прыщ на щеке,—

это лицо я не могу представить

никем из этого документального фильма
(что же, вот так и жизнь пропадет? или нет?),
никем, если вот так же не призовут,
чтобы — — — — —

— — — — —

МАТС ТРААТ

Труба

Посвящается одной московской заводской трубе с белой гатой «1936».

Красная сигара над жилыми кварталами,
что не дымишь?

*Авдотья Васильевна на завалинке сига
вспоминает девичество на Тульщине*

Что не копотишь?

Было время, чумазы люди в три смены производили
жирную копоть твою.

Все к ней привыкли,
кроме травы на зеленых дворах.

*Авдотья Васильевна на солнышке греясь
вспоминает 34-й год прибытье в Москву
общежитие
парней и девчат там разделял ситцевый полог*

Сиреням не дотянуться до даты, труба высока.
Но, над станком наклонясь, думали люди
не только о шаге винта, песке для формовки.

*Авдотья влюбилась тогда в одного человека
к несчастью он смыслил в литье
чутьочку больше других*

В новом цеху новые люди.
Но иногда и у них в головах
старые-старые мысли.

Труба грациозна, особенно издали.
Давайте посмотрим,
ни черные тучи, ни предрассудков грязная свалка
теперь не мешают обзору.

*Авдотья Васильевна с мужем
стали жить-поживать
да тут пригласили его в серый дом
сказали ты саботажник*

Да-да, мастер сказал, пустоты в металле —
очень опасная штука.
В наше железное время никто не имеет
права на личные нужды.
Индустриализация, как и искусство,
требует жертв.

*Авдотья была молода пышногруда
она и пошла за другого
благо его гениальность была
под огромным вопросом*

А город ширился, рос,
он обогнал трубу, как мальчишка.
Поэты слагали песни о тех, чьи руки в мозолях.
Те, чьи руки в мозолях, пели «Катюшу».

Потом пришли на завод,
к ногтю прижали последнего саботажника — дым.

*Не по себе Авдотье Васильевне
скоро придет большой экскаватор
барак доживает последние дни*

А ты, сигара над старым кварталом,
ты теперь ничто, экспонат.
А когда-то была чьей-то юностью,
чьей-то первой любовью.

Перевел СВЕТАНА СЕМЕНЕНКО



ВАЛЕРИЙ МУРЗАКОВ

★

ЗДРАВСТВУЙ, ТОНЯ!

Рассказ

Здравствуй, Тоня. Прости, если я неправильно тебя назвал. Пишу из дурдома. У меня в мозгах еще темно и немного мутно. Памяти нет. Но постепенно просветляется, как будто вспыхивает. Вдруг огонек маленький, как от сигареты, появится, и что-то вроде бы мелькнет, а что — и понять не успеешь. А потом опять тьма, и на затылок давит. Не помню, сколько времени я жил, как чурка с глазами. Ел да спал. Врач говорит: «Это нормально, спи больше». У меня в голове теперь пластинка, говорят, серебряная. Но я не верю, народ у нас здесь маленько того, полудурки, хотя с виду не скажешь. Наоборот, многие даже очень начитанные. Но чтобы серебряные пластинки ставили — это, я думаю, брехня. Серебро сейчас в народном хозяйстве везде нужно, да еще космос... Но один тут уверяет с пеной у рта. Я не спорю. Конечно, можно у врача спросить, да стесняюсь. Еще подумает чего. Если ты через знакомых сумеешь узнать, напиши, любопытно все ж таки. Хотя сам я думаю, латают нашего брата кожзаменителем, микропорой какой-нибудь. Шучу! Кстати, врач говорит, раз юмор у меня появился — это хорошей признак. Я чувствую, что юмор у меня прибывает, а вот память плохая. Хочешь — верь, хочешь — не верь, не могу вспомнить, как меня зовут. Врач каждый день на обходе спрашивает: «Ну, вспомнил?» А я плечами пожимаю, вроде бы где-то близко, а никак не дается. У нас в палате у окна лежит один дух. Я терпеть его не могу. Скажу тебе откровенно: чеканушка безнадежный. Я с врачом разговариваю, а он ни с того ни с сего как заорет: «Федя!» Я вздрогнул от неожиданности, а врач спрашивает: «Вспомнил?» Что «вспомнил»? Я только испугался, да и все. Это неправильно, что такого духа в нашем отделении держат. У нас люди спокойные, с психозами или травмами, вроде меня. А он неврастеник какой-то. Один раз вот так же беседую с врачом, а он, гад, подошел почти вплотную да как гаркнет: «Маша!» Тут не только я, и врач испугался. Я этого духа даже пнуть хотел, но не достал. До чего сволочь! Конечно, он больной и нельзя про него так, но допек, собака.

Врач меня потом, когда я успокоился, спрашивает: «Может, жену вашу зовут Маша или сестру?» А я ему говорю: про жену не уверен, а сестры у меня сроду не было. Вспомнил, понимаешь, про сестру. Врач говорит: «Это очень хорошо, есть динамика». На улучшение, значит, дело пошло. Вот и решил тебе написать. Может быть, пока пишу, что-нибудь вспомню. Если какие будут непонятные места, ты пропускай. У меня диагноз сложный: алкогольный психоз и черепная травма. Про травму мне пока ничего неизвестно. Где это я, как меня угородило? Не спрашивал, и спрашивать не буду, и вспоминать не хочу. А про пластинку ты узнай. Вполне возможно, что и серебро. Все-таки мозги, не аппендицит. Про аппендицит мне тоже напиши,

кажется мне, что была у меня операция, а шрама не находят. Так быть не должно. Может, у тебя осталась какая-нибудь справка, то пошли мне ее, я врачу передам. Если шрам у меня на нет рассосался, то это может быть интересно для науки. Сейчас пойду обедать, а потом, после тихого часа, опять возьмусь за письмо. Мне о многом хочется у тебя спросить, но я пока не знаю о чем.

Добрый день, веселый час, что ты делаешь сейчас? Я проснулся, а наши орёлики еще спят, храпят. Я сижу на кровати и пишу прямо на тумбочке.

Сейчас видел сон, но не могу тебе рассказать. Ничего не запомнил. Туман какой-то серый, и все... А если очень сильно начну напрягаться умственно, то голова начинает болеть и горелой тряпкой воняет, как будто мне окуроч горящий в подушку кто засунул. Конечно, это от болезни, но мне от этой вони тошно делается и тревога начинается.

Врач говорит, чтобы я пуще всего боялся тревоги и сразу ему об этом сигнализировал. У меня тревога иногда начинается, если я что-то очень хочу вспомнить.

Я стараюсь не напрягаться. Но бывает, проснешься, и кажется, что вот-вот все вспомнишь, и лежишь прислушиваешься к себе и вроде бы сам себе помогаешь: ну еще, ну... Как тут не напрягаться? Не выходит. Наш неврастеник, про которого я писал, спрашивает: а зачем тебе все это надо? Я, говорит, все помню, но не вижу в этом ничего хорошего. А про тебя сказал, чтобы я не маялся. Нечего, мол, и вспоминать. Ты, говорит, будешь вспоминать, вспоминать — и с катушек долой окончательно. А она про тебя и думать забыла или, говорит, выгнала тебя, как пса шелудивого, да при этом еще и травму нанесла утюгом или чем-нибудь тяжелым. А может, тебя и вообще никогда не было.

Он, конечно, чеканушка окончательный, и слушать его нечего. Однако нервная система у меня расшатана до предела, хоть ее лекарствами и тормозят. Но иногда тормоза не держат. Так хочется врезать этому психу, чтобы уши у него отпали, что прямо трушусь весь. Может, ты меня узнаешь по этой присказке? Я ему один раз сказал: если будешь визжаться, утоплю тебя, падлу, в параше и отвечать не буду. Ты думаешь, он испугался? Да нисколько. Он даже обрадовался. Можно, говорит, предполагать, что ты срок тянул. Повспоминай, мол, получше, в каком лагере сидел, с кем бежал. А там, глядишь, и остальное вспомнишь и дяде прокурору расскажешь чистосердечно, а он тебе за это снова путевку в пионерлагерь строгого режима выпишет.

Как, по-твоему, в самом деле он дурак или прикидывается? Врачам, конечно, видней. А то подсядет на постель, уставится на тебя и спрашивает: «Если у человека большая душа, можно ее таблетками вылечить?» А я ему что, профессор? Иди, говорю, у врачей узнай. А он: да что, мол, они понимают! Тогда, говорю, зачем здесь лежишь? Валяй вкальвай, вон сколько объявлений, везде рабочих рук не хватает. А он мне: скажи, куда руки можно сдать, пусть их как хотят используют, хоть мыло из них сварят, мне все равно, я, говорит, и голову свою с ушами на холодец отдам, чтобы только душу мою не трогали, не рвали на куски...

Чего только человек на себя не выдумает. Ни головы, ни рук, ни ног ему не жалко, все за душу отдаст, такая она у него особенная... Может, оно и так. Кто чем болеет. У меня вот память исчезла, а ему душа покоя не дает. Может, он думает, что только у него душа, а у других людей ее нет? Вы, говорит, все моего волоска не стоите, потому что моя душа за всех вас болит и кровоточит. Что ж нам, раз у тебя такая душа, по пятерке скидываться и подарок тебе покупать? Но я молчу. Вижу, человек мучается, зачем его раздражать. Когда память потеряешь, тоже неприятная штука, но врач го-

ворит, тут терпение надо и время. Сроков, правда, определенных нет. И может этот процесс проходить постепенно, а может и в один миг. Как будто молния сверкнет — и все с самого начала вспомню. Вот сижу я сейчас, пишу тебе, а кто я такой, и не знаю. При мне ведь никаких документов не оказалось, даже трамвайного билета. А когда первый раз в зеркало посмотрел, то не понял, что это я. Потом-то, конечно, привык, но сначала мне было очень чудно: отражается в зеркале незнакомая рожа, а это, оказывается, я сам, вот фокус. Духарик этот, неврастеник, у которого душа за всех болит, он всем интересуется, про всех все знает, расспрашивает. У меня сейчас такое состояние, меня что ни спроси, я не могу не ответить. Все буквально выбалтываю. Может, и хорошо, что я памяти временно лишился, а вдруг мне государственные секреты были доверены? Страшно подумать.

Ну так вот, неврастеника очень интересовало, кому я пишу. Я сказал. А ему лишь бы мне напакостить. Ты, говорит, не жене пишешь, а женщине вообще. Я говорю: что, всем сразу, что ли? Вот именно, говорит. Я его послал в туалет, чтобы ему моча в голову не ударяла. Такие глобальные вопросы ставит, как по телевизору. Может, он философ или прокурор? Как тебе на свежую голову?

Между прочим, он мне еще один вопрос задал. Ты, говорит, уверен, что жена захочет тебя узнать? Я говорю: уверен! И кулаком по тумбочке трахнул для убедительности. Ты знаешь, мне раньше и в голову бы никогда не пришло, что ты можешь не захотеть меня узнавать. А теперь что-то запасался. А вдруг? Кто за бабу может поручиться, кто знает, что у нее на уме? Я, наверное, покуролесил было. Я виноват, не спорю. Но не настолько, чтобы меня не узнавать. В общем, ты подумай хорошенько.

Здравствуй, Тоня. Не писал тебе дней пять. Хожу уже на трудотерапию. Вставляем пружинки в выключатели. Ума тут никакого не требуется: взял корпус, взял пружинку, поставил концы пружинки в пазы, нажал большим пальцем — и готово. Я это в момент усек. Но у меня такие грабли, что я эти пружинки не могу ухватить, они у меня выскальзывают. Работают на выключателях в основном женщины, правда, ходят, кроме меня, еще двое мужиков. И неврастеник из нашей палаты. Он эти выключатели как семечки щелкает, а я, пока одну пружинку вставляю, десять потов пролью. Наказание какое-то. Как представляю, что и завтра, и послезавтра, и не знаю еще сколько дней мне эти выключатели собирать, так жить не хочется. И зачем люди старались, спасали меня от смерти, пластинку мне серебряную в череп вставили? Мы по три часа работаем, так я за три часа если три выключателя сделаю, то хорошо. Правда, никто не торопит и нормы никакой нет. Сколько сделаешь, столько сделаешь. И не следит никто. Сестра отметит присутствующих и уйдет. Можно вообще за эти три часа палец о палец не ударить, это никому не надо. А я вот как дурак переживаю. Думаю, выйду я отсюда, приеду к тебе, а что я умею, что могу? Выключатели собирать не научился. Хотелось бы мне знать, кем я раньше был, кем работал. У врача спрашивал, нет ли у них каких-нибудь способов, чтобы это узнать. А он говорит: ты, может быть, десять профессий переменял, пока до нас докатился. На вид-то тебе, говорит, лет сорок пять. Ну, лет пять на образ жизни сбросим. Значит, все равно около сороковника. Трудная, мол, задача... Тогда, говорю, возьмите у меня хоть отпечатки пальцев, может быть, я там где-нибудь значусь. Это, мол, мысль, говорит, надо подумать. Но никто, по-моему, отпечатков брать у меня не собирается. У сестры спрашивал: есть ли указание от врача, чтобы меня на дактилоскопию направили? Она не знает даже, что это такое. Когда я ей объяснил, она меня спрашивает: а сам-то я откуда знаю это слово? А действительно, откуда? Два дня вспоминал напрям-

женно, до головной боли довспоминался, почти до тревоги. И все без толку. Но в заключении я, наверно, все-таки побывал, это факт, и от него не уйдешь. Логика подсказывает. На руднике или на приисках как пить дать работал, потому что руки огрубели и мозоли на них твердые, как костяные. Такие от лома бывают или от кувалды. В общем, от физической. Если бы ты была рядом, ты бы мне враз все объяснила.

Только что я такое мог совершить? Ну обматерить под горячую руку, по морде врезать какому-нибудь гаду, да и то по пьянке. Трезвый, конечно, терпишь, а под газом труднее. Не пил бы, так, может, и башка бы целой была. А теперь что? Представляешь, какой ерундой приходится заниматься, когда памяти нет. А ведь где-то наверняка лежит эта папочка, уголовное дело №... и все там про меня написано: и Ф. И. О., и год рождения, и две фотокарточки подколоты, в фас и в профиль, и по какой статье... Да зачем я тебе про это пишу? На суде-то, я думаю, ты была... Чтоб проститься хотя бы. Святое дело.

А еще вот что. Ты, может быть, побоишься меня узнавать, потому что сама на меня заявила, в суд написала. Это, конечно, хреново, что же тут хорошего, когда баба на собственного мужика пишет, но бывают отдельные случаи. Так имей в виду, что я к тебе без претензий, даю тебе полную амнистию. Но и ты рассуди: если и была на мне вина, так я искупил. А иначе с твоей стороны страшная месть получится и больше ничего. Я и так живу как в сказке: поди туда, не знаю куда. Я раньше как-то не задумывался, а теперь вот самого коснулось... Я думаю, что и тебе не сахар, конечно. Но ты хоть когда-нибудь присядешь да вспомнишь. Хотя мужик тебе, может, достался не шибко, но тут как в лотерее: серию угадала, а номер не тот. Но все-таки любовь у нас с тобой была, ну хотя бы поначалу. Не сразу же я в запой-то ударился. Не за алкаша же ты выходила. Я понимаю, тебе тяжело. Вот бы все начать с самого начала. Я бы попробовал, а ты? Напиши, как ты на это смотришь. Знаешь, что бы я перво-наперво сделал? Я бы отвез тебя в деревню. Не потому, что врач советует. Он говорит, что мне лучше всего в тихое место, подальше от людей, пасечником или лесником каким-нибудь. Но не в этом дело, от людей убежать можно, от себя не убежишь. Почему я про деревню толкую? А потому, что там лучше всего начинать сначала. Выйду я из больницы, да не из простой, а из дурдома. Кто-нибудь от радости опрудитесь? Да ни в жизнь... Допустим, с твоей помощью документы мне восстановят. Паспорт и даже трудовую. Там последнее место работы — шофер автобазы. Это я к примеру. А у меня дырка в голове, железный рубль входит. Кто меня возьмет? Да я и сам не пойду, не для моего заболевания эта работа. Людей давить я ни за какие деньги не согласен. К тому же одной записи в трудовой недостаточно, нужны права, а какие могут быть у меня права, соображаешь? Значит, в слесаря. Это можно, автослесарей везде не хватает, возьмут хоть где. Но опять же, если с учетом травмы, то уверенности мало. Я сейчас, к примеру, вспоминаю: карбюратор, жиклёр там, ну еще коробка передач, а дальше — что, куда и зачем? Вполне возможно, что и не был я никогда ни шофером, ни автослесарем, а так, нахватался. Значит, уже две профессии сами собой отпадают. На завод, там, где быстро крутится, тоже, пожалуй, вряд ли возьмут. В магазин ящики подтаскивать сам не пойду. А на село, между прочим, вербуют, сам по радио несколько раз слышал. Дают подъемные, корову, ссуду и всякие другие блага, не считая чистого воздуха. Не возьмут механизатором — и пусть, вил на таких, как я, еще, слава богу, хватает. Отведут нам усадьбу на полгектара, построим дом с русской печкой, баню, скотину разведем, и будет у нас все свое: и молоко, и картошка, и моркошка, и капуста, и мясо, гусей будем держать и поросенка. Чем не жизнь?

Я вот тебе пишу, и кажется мне, что я когда-то уже жил в деревне, может быть, в детстве. А не получится, если ты не захочешь, так в конце концов и в городе не пропаду, найду себе применение. Не на заводе, так в крайнем случае на стройке. Тоже на свежем воздухе, и зарплата хорошая. Вот такие у меня планы. Насчет керосина можешь не опасаться. Врач запретил категорически. Или, говорит, или... Жизнь взаимны и полная трезвость.

Но это дело будущего. А сейчас у меня в голове не укладывается, как такое могло случиться в наше время. Вот, к примеру, если бы я в тайге заблудился или в пустыне, так меня бы не только милиция, меня бы воинские части разыскивали, на вертолетах, на танках. А здесь хоть бы что, никому ничего. Я врачу сказал, он говорит: у нас танков нет. Ну хорошо, говорю, а как вы на меня продукты списываете? Значусь же я где-нибудь у вас? Он говорит: значитель. Я говорю: как, под номером, что ли? Нет, говорит, под символом.

Ну, пока до свидания. Жду ответа, как соловей лета.

Тоня, здравствуй. Врач сказал, что милиция мной занимается, отыскивает мои концы, так что надежда имеется. Сегодня меня послали раздалбливать помойку за территорией больницы. Снарядили в сапоги, в телогрейку. Все это у них есть. Оказывается, уже весна. А я думал, зима, вернее, как-то не интересовался. Раздолбил я им всю помойку, сделал это даже с очень большим удовольствием. Мимо проходил мужик, я стрельнул у него сигарету и первый раз, не знаю, за сколько времени, закурил. Сначала закашлялся, а потом повело, голова закружилась, чуть не упал и, ты знаешь, вспомнил. Точно вспомнил, что долбил, и вот также весной, то ли помойку, то ли еще что, но хорошо помню, как льдинки в лицо отлетали и таяли, а я их рукавом стирал. И не один я долбил этот лед. С кем, припомнить не могу, знаю, что курили мы с ним на двоих одну сигарету. Он несколько раз дернет, потом мне передает. И еще голицы я одна в одну всунул и на лом надел. Ясно так все вспомнил. Обрадовался. Думаю, как приду, сразу врачу расскажу. Раскидал я глыбы, чтобы быстрее таяли, и в больницу шагом марш. Иду, чуть песни не пою, так мне хорошо да радостно. А навстречу две пацанки с портфелями, обе курносые, конопатые, сестры не сестры, а вроде похуже. Шалят, друг перед дружкой выламываются, такие смешные да хорошие. Я остановился, они прошли, а меня как током ударило, запах от них такой знакомый, как в лесу после дождя. У меня ком к горлу подкатил, и дышать не могу. Едва до палаты добрался, и начало меня гнуть, ломать. Врачи до вечера со мной промаялись. Сам не помню, а соседи по палате подсказали, что кричал все время: «Есть у меня дети, есть у меня дети».

Ехидна эта, неврастеник, подсел ко мне и говорит: «Не сомневайся, есть у тебя дети, если хорошо повспоминаешь, то и внуков вспомнишь». Вот сволочь, тут места себе не находишь, а ему надо насмехаться. Я ему говорю: ты иди, перед зеркалом мозги поправь, они у тебя совсем уже набекрень, сунс. Тоня, кто такой сунс, убей, не помню. Но, видно, я этого скептика допек. Он аж взбеленился. Прimitив, кричит, дубье. А я уже таблеток наглотался и так ему спокойно, без мата: а ты, говорю, натуральный сунс, бедуин. Пусть в следующий раз подумает, как в душу к человеку лезть. У меня и без него после случая с пацанками тревога не проходит, таблетки горстями жру, а полностью задубеть никак не удается. Все думаю, думаю... Действительно ведь, наверное, дети у нас с тобой есть. А почему бы им не быть? Намаялась ты с ними без меня? Да что спрашивать, конечно, намаялась. Ну ничего, выйду отсюда, все возьму на себя, а ты отдохнешь. Потерпи, уже недолго. Раз на работу одного отпускают, значит, дело к выписке.

Да, меня тут фотографировали. Ты, конечно, подумала, что для стенгазеты. Нет, для розыска. Это хорошо. Наверное, была какая-нибудь комиссия и поставила вопрос ребром: кого лечите, кого кормите?

В общем, время, кажется, работает на нас. Только спать я почему-то стал хуже, зато сны теперь запоминаю. Несколько ночей подряд вижу во сне плывущую льдину, а на ней пара серых валенок, новые валенки, как со склада, даже ниткой связаны. Вроде ничего особенного, а проснись — на душе как-то смутно. Сначала врачу хотел рассказать, но не стал. Ему как что-нибудь расскажешь, он сразу новые таблетки добавляет. Я думаю, если бы не таблетки, так я давно бы в память вошел. Но ты особо не переживай, улучшения имеются. Мне даже кажется, появишься ты, я бы тебя сразу узнал. Опять я куда-то в сторону. Про детей мы начали говорить. Ну чем я могу тебе сейчас в моем положении помочь? Только советом. Ты не обижайся, болезнь она и есть болезнь. Я к тому, что никак не вспомню, кто у нас, девки или парни? И какого они возраста? Если мне сороковник, как здесь определили, то тогда дети уже взрослые. Значит, тебе легче. Теперь они нам помогать должны. Ну, а если мне на самом деле меньше, только старо выгляжу, или ты меня намного моложе? Тогда тебе сложнее. Но что делать? Если у нас девки, ты только не обижайся, будь с ними поласковой и мной не страшай. Скажи, скоро папка приедет из командировки, привезет вам кое-что. Что именно привезу, в подробности не входи, скажи, чего-нибудь импортное. Если есть у кого занять, занимай, бери в долг, в кредит покупай. Я потом рассчитаюсь. Тряпку какую купишь — говори, отец прислал. Вот так, я думаю, будет правильно.

Если парни у нас, тут, само собой, припугни, у них должен страх передо мной быть. Особо не балуй, старайся быть построже. И в работу их, главное, в работу впрягай. Только против меня никого не настраивай. Скажи, так, мол, и так, отец нас не бросил, а поехал место получше выбирать. А если увидишь, курят или кто за рюмкой потянулся, лупи нещадно. Ты, главное, верь, что все наладится, и детям это внушай. У меня такое предчувствие есть. Пока до свидания. Теперь уже до скорого.

Тоня, здравствуй. Сегодня тебя видел во сне, все запомнил и могу тебе описать. Как будто уже лето, ты идешь по тропинке вдоль длинного зеленого забора. На голове у тебя газовая косынка с горохами, а какое платье, что-то не припоминаю, вроде бы без рукавов. Слева, значит, у тебя этот зеленый забор, а справа дорога профилированная и кювет глубокий, а в кювете травища вымахала, чертополох, какая и не поймешь, потому что вся она серая от пыли. Но что интересно, ты идешь одна, а разговариваешь, как будто я с тобой рядом иду. А меня нет. Слышать я все слышу, все понимаю, отвечаю тебе, а меня нет. Такая чертовщина. Ты говоришь: раньше-то куда с добром, отдоилась — и до дому напрямки, пять минут. И обед сготовить успеешь и управиться. А теперь пошагай-ка вокруг этого забора в резиновых сапогах-то, все ноги спаришь. А время-то сколько зря уходит. Я говорю: что-то не помню этого забора. Когда его построили? А вот, говоришь, как ты уехал, так спустя маленько и поставили. А я говорю: а зачем он понадобился? Не знаю, мол, для красоты, наверное, нас никто не спрашивал. Вот так мы с тобой побеседовали. Ты вроде с утренней дойки домой торопишься, а я, как невидимка, где-то рядом парю. Забору конца не выдать, а мы с тобой уже все сказали, молчим. Я тебя спрашиваю: что ты все молчишь, вроде давно не виделась. А ты: что рассказывать, я, мол, все на месте, ты, дескать, путешествовал. Ну, говорю, ездил, болтался, а лучше дома нигде нет. А ты говоришь:

бреши больше. А босоножки, что я тебе заказывала, привез? Погляди, в каких я чунях по жаре шландаю. Я глянул, а у тебя резиновые сапоги прямо на голые ноги обуты. И все в назьме. И так мне тебя жалко стало, что высказать не могу.

Вот видишь, что приснилось. Ходил по коридору, все думал, к чему бы этот сон. Назём — это вроде как к деньгам, только откуда мне могут быть деньги, какие? Да если бы и пришли, так кто мне их выдаст без паспорта? Скорее всего это надо так понимать, что ты зарабатываешь неплохо. Ну и ладно. И еще я один вывод сделал, что мы с тобой оба люди деревенские, так сказать, труженики села. Знаешь, это меня очень обрадовало. Как только меня опознают, я в тот же день домой махану. Конечно, денег у меня никаких нет, и одежда на мне только больничная, но ничего, как-нибудь исхитрюсь. На попутках доеду, пешком дойду. Заказ твой насчет босоножек, конечно, не выполню, но причина, как сама понимаешь, уважительная. Да в них сейчас и ходить некуда, резиновые сапоги вполне по сезону. А к лету купим. Ты сейчас про другое думай, доставай из погреба семенную картошку, пусть она полежит на солнышке, проветрится. Да землю на огороде не пересушите. Если трактор не достанешь, возьми коня на пару дней, еще лучше, сразу под плуг и садите. Да к этому времени, я думаю, возвращусь. Сейчас все зависит от милиции, от нее, родимой.

Ну, будьте здоровы. Не скучай, скоро приеду. Ребятишек поцелуй.

Здравствуй, Тоня. Ничем тебя пока порадовать не могу. Вчера приходил майор милиции, допросил меня в кабинете врача и всего осмотрел. Смахивал я на одного рецидивиста. Очень даже, особенно в профиль. Майор положил передо мной фотографию, говорит: «Узнаешь?» Я присмотрелся внимательно: кожана, говорю, не помню, а так я, не отрицаю. Сейчас, думаю, все мне объяснят, и конец нашим с тобой мучениям. А они меня с доктором давай крутить-вертеть. И в рот заглядывали и во все места. В общем, не тот я оказался, кто им был нужен. У рецидивиста были особые приметы, а у меня ни одной. Майор врача спрашивает: а не может быть, чтобы как-то, что-то? Врач говорит: исключено. Я подозреваю, что это насчет моего аппендицита, помнишь, я тебе писал? Если найдешь справку, то порви ее от греха и сожги.

Ну, поговорили они, взвесили за и против, и майор собрался уходить. Я говорю: а как же со мной? Пока никак, подождать вам, мол, придется. Я говорю: вы там зарплату зря получаете, ни кто голову пробил, ни кому пробил, ничего не знаете. Майор говорит: ты чудной человек. Радуйся. Тот, говорит, кого мы ищем, женщину и двух детей убил... Неужели могут быть такие люди? В голове не укладывается. Пришел я в палату, и так мне стало страшно, а вдруг, думаю, и я что-нибудь... Такая тоска навалилась, Тоня.

Тоня, здравствуй. На улице уже совсем тепло. В палате форточки открывают. А мне все хуже и хуже. Врач начнет расспрашивать, а мне ему и отвечать неохота. Голова, спрашивает, болит? Не болит, говорю. Кружится? Не кружится. Тревога есть? Нету. Тоска есть, Тоня, но про нее я, кроме тебя, никому не говорю. Прошлой ночью этажом выше кто-то так страшно кричал. Вот так: «А-а-а-а». А потом все затихло. Утром спрашиваю: в палате кто-нибудь слышал? Никто ничего. А неврастеник: это, говорит, совесть твоя кричала, ты ее мучаешь, а она кричит. Ты, говорит, признайся, все равно всем известно, что ты все помнишь, а тут дурака валяешь, чтобы ответственности избежать. Признайся, легче будет. Я говорю: ты отойди подальше, а то я не выдержу, пну. До чего гад мстительный. Всё душа, совесть, а у самого яд кипит.

Здравствуй, Тоня. Видишь, как получилось. Задержка вышла. Картошку вам пришлось садить без меня. Но окучивать будем вместе. Это я тебе обещаю твердо. Память ко мне не возвращается. Но что же теперь делать? Живут же люди без ноги или без руки. Только тебя и детей очень хочется увидеть. Так хочется, что совсем перестал спать. Но я по ночам лежу тихо, не ворочаюсь и не вздыхаю. Так что никто об этом и не знает. Все думаю, как нам встретиться. На милицию, видно, надежда плохая, раз у меня особых примет нет. Пока я сам тебя не найду, никто нам не поможет. Это дело не простое. Тут надо все продумать до мелочей. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Днем и ночью думаю. Выйти отсюда нетрудно, оделся в рабочее и пошел. Куда? На стройку. А дальше, Тоня, самое морочное. Карта географическая нужна. Я разобью ее на квадратики и буду их по очереди обходить, а потом зачеркивать. Это, конечно, долго, но другого выхода у нас с тобой нет. Пусть мне сейчас сорок, лет пятнадцать, двадцать в запасе есть. А может, удача выпадет, может, мы с тобой счастливые окажемся. Главное, достать карту.

В общем, твое дело ждать, а мое искать, таков мой окончательный вывод.

До встречи.

«26 мая с. г. нами было обнаружено, что психобольной с проникающей черепно-мозговой травмой из больницы исчез. Ориентировочно это могло произойти вскоре после врачебного обхода, т. е. между 11.00 и 13.00 часами. Именно в это время некоторые больные направляются на строительство дополнительного лечебного корпуса, где они занимаются трудотерапией. Никто из больных, а также из медицинского персонала не мог дать дополнительных сведений об исчезновении вышеназванного больного. Меры к разысканию и возвращению больного принимаются...»

(Из докладной записки главного врача специализированной больницы №...)

Год назад от рака печени умерла доярка совхоза «Локшинский» Лопарева Анна Павловна, тридцати двух лет. У нее остались две девочки, двенадцати и восьми лет. Сначала их забрала бабушка, мать Анны Павловны, семидесятилетняя старуха, бывшая колхозница Матрена Степановна Бологова, но пенсия у нее была тридцать шесть рублей, и девочек пришлось сдать в детский дом.

На каникулы они приезжают к бабушке, помогают ей по хозяйству. Отец их, Василий Иванович Лопарев, совхозный механизатор, был два года назад командирован в областное управление «Сельхозтехники» и исчез. Анна Павловна его разыскивала до самого последнего дня, но безуспешно. Девочки, когда приезжают к бабушке, первым делом спрашивают, нет ли каких известий от отца.

Вот, собственно, и все. Да, еще вот что: когда едешь по профилю мимо совхоза «Локшинский», то видишь длинный зеленый забор, он огораживает территорию, где хранится сельхозинвентарь и комбайны. Год назад его не было и доярки на ферму ходили напрямик.

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ
(1918—1977)



ГОРОДСКИЕ РОМАНСЫ

* * *

Когда я вернусь...
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,
По еле заметному следу — к теплу и ночлегу —
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,—
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Послушай, послушай, не смейся,
Когда я вернусь
И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней,
И прямо с вокзала — в крошечный, ничтожный, раёшный —
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Когда я вернусь,
Я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит в меня и заплещется в сердце моем,—
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!

Когда я вернусь,
Засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив — тот давнишний, забытый, запетый.
И я упаду,
Побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои!
Когда я вернусь.

А когда я вернусь?!

Красный треугольник

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький.
Да, я с Нинулькою гулял с тетипашиной
И в «Пекин» ее водил и в Сокольники.

Поясок ей подарил поролоновый
И в палату с ней ходил в Грановитую,

А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границею.

А вернулась, ей привет — анонимочка,
Фотоснимок, а на нем — я да Ниночка!
Просыпаюсь утром — нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки.

Нет как нет,
ну, прямо нет как нет!

Я к ней в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано,
Не сердчай, что я гулял с этой падлюю,
Ты прости меня, товарищ Парамонова!

А она как закричит, вся стала черная:
Я на слезы на твои — ноль внимания,
И ты мне лазаря не пой, я ученая,
Ты людям все расскажи на собрании!

И кричит она, дрожит, голос слабенький,
А холуи уж тут как тут, каплют капельки,
И Тамарка Шестопал, и Ванька Дёрганов,
И еще тот референт, что из органов.

Тут как тут,
ну, прямо тут как тут!

В общем, ладно, прихожу на собрание,
А дело было, как сейчас помню, первого.
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспансера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная.
У них первый был вопрос — свободу Африке!
А потом уж про меня — в части «разное».

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами.
А как вызвали меня, я свял от робости,
А из зала мне кричат: давай подробности!

Все как есть,
ну, прямо все как есть!

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький.
Да, я с племянницей гулял с тетипашиной
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

И в моральном. говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада.
Но живем ведь говорю, не на облаке,
Это ж только, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал.
Ну, поздравили меня с воскресением,
Залепили строгача с занесением!

Ой, ой, ой,
ну, прямо ой, ой, ой...

Взял я тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь, для начальников.
А Парамонова, как вышла, стала синяя,
Села в «Волгу» без меня и отчалила!

И тогда прямым путем в раздевалку я
И тете Паше говорю, мол, буду вечером.
А она мне говорит: с аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое,
Она всю свою морковь нынче продала
И домой по месту жительства отбыла.

Вот те на,
ну, прямо вот те на!

Я иду тогда в райком, шлю записочку,
Мол, прошу принять, по личному делу я,
А у Грошевой как раз моя кисочка,
Как увидела меня, вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева:
Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
Помириться вы теперь по-хорошему.

И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,
И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила дюрсо, а я перцовую
За советскую семью образцовую!

Вот и все...

Счастье было так возможно

Когда собьет меня машина,
Сержант напишет протокол,
И представительный мужчина...
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.

Другой мужчина — ниже чином,
Взяв у начальства протокол,
Прочтет его в молчанье чинном...
Прочтет его в молчанье чинном
И пододвинет дырокол!

И продырявив лист по краю,
Он скажет: «Счастья в мире нет —
Покойник пел, а я играю...
Покойник пел, а я играю,—
Могли б составить с ним дуэт!»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«РОССИЯ, КРОВЬЮ УМЫТАЯ» АРТЕМА ВЕСЕЛОГО

По материалам личного архива писателя

С весны 1917 года занимаюсь революцией. С 1920 года — писательством.

Артем Веселый.

И а армию навалилась вошь,
армия гибла.

Хлестала осень дождями, свинцом и кровью.

Неубранные хлеба била птица, вытаптывала конница. Над Кубанью, Терекком и Ставрополем реяли огненные знамена пожаров: красные жгли станицы восставших казаков, белые громили мужичьи села и рабочие слободки.

Накрывали холода, по утрам прихватывали заморозки. Бойцы были раздеты и разуты.

По одним путям, по одним дорогам с армией ползла тифозная вошь. Здоровые еще кое-как отбивались от вошвы, больные не могли.

Минеральные воды,

Пятигорск,

Владикавказ,

Грозный,

Святой Крест,

Моздок,

Нальчик...

Живые долго будут хранить в памяти эти кровавые вехи.

По всем городам, селам и станицам бросались на произвол судьбы тысячи и тысячи хворых и раненых.

У дверей лазаретов стояли часовые, которым было приказано никого из помещений не выпускать.

Забегали прощаться.

— Товарищи! Дорогие товарищи, не волнуйся! Мы отступаем дня на три и опять вернемся...

— Врешь, серый!

— Завели нас и продали.

— Кадеты всех порубят.

— Не тронут... Увечно не посмеют тронуть.

— Да, лежал бы ты на моем месте с пулею в груди, не то бы вячёл.

— Ожидайте, скоро вернемся.

— Кого и чего ждать?.. Палача с веревкой?

— Одежи нет, лошадей нет, обозы рассыпались какой куда, мосты в тылах порваны, в тылу восстанья, кормить вас нечем, самим жрать нечего. В дороге всем вам, калекам, верная гибель.

— Все равно пропадать... Братва, собирайся!
 — Бей телеграмму Ленину...
 — Братцы, не покидайте! — рыдания. — Вместе воевали, вместе и умирать будем.
 — Прощай, станишники... Прощай, друзья...
 Стоны,

крики,

последние объятия.

Отец заживо расставался с сыном, брат с братом и товарищ с товарищем.

Двери лазаретов наглухо заколачивались досками, из окон выпрыгивали, кто выпрыгивать мог. На костылях, в бреду, срывая окровавленные повязки, они рвались за бегущей армией: поддерживая друг друга, шли, ехали, ползли, валились и умирали...

Так начиналась одна из глав романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая», «Горькое похмелье», посвященная трагическому эпизоду в истории гражданской войны — отступлению XI армии через астраханские пески (1919). На журнальной верстке этой главы, сохранившейся в личном архиве писателя, его рукой написано: «Снято цензурой из «Нового мира», кн. 12 за 1931 г.». В шести книжках «Нового мира» в течение трех лет — 1928, 1929 и 1931 — печатались главы из этого романа. Глава «Горькое похмелье» была переработана и вошла в текст первого издания романа.

Роман «Россия, кровью умытая» — основное, но недописанное произведение Артема Веселого. Артем Веселый — псевдоним Николая Ивановича Кочкурова (1899—1939).

В «Автобиографии» он писал: «Родился в Самаре в сентябре 1899 г. в семье волжского крушника. До революции учился, работал на заводе, служил переписчиком, мальчиком на побегушках, был и ломовым извозчиком. В марте 1917 вступил в большевистскую партию. Вел партийную и газетную работу как рядовой боец красной гвардии и армии, два года был на фронте».

Писателю был двадцать один год, когда ему впервые пришла мысль о большом романе.

«На заре туманной юности, весной 1920 года, — писал он, — будучи редактором поездной газеты агитационно-инструкторского поезда ВЦИК, я поехал на Кубань. Деникинское воинство было только что разгромлено: еще дымились скелеты сожженных городов, деревень и станиц, под откосами железнодорожных насыпей еще валялись изуродованные вагоны и паровозы, еще горячи от ненависти к врагу были глаза митинговых ораторов, и еще не высохли слезы на лицах осиротевших жен и матерей. В одно, как говорится, прекрасное утро, на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару, я поднялся чуть свет, выглянул из окна купе и — ахнул. И — сердце во мне закричало петухом! На фоне разгорающейся зари, в тучах багровоющей пыли двигалось войско казаچه — донцы и кубанцы — тысяч десять. (Как известно, на Черноморском побережье между Туапсе и Сочи было захвачено в плен больше сорока тысяч казаков; обезоруженные, они были распущены по домам и на конях — за сотни верст — походным порядком двинулись к своим куреням.) Считанные секунды — и поезд пролетел, но — образ грандиозной книги о гражданской войне во весь рост встал в моем сознании. В тот же день в поездной типографии были отпечатаны письма-обращения к участникам гражданской войны, отпечатаны и разосланы во все населенные пункты Кубанской области, Черноморья, Ставропольской губ., Ингушетии, Чечню, Кабарду, Адыгею, Дагестан. Спустя месяц в Москву мне было прислано больше двух пудов солдатских писем. Завязал связи с наиболее интересными корреспондентами. Первые годы я употребил на сбор материала. У меня скопились груды чистейшего словесного золота, горы книг. Материал подавлял меня, его хватило бы и на десяток романов. Я не мог справиться с хлынувшим на меня потоком. Только спустя четыре года я начал писать книгу свою „Россия, кровью умытая“».

Работая над книгой, Артем Веселый часто ездил на Кубань; зимой 1926 года в труднейших условиях повторил путь, проделанный отступавшей XI армией через астраханские пески; он знакомился с архивными документами в крайиспартах, беседовал со многими участниками мировой и гражданской войны.

Листок из личного архива Артема Веселого:

Россия**Метод работы**

Приблизительные вопросы каждому, с кем я беседовал:

С какого времени в армии
 Какой части
 Знаменитые бои
 Атаки
 Приключения и всякие случаи из жизни
 Поход
 Отдых
 Храбрость и трусость
 Грабеж
 Честь героя
 Редкие раны
 Женщины в армии
 Солдатская любовь
 Жестокость, террор
 Судьба
 Конь
 За что боролись
 Верность и измена
 Пленные
 Герои
 Враги
 Китайцы, мадяры, горцы и др. народы.

В архиве десятки листов с пометой «Всячина». Это заготовки к роману; среди них встречаются отдельные слова, фразы, реплики, диалоги и развернутые сцены. (Относящееся к «всячине» писатель помечал двумя короткими черточками впереди.)

- = Смех радугой.
- = Его почерк был четок, как солдатский шаг.
- = — Что вы развылись, как собаки к пожару?
- = — Советская в тебе совесть.
- = В банду шли, как в отхожий промысел на заработки.
- = — Каждый день бой, эдак и в живых не останешься.
- = — А там хоть волк траву ешь.
- = — Нерв терпенья, не видя ниоткуда поддержки, лопнул.
- = — Впереди грязь, сзади чтоб пыль курила.
- = Солдаты не шли, требовали подвод: «При царе ходили, теперь будем ездить».
- = — Страшно было?
- = — Да страшно не страшно, а вздрагивалось.
- = — Так ты в боге-то сумлеваешься?
- = — Сумлеваюсь.
- = — А што?
- Более уверенный голос вступает в спор:
- = Бога нет.
- = А ты знаешь?
- = Если бы он был, то он должен понятия иметь (о земле, буржухах и проч.).

Каждой главе «России, кровью умытой» предпосланы авторские эпиграфы:

В России революция — дрогнула мати сыра земля, замутился белый свет...

В России революция, вся Россия на ножах.

В России революция — кипит страна в крови, в огне...

Есть в архиве Артема Веселого несколько эпиграфов, заготовленных к еще не написанным главам:

В России революция — мир шатается на корню.

В России революция — хрустль костей, пылающие города, пепел непокоренных деревень.

В России революция — гром: — ооо ууууу бах бах уу — с Кавказа до белых льдов, с тайги до славного Гуляй-Поля!

В России революция — крепка кишка русская, тянется, да не рвется.

В России революция — мчат по России, распустив огненные грибы, кони народного гнева.

И тут же авторская помета: «Эпиграфы — от руки, красным». Это желание Артема не было осуществлено. Хотя третье издание давало такую возможность: издательство «Советский писатель» в 1935 году выпустило, как бы теперь сказали, подарочное издание — большого формата том в алом переплете, рисованный портрет автора работы В. М. Юстицкого, цветные вклейки и большое количество великолепных — тонких и выразительных — рисунков Д. Б. Дарана. Артем Веселый высоко ценил эти иллюстрации. Даниил Борисович Даран в связи с этим вспоминал такой эпизод. Кто-то из писателей сказал Артему, что художник, мол, сделал совсем неподходящие к теме и стилю книги рисунки — не годится Артема Веселого рисовать тонким перышком, на что Артем возразил: «Что же, по-твоему, меня сапогом надо рисовать?»

Особое значение Артем Веселый придавал тому, что обозначено им как «музыкальный лад романа». набросок главы «Смертию смерть поправ» сопровождается примечанием: «Вся глава идет на басовых нотах и — стремительна до предела».

В 1932 году «Россия, кровью умытая» вышла первым изданием. За четыре следующих года она — в переработанном и дополненном виде — переиздавалась трижды.

К каждому изданию Артем Веселый ставил подзаголовок «Фрагмент».

Существует подробный план, который позволяет судить о том, как бы выстроилась книга, если бы автору удалось довести ее до конца. Приведем несколько отрывков из этого плана, датированного январем 1933 года, из него видно, что Артем Веселый не только планировал включить в роман новые темы, события и действующих лиц, но и собирался провести довольно существенную правку уже напечатанного.

Глава одиннадцатая. История с авто. Подготовка восстания в Ейском и Таманском отделах. Типы белых подпольщиков. Красные партизаны. Вся глава в огненной рамке восстаний...

Глава четырнадцатая. (Напечатана.) Горькое похмелье. Переработать сцену заседания РВС XII. Стилистическая правка. Дорисовка митинга с участием Муртазалиева.

Глава пятнадцатая. (Напечатана.) Ключевин-городок. Вправить главу в перспективу общероссийскую, сделав для этого несколько новых страниц в начале главы, а также и по всему полотнищу бросить несколько крупных мазков. Зверская правка в сторону сокращения...

Глава семнадцатая. (Напечатана.) Сила соломой ломит. Большое восстание доработать на основе новых материалов Тамбовского истпарта об Антоновском движении, Казанского истпарта о восстании в Заволжье зимой 1919 г., Самарского истпарта — тож...

Глава двадцать первая. История курсантского полка. Борьба за окраины республики — Закавказье, Восток, Урал, Сибирь.

Глава двадцать вторая. Махновщина. Материалы истпарта напечатанные и ненапечатанные. Зарубежная литература. Украина, разыскать старых сподвижников Махна.

Глава двадцать третья. Польский фронт.

Глава двадцать четвертая. Перекоп. Концовка.

Э т ю д ы. После каждых трех глав, как продох или пауза музыкальная, — идут семь этюдов. Этюды — это коротенькие, в одну-две три странички, совершенно самостоятельные и законченные рассказы, связанные с основным текстом романа — своим горячим дыханием, местом действия, темой и временем... А всего этюдов должно быть написано сорок девять.

Три этюда, подготовленные Артемом Веселым к печати, не успели увидеть свет. Вот эти этюды.

НЕ ПО КОНЮ, А ПО ОГЛОБЛЯМ

Начальник
контр-разведывательного
пункта
при штабе главнокомандующего
и командующего войсками
Кубанского края
28 декабря 1918 г.
№ 4574
г. Ставрополь

Господину начальнику тюрьмы
Направляю на ваше распоряжение для повешения обвиненного в активном большевизме А. П. Вострикова.
Обвинение: Приговор военно-полевого суда при сем препровождается.
Впредь до приведения приговора в исполнение предлагаю учредить над арестованным строжайший надзор.
О последующем приказываю донести незамедлительно.
Начальник контр-разведывательного пункта
ротмистр Бабаев.

Его высокоблагородию
господину начальнику военно-полевого суда
От содержащегося в тюрьме б. почтово-телеграфного чиновника Андрея Вострикова.

Ходатайство

Ваше высокоблагородие.
Я приговорен к смертной казни лишь за то, что в дни февральской революции участвовал в демонстрации и в течение двух часов нес знамя профессионального союза с лозунгом «Да здравствует революция».
Ваше высокоблагородие. Ходатайствую о помиловании ввиду моей молодости (20 лет), болезненного состояния (2-я стадия туберкулеза), а также прошу принять во внимание мой характер: никогда и никакой политикой я не занимался. Я не большевик и большевизму не сочувствую.
Мой родной брат Виктор погиб на германском фронте в чине прапорщика, имел Георгиевский крест.
Ваше превосходительство. Умоляю о помиловании. У меня двое детей (двух лет и младшему всего шесть месяцев).
А. Востриков.

Росписка

29 декабря 1918 года я, нижеподписавшаяся, получила от господина начальника тюрьмы труп моего мужа и оставшиеся после него вещи, а именно:

1. Подушка.
2. Фуражка.
3. Кожаный пояс.

Елена Вострикова.

Расписку настрочил тюремный писарь.
Молодая женщина словно неживой рукой вывела имя, фамилию, и несколько тяжелых слезинок упали на серый лоскут бумаги.

Стражник вывел ее за ворота, за которыми уже ожидали дроги с черным, наглухо забитым гробом.

МЕСТЬ

Приказ № 2 городу Майкопу 8 сентября 1918 г.

За то, что население города Майкопа (Николаевская, Покровская и Троицкая слободки) стреляло по добровольческим войскам, налагаю на вышеупомянутые окраины города контрибуцию в размере одного миллиона рублей.

Контрибуция должна быть выплачена в трехдневный срок.

В случае невыполнения моего требования вышеупомянутые слободки будут сожжены дотла.

Сбор контрибуции возлагаю на коменданта города есаула Раздерицина.

Начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии
генерал-майор П о к р о в с к и й.

У слобожан миллиона не оказалось.
Слободки запылали.

На тополях и телеграфных столбах ветер тихо раскачивал удавленников. Живые уходили в горы.

По ночам в небе играли зарева пожаров — по всей Кубани горели слободки и мужичьи села.

ДОНЕСЕНИЕ

В полевой штаб бригады. 30 сего, в четыре часа дня моим эскадроном занято с. Темнолесское. Неприятель разбит наголову. Захвачены пленные и два горяченьких пулемета. Головин ранен. Шутко ранен. Снегирев убит. Белые рассеяны. Подсчитываем трофеи. Неприятель силою до трех сотен кавалерии снова лезет. Веду эскадрон в лобовую атаку.

4 ч. 10 м.

А в е р ь я н о в.

Ветхий листок донесения подшит к архивному делу. На нем, как ржавчина, следы выцветшей крови. Он волнует и крепче всякой поэтической выдумки говорит о незабываемых днях великой битвы.

Лишь часть задуманного успел осуществить Артем Веселый: из 24 глав романа напечатано 10, из 49 этюдов — 12.

«Россия, кровью умытая» ошеломляла.

Читатель из Калининской области, коммунист, написал в издательство: «Прочитав эту книгу, я как бы школу какую-то окончил, в ней, как в зеркале, отражен тот период, когда наша родина действительно была в огне контрреволюции. Читаешь, так аж жуть берет, мороз по коже так и щиплет».

Отрицательную оценку дает роману другой читатель, тоже деревенский коммунист. Признавая, правда, что «книга как исторический документ очень ценная», он вместе с тем порицает ее: «В книге есть ряд недостатков животрепещущего характера, а именно: книга груба, некультурна».

Не только у простодушного читателя, но и у литературных начальников и критиков произведения Артема Веселого зачастую вызывали неудовольствие и даже негодование. В письме, датированном 1925 годом, Артем Веселый отвечает на претензии цензора к «Стране родной» (повесть, впоследствии вошедшая составной частью в «Россию, кровью умытую»): «Мрачные краски?! Что делать, в 18—19 году наряду с ярким было немало и тяжелого, мутного. Кроме того, настоящее утверждение неверно, по-

тому что в романе даны и положительные типы революции... Да и вопрос этот не так прост: дать в художественной вещи а б с о л ю т н о положительные или отрицательные типы — невозможно, это дело агиток, в объективном освещении все плюсы и минусы захлестываются в узел и проч... Во всяком случае, я как коммунист всегда готов нести ответственность за свои писания.

17 мая 1937 года «Комсомольская правда» помещает статью Р. Шпунта «Клеветническая книга. О романе А. Веселого „Россия, кровью умытая“»:

«...Вся его книга — клевета на нашу героическую борьбу с врагами, пасквиль на бойцов и строителей молодой республики Советов.

Но кто же создал славу произведениям Артема Веселого? Кто были его адвокаты в литературе? Мы поинтересовались и этим.

Во втором томе «Литературной энциклопедии» об Артеме Веселом писали как об «оригинальнейшем из современных писателей».

Троцкист Воронский сравнивал его с Фурмановым и Фадеевым.

Вячеслав Полонский в 1930 году писал об Артеме Веселом:

«В Артеме Веселом есть черты, напоминающие Максима Горького. Но в нем нет горьковской скорби. Артем больше революционер, чем Горький, и ближе к революционному мужику, на которого Горький смотрит сквозь очки, покрытые пылью времени».

Еще в 1936 году в первом номере журнала «Знамя» критик Перцов писал: «„Россия, кровью умытая“ занимает в советской литературе своеобразное и значительное место, потому что это произведение явилось одной из первых попыток „безгеройного“ повествования, неизбежно одностороннего, скрадывающего роль личности, но впервые восстанавливающего массу в ее исторических правах».

Так создавалась слава писателя Артема Веселого. Эту «славу» ему создал троцкист Воронский при попустительстве близоруких редакторов и издателей. По их следам, в силу укоренившейся репутации, пошли и другие критики, которые стремились пороки А. Веселого возвести в добродетели, просмотрев в его произведениях явную клевету».

Новый, 1937 год я и старшие сестры Гайра́ и Фанта́ встречали вместе с отцом на даче в Переделкине. Наутро, прихватив «лейку», отец позвал нас погулять.

Морозно, но отец одет почему-то не по-зимнему: на нем драповое пальто, кепка; он высокий, немного сутулый, черноволосый и кареглазый, на щеках — густой темный румянец (бабушка, бывало, говаривала: «Хоть спичку об него зажигай!»). Возле плотины он нас сфотографировал; карточка сохранилась донныне.

Не берусь гадать, о чем думал отец в первый день тридцать седьмого года, но то, что он предвидел свой трагический конец, — несомненно: уже вовсю шли аресты.

Отец предвидел арест — и готовился к нему. Часть своего архива, как это выяснилось позднее, он отвез на Покровку, где жили его родители и младший брат Василий: очевидно, он надеялся, что стариков и брата, работавшего грузчиком, не тронут (так оно, к счастью, и произошло).

28 октября 1937 года Артем Веселый был арестован.

Писатель А. Е. Костерин, близкий друг Артема Веселого, арестованный в том же году, восемнадцать лет провел в колымских лагерях, после реабилитации вернулся в Москву. Он писал в своих воспоминаниях¹:

«О том, что и Артем попал в «ежовые рукавицы», я узнал только в 1938 году уже на холодных берегах Колымы и Охотского моря. Любезно сообщил мне об этом следователь, безусый юнец, ровесник Октябрьской революции. Выслушав сообщение, что «ваш друг Артем Веселый покушался на Сталина», и мнение следователя о «врагах народа», я вспомнил артемовскую ненависть к той части молодежи, которая в социалистическом переустройстве стремилась выловить только дипломы, сытые местечки и лавровые венки. «Крупа! Брюхолазы! Выползни! Но они, чую, нас оседают

¹ Алексей Евграфович Костерин — отец партизанки Нины Костериной. «Дневник Нины Костериной», подготовленный к печати ее отцом и впервые опубликованный в «Новом мире» (1962, № 12), ныне широко известен во многих странах. В № 11 за 1963 год «Нового мира» были напечатаны воспоминания об Артеме Веселом нескольких авторов, в том числе и А. Е. Костерина; приводимый отрывок в ту публикацию не вошел.

и взнуздают, как необъезженных диких коней!» — говорил он, сталкиваясь в учреждениях с густой бюрократической порослью.

И вот передо мной, очумелым от пятнадцатидневной «стойки» и бессонницы, такой юнец, несомненно сдавший экзамен по истории революции и партии, следовательно Дмитриев изгаляется над именем Артема, над его биографией и творчеством, одновременно заплескивая помоями и все поколение бойцов Октябрьской революции.

— За что боролись, на то и напоролись! — с гаденькой ухмылкой говорил он...

О последних мучительных днях Артема мы имеем пока отрывочные и непроверенные слухи...»

Старый большевик А. Г. Емельянов рассказал нам с сестрами, что в марте тридцать восьмого года он оказался вместе с нашим отцом в одной камере Лефортовской тюрьмы. «Артема каждую ночь уводили на допрос, под утро его приносили. Однажды он не вернулся...» Емельянов был уверен, что официальная дата смерти Артема Веселого — 2 декабря 1939 года — не соответствует действительности.

Артем Веселый был посмертно реабилитирован в 1956 году.

«В Артеме Веселом запропал, по моему мнению, один из лучших писателей советского времени, — писал Н. Н. Асеев². — Он не был похож ни на какое уже известное в литературе прошлого явление. Его размахистая, неудержимым напором движущаяся проза порой казалась безродной дочерью народа, дикой и неустроенной в своей судьбе. Ни один писатель тех лет не обладал такой могучей уверенностью в своей речи — речи, непосредственно воспринятой от народа. Иногда этот говор, эта разноголосоца заставляли настораживаться своей непосредственной обнаженностью. Слова нежные и грубые, грозные и одухотворенные соединялись в отрывочные периоды, как бы вырвавшиеся из уст народа. Грубость и подлинность некоторых выкриков отталкивали любителей изящной прозы тургеневского стиля. Сложность множества слившихся в одну речевую лаву выражений, присловий, здесь же, в процессе творчества, явившихся из революционной волны на ее гребне, заставляла отступать от оценки критиков, не имевших еще практики в разборе таких явлений. Поэтому замечательная эпопея «Россия, кровью умытая» не вызвала длительных дискуссий и глубоких оценок, служа скорее примером революционно-стихийной удали, а не совершенно новым литературным явлением. Артем Веселый пытался, и не только пытался, но и осуществлял роман без героя, вернее с массовым героем, в котором соединялась такая множественность черт народов, образовывавших население бывшей Российской империи, что не было возможности воспринять эти черты как объединяющие кого-нибудь одного. И вместе с тем рос и возмечивался могучий облик стихии народной, ее единой воли, несущей новые слова и новые возможности существования. Ни у кого из известных мне писателей прошлого и настоящего не было такой свободы выразительной речи, такого беспшашного и вместе с тем волевого ее провозглашения. По-моему, Артем Веселый мог бы стать совершенно невиданным и неслыханным советским писателем, открывавшим дорогу всему языку, всем чувствам народа без прикрас и преувеличений, без педагогических соображений, что дозволено в строе и стиле произведения. Я люблю и «Россию, кровью умытую», и «Реки огненные», и «Гуляй Волгу». Еще нет исследования о новом, необычайном стиле этих вещей, о языке и композиции произведений этого богатырского эпоса».

Ценнейшая часть личного архива Артема Веселого (то, что находилось в работе), изъятая при обыске, пропала; после реабилитации Артема Веселого Союз писателей сделал запрос в органы госбезопасности по поводу архива, ответ был таков: «При аресте в 1937 году у него были изъяты рукописи литературных произведений: «Печаль земли», «Глубокое дыхание», «На высокой волне», «Притон страстей» и сценарий «Мир будет наш», однако указанные рукописи не сохранились».

Уцелела та часть архива, которую Артем оставил у родителей.

Родители Артема Веселого — Иван Николаевич и Федора Кирсановна Кочкуровы — в самом начале 20-х годов переехали из Самары в Москву и поселились у сына на знаменитой в то время Покровке, 3. В этом доме, где раньше размещалась дешевая

² 12 апреля 1961 года в ЦДЛ состоялся вечер памяти Артема Веселого. Накануне я побывала у Николая Николаевича и попросила его выступить на вечере. Он был нездоров, однако тут же написал текст своего выступления, поручив мне огласить его на вечере, что и было сделано. Публикуется впервые.

гостиница, два этажа были отданы под общежитие писателей и поэтов группы «Молодая гвардия» (у каждого из них была отдельная комната). Там жили Михаил Светлов, Юрий Либединский, Марк Колосов, Михаил Голодный, Иван Доронин, Валерия Герасимова, Николай Кузнецов и другие.

«Дедушка» и «бабушка», как все в доме называли родителей Артема, были в то время еще не стары, чуть больше пятидесяти, но своим обличем, самобытной речью, всем жизненным укладом и в самом деле могли казаться молодым обитателям покровской коммуналки стариком и старухой. Живя в столице, они сохраняли колоритные черты, присущие жителям самарской рабочей слободки.

Обстановка комнаты, видимо, повторяла прежнее жилье: большой кованный сундук, комод под белой вязаной скатеркой, кадка с фикусом, в простенке между окон — зеркало в деревянной раме, на подоконниках цветочные горшки — столетник и лимон. Примета нового быта — черная тарелка репродуктора на стене.

В переднем углу — икона, перед ней лампада.

Украшением комнаты была печь-голландка, сверкавшая белыми изразцами; возле нее, словно в избе, большие и малые ухваты, сковородник и кочерга. Обед у бабушки варился в чугунах, на столе шумел медный ведерный самовар.

В детстве я часто гостила у дедушки с бабушкой на Покровке.

У дедушки черная борода скобкой, глаза живые, а в движениях нетороплив. Он любил шутку и всякие волжские присловья. Со мною и старшей сестрой возился, как хорошая нянька. Носил по-бедняцки опрятные ситцевые косоворотки под ремень, ямщицкий нагольный тулуп, валенки с галошами. Во дворе московского дома в дровяном сарае держал кур и поросенка.

Дедушка был неграмотным, но, случалось, ложился днем отдохнуть с газетой в руках, причем частенько держал ее вверх ногами. Отличить верх и низ газетного листа нетрудно, видимо, делал это из озорства, подтрунивая над грамотной бабушкой, и, дождавшись ее замечания: «Отец, газету не так держишь», — невозмутимо отвечал: «Чай, в моих руках, могу и перевернуть».

Бабушка была дородная, белолицая, говорила образно и певуче. Она ходила в широких сборчатых юбках до полу, в душегрее, голову — даже дома — покрывала платком. Бабушка была верующей, дедушка — «безбожник». Бывало, бабушка шепчет что-то перед маленькой иконой, дедушка вроде бы не обращает внимания. Но вот слышится тяжкий вздох: «Господи, боже мой...» — дедушка, должно быть, желая отвлечь бабушку от каких-то горьких дум, скажет: «Не весь твой, поди, и мой малечко». Бабушка промолчит, только взглянет укоризненно. Не помню ни единой распри между ними. Жили в завидном ладу, а жизнь была к ним сурова: до революции похоронили четырнадцать детей; благодаря Артему выпало на их долю несколько благополучных лет, а с тридцать седьмого года и до последнего часа — горькое горе...

Артем преданно любил родителей, полностью их содержал, посвящал в свои дела; уже живя отдельно, своей семьей, навещал их едва ли не ежедневно, а если случалось заболеть, «отлеживался» на Покровке.

Сюда приходили его короткие — в три слова — открытки: «Жив. Здоров. Артем»; работая над «Гуляй Волгой», он каждое лето отправлялся в путь по сибирским рекам, по Белой, Каме и Волге — был на лодке, под парусом и на веслах, собирая материал для книги и, по его выражению, «кормясь с ружья и сети». Позднее — уже не для сбора материала, а просто для души (впрочем, по пути записывал частушки, в тридцать шестом году издал их отдельной книгой) — опять путешествовал по Волге. В верховьях реки покупал большую рыбацью лодку, к концу лета, доплыв до Астрахани, дарил лодку знакомому рыбаку или бакенщику. В эти путешествия он брал с собой старших дочерей — Гайру и Фанту. Сборы в дорогу проходили на Покровке. Мне запомнились только последние, тридцать седьмого года. На полу, на кровати, на стульях разложено снаряжение: выгоревшая на солнце палатка, туго свернутая рыбацкая сеть, ружье, патронташ с патронами, котелок, чайник, всякая походная мелочь. Сестры, радостно-возбужденные, сноровисто укладывают рюкзаки, вспоминают разные смешные и страшные случаи прошлой поездки... Мне, восьмилетней, вместе с погодком Левой и маленькой Волгой предстоит провести лето на переделкинской даче. «Пошто губа-то сковородником?» — лукаво спрашивает дедушка, хотя и сам знает, почему я едва не реву: мне тоже хочется на Волгу, о которой столько наслышана от сестер. «На тот год и тебя возьму», — пообещал отец.

По возвращении из путешествия сестры рассказывали, что отец в отличие от прежних поездок избегал посещать большие города, а под охраняемыми мостами проплывал, пристроившись к плотам; все это из опасения, что если его арестуют, то девочки останутся одни вдали от дома.

(На Волгу я впервые попала только через двенадцать лет: везли меня как дочь врага народа в сибирскую ссылку через куйбышевскую пересыльную тюрьму.

Вторично побывала я в родном городе отца еще через два десятка лет, на этот раз как дочь Артема Веселого, уроженца Самары, была приглашена почетным гостем на открытие Куйбышевского литературного музея. Встречалась с людьми, знавшими отца, записывала их воспоминания, осматривала город...

Захотелось поглядеть снаружи на пересыльную тюрьму; адреса и местоположения, естественно, не знала, заговаривать с прохожими на такой сюжет было как-то неловко, стала искать, отчетливо помня два дома на горе, видных из зарешеченного окна. И нашла. Нашла два памятных дома; тюрьму, как мне сказали, давно снесли, на том месте построили гостиницу «Волга», в ней-то — бывают же такие совпадения! — меня как раз и поселили.)

Дедушка умер во время войны, бабушка в сорок восьмом году. На Покровке оставались младший брат Артема Василий Иванович Кочкуров с женой Клавдией Алексеевной. Никто, кроме них, не знал о существовании архива: хранение бумаг осужденного врага народа считалось криминалом. Архив, уложенный в плетенную из ивовых прутьев бельевую корзину, был спрятан... под кровать.

Люди, далекие от литературы — грузчик и работница столовой, — Василий Иванович и Клавдия Алексеевна не только по-родственному любили Артема, они безгранично уважали его труд и верили, что спрятанные бумаги пригодятся, когда он вернется из заключения.

Через окошко справочной на Кузнецком мосту было объявлено: приговор — десять лет без права переписки. Эти слова с добавлением «жив, работает» повторялись из года в год, даже после сорок седьмого, когда минули те самые десять лет. Артема давно уже не было в живых, но его ждали. Ждали вплоть до пятидесяти шестого года...

Девятнадцать лет Клавдия Алексеевна Кочкурова регулярно, убираясь в комнате, выдвигала из-под кровати тяжелую, доверху набитую бумагами и книгами корзину и вновь задвигала ее в дальний угол. Благодаря Кочкуровым сохранились ценнейшие материалы: рукописи, документы, письма, фотографии, прижизненные издания произведений Артема Веселого. В последующие годы архив значительно пополнился из других источников, но корзина с Покровки — его основа. Из нее извлечены неопубликованные материалы, предлагаемые сегодня читателям «Нового мира».

Филька Великанов — один из персонажей «России, кровью умытой», ему посвящен этот «Филькина карьера». Начало этой карьеры в романе описано так:

Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и редкий голосок в слободке его прозвали Японцем.

Филька пылен, дробен, костляв, как чехоня, рыло с узелок. С малых лет в работу втянут. Сезоны с отцом малярничал. Две зимы в приходской школе голыми пятками сверкал. Выгнали за озорство. С отцом дружба врозь. Убежал Филька из дому <...>, имея беспокойство в сердце и трещину в кармане, укатил с эшелонном сибиряков под Перемышль, Крево, Молодечно. Команда разведчиков, тах-тарарах, и с копыт Филька долой. В лазарете выпилили ему ребро и отпустили с военной службы по чистой. Ду-ду-у, прихромал домой:

— Здорово, тятя.

Отец гнил заживо за печкой, в гнезде вонючего тряпья. Слушал-слушал Филька охи отцовские, тоска проняла. Купил мышьяку для крыс, самогонки банку:

— Пей, тятя, поправляйся.

Много ли слабому человеку надо? Дня через три схоронил Филька отца, распушил сундуки, купил гармонь. <...>

Дьяк-расстрига Ларионич встретил Фильку на улице и говорит:

— Как я заведу подотделом вероисповедания и как помню твою батюшку...

На другой день приоделся Филька, нацепил крест Георгиевский и — в исполком. Ларионыч своей рукой прошение вычурил, нашептал что-то Фильке на ухо, и вдвоем шасть в исполком к набольшему:

— Вот-с, товарищ Старчаков, глубокоуважаемый председатель, познакомьтесь... Сын трудового ремесленника, увечный воин, желает послужить народу, и подчёрк подходящий.

Старчаков взглянул на почерк, на Георгия, на жидкую Филькину рожицу в паутине мелкого волоса.

— Инструктором можешь быть?

— Так точно, могу.

Резолюция стрельнула по прошению с угла на угол:

«Зачислить в штат разъездных инструкторов с 5/ХІ 1918, испытание срок две недели».

Отъездивший на дармовых деревенских харчах и упившийся самогоном «инструктор» радовался, что получил такую выгодную должность. Однако с него потребовали «доклад в письменной форме на предмет отчетности». Содержание документа, озаглавленного Филькой «Доклад в крадках», пересказать невозможно — его нужно прочесть! Обрывая его на полуфразе, Артем Веселый так заканчивает повествование о карьере Фильки:

Напрасно старался Филька, напрасно пот точил, не вставая с табуретки с пятницы до понедельника.

Горько и обидно вытряхнули Фильку из инструкторского тулупа, на краткосрочные курсы сунули; три месяца, даром что краткосрочные, а тут день дорог — распалится сердце, в день столько можно дел наделать... Не понравились Фильке курсы: чепуха, а не курсы.

Умырнул Филька в милицию.

Однако «Филькина карьера», вышедшая первоначально отдельной книжечкой в 1926 году в издательстве «Молодая гвардия», заканчивалась другой фразой: «В партию Филька прописался, умырнул Филька в чеку». В архиве писателя обнаружено несколько машинописных страниц, посвященных дальнейшей судьбе Фильки:

В деревне бушевали чекисты Упит, Пегасьянц и Филька Японец; о их подвигах далеко бежала славушка недобрая.

...Из Фирсановки попа увезли. Ни крестить, ни отпевать некому — кругом на сто верст татарва.

...В татарской деревне Зяббаровке пьяные катались по улице, перестреляли множество собак, ранили бабу.

...Неплательщиков налога купали в проруби и босых по часу выдерживали на снегу.

...Сожрали шесть гусей без копейки.

...Реквизиции и конфискации направо-налево, расписки плетью на спинах.

...Члена комбеда на ямской паре посылали за десять верст за домом к чаю.

...До полусмерти запороли председателя волисполкома «за приверженность к старым порядкам».

Упит был следователем. Каких только дел не вмещал его объемистый портфель! Какой рассыпчатой дрожью дрожала трепетная уездная контрреволюция под его тусклым оловянным глазом! И какой обыватель, завидя скачущих во всеоружии чекистов, не уныривал в свою подворотню: «Пронеси, Господи... Спаси и помилуй, Микола милостивый». Пегасьянц и Филька состояли при нем как разведчики, вольные стрелки. Обвешанные кинжалами, бомбами и пушками, они неустанно мыкались по уезду, одним своим видом нагоняя неопикуемый страх на тайных и явных врагов республики.

Долго деревня кряхтела, ежилась, а когда достало до горячего, посыпались в город скрипучие жалобы, приговоры обществ, ходоки.

Ходоки напористо лезли на этажи, к зеленым столам и выкладывали обиды. На места выезжала специальная комиссия, большинство жалоб и слухов подтвердилось, выплыли и новые концы.

Пока велось следствие, удалая тройка грызла решетку в бахрушинском подвале. Томились от безделья.

Филька:

— Я тут ни при чем, не своя воля... У меня, сучий рот, покойный отец коренной рабочий из маляров, вся слободка скажет... И сам я парень хошь куда, чево с меня возьмешь — горсть волос?

Пегасьянц:

— Во мне кровь горячая...

Упит молчал, беспрерывно заряжая трубку сладчайшим табаком. Скоро двоих отправили в Губтютю (Губчека), а Фильку предчека Чугунов вызвал к себе:

— Гад.

Филька заплакал:

— Я ни в чем не виноватый...

— Гад, в закон твой, в веру мать... — И деревянной кобурой маузера по скуле. — Иди.

Филька выполз из кабинета на четвереньках. Его разжаловали в канцеляристы и под страхом расстрела запретили выезжать за черту города. Однако звезда его славы не лопнула. Знать, от роду счастьем был награжден татарским, широким; сидел Филька на своем счастье, как калач на лопате:

— Эх-хе, но... Ехало-поехало и ну повезло...

Назначили Фильку комендантом могил.

С конвойцами заготовлял в лесу ямы, провожал приговоренных в последнюю путину, «на свадьбу», без промаха стрелял в волосатые затылки (плакали морщинистые шеи), зачищал снегом обрызганные кровью валенки и, откашливая волнение, валился в ковровые санки, скакал домой мять сочные свиные котлеты и своим солдатским азартом вгонял в испарину Дарью, которая была сочнее котлет — кругом во — хошь ты в ней катайся, хошь купайся.

Работа Филькина не хитрая, а занятная, и он так к ней пристрастился, что когда долго не было операций — захварывал, дичился людей, плакал; зато после хорошей ночи зверел веселым, в слободке на вечерках всех ребят перепалывал и морозу совсем не боялся, разгуливая в папахе и в одной огненно-атласной рубашечке, перетянутой наборным черкесским поясом. Днями спал или в комендантской с дружками в карточки стучался; ночами, если не было «свадьбы», уходил гулять на Мельницы, а то в Дуброву. Слободские ребята дали ему новое прозвище: «Комендант в случае чего».

В чека всю ночь горели огни, в кабинете преда коллегия планировала детали большой операции. По столу были разбросаны донесения, сводки и карточки людей, которые где-то еще строили козни или в кругу своих семей беспечно доедали свои последние обеды: дни их и дела их были уже подытожены.

Коллегия заседала на мезонине, а внизу по коридорам слонялись сотрудники в предвкушении дела. В секретно-оперативном разведчик Шахов в кругу угрюмых слушателей с жаром рассказывал об одесских подземных ходах, о своем беззаветном геройстве и о хитростях налетчиков с Пересыпи. Рассказ свой он ковал одними глаголами и междометиями:

— ...кимаю, дпр... Зечу каля-каля хоп, канает скокарь на аллюр... Карамба. Стой. Стой. Бух-бух, бултых... — и т. д.

Филька — дежурный по комендатуре — в комендантской волынил с машинисткой Нюрочкой Кутениной. Была она похожа на обоссанный леденец и на телефонные вызовы обыкновенно отвечала: «Это я — чрезвычайная машинистка, что угодно?» Сидя рядом на засален-

ном диване, Филька запросто, как свою машинистку, щупал ее и говорил всякие развлекательные слова. Нюрочка щелкала волоцкие орехи, взбивала кудряшки и, отодвигаясь, взвизгивала:

— Ой...

Филька морщился:

— Брось визжать, не режу я тебя.

— И-и-ех...

— Не уважаю ваших нежных женских привычек.

— Ой, не могу.

Немного погодя он вытолкал ее за дверь, растрепанную и разрумянившуюся от сильных душевных переживаний.

Филька не спал третью ночь и, имея охоту развлечься, постучал в стенку тяжелой серебряной чернильницей, которая сияла на комендантском столе для фасону, чернила же наливали в простой пузырек.

На стук явился начальник конвоя.

— Есть?

— Двое дожидаются.

— Кто такие? Какой губернии?

— Контры, я чай, из Саботажницкой губернии в Могилевскую пробираются, так вот за пропуском пришли,— доложил конвоец; челюсти его были крепко сжаты, а в бездумных глазах, как челноки, сновали мрачные молнии.

— Введи,— приказал Филька и устало откинулся в обитое синим шелком ободранное кресло.

Втолкнутый конвойным, в комендантскую щучой влетел татарин в рваном бешмете, а за ним — белобрысый крохотный мужичонка, похожий на стоптанный лапоть.

В пучине препроводительных протоколов тонул усталый глаз. Филька почтал с пятого на десятое и все понял: татарина звали Хабибулла Багаутдян, другого — Афанасием Цыпленковым. Присланы они были из дальней Карабулакской волости. Князь — самый крупный в деревне бай, имевший шесть жен и косяк лошадей,— обвинялся в неплатеже налогов, спекуляции и организации какого-то восстания. На двух страницах перечислялись качества Афанасия Цыпленкова: он ярый самогонщик, он отчаянный буян, он искалечил у председателя корову, сына родного чехам продал, убил соседа за конное ведро и прочия и прочия... У Фильки в глазах зарыбило.

«Фу ты, черт побери,— подумал он, разглядывая его рожу, похожую на обмылок в мочалке,— мокрица мокрицей, а какой зловещий мущина...»

Он подманил к столу татарина и бросил ему первый навернувшийся вопрос:

— Законного ли ты рождения?

Багаутдян полой бешмета вытер красное, залитое жиром лицо и мелко-мелко залопотал:

— Фибраля, вульсть, онь не спикалянтъ, присядятль цабатажник, члинь Абдрахман, биллягы, джиргыцын...— Упал на колени и, захлебываясь страхом, заговорил на родном языке.

Выкатив глаза и раскрыв рот, Филька беззвучно смеялся, а конвойный Галямдян пересказал слова Хабибуллы:

— Ана говорит, товарищ, прошу низко кланяюсь проверить мои дела, ни адин раз в жизни не был буржуем, а с него кантрибуцию биряле, лошадка биряле, барашка биряле, ямырка биряле... Брала Колчака, берет и чека. Подушка продал, две самовары продал...

— Встань, несчастный магометанин,— равнодушно сказал Филька Багаутдяну, все еще ползающему на коленях и не смеющему поднять лица от заплеванного пола.

— Товарищ, товарищ...

— В подвал.

Кланяющегося татарина увели.

В комендантской было тихо, только от двери наплывали рыхлые вздохи осьмипудового конвоира Галямдяна да где-то за двумя стенками взвизгивала машинистка Кутенина. Афанасий Цыпленков часто мигал, с придурковатым видом оглядывал потолок, заметив под ногами натаявшую с лаптей лужу, поспешно вытер ее шапкой и шапку сунул за пазуху.

— Цыпленок.

Афанасий дернул шей, как лошадь в тесном хомуте, и подшагнул к столу.

— Жалуются на тебя, дядя, житья людям не даешь.

— Не знай.

— Вот тебя и арестовали за твое изуверство, кого винишь в своем несчастье?

— Не знай.

— А советска власть ндравится?

— Не знай.

— Как не знаешь?

— Не знай.

— Понятна ли тебе партейная борьба?

— Не знай.

— Какой деревни?

— Не помню.

Филька восторженно вскочил:

— Подойди, плюнь мне в кулак.

Афанасий, видя, что деваться некуда, плюнул.

Весный Филькин кулак упал на мужичье переносье так же, как падал тысячи лет начальнический кулак на мужичье переносье.

Сельский писарь за бутылку перваку научил Афанасия на все вопросы отвечать «Не знай» и «Не помню», но в этой глухой, без единого окна комендантской Цыпленков понял, что с комиссаром шутки плохи, и, отчаянно дернув всхохлаченной башкой, он откашлялся в кулак:

— Мы, стало-ть, Егорьевски, Карабулацкой волости.

— За что арестован?

— За свой хлеб.

— Сколько раз в жизни напивался пьяным?

— Не пью, товарищ, истинный господь, духтора запретили, нутру, вишь, вредно... А у нас, известно, какое мужичье нутро — чуть ты его потревожь, и готово... Самогоны этой проклятой и на дух мне не надо, не пью, нутру вредно, а я сам себе не лиходей.

— Сочувствуешь ли чехам и союзникам?

— Сохрани бог, видом не видал и слыхом не слышал.

— Зачем жаловался чехам на сына, что он большевик?

— Врут.

— Как врут?

— Так... На Петьку я обижался, отцу хлеба не давал, а чехи-псы приехали да убили его.

— Жалко?

— Жалко, родная кровь.

— Правильно ли они его убили?

— Убили правильно, хлеба отцу родному не давал, шкуру бы с него, с подлеца, спустить.

— А тебя расстреляем, тоже будет правильно?

— Также правильно... Спаси бог... — Мужик торопливо закрестился.

— Боишься ли красного террора?

— Ни боже мой... Правду люблю.

— Да ну?

— Умру за божескую правду.

— А не приходилось ли тебе продавать керосин?

- Не помню.
- Как смотришь на идейных коммунистов?
- Смотрю дружески, идейным надо подчиняться.
- Что ты понимаешь в революции?
- Ничего, сынок, не понимаю.
- Как по-твоему, за кем останется победа?
- У кого кишка толще, штоб тянулась, да не рвалась.
- А не снятся ли тебе черти?

Допрос продолжался вплоть до той минуты, когда задребезжал телефон. Чугунов приказал готовить роту и прислать наверх всех сотрудников секретно-оперативной части.

Из ворот выходили небольшими кучками и молча, рубя острый шаг, ссыпались в черные колодцы улиц и переулков.

Дом.

№.

Властный стук.

Тишина.

Стук настойчив и неотвратим.

Испуганный крик:

— Кто там?

— Обыск.

У дома зазвенело в ухе.

На хозяйке трепетные губы и заспанный капот.

Движенья ночных гостей быстры и в притихших комнатах гулки их шаги.

Приторно пахнет семейным туалетным мылом и теплой, надышанной постелью.

Кто-нибудь плачет, кто-нибудь, задыхаясь, уверяет:

— Это недоразумение, честное слово... Мы никогда и ничего... Васенька даже сочувствует... Васенька, объясни ты им... Господи...

Васенька, обуваясь, долго не может поймать шнурка ботинка и старается говорить как можно спокойнее:

— Конечно же, недоразумение, ошибки возможны и даже неизбежны... Ты не волнуйся, Мурик, тебе вредно волноваться... Допросят и выпустят... Я больше чем уверен, что выпустят...

Уходили, уводили Васеньку.

Дом после обыска, как после пожара.

Погиб Филька за чих.

Башка его была вечно всхохлачена — расчески не было и купить нигде: базары разорены, а в аптеке советской, после белых, одна ва-лерьянка да зубной порошок. При обыске Филька придавил пяткой, а потом спустил в карман Васенькину роговую расческу. Комиссар Фейгин узрел, донес Чугунову, а тот порылся в Филькином личном деле и по синей обложке ахнул:



О подобных Фильке «комендантах в случае чего» Артем Веселый знал не понаслышке. В Самарском архиве хранится анкета, заполненная им при партийной перерегистрации в 1920 году. На вопрос о деятельности после свержения самодержавия он отвечает: «Сотрудник, а затем секретарь «Приволжской правды», председатель Мелекесского укома партии и контролер Мелекесского ЧК». Обнаруживший эту анкету историк Ф. Г. Попов пишет: «В бытность Н. И. Кочкурова председателем Мелекесского укома и редактором уездной газеты «Знамя коммунизма» он на страни-

цах газеты резко выступил против безобразий и беззаконий, которые совершали проникшие в ЧК авантюристы... Губком постановил направить в Мелекесс следственную комиссию... Губком постановил отдать под суд весь состав Мелекесской Чрезвычайной комиссии, а Кочкурову предоставил права представителя губкома в ЧК с функциями контролера».

В 1936 году Артем Веселый подготовил к печати два рассказа, напрямую связанных темой и общим героем — Иваном Чернояровым — с «Россией, кровью умытой». В машинописных текстах они даны под общим заголовком «Два маленьких рассказа». Первый из них, «Степь да степь кругом...», был в том же году напечатан в газете «Легкая индустрия», второй, «Андрей Порохня», публикуется впервые.

АНДРЕЙ ПОРОХНЯ

В хате за облепленным жужжащими мухами столом, в кругу своих верных друзей сидел Иван Чернояров. Ворот его гимнастерки был расстегнут, костлявые завалившиеся ключицы обнажены. На маслянистом от пота, землистом лице его лежала печать суровой замкнутости.

Обедали.

Вдруг в полутемных сенцах послышался какой-то шум, потом, вполголоса, яростная ругань, грохот опрокинутой скамейки с пустыми ведрами, и в хату, шипя и отбиваясь палкой от вестового Микола Пидопригоры, влятился дюжий парубок.

— Что за война?— крикнул из-за стола Юхим Загора.— Кто такой?

— А нечиста сила его знает, что он за человек,— дребезжащим от обиды голосом затараторил Пидопригора.— Прет себе, як видмедь, напролом. «Мне, каже, до Чернояра», да и все. Уж я ему, Иван Михайлович, всякие резоны приводил.— Он крутнулся к парубку и гаркнул:— А ну, бисова душа, гайда до коменданта. Я там тебя расшифрую.

— Погоди, Микола,— остановил Юхим Загора вестового и, не сводя глаз с незнакомца, опять спросил:— Кто таков?

— Андрей Порохня.

— Чьих родов, каких городов?

— С Мелитопольщины.

— Ну, какое же у тебя дело?

— А ты сам кто такой, шо меня допрашиваешь?

— Я?— Юхим оглянулся на своих.— Я эскадронный Юхим Загора.

— А мне треба Чернояр.

Захотал Озеров, захотал Шалим, захотал Бурульбаш.

Тень улыбки скользнула и по лицу Ивана.

— Я— Чернояров,— сказал он,— говори скорее, чего тебе надо, и проваливай.

Незнакомец стоял у порога в вольной позе. Измазанные дегтем и лопнувшие по швам офицерские зеленые галифе его были забраны в шерстяные чулки. На ногах тяжелые чéботы, из коротких рукавов вылинявшей рубахи торчали здоровенные, в золотистой шерсти, ручки.

— Хочу, товарищ Чернояр, послужить в твоём полку,— тяжко, со скрипом выговорил наконец он.

— А где ты до сего дня блукал?

— Да служил.

— Где служил?

— Да в банде у батьки Махна три месяца гулял.

— Ну?

— Ну, сбежал.

— А что?

— Не по душе... Где чего награблуть — все в свое село везут и там делят. Я совсем не из ихнего уезда.

— Где еще служил?

— В банде у Зеленого служил.

— Сбежал?

— Сбежал.

— А чего?

— Не по душе... Ниякого порядка нема. Явился к ним по-честному, привел своего коня, трех лет гнедой жеребчик, опять же и тачанку на полном ходу...

— Добре, хлопец, добре,— нетерпеливо перебил его Иван.— А у белых тоже служил?

— Обязательно.

— Сам пошел?

— Мобилизовали.

— Ну?

— Ну, сбежал... Фельдфебель, будь он проклят, где можно обойтись одной — влепит тебе две или три горячих защечины. Пороли меня у них, за подрыв дисциплины, и шомполами.

— Куда же ты сбежал?

— К красным. В Таганрогский полк, вторая рота.

— Ну, ну, ври дальше,— поощрил Семен Озеров.— И от таганрогцев сбежал?

— Сбежал.

— Не по душе?

— Ой не по душе. Ночью в бою, а днем, где бы выспаться, политрук то на митинг тащит, то на лекцию, то книжку всучит с приказанием прочесть срочно. А пуще всего один жидок меня допек. Узнал, что я перебежчик, и вот ходит за мной с карандашом и бумажкой. «Дядька, говорит, расскажи, как тебя у белых мучили?» — «Да я ж тебе рассказывал, говорю». — «Да нет, ты мне расскажи в подробностях, мне нужно для газеты». Я уж от него и бегал и прятался — найдет-таки проклятый и опять: «А ну, дядька, расскажи». И так он мне надоед, собака, терпенья моего не стало — сбежал.

— Э-э, да ты пулеметчик! — воскликнул Чернояров.

— И на пулемете работал,— растерянно улыбнулся он, пораженный всезнайством командира.

— А ну подойди, подойди сюда, ближе к свету... Я тебя рассмотрю хорошенько... Эге-ге-ге, гусь лапчатый, да я тебя узнаю,— говорил меж тем Чернояров, не спуская с него глаз.— Ты полковника Толстопятова знавал?

— Ни. Ниякого Толстопята не знал, не знаю и знать не хочу.

— Брешешь! — загремел голос Черноярова, и он, вскочив, в мгновение ока выдернул из коробки маузер. — Становись к стенке! Смерть тебе, кадетский прихвостень!

Парень попятился.

Чернояров, следя за выражением его лица, поднял маузер и выстрелил два раза ему через голову, в стенку.

Потом Чернояров засмеялся и спрятал маузер.

— Ты, видать, не из робкого десятка... Служи мне, да не журись. — Он повернулся к Шалиму. — Выдать ему коня, шашку и наган.

Юхим Загора налил новому бойцу стакан вина и сказал:

— Так и быть, беру тебя в свой эскадрон.

Встречаясь на Кубани со многими людьми — будущими героями «России, кровью умытой», — расспрашивая их о событиях гражданской войны, Артем Веселый видел, как складывается жизнь этих людей в мирное время, а складывалась она зачастую весьма драматично. Эти впечатления в виде письма из станицы воплотились в «полурассказе» Артема Веселого «Босая правда».

Из сохранившихся черновиков видно, что в замысле это письмо адресовано самому автору. Вначале идет связный текст с подзаголовком «Письма из станицы» (заголовок «За Кубанью, братцы, за рекой» зачеркнут):

Уважаемый товарищ Веселов!

Посылаю я тебе горячий коммунистический привет, который для тебя и для СССР должен быть и будет историческим.

Горе заставило писать меня.

Расскажу тебе всю горькую правду не только за себя, но и за тех товарищей красных бойцов и красных командиров больших и малых частей, которые единым порывом, твердым духом под грохот пушек, под свист пуль и конский топот пронеслись через жерло гражданской войны.

Это мы голыми шашками прорубались через всю Украину, держали Царицын и проч. проч. Тысячи наших голов катились по дорогам.

За наши подвиги — нет помину.

После демобилизации в 21 г. красные орлы вернулись в свои станицы, хутора и села и что же здесь нашли?

Дома нет.

Хозяйства разграблены и уничтожены.

Жены в кабале у кулаков.

Дети — сироты беспризорные.

Вернувшиеся калеки и больные вынуждены были надеть на плечи вместо винтовки латаную торбу.

Мы обижены нашей жизнью.

Мы, красные бойцы и командиры, с 1918-х годов верили и верим, что правда есть, за правду мы кровь лили и сейчас громким голосом, миллионом голосов спрашиваем:

— Где она, эта самая правда?

Мы остались в живых по нашему счастью или по несчастью.

Нам нигде нет места. Неужели мы не заслужили кусок хлеба?

Далее следуют отдельные записи — в одну или несколько строк:

Влачил бедную и скучную жизнь до того дня, когда над нашей станицей раздался первый выстрел, и вздрогнуло мое сердце радостью.

Сиротам и вдовам и близко не подходи, за сто лет ничего не добьешься.

Спец говорит: «Кто тебе велел воевать», и ты поворачиваешься и с болью в душе уходишь, не найдя ему ответа.

Что ж нам, заброшенным, делать? Ибо совесть наша после 8-летней борьбы не позволяет нам сделать такой позорный шаг.

Дорогая жена, когда я умру, не суди меня и не ругай меня, ибо плакать не приходится, а нужно дальше пробивать дорогу через тернистый путь, который еще не пробит...

Машина на куриных лапках, работаем так, что из нас луковкой прет, а сработанного не видно.

Комиссия взялась за дело, быстро выяснила, что кругом все запутано.

Кубань обмыли кровью и слезами.

Не пропадать сторублевой голове за двугривенный.

Рано ли, поздно ли возгорится заря светлой жизни всего мира коммунизма.

Остается без внимания воплощенный голос коммунара.

Хожу по улицам, спотыкаюсь, в поисках куска хлеба.

Защитники в земле, инвалиды на земле, а главки, наверху, на основе нэпа давят нас.

С восемнадцатых годов много осталось сирот, детей, жен, вдов, отцов и матерей, которые остались и до настоящего времени беспризорными и бесприютными, и нет никакой помощи, никакого обращения и просвещения. Хватили ужасу.

Жили, как кто хотел.

Сотру с лица земли, и ветер разнесет прах.

Всю жизнь находился в огнях.

Не только не заплачет, но и ох не скажет.

Помочь старым партизанам — не богадельню разводить. Это важное дело для нашей революции. Грянет война, опять агитаторы будут сулить золотые горы и посылать нас в самое пекло...

Мертвое собрание.

Все это кроется изменой.

Спрашивают работу, а работать не на чем.

Крик, ругань, мать-перемать на чем свет стоит, лошадь дрожит от испуга и усталости. Берут беззащитную лошадь в атаку, и бьет кто кнутом, кто палкой, прикладом по ребрам, по ушам и по глазам.

Песня, из которой в «Босую правду» вошло лишь десять строк, записана Артемом Веселым полностью:

Слышу, как будто грохочут удары
 Прошлой войны, и тоска
 Живо рисует вам страсть и кошмары.
 В бурунах пустыни песка
 Красных героев рассыпаны кости,
 Жизнь положивших в бою,
 Вились там коршуны — черные гости,
 Терзали добычу свою.
 Я пережил те лишения, невзгоды,
 Много, как все, пострадал,
 Силу, здоровье отдал за свободу,
 Много погибли, но я не пропал.

Весь я изранен оружием белых
 В схватках лихих за Совет.
 В этих налетах, губительно смелых,
 Я пострадал ни за нет.
 Дети — сиротки убитого сына,
 Сам я старик стал седой.
 Жизнь тяжелая, горе-кручина.
 Что это? Разве покой?
 Где ни пойдешь — посылают обратно,
 Верно, негоден я стал.
 Все позабыли, и мне непонятно:
 Что я, себя защищал?
 Всеми забыт я, и ордена зная
 Жалко висит на груди,
 Верный свидетель угасшего пламя,
 Помнить лишь будут враги
 Все, что губил я, в боях защищая
 Жизнь как бы одному,
 Кровь не жалел, за Совет проливая,
 Ныне не нужен ему.
 Член РКП я, забытый членами,
 Голод, лишенья, семья.
 Гордо вы, братья, топтали ногами
 Свободы надежду мою.
 Что это значит? Кому же я нужен,
 Силу утратив в огне?
 Или я кровью своей оконфужен
 В этой проклятой войне?
 Помню края и бывшие ухватки,
 С гордым челом на коне,
 Пороха чад и предсмертные схватки
 Были забавою мне.
 Кончились схватки, домой воротился
 К участи горькой такой.
 Старый, седой, никуда не годился
 Всеми забытый герой.

В процессе работы над «Босой правдой» Артем Веселый, видимо, считал более естественным, что бывшие красные партизаны обращаются за поддержкой не к «товарищу Веселову» — писателю, а к своему старому командиру, которому не надо объяснять, кто и как воевал в его полку во время гражданской войны.

«Босая правда» была опубликована в майском номере журнала «Молодая гвардия» за 1929 год и с тех пор никогда не переиздавалась.

На экземпляре журнала, подаренном Алексею Крученых, с которым Артем Веселый был в дружеских отношениях, автор сделал надпись: «Алику — честному поэту честный рассказ».

БОСАЯ ПРАВДА

Полурассказ

Дорогой товарищ, Михаил Васильевич!

Проведав, что ты, наш старый командир, живешь в Москве и занимаешь хорошую должность, мы, красные партизаны вверенного тебе полка, шлем сердечный привет, который да не будет пропущен тобою мимо ушей.

Горе заставило нас писать.

Надо открыто сказать правду — в жизни нашей больше плохого, чем хорошего.

Известный вам пулеметчик Семен Горбатов голый и босый заходит в профсоюз, просит работу. Какая-то с вот таким рылом стерва, которую мы не добились в 18 году, нахально спрашивает его:

— Какая твоя, гражданин, специальность?

— Я не гражданин, а товарищ, — отвечает Семен Горбатов. — Восемь огнестрельных и две колотых раны на себе ношу, кадетская пуля перебила ребро, засела в груди и до сего дня мне сердце знобит.

— О ранах пора забыть, никому они не интересны. У нас мирное строительство социализма. Какая твоя, гражданин, специальность?

— Пулеметчик, — тихо ответил герой, и сердце его заныло от обиды.

— Член профсоюза?

— Нет.

— Ну, тогда и разговор с тобой короток. Во-первых, такая специальность нам не требуется, во-вторых, у нас много членов безработных, а ты не член.

— Почему скрываете распоряжения нашей матушки ВКП? — спрашивает Семен Горбатов. — Не должны ли вы предоставлять работу демобилизованным вне очереди?

— Мы не скрываем распоряжений и даем работу молодым демобилизованным последнего года, а вас, старых, слишком много.

— Куда же нам, старым, деваться, ежели не всех нас перебила белая контрреволюция?

— Профсоюз не богадельня.

— А скажите, сколько у вас в трестах и канцеляриях сидит кумовьев и своячениц?

— Не мешайте, гражданин, заниматься.

— Значит, — с бессильным презрением говорит Семен Горбатов, — вы смотрите на меня в моем отечестве хуже, чем на пасынка?

На эти слова он не получил ответа и голодный ушел от порога профсоюза.

Командир 2 эскадрона Афанасий Сычев, ежели вы, Михаил Васильевич, его припомните, боролся в наших рядах, начиная с Корнилова и включая до разгрома Колчака и Врангеля. В 1921 году названный Сычев вернулся на родину, чтобы поправить здоровье и разоренное хозяйство, но хозяйства никакого не оказалось, так как на плане двора торчали лишь горелые пеньки. Когда летом 1918 г. Деникин занял нашу станицу, то в ряд с другими товарищами была повешена 60-летняя мать Сычева, Авдотья Поликарповна. Жена его с перепугу из станицы убежала на хутор Лоцилинский, где и вышла замуж за вдового казака.

Пришлось Афанасию со всеми своими бедами примириться. Принялся он, в силу партдисциплины, побивать бандитов; побивал их беспощадно до полного уничтожения и в камышах за войсковой греблей саморучно застрелил полковника Костецкого. Спустя сколько-то времени, за неимением капиталов, пошел Афанасий батрачить к неприятелю своему Гавриленке. Тайком от хозяина посещал он собрания ячейки, но тот дознался и выгнал его, крикнув на прощанье:

— Сгинь с глаз. Как ты привержен к ячейке, пускай тебя ячейка и кормит.

Определили Сычева сторожем при исполкоме, но и тут его стерегла неудача. На пасху, как большой любитель церковного звона, залез он на колокольню и, для веселья сердца, позвонил в колокола. За такую слабость Афанасий и был изгнан из партии, как «интеллигент, зараженный религиозными заблуждениями», а он двух слов подряд правильно написать не умеет и бога не признает с первых дней революции. Когда прочитал в газете об исключении, то бедняга заплакал и сказал:

— Орловские... Отрывают они сердце от тела.

Собрались мы несколько партийцев, описали геройские подвиги Афанасия при взятии Ставрополя, вспомнили атаку под Лискамаи, изложили в подробностях действия 2 эскадрона на польском фронте и

все это послали в райком. В ответ ни звука. Шлем еще одно заявление, и опять ни гу-гу.

Тут мы и задумались...

Али и впрямь орловские такую возымели силу, что ни с бедной, ни с нами, рядовыми коммунистами, и разговаривать не хотят?

Похоже — так.

Посиживают они в холодочке, чай гоняют, о массе не думают, сами себя выбирают, сами себе жалованье назначают.

Что же это за звери такие?

К концу гражданской войны, как вам, Михаил Васильевич, хорошо известно, красная сила толкнула и погнала из России белую силу. Хлынули с насиженных мест графы и графьята, буржуи и буржуйята и так и далее, и так и далее. Главные тузы утекли за границу, а всякая шушера — князишки, купчишки, адвокатишки, офицеры, попы и исправники — остались, как раки на мели, на кубанском берегу. Возвращаться в свои орловские губернии они побоялись — там их знали в лицо и поименно. Осели они у нас и полезли в Советы, в тресты, в партию, в школу, в кооперацию и так и далее, и так и далее. Не отставали от них и местные контры, которые при белой власти вредили нам сколько могли. Все они хорошо грамотны и на язык востры — для каждого нашлось местечко, а куда орловский втерся, туда еще не одного однокашника за собой протащит.

В станице нашей на 30 000 населения — 800 здоровых и калечных красных партизан. В ячейке 40 человек: партизан 4 (когда-то нас было 9); вдова-красноармейка 1; рабочий с элеватора 1; батраков 2; подростков 7; присланных из края 3; орловских и сочувствующих им 22.

Откуда орловским знать, с какой отвагой защищали мы революцию? Когда-то станица выставила два конных полка и батальон пехоты. В юрте нашем есть хутора, откуда все с мальчишек и до дряхлых дедов отступали с красными.

Время идет, время катится...

Сычев до того дожил, что харкает кровью и кормится при тете из жалости.

Орловские все глубже пускают корень. Дети их лезут в комсомол, а внуки в барабанщики. Таких комсомольцев мы зовем золочеными орешками. Орловские нас судят и рядят, орловские ковыряют нам глаза за несознательность, орловские нас учат и мучат. Мы перед ними и дураки, и виноваты кругом, и должники неоплатные...

Эх, Михаил Васильевич, взять бы их на густые решета...

Описываем нашу жизнь дальше.

Боец Егор Марченко живет по-прежнему в своей бедной хижине, так как дворца ему не досталось, хотя и много покорил он земель и городов. Живет с той лишь разницей, что раньше было у него хотя и небольшое, но свое хозяйство, а ныне в погоне за куском ходит в плотничьей артели, имеет топор, пилу да полны горсти мозолей. Только сын Spartak поднимает дух Егора, а так хоть и глаза домой не кажи — теща ругает, жена ругает, прямо поедом едят. Иногда отгрызается Егор, а чаще бывает — припрут его, и он, не находя ответа, убегает ночевать к кому-нибудь из приятелей.

И в самом-то деле, оглянешься назад, вспомнишь, сколько мы страху приняли, сколько своей и чужой крови пролили, — и чего же добились?

Землю есть не будешь, а обрабатывать ее и не на чем и нечем. Из 6 купленных станицей тракторов 2 достались кулакам, 1 совхозу, 1 колхозу и 2 куплены середняцким товариществом. Пльвет из-под бедняка завоеванная земля кулаку в аренду.

Много оголодавшего народа уходит в города на заработки.

Газеты пишут, что Москва отпускает на поддержку бедняцких

хозяйств большие рубли. До нас докатываются одни истертые гроши, да и то редко.

От большой семьи вахмистра Бабенко осталась в живых одна старуха Печониха. Самого Бабенка, как вы, Михаил Васильевич, помните, белые зарубили под Царицыном. Старший сын его — Павел, командовавший бронепоездом «Гроза», геройски взорвал себя, не желая предаваться врагу. Младший сын Василий погиб в горах Чечни от тифу, а дочь Груню на глазах у матери казаки занасиловали до смерти. Ходит Печониха с холщовым мешком под окнами и выпрашивает милостыню у тех же богатеев-казаков, которые занасиловали ее дочь и загнали в могилу мужа и двух сынов. В прошлом году мы выхлопотали старухе пенсию в 6 р. 50 к. Три раза ходила она в район и не могла получить. Орловские отовсюду гнали ее, как неграмотную, и ни один сукин сын не захотел войти в ее несчастье, и никого не тронуло горе ее... Казаки редко кто подаст корку хлеба, больше надсмехаются — не могут они забыть, что Бабенко сам был природный казак и все-таки пошел за красных. От великого горя и обиды старуха стала полусумасшедшей, голова ее поседела и трясется, мальчишки дразнят ее трясушкой. Жалко ее нам, старым партизанам, но чем поможешь? Сами варим щи из крапивы, да и то через день.

Наш уважаемый старичок Черевков, израненный в схватках лихих за Совет, ослеп, и ноги больше не держат хилого тела. В память о повешенной снохе и в память о сыне Дмитре, испустившем дыхание на офицерском штыке, осталось старику пятно от рода, то есть внучек Федька. Ночуют они где придется и кормятся кое-как. Вешает Федька деду на плечо бандуру и ведет его по базарам и трактирам. Старика кругом на сто верст знают. Сядет он в толпе, ударит по струнам перерубленной в бою рукой и дребезжащим голосом за- поет:

Слышу, как будто грохочут удары
 Прошлой войны, и тоска
 Живо рисует вам страсть и кошмары.
 В бурунах пустыни песка
 Красных героев рассыпаны кости,
 Жизнь положивших в бою...

 Кончились схватки, домой воротился
 К участи горькой такой...
 Старый, седой, никуда не годился
 Всеми забытый герой...

Кто испытал гражданскую войну, на ком горят еще раны, того эта песня до слез прошибает. И бросают, бросают старику медяки, а иные язвят: «Довоевался».

Много крови, много горя... На всей Кубани и одной хаты не найдешь, которая не была бы задета войной. Все воевали. Михаил Васильевич, кто топчет надежды наши? Или разливали мы кровь свою ни за нет? Или, утратив силу в огне, кровью своей оконфужены?

Где-то и кто-то разъезжает по санаториям и курортам, а у нас в этом году на лечение 28 красных инвалидов Совет ассигновал 47 рубликов. Прикинь, дорогой наш командир, по сколько это выйдет на голову. «Для нашего излечения, — сказал как-то страдающий ревматизмом бывший чекист Абросимов, — жалеют кубанской грязи, а ведь мы ее, эту грязь, своей кровью замесили».

Было время, мы протаптывали для дорогой советской власти первые кровавые тропы, а теперь она забывает нас. Али Печониха и старичок Черевков не стоят маленького сожаления и товарищеской любви?

Кавалер золотого оружия Федор Подобедов, командовавший в разное время эскадромом, кавполком и бригадой в 20 году, памятным всем нам приказом РВС был отстранен от командования по несоответствию. А кто первым выступил на защиту молодой советской вла-

сти? Федор Подобедов. Кто, не жалея здоровья и не щадя жизни, гонялся по камышам за повстанцами-казаками? Федор Подобедов! Кто под Фундуклеевкой вырубил три сотни махновцев? Федор Подобедов со своей бригадой. Он хотя и неграмотный, но многие ученые генералы и бандиты не знали, куда от него бежать.

Не мимо говорит пословица: «Лаял Серко — нужен был, а стар стал — со двора вон».

Препоручили Федору должность базарного распорядителя, но ему, как мужчине красивому и молодому, стыдным показалось представлять в порядок возы и собирать с торговков гривенники. К тому же и знакомые станичане зло насмеялись над красным командиром, дослужившимся до метлы. Прослужил он неделю, пришел в исполком, сорвал с груди медную бляху базарного распорядителя и бросил председателю под ноги.

Покрутился-покрутился наш Федор и с горя запил. Потом назначили его в территориальную часть завхозом. К тому времени он уже окончательно пристрастился к водочке и однажды промахнулся — пропил двух казенных лошадей.

Потянули его под суд.

Сколько-то просидел он в городской тюрьме, потом вызывают на допрос. И кого же он встречает? А встречает он в трибунале прапорщика Евтушевского.

Вспомните, Михаил Васильевич, бой под Кривой Музгой. Федор с полком стоял от нас левым флангом. Так вот тогда он и захватил в плен рыжего полковника и двух прапоров. Полковника, как водилось, отправили в штаб Духонина, а за прапоров заступился дурак эскадронный Еременко. «Вручить им, — говорит, — по кнуту и посадить ездовыми, пускай кобыл гоняют, а мы над ними посмеемся».

И оставлены были оба прапорщика ездовыми в обозе второго разряда. Что с ними было потом — неизвестно, но война окончилась, и Евтушевский — вот он гад — незаменимый технический работник и следователь в трибунале. Сколько годов прошло, а сразу узнал Подобедова и с надменной улыбкой начал спрашивать:

— Помнишь, товарищ Подобедов, Кривую Музгу?

— Помню.

— Помнишь, как все вы издевались надо мной?

— Помню.

— Почему же такое, товарищ, был ты революционером, а стал конокрадом?

Разволновались в красном герое нервы, затрясся он от злости, но промолчал.

— Помнишь, — спрашивает опять следователь, — поход на Маныч? Косяки калмыцких лошадей гнали за собой, а тут и двух пропить не разрешают... Не восемнадцатый, верно, годочек?

Не стерпел Федор таких слов, выхватил у конвойного пашку и, потянувшись через стол, нарушил тишину — зарубил того незаменимого Евтушевского прямо в мягком кресле.

Дальше — больше, слышим, ушел Федор за Кубань в горы и увел за собой обиженных бойцов Коростелева, Хвороста, Шевеля, Сердечного, нашего батарейца Разумовского, Крулякова Гришку, что зарубил в поединке под Каялом гвардейского полковника, пулеметчиков Табаева и Калайду, однокорюкого Курепина, старика Бузинова, милиционеров Моисенку и Колпакова, бойцов Есина, Кабанова, Кошубу, Соченко и Назарку Коцаря. Долгое время бандиты гуляли по Закубанью — жгли совхозы, громили Советы, вырезали коммунистов и комсомольцев, поезда грабили. Батальон ГПУ с помощью нас, местных коммунистов, хорошо знающих местность, расколотил банду, но самого Подобедова так и не удалось взять. Недавно из Турции приехал он брательнику письмо: клянет советскую власть и сообщает, что с курдами ему и то жить приятнее.

Горько и прискорбно...

Мы остались в живых по нашему счастью или по нашему несчастью. Тлеем в глухих углах, как искры далекого пожара, и гаснем.

Старая партизанская гвардия редеет. Кто стал торговцем, кто бандитом, иные как жуки зарылись в землю и ничего дальше кучки своего дерьма не видят и видеть не желают, многих сломила нужда и, когда-то разившие грозного врага, теперь на мирном положении сами попадают в плен к кулакам.

Начальник конной разведки Яков Келень, при поддержке тестя, сумел обзавестись богатым хозяйством и не считает нас больше своими товарищами. Весной из города приезжал сотрудник испарта и со всех нас, революционных бойцов, отбирал гром преданий о похождениях наших. Яков Келень не захотел с ним разговаривать и сказал только одно: «В Красной Армии я никогда не служил».

Как же так, спросите вы, Михаил Васильевич, али совсем нет в станице живых людей?

Есть, есть умные и понимающие люди, да только у одного руки коротки, у другого совесть сера, этот рад — пригрелся и жалованье получает, тот глядит, как бы хозяйство свое приумножить, пятый бывает сознательным только на собраниях, десятый и рад бы чего-нибудь хорошее сделать, да один не может.

Взять хотя бы секретаря нашей ячейки Маркина. Деляга парень — плакаты рисует, лозунги пишет, диаграммы составляет, уголки организывает, на всех собраниях выступает, полы в ячейке и то сам моет: расходам экономия, — а на бархатное знамя и на приветственные телеграммы за год израсходовали больше двухсот рублей. Попадешься Маркину на глаза, и сейчас он сноровит разграфить тебя и занести в какой-нибудь список. На троицын день встал на паперти и давай считать, сколько верующих заходит в церковь: для отчета. Старухи разодрали на нем рубаху и прогнали от церкви. На лекции или вечере обязательно перепишет, сколько присутствует мужчин, женщин и подростков, по скольку им лет, чем занимаются, велико ли хозяйство. Из-за этой самой переписки многих теперь и насильно не затащишь в Народный дом. Прочитает Маркин газету и в дневник запишет: «Столько-то минут потрачено на читку». Подметет комнату, заправит лампу — и опять в дневник. Пойдет в столовку обедать, поговорит со станичниками и запишет: «Выдано столько-то и таких-то справок». Не поймешь, по дурости он это творит или от великого усердия — службист, сукин сын, как бывалошный фельдфебелишка из учебной команды. Живет на свое бедное жалованье плохо и вообще такой же пенек, как и мы, но все старается возвыситься над нами, а чуть что — грозит.

Или вот другой наш вождь — заведующий кооперацией, бывший кузнец Евтихий Воловод. Закрыв глаза портфелем, прибил, гад, на кабинетной двери лозунг: «Без доклада не входить».

За что мы, Михаил Васильевич, воевали — за кабинеты или за комитеты?

Живет Евтихий с капитаншей Курмояровой, которую он забрал в плен под селом Кабардинкой, где, как тебе, дорогой товарищ, известно, мы прижали убегающих деникинцев к морю и вырубали их там счетом шесть тысяч. В самый разгар боя Воловод набросил на капитаншу — она сидела на возу — набросил бурку и сказал: «Моя. Никто не мог до нее коснуться — застрелю». Не дожидаясь окончания войны, уволок он ее в станицу, и поживают они с этих пор на шее советской власти и ох не скажут. В усадьбе у них стоит раскрашенный в две краски сортир на замке. Сходит в тот сортир сам хозяин и на ключ запрет. Сходит хозяйка и опять запрет. Кухарка с кучером на огород бегают. Евтихий партийную школу кончил, потом какие-то курсы кончил, теперь нас уму-разуму учит. Он нам про строительство социализма, а мы ему про сортир напомним, он про хозяйст-

венный рост страны, а мы про то, что жрать нечего, а у него полон двор птицы, поросят, две коровы, жнейка, косилка, четыре собственных лошади. «Вы,— кричит,— разложившийся элемент, в текущей политике ни уха, ни рыла не понимаете, мертвый груз на нашем коммунистическом корабле». «Чего же нам делать, спрашиваем, и куда деваться?» «Газеты читайте — и центральные, и краевые, и окружные, и местную стенную». «Нас,— хором отвечаем мы,— на всю жизнь Деникин выучил, еще десять лет не будем ни одной газеты читать, а понять, чего надо, все поймем». И тут спускаем мы штаны, заворачиваем рубахи и показываем раны колотые, раны стреляные, следы шомполов и нагаек. Насчет газет, понятно, сторяча брякнем, ну да все равно...

На Первое мая вечером, после речей и парада, вышли мы радостные прогуляться, но радость наша скоро помрачнела. На площади в окнах — большой свет: «Кафе-ресторан Президиум». Подходим ближе и заглядываем в окна через занавески. На столах жратва и вина всевозможные. Музыканты играют, и по залу в обнимку с девками и с базарными торговками танцуют те, кто еще недавно говорил нам речи: секретарь исполкома Нечесе, фининспектора, два землемера, прикащики из хлебопродукта и славный наш кооператор Евтихий Воловод.

Скрепя сердце мы отошли.

Голоса наши когда-то гремели на кровавых полях, а нонче они робко звучат в стенах канцелярий. Много погубило наших дорогих товарищей, но о них и помину нет местной властью. Нас, защитников и завоевателей, восхваляют и призывают только по большим праздникам да когда в нос колет — во время проведения какой-нибудь кампании, а потом опять отсыывают в темный угол. Закомиссарились прохвосты, опьяняли властью. Ежели таковые и впредь останутся у руля, то наша республика еще сто лет будет лечить раны и не залечит.

Ждем ответного письма.

С товарищеским приветом

(Погнису.)

1928.

Ответ командира будет напечатан в одном из ближайших номеров «Молодой Гвардии».

Однако ни в ближайших, как было обещано, ни в последующих номерах ответа командира не последовало.

8 мая вышло постановление ЦК ВКП(б): «Объявить строгий выговор редакции «Молодой Гвардии» за помещение в № 5 «Молодой Гвардии» «полурассказа» Артема Веселого «Босая правда», представляющего («полурассказ») однобокое, тенденциозное и в основном карикатурное изображение советской действительности, объективно выгодное лишь нашим классовым врагам» («Комсомольская правда», 10 мая 1929 года).

«Молодая гвардия» в № 10 помещает статью Ил. Вардина «О правде однобокой и слепой», а в № 1 за 1930 год — стихотворение Уткина «Босая правда. Артему Веселому», которое заканчивается словами:

Так вот:
Если, требуя
Долг с Октября,
Ты требуешь графских прав —
Мы вскинем винты
И шлепнем тебя.
Рабоче-крестьянский граф.

На полях этой журнальной страницы Артем Веселый написал: «Ишь, чекист нзшелся!» — а в редакцию журнала отправил письмо: «...тявкаящим на меня из-под воротен отвечаю словами Данте:

От меня, шуты,
Ни одного плевка вы не дождетесь».

«Иосиф Уткин, расстреливающий Артема Веселого в стране пролетарской диктатуры, это очень... очень смешно, если кто понимает!» — писал А. Фадеев в «Литературной газете». При этом Фадеев оценивает «Босую правду» как «политически ошибочный рассказ» и считает, что «не будет вреда, если кто-нибудь еще и еще раз по-пролетарски раскритикует эту ошибку».

В этой связи большой интерес представляет недавняя публикация «Московских новостей» (12 июля 1987 года): «Шолохов о просчетах во времена коллективизации». Опубликовано неизвестное ранее письмо Шолохова, датированное 18 июня 1929 года и посланное им с Дона. Несколько выдержек из этого письма:

«А вы бы поглядели, что творится у нас и в соседнем Нижне-Волжском крае. Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен. Беднота голодает... Народ звереет, настроение подавленное, на будущий год посевной клин катастрофически уменьшится.

Один парень — казак хутора Скулядного, ушедший в 1919 году добровольцем в Красную Армию, прослуживший в ней 6 лет, красный командир — два года, до 1927 года, работал председателем сельсовета... Он приезжал ко мне еще с 2 красноармейцами. В телеграмме Калинину они прямо сказали: «Нас разорили хуже, чем нас разорили в 1919 году белые». И в разговоре со мною горько улыбался. «Те,— говорит,— хоть брали только хлеб да лошадей, а своя родимая власть забрала до нитки. Одеяло у детишек взяли...»

Я работал в жесткие годы, 1921—1922 годах на продразверстке. Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти, а вот этаких «делов» даже тогда не слышал, чтобы делала.

Верно говорит Артем: «Взять бы их на густые решета...» Я тоже подписываюсь: надо на густые решета взять всех, вплоть до Калинина; всех, кто лицемерно, по-фарисейски вопит о союзе с середняком и одновременно душит этого середняка...»

Появление в печати «Босой правды» оказалось своевременным и имело большое значение. 1 августа 1929 года в «Правде» было помещено сообщение под заголовком «Постановления о льготах бывшим красным партизанам и красноармейцам не выполнялись». В тот же день аналогичный материал печатают «Известия», особо выделяя заключительную часть постановления Президиума ЦКК ВКП(б) и Коллегии НК РКК СССР: «В случае обнаружения невыполнения законов правительства виновных в неисполнении предавать суду, невзирая на лица и их служебное положение. О результатах проверки представить доклад Совету Народных Комиссаров Союза ССР».

Поверх газетного текста рукой Артема написано несколько слов — написано то-ропливо, карандашом, а потому неразборчиво. Четко проглядывается только одно слово: **п о м о г**.

Двадцать лет имя Артема Веселого нигде не упоминалось, его книги были изъяты из государственных библиотек, выросло поколение, слыхом не слыхавшее об этом писателе.

В 1958 году Гослитиздат выпустил однотомник Артема Веселого, с тех пор его произведения — и прежде всего «Россия, кровью умытая» — издавались не раз и у нас в стране и за рубежом, многие читатели заново открывают для себя Артема Веселого. Об этом написал мне в 1978 году Валентин Распутин: «Проза Артема Веселого была для меня откровением еще в мое студенческое время, когда она вышла в 50-х годах. Нынче я перечитал ее. Немалая часть советской классики со временем очень заметно стареет, этой книге подобная судьба не грозит, потому что это и талантливая и во многом современная книга».

ПУБЛИЦИСТИКА

ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН



ИСТОКИ

1

С мужем сестры мы приглядели место. Проезжавший мимо леспромхозовский бульдозерист своей охотой развернулся и пробил дорогу в снегу. Спросил только: «Кого хоронишь?» Узнав, что мать, за работу ничего не взял и уехал. Хорошее место матери досталось — высоченные березы да еще елка, прямая, как струнка...

За три месяца до кончины матушки я приезжал проведать ее. 1900 года рождения (ровесница века, стало быть), она по крестьянской привычке вставала рано и крутилась до вечера — стряпала, задавала корм поросенку, между делом вязала мне рукавички и за всем тем успевала обиходить и приласкать правнучку. В этом доме с его простыми заботами и раз навсегда заведенным порядком мне хорошо думалось. Сто раз передуманное проходило тут проверку. Мелкое, вычурное само собой отсеивалось, на дно души выпадал сухой и горьковатый осадок правды.

Многое из того, что будет далее рассказано, в разные годы я успел прочитать матери. Она умела слушать — дар ныне редкий. Время от времени вставляла: «Правда, сынок, правда, так и было», — хотя определенно не могла знать, как оно было, — сопоставлялись события далеких веков, цитировались мыслители, которых она не читала. Другой же раз посмотрит не то что с укором — с непосильным желанием понять. Тут для меня приговор: заумь, пачкотня.

За то я любил этот последний по счету родительский кров, что под ним все были сыты, обуты, одеты. «Человек выше сытости» — такую дурь мог сморозить тот, кто голода не знал. В наших краях чаша сия никого не минула. Сюда, в Мурашинский леспромхоз, семья перебралась из вятской деревушки Фоминцы, названной так по имени прадеда моего Фомы Андреевича. Туда бы съездить, благо путь недалек, прикоснуться к истокам — на излете жизни гложет душу, как красиво сказал поэт, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Да то беда, что ехать некуда — деревень в тех местах мало осталось, поля затянуло безрезником. Отчий край живет только в памяти сердца. В ней много чего отпечталось, что расчетливее бы забыть, только вот не забывается. Помню первое потрясение души, из тех, что метят конец детству. Молотили рожь. Нас, школьников, отрядили погонять лошадей в приводе, а мать с другими бабами оттребала солому от молотилки. Кому не с кем было оставить «робенков» дома, усадили их на свежую солому около гумна — все же под призором. По-вятски таких звали сидунами: им лет по пять, а еще не ходят. Ножки тонкие, головы большие, животы пухлые — рахитикз, словом. И вот вижу, проворно ползут они к молотилке, горстями пихают в рот зерно. А этого нельзя — набухнет зерно и порвет кишки. Матери оттаскивают их подальше, а они, окаянные, опять ползут к немереной еде...

Хлеб у нас пекли с опилками, с клеверными головками, а когда с толченой картошкой, так это праздник. Всего противнее в детстве было ходить на двор: опилки, непереваренная трава в кровь расцарапывали задний проход.

Такие вот они у меня, истоки.

Конечно, год на год не приходился, бывало и получше, но начиная с 1932 года (тот голод я отчетливо помню) нечасто едали досыта. Урожай, не урожай — разница невелика: надо кормить державу. И так до конца, пока кормильцы не разбежались кто куда. После войны, когда я заканчивал службу в армии, мать написала: куда хошь

поезжай, только не домой, пропадешь тут. Нелегко, наверное, матерям писать такие эпистолы.

Но жаловаться она не любила. За всю жизнь, кажется, одну только жалобу от нее и услышал — это уж когда приезжал на студенческие каникулы. «Ты, Васенька, теперь ученый,— сказала,— много зим в школу ходил, так растолкуй, почто Сталин не велит траву косить косой? Руками рви, а косой нельзя, ежели для своей коровы. Мы ли у него не заслужили? Погли-ко, что с руками деется...»

Посмотреть было на что. Около той поры писатель Фадеев художественно обрисовал материнские руки — какие они добрые, ласковые, работающие. Актрисы с лауреатскими значками на панбархатных платьях читали эти задушевные слова с эстрады, школьники вставляли в сочинения. У моей матери руки были жесткие, как копыта.

Прост ее вопрос, да ответ не прост. Не знаю, хватило ли жизни, чтобы додумать тут все до конца, но отвечать надо — как бы не опоздать. Дело, понятно, не в одном запрете насчет косы, его-то как раз объяснить несложно. На сенокос уполномоченных в колхозы не посылали, и так выходили стар и млад: девять копен колхозу, десятая твоя. Этого не хватало. А кто не сберег свою Зорьку, тот, конечно, навряд ли мог перезимовать всей семьей, дожидаться благодатной поры, когда из голой еще пашни попрут хвощи (еда что надо!). Однако разреши косить по неудобьям каждый для себя — не будет стимула к артельному труду. Руками же рвать траву и тогда не возбранялось — чего не было, того не было. И между делом попутно много травушки успевали бабы натаскать за лето в подогнутых передниках.

Зачем ворошить бывшее? Ученые люди объясняют: это враги втягивают нас в дискуссию о прошлом, чтобы отвлечь. Враг, само собой, хитер, этого у него не отнимешь. Только как учиться у истории, если опять станем закрывать ее строчки пальчиком: это читайте, а вот этого никак нельзя? А главное, все ли из пережитого принадлежит истории?

...С матушкой моей ушла в небытие целая эпоха, будем надеяться, ушла безвозвратно. Ее поколение проволочило на себе по рытвинам и ухабам самое Историю, куда было предписано. И если их страдания переплавились-таки, как и планировалось, в могущество державы, то все равно не дает покоя сомнение в цене, которую пришлось уплатить. Как же так вышло, что человек, венец творения, явил собою лишь материал, ресурс для социальных экспериментов, назем, напитавший почву под предполагаемое всеобщее благоденствие? Нам толкуют: было, да сплыло, левачья идея о созидательной роли насилия, о внеэкономическом принуждении к труду всегда была чужда нашим целям, и лишь под действием особых исторических условий, а больше из-за субъективистских ошибок и извращений она какое-то время действительно проводилась в жизнь. Но вопрос настолько важен, практически значим, что тут никак нельзя верить на слово.

2

Мыслители далеких эпох, социалисты чувства справедливо негодовали: ну что это за общество, где стекольщик мечтает о граде, который повыбивал бы окна, гробовщик — об эпидемиях? Иное дело, когда собственность и продукты труда станут общими. Спрашивается, однако, почему этих продуктов будет в достатке? Богатство создается трудом и только трудом. Так какая сила заставляет трудиться? Этот коренной вопрос мыслители, конечно, обойти не могли.

Заглянем в «Утопию» Томаса Мора. Один из участников диспута размышляет: «...никогда не будет возможно жить благополучно там, где все общее. Ибо как получится всего вдоволь, если каждый станет увертываться от труда? Ведь у него нет расчета на собственную выгоду, а уверенность в чужом усердии сделает его ленивым». Ответ таков: в благословенном обществе должны быть штатные надзиратели, или, как их именует Мор, сифогранты. «Главное и почти что единственное дело сифогрантов — заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности. Но чтобы каждый усидчиво занимался своим ремеслом...»

Утопист-то он утопист, а вопрос ставил основательно и отвечал по существу: выгоду заменит внеэкономическое принуждение. У основоположников научного социализма уже нет этой простоты и ясности в решении задачи. В споре с Дюрингом Энгельс решительно отклоняет предположение, будто в социалистическом обществе сохранятся различия в оплате труда. В знаменитом примере с тачечником и архитектором приведено однозначное решение: тот и другой должны получать одинаково. Почему? Да очень

просто: более высокая квалификация архитектора не является его личной заслугой. «В обществе частных производителей,— пишет Энгельс,— расходы по обучению работника покрываются частными лицами или их семьями; поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая цена обученной рабочей силы: искусный раб продается по более высокой цене, искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несет общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т. е. большие стоимости, созданные сложным трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавочную оплату»¹. Впрочем, для Энгельса различия в оплате простого и сложного труда практического интереса не представляют: в новом обществе ни архитекторов, ни тачечников не станет, все будут уметь все — архитектор, скажем, два часа в смену дает указания по своей специальности, а остальное время катает тачку или, добавили бы мы, перебирает овощи на базе. Вопрос о том, чем заменить прежние стимулы, какая сила заставит работника трудиться, здесь обойден.

СOLIDНЕЕ суждения Маркса. Он допускает различия в оплате в зависимости от количества и качества труда: «...каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему... Поэтому равное право здесь по принципу все еще является правом буржуазным»². Буржуазное право при социализме? Ясно, что столь противоестественную вещь можно допустить на очень короткое время.

Каков же тогда постоянный стимул? Многие мыслители прошлого полагали, что такового со временем вообще не понадобится — труд станет первой жизненной потребностью, игрой физических и духовных сил. Могущество подобных теорий заключается в их неопровержимости. Всегда можно сказать: мол, их черед еще придет, а если не пришел пока, то мы с вами и виноваты — не научились находить награду за труд в самом процессе труда. Цель безусловно благородна, однако и сейчас мы вряд ли ближе к ней, чем двадцать, тридцать и сколько угодно лет назад.

Если и сегодня проблема не нашла удовлетворительного решения, то с какими же трудностями столкнулись первые строители нового общества! В согласии с заветами классиков теперь все должны были работать поровну и получать поровну.

Такого опыта история не знала. Точнее, имелся чисто негативный опыт: в свое время об эту задачку разбили себе головы якобинцы — по словам Ленина, «самые ярые и самые искренние революционеры»³. В поисках практических решений Ильич не раз вспоминал их, сличал французскую революцию с нашей, размышляя о границах насилия в хозяйственном строительстве.

Сознательные участники и вожди той чужой революции на первых порах отнюдь не были сторонниками насилия и уж тем менее террора. Воспитанные просветителями, они больше полагались на разум. Свобода, равенство, братство представлялись им столь очевидными ценностями, что защищать их вроде бы и не требовалось — надо только раз установить их, и тогда не найдется безумцев, которые противились бы этим привлекательным вещам. «Несколько своевременно отрубленных голов...— полагал Марат,— на целые столетия избавят великую нацию от бедствий нищеты и ужасов гражданских войн». Это писано в начале 1790 года. Но через полгода тот же Марат потребует отрубить пятьсот — шестьсот голов, еще через полгода — пять-шесть тысяч, а в 1793 году — миллион с лишком. И это не было упражнениями в риторике — гильотина работала исправно. Почитайте хотя бы изданные у нас недавно сочинения Гракха Бабефа. Показания этого человека тем более важны, что он был участником всех этапов революции, причем занимал крайний левый фланг в расстановке сил, а потому трудно заподозрить его в пристрастной критике якобинства. В книге, написанной по горячим следам событий, он рассказал о деятельности Каррье — одного из ближайших сотрудников Робеспьера.

Не удержусь, приведу выдержку из этого труда. (Пусть читателя не смущает множество отточий — после каждого факта добросовестный автор называл свидетелей.) «Разве для спасения родины,— вопрошает Бабеф,— необходимо было произвести 23 масовых потопления в Нанте, в том числе и то, в котором погибло 600 детей? Разве были

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 207.

² Там же. т. 19, стр. 18, 19.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 297. Далее при цитировании произведений В. И. Ленина в скобках после цитаты будут указываться только том и страница по этому изданию.

нужны «республиканские браки», когда девушек и юношей, раздетых донага, связывали попарно, оглушали сабельными ударами по голове и сбрасывали в Луару?.. Разве необходимо было... чтобы в тюрьмах Нанта погибли от истощения, заразных болезней и всяческих невзгод 10 тыс. граждан, а 30 тыс. были расстреляны или утоплены?.. Разве необходимо было... рубить людей саблями на департаментской площади?.. Разве необходимо было... приказать расстреливать пехотные и кавалерийские отряды армии мятежников, добровольно явившиеся, чтобы сдать?.. Разве необходимо было... потопить или расстрелять еще 500 детей, из коих старшим не было 14 лет и которых Каррье назвал «гадюками, которых надо удушить»?.. Разве необходимо было... утопить от 30 до 40 женщин на девятом месяце беременности и явить ужасающее зрелище еще трепещущих детских трупов, брошенных в чаны, наполненные экскрементами?.. Разве необходимо было... исторгать плод у женщин на сносях, нести его на штыках и затем бросать в воду?.. Разве необходимо было внушать солдатам роты им. Марата ужасное убеждение, что каждый должен быть способен выпить стакан крови?..»

Казалось бы, что нам Гекуба, и все же читать такое лучше запасшись валидолом. Сегодняшним критикам красного террора, введенного в 1918 году, полезно освежить в памяти эти свидетельства. Для темы же нашего разговора важно, что одной из капитальных целей насилия Каррье чисто экономические задачи. Страстно осудив знаменитого террориста, Грахх Бабеф, коммунист-утопист по убеждениям, в одном ключевом пункте склонен оправдать его: «Среди преступлений Каррье числят то, что он раздавил в Нанте торгашество, громя меркантильный... дух... то, что он приказал арестовать всех без исключения спекулянтов и всех тех, кто с начала революции занимался этим скандальным ремеслом в пределах города Нанта; то, что он приказал арестовать всех посредников, всех лиц обоего пола, кто занимался скупкой и перепродажей предметов первой необходимости и извлекал позорную прибыль, продавая их по ценам, превышающим установленный законом максимум. Нет никакого сомнения, что если демократические принципы и высший закон блага народа еще не отменены, то эти факты, взятые сами по себе, не только не могут быть поставлены в вину Каррье, но по своей природе способны снискать ему лавры среди республиканцев».

Суть дела прикрыта тут экспрессивными выражениями: «позорная прибыль», «скандальное ремесло», «торгашество» и т. п. Надо непременно продаться через эту ругань к смыслу событий. Революция, по словам Маркса, стерла «сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»⁴. Открылся простор для нового способа производства — капиталистического, отныне развитие не было стеснено феодальными путями. И наиболее многочисленный класс общества, крестьяне, воспользовался невиданными прежде возможностями производить на продажу с выгодой, или, если угодно, ради позорной прибыли. Но извлеченная прибыль — это неравенство. Побуждаемые идеями просветителей, а более всего неотложными заботами о продовольствии для армии и городов, якобинцы ввели свирепые меры против спекулянтов (то есть против рынка, без коего товарное производство немислимо), регламентировали потребительские законы о максимуме. Изъяты безвозмездно у крестьян плоды их труда можно было только при помощи насилия. Террор рождал Вандею, сладить с которой революционеры пытались еще более жестоким террором.

Якобинцы легли поперек путей жизни и тем подписали себе смертный приговор. Они ушли с арены истории, оставив после себя не только горы трупов, но и новую Францию, приспособленную для единственно эффективного тогда способа производства. Террор и насилие в экономических целях являлись отклонением от задач революции, эпизодом.

Гораздо сложнее обстоит дело в революциях социалистических. Уничтожение «позорной прибыли», искоренение товарного производства, частного предпринимательства является здесь уже не отступлением от цели, а, напротив, целью. Было, в общем-то, не так уж трудно прогнать помещиков, национализировать крупные предприятия, но это отнюдь не решало задачи. «Что такое подавление буржуазии? — разъяснял Ленин. — Помещика можно подавить и уничтожить тем, что уничтожено помещичье землевладение и земля передана крестьянам. Но можно ли буржуазию подавить и уничтожить тем, что уничтожен крупный капитал? Всякий, кто учился азбуке марксизма, знает, что так подавить буржуазию нельзя, что буржуазия рождается из товарного производства; в этих условиях товарного производства крестьянин, который имеет сот-

⁴ К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 299.

ни пудов хлеба лишних, не нужных для его семьи, которых он не сдает рабочему государству в ссуду, для помощи голодному рабочему, и спекулирует — это что такое? Это не буржуазия? Не здесь ли она рождается?.. Вот что страшно, вот где опасность для социальной революции!» (т. 39, стр. 421, 422).

Опасность действительно грозная. Ленин допускал даже мысль об откате революции с социалистической на буржуазную ступень. Все зависит от того, удастся ли одолеть мелкобуржуазную стихию: «Если мы ее не победим, мы скатимся назад, как французская революция. Это неизбежно, и надо смотреть на это, глаз себе не засоряя и фразами не отговариваясь» (т. 43, стр. 141).

Средства в борьбе могут быть различными. «Если 125 лет тому назад,— писал В. И. Ленин,— французским мелким буржуа, самым ярким и самым искренним революционерам, было еще извинительно стремление победить спекулянта казнями отдельных, немногих «избранных» и громами декламации, то теперь чисто фразерское отношение к вопросу у каких-нибудь левых эсеров возбуждает в каждом сознательном революционере только отвращение или брезгливость. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси, слой и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента» (т. 36, стр. 297).

Уже 10 ноября 1917 года спекулянты объявляются врагами народа, а через три месяца в декрете, написанном Лениным, дано недвусмысленное указание: «спекулянты... расстреливаются на месте преступления»⁵. Понятно, при неналаженной государственной торговле любая продажа продовольствия считалась спекуляцией. «Ни один пуд хлеба,— декретировала власть,— не должен оставаться в руках держателей, за исключением количества, необходимого для обсеменения их полей и на продовольствие их семей до нового урожая... Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на сыпные пункты... врагами народа, предавать их революционному суду, с тем, чтобы виновные приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда из общины, все их имущество подвергалось конфискации...»⁶

Принято считать, что эти строгости были вызваны голодом и разрухой. Но как мы видели, речь шла о принципиальной установке: если товарное производство и сопутствующий ему рынок не будут уничтожены, то Октябрьская революция снизится, так сказать, до уровня буржуазной. Достаточно, впрочем, здравого смысла, чтобы понять: продовольствие, произведенное в стране, будет ее населением и съедено. Не голод толкнул к реквизициям, а скорее наоборот: массовые реквизиции имели своим следствием голод. Крестьянам предлагалось кормить страну даром, без какой-либо выгоды для себя. На эти меры мужик отвечал в лучшем случае сокращением посевов, в худшем — обрезом.

Большинство историков, как советских, так и зарубежных, сводят гражданскую войну к противостоянию белых и красных, разница лишь в оценочных знаках. Факты показывают, однако, что существовала третья сила, по которой и пришелся главный удар,— крестьянское повстанческое движение. В разные периоды с разной степенью активности оно блокировало то с белыми, то с красными, оставаясь относительно самостоятельной силой. Задолго до революции, предвзята события, Ленин писал: «Мы сначала поддерживаем до конца, всеми мерами, до конфискации,— крестьянина вообще против помещика, а потом (и даже не потом, а в то же самое время) мы поддерживаем пролетариат против крестьянина вообще» (т. 11, стр. 222.). В борьбе против помещика интересы крестьянства целиком совпадали с интересами новой власти, что понимали даже белые генералы. Сохранилось, например, письмо Колчака Деникину: незадачливый адмирал осуждал земельную политику, «которая создает в крестьянстве представление о восстановлении помещичьего землевладения». Едва эта опасность исчезала, как серое воинство поворачивало фронт. В разгар гражданской войны Ленин с тревогой отмечает, что «крестьянство Урала, Сибири, Украины поворачивает к Колчаку и Деникину» (т. 40, стр. 17). По мере разгрома белого движения сопротивление нарастало. Штаб восточного фронта доносил, например, в 1919 году из Поволжья: «...крестьяне озверели, с вилами, с кольями и ружьями в одиночку и толпами лезут на пулемет, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию». Историк М. Кубанин подсчитал, что в Тамбовской губернии 25—30 процентов населения участвовало в вос-

⁵ «Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917—1921». Сборник документов. М. 1958, стр. 95.

⁶ Там же, стр. 114, 115.

станции. Он заключает: «Несомненно, что 25—30% населения деревни означает, что все взрослое мужское население ушло в армию Антонова». Согласно архивным документам, опубликованным в 1962 году, крестьянская армия на Тамбовщине включала в себя 18 хорошо вооруженных полков. Регулярным войскам под командованием Тухачевского пришлось вести здесь настоящую войну, не менее напряженную, чем ранее против колачаковцев. Сам Ленин прямо говорил, что мелкобуржуазная стихия оказалась опаснее всех армий, вместе взятых.

Логика борьбы заставляла отвечать насилием на насилие. Затруднение состояло в том, что подавить крестьянские восстания должна была армия, состоявшая в основном из крестьян же. Требовались, следовательно, какие-то безусловно преданные революции силы, готовые исполнить любой приказ. Одна из таких сил названа в маленьком сообщении о разгроме крестьянского восстания в Ливнах:

«Город сравнительно пострадал мало. Сейчас на улицах города убирают убитых и раненых. Среди прибывших позднее подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблестные интернационалисты понесли жестокие потери. Зато буквально накрошили горы белогвардейцев, усеяв ими все улицы».

Речь идет о добровольно вступивших в Красную Армию бывших военнопленных. Их насчитывалось до трехсот тысяч — столь большое число иностранцев в воюющей армии специалисты считают уникальным явлением для новейшей истории. Они выказали себя весьма надежными при подавлении крестьянских мятежей, пресекали попытки дезертирства в самой армии, когда ее бросали в бой против «третьей силы». Успешно действовали также части особого назначения.

Легко, однако, понять, что окончательное решение крестьянского вопроса не могло быть достигнуто одними военными средствами. Целью была ликвидация товарного производства в деревне. А наиболее сильными являлись кулацкие товарные хозяйства, в которых применялся наемный труд. Кулаки, по определению Ленина, «самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры» (т. 37, стр. 40). «И если кулак останется нетронутым,— говорил Владимир Ильич,— если мироедов мы не победим, то неминуемо будет опять царь и капиталист» (т. 37, стр. 176). Агитаторам, посылаемым в провинцию, он дал директиву: «...кулаков и мироедов необходимо урезать» (т. 35, стр. 326). При этом урезании власть могла опереться в деревне лишь на бедноту, а она составляла ничтожное меньшинство сельского населения (не забудем, что крестьяне в результате революции получили землю). В июне 1918 года были созданы комбеды. С их помощью у кулаков отобрали 50 миллионов гектаров земли. Это примерно треть тогдашних сельскохозяйственных угодий. Тем самым материальная база кулацкого хозяйства оказалась разрушенной. Факты неопровержимо доказывают, что ликвидация кулачества состоялась именно в годы «военного коммунизма», а не на рубеже 20—30-х годов.

Однако середняк ведь тоже желал торговать продуктами своего труда, а торговля, по представлениям той поры, вела прямехонько в капитализм. Считалось, что не сданный по продрозверстке хлеб, хотя бы и выращенный своими руками, мужик присваивает и таким образом превращается в классового врага. «Если крестьянин сидит на отдельном участке земли,— утверждал Ленин,— и присваивает себе лишний хлеб, т. е. хлеб, который не нужен ни ему, ни его скотине, а все остальные остаются без хлеба, то крестьянин превращается уже в эксплуататора. Чем больше оставляет он себе хлеба, тем ему выгоднее, а другие пусть голодают: «чем больше они голодают, тем дороже я продам этот хлеб». Надо, чтобы все работали по одному общему плану на общей земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку» (т. 41, стр. 310—311).

Следовательно, истинное решение задач социалистической революции виделось в привлечении крестьянства к работе на общей земле. Это программная установка большевистской партии. Еще в 1902 году Ленин разъяснял: «Социал-демократ... стал бы пропагандировать национализацию земли лишь как переход к крупному коммунистическому, а не к мелкому индивидуалистическому хозяйству» (т. 6, стр. 339). Вскоре после Октября Владимир Ильич взял в свои руки «дело постепенного, но неуклонного перехода от мелких единоличных хозяйств к общественной обработке земли» (т. 37, стр. 364). Уже в январе 1918 года он участвует в выработке «Основного закона о социализации земли». Как свидетельствует член подготовительной комиссии С. Иванов, «в комиссии фактически работал один товарищ Ленин, а мы только голосовали». При обсуждении возник спор — пока не о кулацких, а только о помещичьих землях. Эсеры настаивали

на разделе их между крестьянами, что укрепило бы экономическую основу мелко-буржуазной стихии. Ленин же выступил за создание совхозов на помещичьих землях. Эта идея и прошла.

В декабре 1918 года Ленин создает специальную комиссию для подготовки Положения об общественной обработке земли. Один из ее членов, П. Першин, рассказывает, что готовый проект редактировался лично Владимиром Ильичем — по его указанию коллективным хозяйствам земля отводилась в первую очередь, инвентарь в их пользу отчуждался от зажиточных крестьян бесплатно, а от середняков и бедняков за плату, не превышающую твердых цен, то есть за символический выкуп. В феврале 1919 года опубликовано «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию». В этом документе говорилось, что на все виды единоличного землепользования надо смотреть как на преходящие и отживающие — их заменят совхозы, производственные коммуны и другие товарищества по совместной обработке земли.

Несмотря на явные выгоды (лучшая земля, бесплатная передача инвентаря), крестьянин в эти объединения не шел. Все же в короткий срок удалось создать более пяти тысяч совхозов и около шести тысяч колхозов. Но, как признал Ленин, «колхозы еще настолько не налажены, в таком плачевном состоянии, что они оправдывают название богаделен» (т. 42, стр. 180).

Лучшие умы той эпохи пытались уяснить, почему же столь выгодное дело, как коллективизация, завершилось полной неудачей. Ход рассуждений был таков: простое сложение земли и примитивного инвентаря не обеспечивает еще качественного сдвига в развитии производства. Вот если бы мы могли дать деревне сто тысяч тракторов, тогда любой крестьянин сказал бы: и я за коммунию. Но этой техники пока нет — по расчетам, она появится не раньше чем лет через десять.

С высоты исторического опыта сегодня такое объяснение мы не можем признать достаточно полным. Механизация, химизация, мелиорация, интенсивные технологии — всего этого безнадежно мало для успеха. Еще Лев Толстой понимал, что главное — «не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг, — то есть работник-мужик». А его интерес игнорировался — ставка была сделана на грубую силу. Как мне представляется, здесь глубинные истоки многих трудностей, пережитых страной.

Впрочем, внеэкономическое принуждение применялось в ту пору не только в отношении крестьянства. Всякая революция только тогда чего-то стоит, когда она умеет защищаться. Это аксиома. Лишь фарисей возьмется сегодня осуждать карательные меры против контрреволюционеров. Да, на третий день после Октябрьского переворота закрыта оппозиционная печать, но в декрете справедливо сказано, что это оружие «не менее опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы». Да, создали в лице ЧК аппарат насилия. Но опять прав Ленин: «Без такого учреждения власть трудящихся существовать не может» (т. 44, стр. 328). 31 января 1918 года правительство предписало «принять меры к увеличению числа мест заключений». Чуть позже признали необходимым «обезопасить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях». Резонно объяснение Дзержинского: «...потребность в самообороне была так велика, что мы сознательно могли закрывать глаза на ряд своих ошибок... лишь бы сохранить республику, как это было в эпоху красного террора. Вот почему закон дает ЧК возможность административным порядком изолировать тех нарушителей трудового порядка, паразитов и лиц, подозрительных по контрреволюции, в отношении коих данных для судебного наказания недостаточно и где всякий суд, даже самый суровый, их всегда или в большей части оправдает»¹.

Ухо экономиста улавливает, однако, в этом высказывании уже некоторый диссонанс: наряду с «подозрительными по контрреволюции» в концлагеря следует помещать нарушителей трудового порядка. В другом документе Дзержинский трактует назначение лагерей весьма расширительно: «Кроме приговоров по суду, необходимо оставить административные приговоры, а именно концентрационный лагерь... Я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера

¹ «Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917—1921», стр. 386.

такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т. д. Этой мерой мы сможем подтянуть даже наших собственных работников»⁸.

Границы насилия, как видим, расширяются безбрежно — первоначально оно применялось для подавления противников революции, затем перекинулось на потенциальных противников (красный террор) и, наконец, стало средством решения чисто хозяйственных задач. В 1920 году Троцкий предложил поставить это дело на прочную и долговременную основу, превратив страну в гигантский концентрационный лагерь, точнее, в систему лагерей. На IX съезде партии он изложил невиданную в истории программу: рабочие и крестьяне должны быть поставлены в положение мобилизованных солдат, из них формируются «трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям». Каждый обязан считать себя «солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит — он будет дезертиром, которого карают»⁹.

Будет ли такой труд эффективным? Капитализм тем и победил предшествующую формацию, что на место палки, крепостной зависимости, воли сеньора поставил более действенный стимул к труду — личную выгоду, право продавать свою рабочую силу. Лагерное трудовое право на практике означало бы шаг назад в истории человечества. Троцкий решительно возражает: «Если принять за чистую монету старый буржуазный предрассудок или не старый буржуазный предрассудок, а старую буржуазную аксиому, которая стала предрассудком, о том, что принудительный труд непроизводителен, то это относится не только к трудармиям, но и к трудовой повинности в целом, к основе нашего хозяйственного строительства, а стало быть, к социалистической организации вообще». (До чего откровенно: принудительный труд — основа социалистической организации!) По Троцкому, «буржуазная аксиома» верна только применительно к прошлому: «Мы говорим: это неправда, что принудительный труд при всяких обстоятельствах и при всяких условиях непроизводителен»¹⁰.

Современные историки утверждают, что съезд отклонил военно-бюрократическую линию Троцкого в хозяйственном строительстве. Но это явная подчистка истории (дело на Руси обыкновенное — еще Герцен остроумно заметил: «Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее»). Обратимся к основной резолюции съезда — «Об очередных задачах хозяйственного строительства»:

«Одобрив тезисы ЦК РКП о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд, съезд постановляет:

...взять на учет всех квалифицированных рабочих с целью их привлечения к производственной работе с такой же последовательностью и строгостью, с какой это проводилось и проводится в отношении лиц командного состава для нужд армии.

Всякий квалифицированный рабочий должен вернуться к работе по своей специальности...

Необходимо с самого начала правильно поставить массовые мобилизации по трудовой повинности, т. е. устанавливать каждый раз, по возможности, точное соответствие между числом мобилизованных, местом их сосредоточения, размером трудовой задачи и количеством необходимых орудий. Столь же важно обеспечить сформированные из мобилизованных трудовые части технически компетентным и политически твердым инструкторским составом и заранее подобранными по партийной мобилизации трудовыми коммунистическими ячейками, т. е. идти по тому же пути, по которому мы шли в создании Красной Армии»¹¹.

Далее в резолюции рекомендовано «применение системы уроков, при невыполнении которых понижается паек». А поскольку «значительная часть рабочих, в поисках лучших условий продовольствия, а нередко и в целях спекуляции, самовольно покидает предприятия, переезжает с места на место, чем наносит дальнейшие удары производству», это должно быть пресечено в «суровой борьбе с трудовым дезертирством, в частности, путем публикации штрафных дезертирских списков, создания из де-

⁸ Там же, стр. 256.

⁹ «Девятый съезд РКП(б). Протоколы». М. 1960, стр. 92, 94.

¹⁰ Там же, стр. 97, 98.

¹¹ «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М. 1970, т. 2 (1917—1924), стр. 153.

зетиров штрафных рабочих команд и, наконец, заключения их в концентрационный лагерь»¹².

Не думайте, что речь идет о временных мерах. В резолюции «О переходе к милиционной системе» объяснено: так как гражданская война заканчивается, а международное положение Советской России благоприятно, на будущий период, «который может иметь длительный характер», вводится милиционная система экономики, сущность которой «должна состоять во всемерном приближении армии к производственному процессу, так что живая человеческая сила определенных хозяйственных районов является в то же время живой человеческой силой определенных воинских частей»¹³.

Эти документы тем еще поучительны, что в них предельно обнажена связь хозяйственного механизма с правами личности. Товарное капиталистическое производство означает, что тот, у кого есть деньги, волен затевать выгодное дело, приобретать собственность, рисковать и нести экономическую ответственность за свои действия. Любой человек вправе распоряжаться своей собственностью, даже если таковая состоит лишь из пары рабочих рук. Бесспорно, система суровая, но при ней не надо понуждать к труду угрозами и милицейским надзором. Государству нет надобности, например, пресекать забастовки, поскольку убытки от них несет частный предприниматель. Не гарантируя занятости, государство обязано предоставить человеку полную инициативу обогащаться или прозябать, кто как умеет. Личностные права — оборотная сторона беспощадных экономических свобод. Напротив того, при тотальной государственной собственности на средства производства возникает искус экспроприровать и самое личность, ее физические и духовные силы, чтобы наладить работу по единому плану и распорядку. В этих условиях допустимо рассматривать человека как винтик гигантской машины, изготавливающей будущее счастье для всех. Странно было бы говорить о личностных правах и гражданских свободах винтика, а равным образом и отвертки, которая загоняет его в положенное место.

Солдафонским грезам Троцкого в ту пору не суждено было осуществиться — их императивно отвергла жизнь. Хозяйственные итоги «военного коммунизма» не оставляя сомнений в том, что «буржуазная аксиома» о неэффективности принудительного труда все-таки верна. В 1920 году сравнительно с 1917-м добыча угля снизилась в три с лишним раза, выплавка стали — в 16 раз, производство хлопчатобумажных тканей — в 12 раз, выработка сахара — в 10 раз и т. д. Годовое производство стали на душу населения упало до полутора килограммов, на 50 человек населения производили одну пару обуви. В том же 1920 году рабочие Москвы, занятые самым тяжелым физическим трудом, получали в день 225 граммов хлеба, 7 граммов мяса или рыбы, 10 граммов сахара. Недород 1921 года поставил страну на край бездны.

3

В противоположность Троцкому, который видел корень зла во всеобщей расхлябанности и планировал преодолеть разгильдяйство милицейскими методами, Ленин быстро понял несостоятельность экономической политики «военного коммунизма»: «...мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, — и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение» (т. 44, стр. 157).

1 марта 1921 года восстали моряки Кронштадта. Одновременно забастовали питерские рабочие, да и не одни питерские. «Это уже нечто новое, — размышляла Ленин. — Это обстоятельство, поставленное в связь со всеми кризисами, надо очень внимательно политически учесть и очень обстоятельно разобрать. Тут проявилась стихия мелкобуржуазная, анархическая, с лозунгами свободной торговли и всегда направленная против диктатуры пролетариата. И это настроение сказалось на пролетариате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось на предприятиях в целом ряде пунктов провинции» (т. 43, стр. 24). Политические требования, выставленные бастующими, вызвали особую тревогу Ильича: «Несомненно, в послед-

¹² «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», стр. 161, 162.

¹³ Там же, стр. 176.

нее время было обнаружено брожение и недовольство среди беспартийных рабочих. Когда в Москве были беспартийные собрания, ясно было, что из демократии, свободы они делают лозунг, ведущий к свержению Советской власти» (т. 43, стр. 31).

Эти мысли Ленин высказал в марте 1921 года на X съезде партии. Здесь же по его настоянию принято ключевое решение о замене продразверстки твердым налогом с крестьян. Тут не было еще целостной системы. Мера считалась временной. Не случайно введена она в марте, чтобы успеть оповестить крестьян до начала сева: расширять посевы, реквизиций в нынешнем году не будет. В то же время свободной продажи хлеба, оставшегося после уплаты налога, не предусматривалось. «Свобода торговли,— подчеркивал Ленин,— даже если она вначале не так связана с белогвардейцами, как был связан Кронштадт, все-таки неминуемо приведет к этой белогвардейщине, к победе капитала, к полной его реставрации» (т. 43, стр. 25). Но то были уже арьергардные бои. Твердый налог составлял примерно половину планировавшихся прежде реквизиций. Ясно, что основную часть продовольствия могла дать лишьвольная продажа продуктов сельского труда. Буквально через два месяца, в мае 1921 года, партийная конференция определяет нэп как систему мер, как курс, взятый всерьез и надолго. В течение года весь экономический механизм «военного коммунизма» был демонтирован и заменен новой экономической политикой, которая в главных чертах сходна с рождающимся ныне новым хозяйственным механизмом.

В этом уроке я вижу опору для нынешней нашей перестройки. Нам предстоит перемены не менее революционные — трудящиеся не хотят больше жить по-старому, административный аппарат не может управлять по-старому. Направления радикальных реформ сейчас, в общем-то, ясны, но даже горячие сторонники перестройки высказываются в том смысле, что демократизацию общественной жизни, экономические новации надо вводить постепенно, годами. Такой вариант скорее всего не пройдет — просто нет запаса времени, он исчерпан, беспутно промотан в застойные десятилетия. По прикидкам, если не будет крутых перемен, в середине 90-х годов наша экономика развалится со всеми вытекающими отсюда последствиями — социальными, внешнеполитическими, военными и т. п. Тогда поздно будет хлопотать о демократии — периодам развала хозяйства больше соответствует диктатура. До недавних пор можно было лишь с горечью и тревогой наблюдать факты, свидетельствовавшие об этом векторе развития страны. В апреле 1985 года у нас появился шанс на спасение. Сейчас шансы возросли, и было бы преступно упустить их. Опыт начала 20-х годов тем и хорош, что он доказывает возможность революционных изменений сверху буквально в считанные месяцы.

И второй урок для нас — поразительное быстрое действие пусковых импульсов, посланных в экономику. Именно потому, что изменения были быстрыми и радикальными, старый хозяйственный механизм не мешал новому. Недород 1921 года тут не в счет — это стихийная беда и во многом следствие экспериментов «военного коммунизма». Но что поучительно: в ужасную голодую крестьянские восстания прекращаются — нет причин бунтовать, коль скоро благополучие семьи зависит отныне от собственного труда. Экономическими мерами удалось снять социальное напряжение много успешнее, чем экзекуциями. Уже в 1922 году собрали хороший урожай. XII съезд партии обязал даже направить усилия на поиск внешнего рынка для зерна (не правда ли, приятно вспомнить, что и в новейшей истории у нас бывало такое). Всего за четыре-пять лет достигнут довоенный уровень в промышленности и сельском хозяйстве. В 1928-м он превзойден в индустрии на 32 процента, на селе — на 24. Сравнительно же с 1921 годом национальный доход поднялся в 3,3 раза, промышленное производство увеличилось в 4,2, в том числе в крупной промышленности в 7,2 раза. Реальная зарплата рабочих превысила довоенную. Подсчитано, что начиная с 1924 года люди питались так хорошо, как никогда еще до этого времени. В среднем по стране рабочий потреблял, например, за год 72 килограмма мяса — впечатляюще и по нынешним меркам.

Хозяйственные успехи шли рука об руку с демократизацией общественной жизни. (Этот факт куда как злободневен на нынешнем крутом повороте.) Резко сузились границы насилия, укрепилась законность. Ленин обосновывал это так: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти, чем дальше идет развитие гражданского оборота, тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, и тем уже становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар

заговорщиков» (т. 44, стр. 329). Страна получила уголовный и гражданский кодексы. Ревтрибуналы были заменены судами, учредили прокуратуру и адвокатуру. Изменилась роль профсоюзов. Если в марте 1918 года Ленин без обиняков заявлял: «Профессиональные союзы... должны стать государственными организациями» (т. 36, стр. 160), то теперь партия в корне пересмотрела эту позицию. XI съезд партии (1922) обязал их заниматься «защитой интересов трудящихся масс в самом непосредственном и ближайшем смысле слова». Защитой от кого? Не только от частного, но и от «бюрократического извращения» госаппарата¹⁴. Как далеко простирались личностные свободы, видно хотя бы из того, что открыто выходили произведения литературы, искусства, труды по социологии, политике, за одно хранение которых впоследствии, бывало, расплачивались головой. А социальных катаклизмов не происходило.

Внеэкономическое принуждение определенно не требовалось в качестве стимула как в частном, так и в государственном секторе экономики. С частником все ясно. Начиная с 1917 года его только что в ступе не толкали, а он опять попер как на дрожжах. Без государственных инвестиций, без опеки и хлопотливых усилий власти он восстановил торговлю, сферу обслуживания. Частные крестьянские хозяйства в достатке обеспечивали страну. Мало того, с середины 20-х годов и до коллективизации страна вывозила за границу ежегодно по полтора миллиона пудов хлеба. Валютная выручка поступала в казну.

Да и своя денга стала настоящей. К началу 1924 года в обращении находилось свыше 1,3 квадриллиона рублей, покупательная способность рубля упала в 28 миллионов раз. Но уже в 1925 году после денежной реформы наш червонец стоял на лондонской бирже выше фунта стерлингов, что вызвало недоумение и тревогу заносчивых англичан. При твердом денежном обращении государство уже не получало, как прежде, в виде налогов груды обесцененных совзнаков, а стало хозяином реальных ресурсов, которые можно было вкладывать в развитие желательных производств, прежде всего в тяжелую промышленность. В те годы удалось провести в жизнь знаменитый план ГОЭЛРО. Получив из казны деньги на строительство станции, заказчик на договорных началах покупал материалы и оборудование — государство не изымало их у поставщиков безвозмездно, как практиковалось в пору «военного коммунизма», не отчуждало за расчетные квитанции, как это делалось позднее. По завершении строительства электростанция переходила на обычный метод коммерческой деятельности. Тяжелая индустрия развивалась в опережающем темпе: по официальной статистике, в 1923—1928 годах производство средств производства прирастало в среднем за год на 28,5, а производство предметов потребления — на 21,4 процента.

Правда, мелкий городской предприниматель вкнутром ощущал неустойчивость разрешительного законодательства и остерегался вкладывать доход в промышленные предприятия. А если кто и рисковал, то стремился побыстрее «проесть» прибыль или обратить ее в золотишко на черный день. Торговля — вот та сфера, где частник действительно развернулся: первоначальные вложения минимальны, окупаются быстро — сорвал денгу, а там пусть прикрывают дело. Стеснительные ограничения все время чувствовал и крестьянин — кормилец страны. А что, если снять препоны? С такой идеей выступил Бухарин — личность, надо сказать, любопытная. «Левый коммунист» в годы «военного коммунизма», автор первых на нашей почве нетоварных концепций развития экономики, сторонник отмены денег, он пережил стремительную эволюцию, потому что искал ответы на главные вопросы времени в живой жизни.

В речи на собрании московского партактива 17 апреля 1925 года Бухарин так объяснял нэп: «У нас еще до сих пор сохранились известные остатки военно-коммунистических отношений, которые мешают нашему дальнейшему росту... Зажиточная верхушка крестьянства и середняк, который стремится тоже стать зажиточным, боится сейчас накоплять. Создается положение, при котором крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что опасается, что его обяжут кулаком; если он покупает машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая техника становится конспиративной...

В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». (Позднее Бухарину припомнят этот призыв.)

¹⁴ «Одиннадцатый съезд РКП(б) Март — апрель 1922 года Стенографический отчет». М. 1961, стр. 535, 529.

Но какой от всего этого прок для индустриализации? По Бухарину, двоякий. Богатеющая деревня увеличит спрос на продукцию промышленности, что приведет к ее быстрому росту. Денежные вклады крестьян в банки станут дополнительным ресурсом для развития экономики.

Многие ограничения были в ту пору сняты. Товарное производство неизбежно вело к имущественному расслоению деревни — одни хозяйства разорялись, другие крепли. В начале 1925 года разрешили аренду земли и наем рабочей силы, устранили все препятствия к свободной торговле. Объективно дело шло к становлению весьма эффективных ферм, подобных американским.

По мысли Бухарина, экономические свободы полезны не только для села: «Мы должны научиться культурно управлять в сложных условиях реконструктивного периода... У нас должен быть пущен в ход, сделан мобильным максимум хозяйственных факторов, работающих на социализм. Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы. Мы слишком все перецентрализовали... Не должны ли мы сделать несколько шагов в сторону ленинского государства-коммуны?» Этот пассаж выписан из «Заметок экономиста», напечатанных в «Правде» 30 сентября 1928 года, то есть буквально накануне первого дня первой пятилетки (хозяйственный год начинался тогда 1 октября, с этого дня и ведется отчет ускоренной индустриализации). Публикацией «Заметок» Бухарин еще пытался воздействовать на события.

Таким образом, перед нами целостный план социалистического строительства. Концепция Бухарина при всей ее практичности имела один спорный пункт: насколько жизнеспособна помянутая «сложная комбинация»? Как уживутся частные хозяйства и государственная промышленность? Мыслимо ли вообще вписать собственника в социализм? Разумеется, автор плана отлично сознавал эту спорность. Разрешение коллизии он видел в том, что деревня придет к социализму через постепенную добровольную кооперацию крестьянских хозяйств. Здесь он опирался на последние работы Ленина, на ту его идею, что в условиях советской власти простой рост кооперации тождествен росту социализма.

Между тем нэпу с самого начала противостояла грозная оппозиция. Теоретик казарменного социализма Троцкий уже в 1923 году, на XII съезде партии, страдал: «Начинается эпоха роста и развития капиталистической стихии. И кто знает, не придется ли нам в ближайшие годы каждую пядь нашей социалистической территории, т. е. каждую частицу государственного хозяйства под нашими ногами, отстаивать зубами, когтями...»¹⁵

В согласии с этими постулатами был выработан другой план развития страны, по всем пунктам противоположный бухаринскому (то есть, по существу, ленинской концепции нэпа). Я имею в виду статью Преображенского «Закон социалистического накопления» (позднее он переделал ее в книжку, конспект которой с ведома автора ходил по рукам; свою теорию Преображенский энергично пропагандировал с трибун). Вот ход его рассуждений. Нелепо думать, будто «социалистическая система и система частнотоварного производства... могут существовать рядом... Либо социалистическое производство будет себе подчинять мелкобуржуазное хозяйство, либо само оно будет рассосано стихией товарного производства». Грядущая индустриализация, ускоренное развитие страны мыслимы только за счет «пожирания» частного государственного сектором (по Бухарину, как мы помним, сохраняется сложная комбинация личной, групповой и государственной инициативы). Средства для индустриализации надо черпать в основном «вне комплекса государственного социалистического хозяйства». Где же конкретно? «Такая страна, как СССР... — объявляет Преображенский, — должна будет пройти период первоначального накопления, очень щедро черпая из источников досоциалистических форм хозяйства... Задачи социалистического государства не в том, чтобы брать с мелкобуржуазных производителей меньше, чем брал капитализм, а в том, чтобы брать еще больше». Проще сказать, предлагалось развивать экономику за счет разорения крестьянства. Это, по Преображенскому, и хорошо, поскольку индивидуальное хозяйство в социализм не вписывается.

Очевидец смачно описал реакцию тогдашнего председателя Совнаркома Рыкова на этот план. Злясь и потому заикаясь больше обычного, Алексей Иванович кричал: «Теория Преображенского возмутительна. Это черт знает что!.. Можно ли придумать

¹⁵ «Двенадцатый съезд РКП(б). 17—25 апреля 1923 года. Стенографический отчет». М. 1968, стр. 351.

большее, чтобы смертельно скомпрометировать социализм?.. У него деревня только дойная корова для индустрии».

Дело не ограничилось сшибками умов. Единомышленник Преображенского заместитель председателя ВСНХ Пятаков тут же предложил механизм взимания дани с крестьянства: высокие цены на промышленные изделия при дешевизне сельскохозяйственной продукции. И не просто предложил. 16 июля 1923 года он отдал приказ о взвинчивании цен, что и было сделано. Например, прибавь в ценах на сукно составила аж 137 процентов. Ясно, что как горожанам, так и сельскому населению сукно стало недоступно. Резко подскочили цены на всю сельскохозяйственную технику. Результат получился парадоксальным: при товарном голоде в стране немощную еще индустрию поразил кризис сбыта, производство было парализовано. Назначенный председателем ВСНХ Ф. Э. Дзержинский немедленно предпринял крутые меры. В 1924 году по его инициативе резко снизили оптовые цены, что нормализовало обстановку. Этот выдающийся государственный деятель к тому времени далеко отошел от завидных идей о лагерном принуждении к труду. Один из близких его сотрудников по ВСНХ, Н. Валентинов, оказавшийся впоследствии в эмиграции, издал на Западе довольно объективную книгу о том времени. Он вспоминает, с каким страхом ждали в ВСНХ появления грозного руководителя ВЧК, а тот оказался обаятельным руководителем, умелым проводником новой экономической политики. В беседе с Валентиновым Дзержинский прямо отмежевался от своих представлений периода «военного коммунизма»: «Хорошей работы, подгоняемой одним страхом, не может быть. Нужно желание хорошей работы, нужны всякие другие стимулы к ней...»

Не было, пожалуй, более страстного противника левацкого плана разорения деревни, чем руководитель ВСНХ. 20 июля 1926 года (за несколько часов до кончины) на Пленуме ЦК он трясся от негодования, слушая сетования Каменева и Пятакова на то, что деревня богатеет. «Вот несчастье! — иронизировал Дзержинский. — Наши государственные деятели, представители промышленности и торговли проливают слезы о благосостоянии мужика». Программу повышения оптовых цен, изложенную Пятаковым, он назвал бессмысленной, антисоветской, антирабочей. «Нельзя индустриализоваться, — настаивал Дзержинский, — если говорить со страхом о благосостоянии деревни»¹⁶.

Итак, столкнулись два плана. Бессмысленно, конечно, задним числом переинциать историю в рассуждении «что было бы, если бы». Однако и полное детерминизм, обреченности нет ни в судьбе отдельного человека, ни в судьбах народов. Это опасное заблуждение с выгодой для себя едва ли не во все времена внушали власть имущие: события предопределены, серьезно повлиять на них все равно нельзя, так что смирись и покорствуй. Такой фатализм разоружает человека, парализует единственно надежное наше оружие — разум. Жизнь — всегда развилка дорог. История есть реализованная возможность — одна из множества нереализованных, не более того.

Разве в переломные периоды, когда возможны еще альтернативные варианты развития, безразлично, на чью сторону встанет аппарат власти, на какую чашу весов положит он свой свинцовой тяжести груз? Разве этот аппарат всегда наилучшим образом выражает интересы страны? Будь так, сегодня мы не имели бы права сетовать на недавний застойный период.

В 20-е годы безграничную власть деловито сосредоточивал в своих руках человек, превосходно знавший ей цену, — незабвенный Сталин. Его мало волновали споры на всяких там съездах и собраниях. Он понимал главное: страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительным аппаратом государства, которые руководят этим аппаратом. Верно угадал он и другое: за образец для иерархического аппарата лучше всего взять военную организацию с ее дисциплиной и единоначалием. В 1921 году в редкостном по откровенности наброске плана брошюры «О политической стратегии и тактике русских коммунистов» он написал: «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». (Напомню, что меченосцы — военизированная религиозная команда, предшественница Ливонского ордена.) Какая-либо борьба мнений внутри ордена, разумеется, недопустима, фракционность преступна.

По решению X съезда принадлежность к любой группировке влекла за собой «безусловное и немедленное исключение из партии». Многие заслуженные партийцы

¹⁶ Ф. Э. Дзержинский. Избранные произведения в двух томах. М. 1977, т. 2 (1924—1926), стр. 504, 505, 507.

сетовали: возникла, мол, иерархия секретарей, которые решают все вопросы, а съезды и конференции стали исполнительными ассамблеями, партийное, общественное мнение задушено. Сталин на XIII партконференции в январе 1924 года ответил им, что партия не может быть союзом групп и фракций, она должна стать «монолитной организацией, высеченной из одного куска».

Все прочие институты (Советы, профсоюзы, комсомол, женские организации и т. п.) Сталин в другом выступлении объявил приводными ремнями, «шупальцами в руках партии, при помощи которых она передает свою волю рабочему классу, а рабочий класс из распыленной массы превращается в армию партии». То есть, скажем, Советы — никакая не власть, а всего лишь приводной ремень. «Диктатура пролетариата,— учил Сталин,— состоит из руководящих указаний партии, плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата, плюс их претворение в жизнь населением».

Что за «руководящие указания»? Чьи конкретно? Достаточно поставить такие вопросы, чтобы стало ясно: сама партия тоже превращается в приводной ремень — главный в трансмиссии. Нарисованный Сталиным механизм власти предполагает лишь одного машиниста, который действительно управляет агрегатом.

Были люди, понимавшие, чем это грозит. В частном письме Куйбышеву Дзержинский проницательно предсказал: «У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страны и хозяйством. Если не найдем этой линии и темпа... страна тогда найдет своего диктатора — похоронщика революции, какие бы красные перья ни были на его костюме»... Однако не ясновидящие определяли ход событий.

Конечно, в плане Преображенского и других левых не было прямых призывов к физическому уничтожению наиболее активной части сельского населения, к внеэкономическому принуждению к труду. Но как в желуде заложены все свойства дуба, так и здесь это уже содержалось в зародыше. Ликвидировав, по обыкновению, авторов этой теории, Сталин провел их идеи в жизнь. Естественно, потребовались соответствующие приемы достижения задуманного. Между целью и средствами расхождения не существовало, как их вообще не бывает в жизни. Ведь средства — это и есть цель в действии, в движении, в повседневной практике; в ином обличье, кроме как через средства, цель проявиться не способна.

Поворот к индустриализации начался с яростной ломки механизма нэпа. В 1929 году аппарат власти скрутил все виды частного предпринимательства. Частнику отрезали путь к банковским кредитам, его душили налогами, за перевозки он платил самый высокий тариф. Власть реквизировала либо просто закрыла частные мельницы, расторгла многие договоры на аренду государственных предприятий.

Методично и целеустремленно аппарат прижимал к ногтю крестьянство, возрождая типичные приемы «военного коммунизма». При заведомо неэквивалентном обмене, при сознательно заниженных ценах на зерно, мясо, молоко и другую продукцию крестьянин, понятно, не желал продавать плоды своего труда государству. Сталин лично возглавил заготовки. В начале 1928 года на места ушла директива, обязывающая взять хлеб у крестьянства «во что бы то ни стало». Сам Сталин выехал в Сибирь. На совещаниях с местными деятелями он обвинил в срыве заготовок кулаков и потребовал привлекать их к суду за спекуляцию. Имущество осужденных подлежало конфискации. Как и при «военном коммунизме», четверть конфискованного зерна Сталин предложил отдавать крестьянам-беднякам (на практике — доносчикам). Партийных и советских работников, не исполнявших эти репрессивные меры, Сталин велел снимать с должности.

По стране, совсем как в пору «военного коммунизма», покатила волна повальных обысков. Власть запретила продажу хлеба на рынках, во многих местах были выставлены вооруженные заградительные посты на дорогах.

Насильственная коллективизация довершила разгром сельского товарного производства.

Серией энергичных мер разрушили товарную модель и в государственной промышленности. XVII партийная конференция в 1932 году подчеркнула «полную несовместимость с политикой партии и интересами рабочего класса буржуазно-измаганских извращений принципа хозрасчета, выражающихся в разбазаривании общенародных государственных ресурсов и, следовательно, в срыве установленных хозяйственных планов». Оптовая торговля, экономическая ответственность за результаты труда

названы здесь извращением, разбазариванием. Именно отсюда берет начало система фондового распределения ресурсов, губительно влияющая на экономику и по сей день.

Говорят, победителей не судят. Но сопоставление результатов с уплаченной за них ценой — вещь в экономике обязательная. Только разобравшись в этом, удастся понять, что было в действительности — победа или поражение. Зададим простые на первый взгляд вопросы: каковы были плановые параметры первой пятилетки, каковы ее хозяйственные результаты?

Начиная с 1926 года Госплан и ВСНХ стали готовить варианты плана. Тогдашних плановиков не надо путать с нынешними, которые не предсказывают погоду, а предписывают, какой ей быть. Нет, те не умели еще в порядке дисциплины изо всех сил тянуть стрелку барометра к делению «ясно», невзирая на шторм. Они рекомендовали в планах максимальную пропорциональность и сбалансированность — между накоплением и потреблением, между промышленностью и сельским хозяйством, между группами А и Б индустрии, между денежными доходами и товарным обеспечением.

Деликатные специалисты во главе с Кржижановским сверстали два варианта плана — минимальный (или, как его называли, отправной) и максимальный. По максимальному за пять лет промышленное производство должно было вырасти на 180 процентов (то есть почти в три раза!), в том числе производство средств производства — на 230 процентов. Производительность труда в индустрии следовало поднять на 110 процентов. Сельскому хозяйству был задан прирост объемов на 55 процентов. Запрограммировали быстрый рост реальной зарплаты, удвоение национального дохода.

Задания отнюдь не выглядели фантастическими — примерно таковы были реальные скорости развития в предыдущие годы. Все же плановики подстраховались: по минимальному варианту задания сокращались на 20 процентов. Это и понятно: как предупредили авторы плана, максимальный вариант исходил из предположения, что все пять предстоящих лет окажутся урожайными, граница даст технику в кредит, уменьшатся расходы на оборону. Но в дело вмешался лично Сталин. По его указке в расчет следовало брать только максимальный вариант.

В мае 1929 года план утвержден V Всесоюзным съездом Советов. Практически этот акт не имел значения — план уже считался действующим с 1 октября 1928 года. На том, однако, не успокоились — план начали кроить и перекраивать. Сталин бросил клич: «Пятилетку — в четыре года». Во втором году пятилетки промышленное производство запланировали увеличить на 31,3 процента, что примерно в полтора раза превышало максимальную первоначальную наметку. Но и этого показалось мало. Сталин заявил, что по целому ряду отраслей промышленности пятилетку можно выполнить в три года.

Кончилось тем, что 7 января 1933 года Сталин объявил пятилетку выполненной за 4 года и 3 месяца. С того дня, кажется, так никто и не слышал заданий и итогов. Давайте сделаем это. Прирост промышленного производства составил в 1928—1932 годах не 180 процентов, как рассчитывали спецы, а 100 процентов. Среднегодовые прибавки сравнительно с периодом нэпа упали с 23,8 до 19,4 процента в целом по индустрии, а темпы развития легкой промышленности снизились почти вдвое. Такова официальная статистика.

Мне могут возразить: пусть план не выполнен, пусть темпы индустриального роста замедлились по сравнению с предыдущим периодом, все равно успех был поразительным. Разве плохо всего за четыре года удвоить промышленное производство? Оно бы неплохо, да вопрос в том, как получена эта цифра. Все произведенное в индустрии выражают в рублях (иначе вы не сложите булку с трактором, самолет с электроэнергией), затем сличают объемы производства по годам и получают темп развития. Этот способ достоверен лишь в том случае, если стоимость одной и той же продукции исчислялась все годы в одинаковых ценах. А в первой пятилетке оптовые цены галопировали, что не принималось в расчет. Поэтому объявленные суммарные прибавки производства оказывались завышенными.

Проще всего оценить исполнение первой пятилетки в натуральных показателях. Выплавку чугуна предполагалось довести до 10 миллионов тонн, фактический результат — 6,2 миллиона. Выработка электроэнергии достигла не 22 миллиардов киловатт-часов, а 13,5 миллиарда, производство удобрений — 0,9 миллиона тонн вместо 8 миллионов и т. п. Если сравнить с периодом нэпа (1923—1928 годы), то среднегодовые прибавки выплавки стали уменьшились в 1929—1932 годах с 670 тысяч до 400 тысяч

тонн, выпуск обуви — с 8,5 миллиона до 7,2 миллиона пар в год. Производство тканей прежде ежегодно возрастало на 400 миллионов метров, сахара — на 179 тысяч тонн, а за первую пятилетку выпуск этих товаров, как и ряда других, сократился абсолютно. Как тут понять заявление Сталина о выполнении пятилетки к исходу 1932 года?

Во второй пятилетке первоначально намечали поднять производство электричества до 100 миллиардов киловатт-часов, добычу угля — до 250 миллионов тонн, выплавку чугуна — до 22 миллионов тонн. Эти рубежи были взяты только в 1950-е годы. В 1938—1940 годах индустрия вообще топталась на месте — производство чугуна, стали, проката, цемента, добыча нефти практически не увеличились, а в ряде отраслей наблюдался даже регресс.

Экономист Г. Ханин пересчитал недавно новыми методами важнейшие показатели развития хозяйства в 1928—1941 годах. Оказалось, что национальный доход возрос за этот период не в 5,5 раза, как утверждает статистика, а на 50 процентов, производительность общественного труда — не в 4,3 раза, а на 36 процентов и т. п. В те годы шло бурное строительство предприятий, возникали новые отрасли индустрии. Основные производственные фонды в народном хозяйстве почти удвоились, но одновременно на четверть снизился съём продукции с рубля фондов. Расход материалов на единицу конечного продукта возрос на 25—30 процентов, что существенно обесценило приросты производства в сырьевых отраслях. Именно тогда возникли диспропорции, терзающие нашу экономику еще и сегодня: между тяжелой и легкой промышленностью, между транспортом и остальными отраслями материального производства, между денежными доходами и товарным покрытием их.

Самое тяжелое наследие 30-х годов — разорение сельского хозяйства. В 1929 году Сталин посулил: Советский Союз «через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире». Через три года, как известно, разразился голод, унесший миллионы жизней. Только в 1950 году сбор зерна окончательно превысил уровень, достигнутый при нэпе. В 1933 году сравнительно с 1928 годом поголовье скота сократилось примерно в два раза. Лишь в конце 50-х годов количество крупного рогатого скота и овец достигло уровня 1926 года, да и то благодаря личным подсобным хозяйствам.

Одновременно с разрушением товарного производства объективно потребовалось заменить экономические стимулы к труду грубым принуждением, значительно усилить, как писал журнал «Большевик», ту сторону диктатуры, «которая выражается в применении не ограниченного законом насилия, включая и применение в необходимых случаях террора по отношению к классовым врагам». О насильственном характере коллективизации много уже написано. В марте 1930 года, когда стало ясно, что посевную колхозы сорвут, Сталин выступил со статьей «Головокружение от успехов». Свалив, как обычно, вину за «перегибы» на исполнителей, он разрешил выход из колхозов. Однако вышедшим скот и инвентарь не возвращали, а землю они получали самую неудобную. Впрочем, летом 1930 года Сталин объявил: «Нет больше возврата к старому. Кулачество обречено и будет ликвидировано. Остается лишь один путь, путь колхозов». Годы спустя в одной из бесед он сказал, что в процессе коллективизации были физически уничтожены миллионы крестьян. Истинная цифра до сих пор неизвестна.

Как заметил один мудрый человек, 1929 год справедливо назван годом великого перелома, не сказано лишь перелома чего: станового хребта народа.

В хозяйственном строительстве, в сущности, возродились приемы «военного коммунизма». На выбор конкретных методов безусловно оказала влияние личность вождя. По складу характера Сталин с недоверием относился ко всяким новациям и не пожелал проводить в жизнь блистательный троцкистский план милитаризации труда. Ему была больше по сердцу классическая форма насилия — работа подковных. Ими освоены Кольма и Полярное Приуралье, Сибирь и Казахстан, вздвигнуты Норильск, Воркута, Магадан, построены каналы, проложены северные дороги — всего не перечислишь. В одну из моих журналистских поездок по Северу чудом выживший очевидец рассказал мне, как строили дорогу Котлас—Воркута. В Приполярье работнику надо дать как минимум ватник, валенки, рукавицы. Всего этого не хватало. Заключение использовали здесь две недели — опыт показал, что именно такой срок он способен проработать в той одежде, в какой был взят из дому. Потом его, обмороченного, отправляли догнывать в лагерь, а взамен пригоняли новых «первопроходцев». До недавних пор даже упоминать об этом было нельзя. Сейчас, к счастью, другие вре-

мена. Плотина молчания прорвана. Однако за трагедиями Сергея Мироновича и Николая Ивановича мы не должны забывать страданий Ивана Денисовича. Народ, забывающий свою историю, обречен повторить ее.

Недостатка в лагерной рабочей силе не ощущалось. По закону от 7 августа 1932 года за хищение колхозного добра полагался расстрел, при смягчающих обстоятельствах — десять лет тюрьмы. В конце 1938 года введены вычеты из полочки за опоздание на работу, за три опоздания в течение месяца — под суд. С июня 1940 года под страхом тюрьмы никто не мог самовольно менять место работы, отказываться от сверхурочного труда.

После войны я работал на меланжевом комбинате в Барнауле. Большая часть моих товарищей по общежитию побывала в тюрьме — сажали за кражу обрезка ткани, за драку, да за что угодно. Мой соученик по вечерней школе, работник горвоенкомата, как-то под большим секретом сообщил: около половины призывников имеют судимость. А призывник — это еще мальчишка...

Впрочем, жизнь «вольных» зачастую мало отличалась от быта заключенных и ссыльных. Милая сердцу вятская глухомань долгие годы была местом ссылки. Перед войной и после нее к нам навезли народу из таких краев, о которых многие и не слыхивали. Один из соседних колхозов так и назвали — «Нацмен». Я навсегда благодарен малой моей родине за то, что там просто и естественно проникало в душу драгоценное чувство интернационализма. Свои и ссыльные одинаково работали, одинаково голодали, одинаково остерегались начальства, на одно кладбище везли покойников. Молодежь пережилась, и никого не интересовало, какой коктейль в крови от прысков. Причин для национальной вражды не было, как нет их и сегодня. В общем нашем отечестве мы повязаны и бедами и победами.

Помню, велели поселить в деревне одинокого мужика. С виду татарин, а кто такой, откуда — выпытывать было не принято: раз власти не гонят дальше, значит, человек в своем праве. А он возьми да и помри. Закопали, и вышел у мужиков спор: ставить ли крест? Не по-людски как-то — пустая могила, будто головешку в землю спрятали. Поставили все же, резонно рассудив: в случае чего его бог с нашим богом там, наверху, разберутся...

Не в радость обо всем этом писать — судорога сводит скулы. А надо. Потому надо, что и теперь многие ностальгически сетуют: какой порядок, ах, какой порядок был при великом и мудром — вот бы повторить! Свидетельствую: не так было дело. Подневольный труд во все времена и у всех народов был непроизводительным. В 1937 году, когда страна застыла в страхе, миллионы колхозников не выработали обязательного и, в общем-то, посильного минимума трудодней. Позже таких стали ссылать в необжитые места, что не очень страшило — везде одинаково. Так что не следует оглядываться назад в сегодняшних поисках, хорошего там мало, те истоки не напоят нас, они пересохли либо опоганены.

4

Ныне мы ищем иные стимулы к труду, справедливо полагая, что личный интерес надежнее страха и грубого принуждения. Но как его понимать, личный интерес?

Теперь вроде бы дозволено промышлять от себя. Тема экзотическая, об открытии в столице на Кропоткинской улице кооперативной забегаловки писали в газетах, пожалуй, не меньше, чем о пуске Братской ГЭС. Только вот ведь незадача: прежде чем принять, признать материальные ценности, мы, оказывается, должны выяснить, какими побуждениями руководствовались их создатели. Предполагается, что личный интерес — это одно, а общественный, государственный — совсем иное.

Оно вроде бы и верно. Не частнику решать, что, где и в каком объеме должно производиться. В качестве подспорья большому производству индивидуальные хозяйства полезны, но государство должно дозировать частную инициативу, жестко определять ей границы, чтобы не отвлекались слишком уж большие силы от дел общегосударственного масштаба. А как же с личными интересами? Есть ли для них место? Есть. Они включаются при исполнении планов; надо щедро платить и деньгами и социальными благами тем коллективам, которые вырабатывают запланированную продукцию с наименьшими издержками, наилучшего качества, поставляют ее потребителям точно в срок. Отклонения от плана в худшую сторону наказываются опять-таки рублем. Скажем, за срывы обязательных поставок предусмотрены крупные вычеты из

премиального фонда, вовсе не оплачивается продукция, забракованная государственной приемкой или потребителем, казна не возмещает убытков, если затраты на изделие оказались выше установленной сверху цены. В этих случаях просто нечем будет платить за труд — бракоделы, неряшливые поставщики, транжиры обязаны исправиться, иначе дело может дойти до закрытия предприятия.

Такова одна концепция перестройки. Есть и другая. Согласно ей исторический опыт не выявил особых преимуществ директивного планирования. У всех на виду горестные потери, которые общество несет в строгом соответствии с планом. К примеру, миллиарды и миллиарды истрочены на строительство БАМа, а возить по новой дороге нечего, она приходит в негодность, так и не послужив нам. Или еще: десятилетиями казна щедро отпускала средства на увеличение выпуска комбайнов. Сейчас производим их больше, чем любая другая страна. И что же? По крайней мере треть новехоньких машин не нужна — колхозы и совхозы отказываются их покупать даже за полцены. Это не какие-то казусы. В излишних запасах омертвело на сотни миллиардов рублей всевозможной продукции — она не понадобилась, хотя изготовлена по плану. А с другой стороны — окаянные нехватки товаров как производственного назначения, так и личного потребления.

Примеры можно множить. И дело тут не в ошибках либо неопытности плановиков — время для обретения опыта у них было. Потерпела крах идея, будто можно более или менее детально расписать сверху пропорции и приоритеты в развитии экономики, масштабы производства продукции, хотя бы и наиважнейшей. Это подтверждается не только результатами, но и самими приемами планирования. При определении перспектив плановики тщательно учитывают мировые тенденции развития экономики. Если там, за бугром, стремительно развивается химия, то давайте и мы займемся химизацией, если там электроника в почете — пора и нам за нее взяться. Мы все время оглядываемся, какие шляпки донашивает буржуазия. Но ведь «у них» пропорции и приоритеты складываются не в плановом порядке. И коль скоро мы берем их за образец, то тем самым молчаливо признаем, что существует более эффективный способ регулирования либо саморегулирования экономики, нежели наш. Тогда будем последовательны: директивное планирование не является ни обязательной приметой, ни преимуществом нашей системы хозяйствования. А если так, что даст стимулирование образцового исполнения планов? Наверное, оно сколько-то подогреет рвение к труду, однако этого мало.

Тут требуется новое экономическое мышление. Условимся о простой вещи: любая продукция, любая услуга, удовлетворяющая разумные потребности хоть отдельного человека, хоть предприятия, есть благо независимо от того, произведена она по директиве сверху или по инициативе снизу. Народное хозяйство должно представлять собою комбинацию трех равноправных укладов: хозрасчетные государственные предприятия, кооперативы и частные промыслы. Трудящиеся сами выбирают, в каком секторе они желают работать. Особенно решительно надо допускать частного в убыточные сферы производства и обслуживания (при регламентированном использовании наемного труда). Предприятия торговли, бытового обслуживания, мелкой промышленности можно отдавать в аренду кооперативам. На селе наряду с семейными хозяйствами могут прижиться кооперативы механизаторов — им надо давать столько земли, сколько они способны обработать. Орудия труда предоставляются им в аренду или за выкуп, по их желанию.

Естественно, основным сектором экономики останется государственный. Он тоже должен работать на условиях товарного производства. Это означает соблюдение нескольких очень простых правил. Программа производства не задается свыше, а складывается из заказов потребителей. Распределять продукцию больше не надо — из договора партнеров уже ясно, кому она предназначена. Оптовую цену не назначают — о ней улавливаются между собой продавец и покупатель. Все расходы, в том числе и на развитие производства, погашает коллектив из своих доходов. Уплатили налоги, рассчитались за кредиты — остальное ваше, решайте сами, сколько отчислить на поддержание и расширение производства, сколько раздать на руки.

Короче говоря, новое экономическое мышление предполагает, что каждый кормится как умеет, лишь бы платил налоги из личных или коллективных доходов. Анархия? никоим образом. В этой-то модели как раз и возможен реальный централизм. Он заключается не в тотальном директивном планировании, а в том, что государство на деле направляет развитие хозяйства в нужную сторону.

Маленький пример, из которого многое будет ясно. В социалистической Венгрии государство поддерживает среди прочих программу по автобусам «Икарус». Однако напрямую оно не диктует изготовителю, сколько машин тот обязан изготовить за год или за пятилетие. Применяются окольные приемы: на определенный период уменьшается налог в казну, дается более дешевый кредит, не исключены безвозвратные дотации к заводским капиталовложениям. В том, что такие приемы срабатывают, может убедиться каждый — «Икарусов» прибавляется и на наших улицах. Это и есть централизм на деле: достигнуто задуманное увеличение выпуска данного товара, произошел заранее намеченный структурный сдвиг к производству выгодного для страны продукта.

Мы бы в подобной ситуации, по обыкновению, запланировали прирост в штуках, обязали строителей ввести новые мощности, машиностроителей — поставить дополнительное оборудование... Все вроде учли, а подошел срок, и выясняется, что план сам по себе, жизнь сама по себе. Это не абстрактное предположение. Напомню, что три последних пятилетки не выполнены, причем степень отклонения от плана до последнего времени нарастала. При формальной диктатуре плана хозяйство развивается все более анархично, реальный централизм в управлении ослабевает, мы потеряли контроль над событиями. Сегодня, скажем, американская экономика управляется более централизованно, нежели наша.

Согласитесь, эти суждения звучат довольно непривычно. Отчего? Изменениям в жизни должны предшествовать изменения в сознании. Похоже, тут-то и кроется опасность для перестройки. Радикальный ее вариант, единственно способный оздоровить экономику (и не только экономику), пока трудно укладывается в головы. Слишком глубоко укоренился в нас тот предрассудок, что власть государства над производительными силами — безусловное благо, прямо-таки императивное требование исторического процесса.

Этому предрассудку не семьдесят лет, он гораздо старше.

5

У «военного коммунизма» были свои корни в отечественной истории. И раньше центральная власть в России длительные периоды напрямую распоряжалась всем, что лежало, стояло, ползало, ходило, плавало, летало. Историческая наука — всегда поле сражения. Исполняя социальный заказ, наши историки искали доказательства тому, что именно в такие периоды достигались хозяйственные, военные и всякие прочие успехи. До недавних пор, например, был весьма почитаем Иван Грозный. Исполнитель главной роли в знаменитой эйзенштейновской киноленте Николай Черкасов осветил в мемуарах важные подробности встречи Сталина с деятелями искусства: «Коснувшись ошибок Ивана Грозного, Иосиф Виссарионович отметил, что одна из его ошибок состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных семейств, не довел до конца борьбу с феодалами,— если бы он это сделал, то на Руси не было бы Смутного времени... И затем Иосиф Виссарионович с юмором добавил, что «тут Ивану помешал бог»: Грозный ликвидирует одно семейство феодалов, один боярский род, а потом целый год кается и замаливает «грех», тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее!..»

Цель этих научных упражнений очевидна: надо доказать, что борцу с отжившим строем, в какую бы эпоху он ни действовал, положено ликвидировать своих противников — история не простит мягкотелости. Похоже, некоторые историки и по сей день аккуратно исполняют эти бесценные указания. В вузовском учебнике крепостники-дворяне, служившие опорой Ивану Грозному, объявлены «прогрессивным слоем класса феодалов, с которыми было связано решение важных экономических и политических задач». Подтвердить или опровергнуть подобные мнения можно только анализом отношений собственности начиная с давних времен. Мы увидим, что это разыскание обнажает живые истоки нынешних противоборствующих представлений о путях перемен в обществе.

За целое столетие до эпохи Грозного в отечестве нашем начали складываться производственные отношения предбуржуазного свойства. Крестьянство переходило к товарному производству. Этот процесс шел особенно быстро в вотчинах, то есть на землях тех самых бояр, о недоликвидации которых столетия спустя горевал корифей всех наук. Собственники латифундий сами хозяйством обычно не занимались — они предпо-

читали сдавать землю в аренду крестьянам, причем плату стремились получать не натурой, а деньгами. «Основой народного хозяйства...— пишет о той поре знаток имущественных отношений Ключевский,— остается по-прежнему земледельческий труд вольного крестьянина, работающего на государственной или частной земле». Далее историк поясняет: «Крестьянин договаривался с землевладельцем, как свободное, юридически равноправное с ним лицо». При товарном производстве с его имущественным расслоением возникает рынок рабочей силы. Удачливые хозяева устремляли свои деньги в промыслы и торговлю. Быстро росли города: во второй половине XV века их было около сотни, в середине XVI века — уже 160. «Торговые мужики», то есть богатые крестьяне и купцы, заводят солидные предприятия. В Соль-Вычегодске, например, на соляных варяницах у промышленников Строгановых было больше десяти тысяч наемных работников. На селе множилось число «непашных людей» — ремесленников, работающих на рынок. Так рождалось российское третье сословие, которое при определенном стечении обстоятельств могло направить страну по капиталистическому пути. По типу производственных отношений наша страна тогда не отставала от других держав.

Однако наряду с вотчинным землевладением существовала в ту пору принципиально иная форма собственности — поместья, то есть земли, раздаваемые князьями дворянам. Такие участки были относительно невелики, давались только на срок службы и по наследству не переходили. Поэтому помещик считал более выгодным не сдавать землю арендаторам, а вести собственную запашку, принуждая крестьян к барщине. Поместные дворяне в отличие от вотчинников как раз и были заинтересованы в насильственном прикреплении крестьян к земле, иначе говоря, в крепостном праве.

«Но барщинное хозяйство,— пишет известный исследователь отношений собственности Н. Носов,— хотя и сулило для феодалов наиболее быстрое и эффективное получение товарного хлеба (и именно это делало его в их глазах особенно выгодным), в плане широкой экономической перспективы было более консервативным, чем система денежных рент. Барщина приводила к разорению индивидуального хозяйства крестьян, а главное, подрывала заинтересованность крестьянина в повышении производительности своего труда и товаризации его результатов». «...На рубеже XV—XVI столетий,— продолжает автор,— еще лишь решался вопрос, по какому социально-экономическому пути пойдет Россия,— пути поместно-крепостнического хозяйства, которого добивались и в котором были заинтересованы широкие слои господствующего класса, особенно поместное дворянство, или, наоборот, пути ослабления феодальных связей и широкого развития в городе и деревне свободного мелкотоварного хозяйства. В последнем были заинтересованы горожане и крестьяне. В пользу этого пути склонилась и определенная группа крупных феодалов, связанных с поднимающимся купечеством (как, например, в прошлом новгородские бояре) и рассчитывающих добиться больших экономических выгод за счет городских и крестьянских промыслов и торговли».

Исход борьбы и в этом случае в решающей степени зависел от того, на чью сторону станет власть. При Иване Грозном государство поддержало крепостников. Царь вызвал к жизни и выпестовал карательный корпус — печально знаменитую опричнину (ее сильно хвалил Сталин, как сообщает Н. Черкасов). Опираясь на нее, Грозный экспроприировал, во-первых, наследственную собственность крупных феодалов (а самих их истребил) и, во-вторых, рабочую силу, то есть закрепостил крестьян. Произошло огосударствление производительных сил. Поместье стало основной формой землепользования. Это был поворотный пункт нашей истории. «И если в России в результате «опричнины» и «великой крестьянской порухи» конца XVI в. все-таки победило крепостничество (в сфере социальной и не только крестьянской) и самодержавие (в сфере политической), то это еще не доказывает, что русский народ не мог пойти по другому пути. Но зато это та основная «объективная» причина, которая во многом обусловила экономическую и культурную отсталость крепостнической царской России», — заключает профессор Носов.

Четко сказано, не правда ли? Выходит, не против феодализма боролся сталинский кумир, а за феодализм, против зарождавшегося капиталистического способа производства. Выходит, «прогрессивным» слоем класса феодалов были не крепостники-дворяне, как уверяет нынешний учебник, а те самые «недорезанные» вотчинники.

Экспроприация подданных укрепила самодержавие. Между прочим, это не хуже нас с вами понимал сам Грозный. Терпя военные неудачи, он, как известно, обращал-

ся за помощью к английской королеве. Получив отказ, царь отчитал королеву: «А мы чаяли того, что ты на своем царстве государыня и сама владеешь... Ажно у тебя мимо тебя люди владеют, и не токмо люди, а мужики торговые... А ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая (обыкновенная) девица».

Расплата за реакционный переворот не заставила себя ждать. В результате военных авантур Грозного страна лишилась выхода к Балтийскому морю, потеряла важные города, стала вожделенным объектом интервенций. Хозяйство было разорено дотла. И сегодня обжигают душу горестные документы той эпохи: «В деревне в Кюлакше лук (участок.— В. С.) пуст Игнатка Лутьянова, запустел от опричнины — опричники живот (имущество.— В. С.) пограбили, а скотину засекали, а сам умер, дети неизвестно сбежали... В той же деревне лук пуст Еремейка Афанасова, запустел от опричнины — опричники живот пограбили, а самого убили, детей у него нет... В той же деревне лук пуст Мелентейка, запустел от опричнины — опричники живот пограбили, скотину засекали, сам безвестно сбежал».

Если о Грозном историки все-таки спорят, то достойный продолжатель его дела, царь Петр, оценивается безусловно положительно. Бытует мнение, будто Петр преобразовал Россию по европейским образцам. Эта легенда рушится, едва мы начинаем вникать в тогдашние отношения собственности. Именно при Петре достигнута высшая точка огосударствления производительных сил. К концу его царствования насчитывалась 191 мануфактура, причем 178 из них были основаны при Петре. Ровно половину их построили на средства казны. В металлургии, например, в 1700—1710 годах построили 14 казенных заводов и только два частных. Правда, казенные заводы царь иногда передавал в частные руки или компаниям, но, как замечает Ключевский, «фабрика и компания получили характер государственного учреждения». У промышленности, созданной при Петре, было еще одно отличие от европейской. Свободных рабочих рук в крепостнической стране не существовало, и самодержец решил задачу просто: крестьян стали прикреплять к государственным предприятиям. Мало того, царь отменил закон, по которому крепостными могли владеть только помещики и государство — указом от 18 января 1721 года это право дано купцам. Таким образом, самодержавие перенесло в промышленность традиционные формы крепостничества, рождено нечто в истории невиданное — крепостной рабочий класс.

Когда народное хозяйство рассматривается только как инструмент, орудие войн, даже реальные достижения неизменно оказываются непрочными. Да, при Петре создан флот, одержавший славные победы. Только на Балтике Россия держала 848 кораблей с 28 тысячами экипажа. Но уже через несколько лет после смерти Петра лишь немногие корабли кое-как могли выйти в море. Флот требовался для завоевания прибалтийских земель. Дело сделано — инструмент можно выбросить.

Поучительны судьбы отечественной металлургии. Не так давно публика зачитывалась романом-эссе покойного ныне В. Чивилихина «Память». Автора я знал — одно время наши койки в университетском общежитии стояли рядом. Верный поклонник Сталина, он по логике вещей обожествлял и Петра. Чивилихин пишет: «О металле? Пожалуйста! Общеизвестно, что это — хлеб промышленности, основа экономического развития, и Петр I в числе первых сие понял. Как одержимый он метался по рудным местам России, заряжая своей энергией русских промышленников. В 1702 году Петр передал Никите Демидову казенный Невьянский завод с землями, лесами и горой Благодать. На нем срочно было налажено производство лучших в мире боевых ружей — до ста тысяч штук в год, так что Полтавскую битву выиграли, можно сказать, уральские мастеровые. За исторически короткий срок Демидовы — без телефонов и радио, вездеходов и вертолетов — поставили на Урале двадцать металлургических заводов. Уралу принадлежали мировые рекорды по выплавке чугуна на одну печь, по экономическим показателям расхода топлива и сырья. Демидовское железо — «русский соболь» — пошло в Европу. К 1718 году — за семь лет до смерти Петра — Россия по выплавке чугуна вышла на первое место в мире, оставив позади Англию, Германию, Францию, Америку, не говоря уж о прочих. Мы выплавляли треть всего черного металла планеты! В XVIII веке сама Англия покупала у нас по нескольку миллионов пудов железа в год».

Автор, разумеется, не сообщает, что казенный Невьянский завод был передан Демидову не только «с землями, лесами и горой Благодать», а еще и с крепостными рабочими. От дореволюционных историков мы знаем: на демидовских заводах рудоповов приковывали к тачкам и фактически заживо погребали под землей. Ладно, че-

ловекоматериал — ресурс возобновляемый, бабы еще народят. Но как все-таки понять последующий упадок металлургии? «Потомки Петра,— объясняет В. Чивилихин,— десятилетиями эксплуатировали богатое наследство, но с какого-то времени перестали заботиться о его приумножении». Очень практичное объяснение! Есть одержимый хозяин — есть и успех. Ослабила власть внимание и опеку — дело развалилось. Тут не история, тут злора дня, средоточие нынешних споров...

Весьма квалифицированный исследователь, автор «Русской фабрики» М. Туган-Барановский задолго до В. Чивилихина задавался тем же вопросом, но ответ давал прямо противоположный. Еще в конце XVIII века Россия и Англия выплавляли по 8 миллионов пудов чугуна, а через полвека англичане производили 234 миллиона пудов, наши пращуры — 16 миллионов. «От чего же зависело такое печальное положение нашей железодельной промышленности? — спрашивает историк и отвечает: — Во всяком случае, не от недостатка правительственной помощи и опеки. Железо было одним из наиболее необходимых продуктов для государства. Поэтому правительство не жалело средств... частные горные заводы Уральского округа получили не менее 15 млн. деньгами в ссуду от правительства. Кроме того, к этим заводам были приспаны огромные площади казенной земли и лесов, сотни тысяч крестьян — все это без малейшей платы владельцев заводов. Почему же добыча железа в России не только не возрастала, но сравнительно с населением даже падала? А именно: вследствие избытка правительственной опеки и поддержки».

Имея даровые заводы, даровые рабочие руки, создав аппарат принуждения к труду, наши горнозаводчики в отличие от английских нисколько не заботились о технических усовершенствованиях. «Весь процесс выплавки железа, начиная с рубки леса для доменных печей, перевозки материалов, добычи руды и кончая литьем железных и чугунных изделий, исполнялся рабочим под угрозой суровых наказаний, без всякой надежды на улучшение своего материального положения», — замечает историк. «Пока рабочий на железных заводах работал из-под палки, до тех пор и производительность его труда не могла прогрессировать. Никакие льготы не могли заметить основного условия промышленного прогресса — свободы труда».

Экономический разврат зашел так далеко, что уральской металлургии уж и свобода не помогла. После реформы 1861 года регион приходит в упадок. Почитаем опять М. Туган-Барановского: «Рабочий, получавший даровой провиант и все содержание от заводской администрации, которая удерживала в повиновении многочисленное рабочее население заводов и понуждала его к труду мерами крайней строгости, совершенно отвык от свободной деятельности и первое время после освобождения совсем потерял голову. Получивши возможность бросить тяжелую заводскую работу, с которой соединялось столько ненавистных воспоминаний в прошлом, рабочие целыми массами бросали заводы и переселялись в другие губернии... Бывших заводских рабочих так тянуло бросить постылые заводы, что усадьбы, дома и огороды продавались совершенно за бесценок, а иногда и отдавались задаром». Все это очень напоминает поруху деревень на моей родине. После смерти Сталина голода там уже не было, жить бы да радоваться. Но как только колхозникам начали беспрепятственно выдавать паспорта, деревни буквально обезлюдели — дома и задаром стали никому не нужны.

Вернемся к истории. Исследователь видит беду в государственной опеке хозяйства. Ну а если бы ее не было? Что, дело пошло бы обязательно лучше? На сей счет сама история поставила наглядный экономический эксперимент: на производство сукна, потребного для казенных мундиров, казна не жалела денег, а вот выработка ситца ее не интересовала. Посмотрим, какая подотрасль прогрессировала. Из указа 1740 года можно узнать, что, несмотря на инъекции капитала, строжайшие приказы и регламентации, «сукна мундирные, которые на российских фабриках делаются и на полки употребляются, весьма худы и в носке непрочны...». Указами от 25 ноября 1790 года и 20 ноября 1791 года правительство разделило суконные предприятия на две группы. В первую входили так называемые обязанные фабрики — при учреждении они получали пособие от казны, имели крепостных рабочих и должны были поставлять продукцию государству. Вторая группа — вольные фабрики, созданные на частные деньги и с вольнонаемным персоналом. Вскоре выяснилось, что обязанные фабрики не выполняют планов. Вольные действовали успешнее, но государству от того было мало проку, и вот в 1797 году им запретили свободно продавать сукно — сдавай государству. Поставщика штрафовали за каждый аршин, проданный, как мы сегодня сказали бы, без фондов и нарядов, сукно тут же конфисковывалось. В 1809 году правитель-

ство выделило два миллиона рублей на устройство новых фабрик. Бесполезно — сукна, пусть и скверного, армии не хватало. Лишь в 1816 году государство решилось убраться от опеки над производством, и уже через шесть лет предложение сукна превысило спрос.

А что тем часом происходило с ситчиком? На выработку его казна не давала ни гроша, но зато и не лезла с директивами и ценными указаниями. Производство росло как на дрожжах. В начале XIX века в Иванове действовали хлопчатобумажные предприятия, имевшие по тысяче рабочих и более. Фабриканты наживали «упятеренный рубль на рубль». Старую Россию по сей день пренебрежительно называют ситцевой. А ведь объективно эта отрасль находилась в худших условиях, нежели сукноделие. Сырьем служил заморский хлопок, тогда как шерсть страна даже вывозила. По вольному найму на ситцевых фабриках трудились оброчные крепостные. Помимо стоимости рабочей силы фабрикант так или иначе оплачивал их оброки да сверх того сам, будучи, как правило, крепостным, вносил своему помещику громадный оброк. Прибавочного продукта как источника расширенного воспроизводства, казалось бы, должно было оставаться заведомо меньше, чем на казенных предприятиях с «бесплатной» рабочей силой. А вот поди ж ты...

Великие реформы 1860-х годов создали наконец главное условие для индустриального развития страны — рынок рабочей силы. Благодарная экономика, словно гири с себя стряхнув, круто пошла в гору. Металлургическое производство перемещается с пришедших в упадок уральских заводов на юг страны — там оно действует на новых, чисто капиталистических основах. Если до 1887 года на юге было два завода, то в 1899 году их стало 17, с 29 действующими домами и 12 строящимися. Эти печи были в полтора раза мощнее тогдашних английских. За тринадцать лет (1887—1899) выплавка чугуна в России увеличилась в пять раз — с 32,5 до 165,2 миллиона пудов. Абсолютная прибавка (132,7 миллиона пудов) оказалась выше, чем в любой европейской стране, кроме Германии. Наша страна обогнала по производству чугуна Францию, Бельгию и вышла на четвертое место в мире еще в канун XX века.

Поражают воображение темпы железнодорожного строительства. В 1866—1875 годах в среднем за год протяженность дорог в России увеличивалась на 1520 километров — это вдвое больше теперешних приростов. А за восемь последних лет XIX века ежегодно вводили в строй по 2740 километров магистралей (сейчас примерно столько мы строим за пятилетку).

В 1913 году по объему промышленной продукции наша страна вышла на пятое место в мире и, судя по темпам развития, имела все основания рассчитывать на новые победы в состязании держав. Понятно, темпы выглядят особенно впечатляющими потому, что отсчет шел от невысокого еще уровня. Но и абсолютные прибавки внушительны. Так, в 1911—1913 годах добыча угля увеличилась примерно на 11 миллионов тонн (в 1981—1985 годах, то есть за всю прошлую пятилетку, — на 9,6 миллиона тонн), выплавка чугуна прирастала на 518 тысяч тонн ежегодно, что вполне сопоставимо с теперешними прибавками. Отмечу, что индустрия прогрессировала за счет интенсивных факторов, характерных для товарной экономики. С 1887 по 1908 год промышленная продукция возросла в 3,7 раза, а число рабочих — менее чем вдвое. Как видите, в индустрии мы получили от старой России неплохое наследство.

Историки экономики давно заметили, что Россия всегда больше тяготела к государственному регулированию хозяйства, чем Запад. Этот феномен исследователи оценивают, однако, по-разному. Небезызвестный Ричард Пайпс в объемистой книге «Россия при старом режиме» доказывает, будто начальная с Киевской Руси в нашей стране вообще не бывало частной собственности — князья, а потом цари рассматривали расширяющееся государство как свою вотчину. Господство государевой, а в сущности государственной собственности сформировало, по Пайпсу, стереотип россиянина: люмпен в экономическом смысле, он неизбежно являлся рабом государства в политическом отношении. История России, считает Пайпс, являла собой не развитие, не поступательный процесс, а повторения, вариации одной и той же унылой схемы, наподобие того как это происходило в сонных восточных деспотиях.

Наше разыскание касательно отношений собственности, надеюсь, убедило читателя, что отечественная история не желает укладываться в схему, нарисованную американцем. Он абсолютизировал, распространил на бесконечную череду веков, в общем-то, ограниченные периоды, когда государство действительно пыталось централизовать хозяйственное управление. В то же время анализ опровергает расхожее мнение,

будто в эти периоды наблюдался расцвет производительных сил. Нет, в лучшем случае обеспечивались кратковременные прорывы на узких участках экономики, непосредственно связанных с военными нуждами. Зато когда открывался простор для инициатив снизу, наша экономика развивалась в хорошем темпе.

В отличие от промышленности сельскохозяйственное производство после реформ 1860-х годов долго еще переживало застой. Здесь негативную роль играла знаменитая русская община. Она насаждена сверху или по крайней мере укреплена после опричного переворота Грозного. Как уже говорилось, помещик в отличие от вотчинника не раздавал землю в аренду, а вел барскую запашку руками крепостных. Но как будет кормиться земледелец? При неэффективности подневольного труда даже скромные затраты на его содержание ополовинили бы барский доход. С другой стороны, стоит дать мужику хотя бы небольшой участок, как крестьянин станет на нем выкладываться, сачкуя на барщине. Идеальным решением стала община. Участки, выделенные для прокорма крепостных, принадлежали не семьям, а сельскому обществу, миру, всей деревне. Коллективное землепользование подрезало крылья энергичным и предприимчивым, насаждало унылое и убогое равенство. Но это и являлось целью крепостника — он был заинтересован не в удачливых конкурентах, а в дармовой рабочей силе. Ответственность за барщину несла община в целом — кто увлекался личным хозяйством, за того приходилось работать соседям. Весьма удобной оказалась община и для государства: на нее возлагались налоги и повинности, а уж она раскладывала их на семьи. Подати за крестьянина, пропавшего безвестно, мир платил в складчину, так что мужички получше властей следили друг за другом.

Спор о судьбах общины обрел особую остроту при повороте страны к капиталистическому развитию. Оно и понятно: ведь этот консервативный институт по сути своей враждебен частной собственности, без которой не бывает капитализма. Реформа 1861 года сохранила общину — помещикам было удобно получать выкуп за землю гуртом с мира, а государство справедливо видело в общине условие сохранения самодержавия. Один из реакционных деятелей писал на рубеже веков: «Все, что есть еще на Руси святого, идеального, патриотического, героического, все невидимыми путями истекает именно из общины».

Помещики и царская бюрократия выступали за общину справа. Были у нее, однако, защитники и слева — со стороны социалистов, видевших в общине ячейку будущего коллективистского общества. Эту надежду питали не одни утописты. Ленин в 1902 году заявлял весьма решительно: «...общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всякого посягательства бюрократов» (т. 6, стр. 344).

Но жизнь брала свое: немыслимо было совместить развитие промышленности с застоєм сельского хозяйства. Требование времени лучше всех выразил видный государственный деятель предреволюционной России П. Столыпин. В 1902 году, будучи еще гродненским губернатором, он предупреждал: «Сохранить установившиеся, веками освященные, способы правопользования землей нельзя, так как они выразятся в конце концов экономическим крахом и полным разорением страны». Позднее, уже в качестве главы правительства, в речи перед третьей Государственной думой он так сформулировал свою аграрную программу: «...создание мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление которых правительством считало и считает вопросами бытия русской державы». Любопытно, что Столыпин едва ли не первым ухватил связь между формами собственности и личностными правами: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины — он останется рабом и никакой писанный закон не даст ему блага гражданской свободы».

При отчаянном противодействии справа и слева, отступая и лавируя, глава правительства сумел провести свою программу в жизнь. По оценке Ленина, «Столыпин правильно понял дело: без ломки старого землевладения нельзя обеспечить хозяйственное развитие России. Столыпин и помещики вступили смело на революционный путь, ломая самым беспощадным образом старые порядки, отдавая всецело на поток и разграбление помещикам и кулакам крестьянские массы» (т. 16, стр. 424). Реформы, начатые Столыпиным, набирали ход. К лету 1917 года 62,5 процента крестьянской земли находилось в частной собственности и личном владении, то есть не в общинах.

Уже в канун мировой войны Россия вышла на второе место в мире по экспорту зерна. По мере хозяйственных успехов общественное мнение все более склонялось к столыпинской политике. Известный публицист той поры А. Изгоев (один из авторов знаменитого сборника «Вехи») оптимистично писал: «Теперь уже спор взвешен судьбой. Общинное право бесповоротно осуждено, и все попытки вернуть ему господствующее положение в жизни обречены на неудачу... Россию предстоит реформировать на началах личной собственности, и от энергии, знаний, умения демократических общественных деятелей зависит, чтобы это реформирование совершилось с наибольшими выгодами для крестьянских масс».

Но история рассудила иначе. Спор далеко еще не был взвешен судьбой. После Октябрьской революции взоры преобразователей, отвергших для России капиталистический путь развития, снова обращаются к общине. В годы «военного коммунизма», как мы помним, 50 миллионов гектаров конфисковано у кулаков. Эта земля не была поделена между крестьянами, а попала по преимуществу в общинное пользование. Так были сведены на нет результаты столыпинских реформ, по существу, восстановлены формы землепользования, присущие старой России.

Разумеется, не одни удобства для проведения продрозверстки привлекали в общине — считалось, что в зародыше она содержит будущее коллективное социалистическое хозяйство. Это не мои домыслы. Даже на X съезде партии, где решался вопрос о новой экономической политике, Ленин настаивал на переходе мелких хозяйств «к обобщественному, коллективному, общинному труду» (т. 43, стр. 26). Позднее исследователи не раз подчеркивали преемственную связь между общиной и колхозами. К примеру, советский ученый и организатор науки С. П. Трапезников прямо утверждал: «Советская революция подготовила земельные общества для перехода в высшую форму, превратив их в опорные пункты социалистического преобразования сельского хозяйства страны».

Словом, утопические надежды мыслителей прошлого века на общину оказались не столь уж утопическими. Внезапно проумневший в эмиграции князь В. Львов (некоторое время возглавлявший Временное правительство) писал в брошюре, изданной в 1922 году: «...старое славянофильство и новая советская власть протягивают друг другу руки... Идеализируя общину, славянофилы сами не жили в общине. Если бы они были последовательными, то они пришли бы к советской власти, которая есть общинное управление государством...»

Как представляли себе славянофилы государственный строй России?

В виде самоуправления, в котором преодолена всякая политическая и партийная борьба, а все соединены общей деловой работой во имя единого общего идеала. Разве это не есть цель, которую ставит перед собой советская власть?.. Так, сбросивши броню европейских узорчатых покровов, Россия встает перед миром в новой одежде своего национального бытия и общечеловеческого служения».

Ну вот видите, и князь Львов узрел те же истоки, что и маститые современные ученые. Вдобавок к тому экс-премьер прямо выводит из общинных отношений морально-политическое единство общества как антипод «узорчатой» буржуазной демократии...

История учит: посредством общины никогда не удавалось обеспечить рвение к труду и экономические успехи; равенство, социальная справедливость общинного типа неизменно оборачивались подавлением личности. Преимущества «обобщественного, коллективного, общинного труда» не доказаны и поныне, хотя испробованы, кажется, все мыслимые и немыслимые его варианты.

6

В одной исключительно важной сфере жизни наследие веков особенно плотно наложилось на послереволюционную историю и образовало монолитную стену, которую не удастся пока ни прошибить, ни преодолеть. Это — бюрократическое управление, являющее собой главное препятствие на пути перемен.

Принято считать, что Петр I перенес на русскую почву западные бюрократические образцы. Это не совсем так. Казенными предпринятиями, разумеется, во всех странах управляют государственные служащие, но поскольку при Петре промышленность была по преимуществу государственной, область полномочий российского чиновничества с самого начала оказалась шире, чем на Западе. Берг-коллегия и Мануфактур-кол-

легия (предшественницы хозяйственных министерств) напрямую диктовали номенклатуру продукции, назначали цены. Это понятно — ведь индустрия работала в основном на войну. Мелких ремесленников — и тех не оставили вне сферы централизованного управления. Указом 1722 года их объединили в цехи ради организованного использования для выпуска продукции, которая требовалась армии и флоту. Власть лезла даже в такие хозяйственные дела, где она явно не могла воздействовать на события. Указ 1715 года предписывал удвоять посева льна, конопля, разводите эти культуры во всех губерниях страны (о кукурузе речь пока не шла). Приказчикам помещичьих имений государство через головы номинальных владельцев рассылало инструкции касательно ухода за скотом, сроков сельскохозяйственных работ, удобрения полей, использования при уборке хлеба кос вместо серпов и т. п.

Когда государство безмерно расширяет число объектов управления, бюрократический аппарат разрастается. В петровские времена насчитывалось 905 канцелярий и контор. После смерти Петра четыре его сподвижника (Меншиков, Остерман, Макаров и Волков) засвидетельствовали: «Теперь над крестьянами десять и больше командиров находится вместо того, что прежде был один, а именно: из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских — от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут». При столь сложных структурах немислимо четко поделить сферы влияния, расчертить границы полномочий.

Зачастую одними и теми же делами ведали независимо друг от друга три разветвленных государственных аппарата: военный, гражданский и тайная полиция. В этих условиях объективно необходим верховный арбитр, чьи однозначные указания были бы равно обязательными для любого звена управления. Назовите его императором, диктатором, отцом народов или еще как-то, место его в административной структуре от того не изменится. Даже простые вопросы приходится решать на вершине иерархической пирамиды. Этой особенностью чрезмерно централизованного управления и объясняется тот восхищавший потомков факт, что Петр самолично вникал во все тонкости жизни, писал указы по каждому поводу.

Слом старой государственной машины после Октября 1917 года не означал, что корни бюрократизма вырваны. Опасность, пожалуй, еще и усилилась, поскольку в сферу управления была опять включена вся экономика. Колоссальную работу по регулированию хозяйства, которую, пусть и с огрехами, исполняет в товарном производстве рынок, потребовалось сразу же переложить на управленческий аппарат. Ситуация осложнялась тем, что экономическая модель «военного коммунизма» исключала какую-либо самостоятельность хозяйственных ячеек. Промышленность, например, представляла собою, в сущности, одно сверхпредприятие, управляемое из центра.

Для решения насущных задач приходилось создавать бессчетное количество организаций. Известный экономист той поры Ю. Ларин обозвал тогдашнюю систему хозяйственного управления всероссийским чеквалапством — по имени Чрезвычайной комиссии по валенкам и лаптям (Чеквалап). Важно понять, что при всей анекдотичности подобных учреждений они не могли не возникнуть. Армии и трудовым лагерям требовалась обувь. Но представьте себе посланца центра с чрезвычайными полномочиями на сей счет. У него конкретное задание, и чтобы выполнить его, он постарается снять людей с другого производства, которым, в свою очередь, озабочен другой распорядитель. В итоге объявится нужда в новой, уже сверхчрезвычайной комиссии... Внеэкономическое принуждение к труду требовало аппарата надсмотрщиков. Приплюсуем сюда аппараты для сбора продразверстки, для распределения жизненных благ и множество других.

В. И. Ленин первым понял опасность и объявил войну бюрократии — иначе революция утонула бы в чернилах. Великая заслуга Ильича состоит в том, что он круто повернул страну к нэпу, при котором возникли объективные условия для ограничения бюрократизма. К лету 1922 года в центральных хозяйственных органах из 35 тысяч служащих осталось 8 тысяч, в губернских совнархозах — 18 тысяч из 235 тысяч.

Но уже на излете нэпа, в 1927 году был законодательно изменен статус предприятия. По новому Положению целью предприятия стало исполнение спущенного сверху плана, а не извлечение прибыли, как определялось Положением 1923 года. Вышестоящий орган отныне выдавал задания по строительству, назначал и увольнял администраторов, диктовал цены. С января 1932 года стала быстро формироваться

управленческая вертикаль (наркомат — главк — предприятие), идеально приспособленная к приказному управлению.

С разрушением экономического механизма нэпа место интереса опять заняла директива. Откроем наугад один из сборников постановлений по хозяйственным вопросам. Вот постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома от 1 августа 1940 года «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов». Раздел VII этого документа подробнейшим образом регламентирует уборку табака:

«1. Установить, что уборка табаков должна производиться при наличии полной технической зрелости строго по ярусам, не допуская перезревания табаков, а также сбора незрелых листьев.

2. Обеспечить своевременное и последовательное выполнение работ по уборке табака (ломка, низка, сушка, обработка), не допуская разрыва между этими работами...

4. Провести уборку урожая табаков и махорки в следующие сроки:

а) махорки — не позднее 10 сентября по всем районам, за исключением Алтайского и Красноярского краев и Новосибирской области, где уборку закончить не позднее 1 сентября». И так далее.

Инструкция подписана самим Сталиным, он и в уборке табака знал толк. Директиву надо было размножить, довести до каждого колхоза, проконтролировать исполнение каждого пункта (а все постановление — это целая брошюра), регулярно составлять отчеты... Заметьте еще, что первый пункт может противоречить четвертому: уборку приказано завершить до 10 сентября, а вдруг к тому времени табак не созреет? Наверное, уполномоченный начнет жать на сроки, председатель же колхоза склонен будет подождать. Выходит, надобен третейский судья. Легко представить себе, сколько же служивого люда кормилось около... нет, не уборки табака, а бумаги на сей счет. Не следует видеть в этом примере неочевидности сталинское чудачество. Без бумаги за его подписью, без армии контролеров тогдашний колхозник навряд ли вообще вспомнил бы о табачных плантациях.

Начиная с 30-х годов административный аппарат рос быстрее, чем любая другая группа трудящихся. Десять лет назад одних плановиков и учетчиков у нас было 5,5 миллиона. Сообщая в печати эту цифру, академик Н. Мельников с гордостью добавлял: «Ни одна страна мира не имеет таких кадров...» Сегодня, возможно, весь остальной мир столько «таких кадров» не имеет — только в 1976—1983 годах управленческий персонал возрос на три миллиона душ и перевалил за 17-миллионную отметку.

Когда хозяйственный механизм включал в себя в качестве обязательного элемента внеэкономическое принуждение к труду («подсистему страха», как выразился специалист по управлению Г. Попов), приказное управление сколько-то влияло на жизнь, хотя и тогда действовало с ужасающей неэффективностью. Сегодня же это аппарат, ведающий недостатками, но не ведающий, как их устранить.

В теории управления есть такое понятие: самодостаточная система. Когда организация берет в свои руки непомерные управленческие функции, число администраторов рано или поздно достигает некоторой критической величины и аппарат начинает работать сам на себя: верхи пишут — низы отписывают, все при деле. Реальная жизнь игнорируется, ибо она только мешает хорошо отлаженному механизму. Это нечто вроде черных дыр: есть во Вселенной сгустки материи столь чудовищной плотности, что никакие сигналы не способны вырваться оттуда наружу.

Сфера управления изготавливает ежегодно сто миллиардов листов документов, то есть примерно по листу на душу населения в день. Из них по меньшей мере 90 процентов бумаг бесполезны — их попросту никто не читает.

Сегодня этот уникальный по численности и немощи аппарат занят тем, что перелагает партийные решения о перестройке на язык циркуляров, инструкций, положений. Результат нетрудно предсказать, ибо всего более чиновники озабочены самосохранением, или, что одно и то же, сохранением административных методов управления.

Сложившаяся бюрократическая машина в перестройку не вписывается. Ее можно сломать (такое бывает при революциях снизу), можно упразднить (революция сверху), но нельзя перестроить. В любом случае нужны перемены революционного свойства. Попытки загнать научно-технический прогресс, развитие экономики под мертвящий контроль бюрократов грозят стагнацией хозяйства, упадком державы.

С бюрократами более или менее ясно. А с остальными, со всеми нами? Испол-

зованный в этой статье инструментарий анализа грубоват для того, чтобы исследовать, как устойчивые внешние обстоятельства отразились на внутреннем мире человека, на стереотипах его поведения. А ведь это главнее главного. Не научившись заботиться о казенном (о том пусть у начальства голова болит), мы разучились заботиться о себе. Сформировался тип социального иждивенца.

Теоретически все понимают: разговор о том, что государство предоставляет народу такие-то и такие-то блага — это всего лишь риторическая фигура. У себя в кабинетах оно, родимое, не производит материальных ценностей, и не государство кормит человека, а, напротив, работник содержит государство. А на практике — дай бесплатную квартиру, дай вволю дешевого масла, дай то, дай это, а заодно убери с глаз долой соседа, который решил кормиться сам по себе и живет теперь, сукин сын, лучше меня.

Социальная инертность — оборотная сторона бюрократизма. С точки зрения бюрократа индивидуальный или коллективный доход принадлежит казне, которая может отдать его владельцам полностью или частично, но может и не отдать. Надежда на добрых начальников стала нормой поведения.

Консерватизм бюрократии сомкнулся с настроениями низов, то есть нас с вами. Там — сентиментальные воспоминания о прошлом, тоска по хозяину и порядку, инстинктивное предпочтение привычного, традиционного, попытки грудью закрыть амбразуры, из коих просачиваются новации; здесь — боязнь самостоятельности, ожидание манны с небес. Там и тут — страх перед жизнью, перед суровыми реалиями экономики. В этой обстановке достаточно одной серьезной неудачи — хозяйственной, внешнеполитической, неважно какой, — чтобы морально изолировать реформаторов.

Вот где главная опасность для перестройки. Потерять время — это потерять все. Неторопливое поспешание с переменами не годится хотя бы по чисто управленческим соображениям: любой хозяйственный механизм обладает огромной инерцией, отторгает от себя чужеродные элементы, сколь бы прогрессивны они ни были. Поэтому бесполезно внедрять в сложившуюся систему новые правила одно за другим. Так можно лишь дискредитировать перестройку — вот, мол, годы потрачены на разговоры, а перемен не видно.

История не простит нам, если мы опять упустим свой шанс. Пропасть можно преодолеть одним прыжком, в два уже не получится.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ГЕРМАН ФРАДКИН



«ПОЖЕЛАЙ МНЕ УДАЧИ...»

В 1937 году моего брата Александра Ефимовича Фрадкина, полковника ВВС, репрессировали. Последствия его ареста я ощутил и на себе: меня уволили с работы. Когда началась война, 17 июля 1941 года я ушел добровольцем на фронт с дивизией народного ополчения Ленинградского района Москвы.

Еще без оружия, в штатской одежде мы двигались на запад по Волоколамскому шоссе. Шли, правда, без песен. Больше всего нас угнетали сводки с фронтов и недавнее прощание с близкими. Я много думал о своей жене, которой обещал писать как можно чаще.

Это обещание я выполнил. А она, как оказалось, сохранила многие мои письма. Недавно, разбирая после смерти жены ее бумаги, я обнаружил эту связку писем.

* * *

10.VIII.41.

Олюшка, любимая!

Очень плохо у нас обстоит дело с перепиской. Кроме твоего письма, переданного мне с оказией, я ничего больше не получал. Видимо, в конце концов твои письма дойдут сюда — им трудно угнаться за нашей частью, все время находящейся в движении. От меня ты тоже не часто получаешь весточки. В наших условиях это не так просто сделать. Может быть, теперь эта необходимейшая часть нашего существования наладится...

Я — в больших трудах и переходах. Последний переход — 25 километров по жаре, с вещами и ручным пулеметом на спине — был особенно тяжелым. Всем было трудно, а я как коммунист должен был подавать пример выдержки и выносливости. Это мне-то — с моей мускулатурой. Во всяком случае, дошел и здоров. К концу этого перехода мы были вознаграждены замечательным зрелищем — два наших истребителя среди бела дня гнали на небольшой высоте фашистский бомбардировщик и совсем близко от нас сбили его. Это — за Москву и за многое другое.

Сейчас меня ждет не очень продолжительная, но разносторонняя военная учеба (если обстановка позволит), а затем (если потребуется) боевые дела.

Сейчас сижу на пенке под утренним солнышком и пишу тебе, ожидая, пока будут готовы документы для перехода в другую роту...

Крепко тебя целую, моя жenuшка.

13.VIII.41.

Олюшкин, мой родной!

Пользуюсь любезностью товарища, едущего в Москву, чтобы сообщить тебе, что я в полном порядке и боевой красноармейской готовности...

Я по-прежнему все 24 часа провожу на свежем воздухе, что, как известно, хорошо способствует аппетиту.

С сегодняшнего дня я команду взводом боевых ребят и весь в заботах. Вот я каков!

Пиши мне, моя родная...

19.VIII.41.

Моя родная!

Много удовольствия ты доставила к моему месячному «юбилею» службы в армии. Получил твою замечательную посылочку и открытку от 8.VIII. Посылка является предметом зависти всего командного и рядового состава нашей роты. Во-первых, потому, что весточка из дому, во-вторых, папиросы (мы ведь махорку из козых ножек покуриваем) и, в-третьих, всякие вкусности. С помощью товарищей содержимое посылки быстро тает. Но нет худа без добра — в очередном походе вещевой мешок не будет оттягивать плечи...

Я продолжаю быть отменно здоровым и, как я уже сообщал тебе, быстро делаю военную «карьеру». Насколько мне известно, командование довольно мною — своим новым командиром взвода истребителей-разведчиков, а я доволен своим командованием. Как видишь, жизнь у меня правильная... Сегодня нам выдают первое красноармейское жалованье.

Ну, будь здорова, моя любимая. Обо мне не беспокойся. Я в окружении боевых ребят и сам в боевом настроении, да и умения боевого у меня прибавилось. Крепко тебя целую...

3.IX.41.

...Твое хорошее, мужественное, большевистское письмо, присланное мне с Бельским, очень меня взволновало (оттого, что у меня умная, честная и любящая меня жена) и еще больше подняло мое бодрое настроение.

Конечно, Олюшкин мой, я много и часто думаю о нас с тобой, конечно, я рвусь к тебе, моя любимая, но ты бесконечно права, когда пишешь, что в свете происходящих грозных событий это не самое главное. Наше личное счастье придет вместе со счастьем всей нашей страны после победы над врагом. Я глубоко верю, что это счастье будет, что победа будет и что ждать их не очень долго...

Я не только на новом месте (о нашем переезде в другое направление, подальше от Москвы и поближе к фронту, я писал тебе в двух открыточках), но я и на новом боевом месте. Меня перевели в штаб нашей дивизии.

Итак, мой Олюшкин родной, я здоров, на интересной работе, готов воевать сколько потребуется и уверен, что не за горами наша радостная встреча.

16.X.41.

Моя любимая!

Ты можешь себе представить мое состояние, когда я вчера, вырвавшись с начальством на один день домой (как я об этом мечтал все время!), не застал тебя в Москве. Вместе с тем я рад, что ты уехала с коллективом, что все опасности теперь тебя не коснутся. Я прошу тебя не отчаиваться по поводу нашей неудавшейся встречи и никоим образом не корить себя. Все правильно. Зато мне везет в вещах более существенных. Пусть так будет и впредь. А мы с тобой снова будем ждать встречи, и она будет. После некоторых фронтовых передышек я в полном порядке и здоров. Сегодня уезжаю обратно. Адреса своего пока не знаю.

Тебя очень крепко люблю.

20.X.41.

Моя любимая!

Ты, наверно, уже добралась до Куйбышева и теперь со свойственным тебе хозяйственным рвением налаживаешь жизнь на новом месте. Когда я был в Москве, мне рассказывали всякие страсти насчет того, что ваш эшелон застрял где-то под Москвой, что в этом районе бомбят поезда и т. п. Это очень беспокоило, но хочется думать, что все эти разговоры являются результатом тех настроений, которые были в избытке в этот день в Москве. Ах, как не понравилась мне тогда Москва — суматошная, нервная, беспокойная... Но ты сама понимаешь, что все это — только в моем личном восприятии в связи с тем, что тебя не было в городе. Но об этом мне вспоминать больше не хочется. Уж очень тяжело мне было в этот день. Жалею я особенно, что зашел к нам на квартиру. Уходя я оставил на стене автограф — написал крупно красным карандашом: «Люблю тебя, мой Олюшкин». До чего грустно было мне, Олюшка, ты себе представить не можешь.

Ну да ладно, мой любимый. Теперь меня больше интересует и беспокоит, как ты добралась, все ли благополучно было в пути и как устроилась на новом месте. Прошу тебя не нервничать и беречь себя. Мы с тобой еще чудесно заживем, когда разгромим фашистскую нечисть...

Во всех передрыгах, более или менее серьезных, в которых я побывал, меня, видимо, охраняла твоя большая любовь ко мне. Надеюсь, что и впредь так будет.

29.X.41.

...Я не вешаю головы, несмотря ни на какие испытания и события, которыми чревато будущее. Мы обороняем нашу родную Москву. Настроение здесь неплохое, бодрое и уверенное. Врагу Москву не отдадим, и, наоборот, есть уверенность, что на подступах к Москве он сломает себе голову, и тогда вы все — снова в Москве и мы с вами.

А пока — непрерывное движение, переходы с места на место. Мелькают деревушки, дороги. Несколько дней жили в избе у одной очень радушной колхозницы. Вечером попросил чего-нибудь почитать, и она дала мне полное либретто, с критическим очерком, балета «Спящая красавица» и с иллюстрациями этого спектакля. Весь вечер я наслаждался этой книжицей, перенесшей меня в сладкий, знакомый мне мир. Да простится мне эта маленькая слабость.

15.XI.41.

Моя любимая!

Вчера получил от тебя открытку, писанную тобой по пути в Куйбышев и датированную 16.X.41. Это как раз тот день, когда я приехал в Москву и не застал тебя в ней. И даже сегодня я вспоминаю об этом дне с повышенным сердцебиением. Ты знаешь, что я давно успокоился, и лишь дата твоей открытки напомнила мне этот нехороший день. Я много передумал тогда и пришел к выводу, что этот день был, если хочешь знать, переломным в моем сознании.

Несмотря на то, что до приезда в Москву я был в действующей армии, побывал в переделках и повидал кое-что — у литераторов это называется грозным дыханием войны, — несмотря на все это, строй моих мыслей о Москве, о тебе, о всех вас еще продолжал быть мирным, почти без всяких изменений. Перестройка моего сознания произошла как раз в Москве 16.X.41. Все, все переменялось, все по-другому, друзья и близкие разъехались, город изменил свой облик, квартира пустая. Вот тут-то я, наверное, и понял, что война зашла глубоко и далеко, во все поры нашего существования. Вот что я хотел тебе сказать по поводу этой злосчастной даты. Это не делает чести диалектическому образу моего мышления, но иногда начинаешь понимать все как следует лишь после того, как тебя тряхнет как следует. Так и было со мной.

У нас — полная зима с большими морозами...

8.XII.41.

...я знаю и органически воспринимаю свое пребывание на фронте как вещь естественную, вполне закономерную и совершенно обязательную. У меня ни на минуту не возникает мысли, что в это время я мог бы быть где-нибудь в другом месте. Мое место — здесь.

27.XII.41.

...Мы сейчас двигаемся вперед — на запад, гоним немчуру. Какое чудесное здесь настроение! Одно зрелище пути отступления фашистской сволочи — брошенные машины, оставленные орудия, сгоревшие танки, трупы фрицев — радует глаз и мило сердцу каждого бойца. Наконец-то мы их гоним. Воочию видишь, что остается от этой могучей немецкой военной машины.

Лазил по этим оставленным машинам, собирал документы, письма, книги, журналы. Все это брошено в спешке, на ходу. Обнаруживаешь следы пребывания этой сволочи то в Югославии, то в Париже и т. д.

Хочется, чтобы этот путь отступления наших врагов привел нас к окончательной победе и чтобы это было поскорее.

Вот, Олюшка, какие хорошие дела...

Все события последних шести месяцев настолько были остры, настолько напряженны, вся жизнь наша настолько была полнокровной, что мне порой кажется, что и жить-то я по-настоящему начал совсем недавно. Все, что было до войны, у меня как-то спрессовалось, и в памяти только время нашей с тобой жизни не может поблекнуть

даже на фоне ярких и сильных впечатлений от войны. Все это время все чувства, все ощущения были напряжены до предела, и мне кажется, что я не то вырос, не то мудрее стал, чем это было раньше...

8.II.42.

...Я сейчас нахожусь довольно далеко от Москвы (как приятно писать такие слова), и теперь ни я, ни ты не можем рассчитывать на получение совсем «свежих» писем. Как ты понимаешь, этому обстоятельству можно только радоваться.

Вчера скромно отпраздновал день своего рождения. Предполагалось организовать большое гуляние, но мы снова двинулись вперед, и мои товарищи уже поздно вечером тепло чувствовали мое тридцативосьмилетие. Я знал, что в этот день ты обо мне думала, и потому был в особо хорошем настроении.

Несмотря ни на что, 38 лет мне все-таки исполнилось. Седины, правда, прибавилось, морщинки появились, каких раньше не было, что-то мешки под глазами по утрам обозначаются... Есть у нашего дивизионного начальства патефон с кучей всяких пластинок, и среди них есть одна, которую, если помнишь, без конца заводили наши соседи наверху во время ежевечерних гулянок, — «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу...». Терпеть я ее не мог всегда, а теперь с каким удовольствием прослушал, как много ассоциаций она у меня вызвала...

21.II.42.

...Хотя почтовая связь у нас здесь наладилась, от тебя что-то писем нет. Пару дней тому назад получил твои открытки: одну еще декабрьскую и одну от 17.I.42. Немножко компенсировала отсутствие от тебя вестей одна очень любопытная встреча, которая у меня здесь состоялась.

Довелось мне пару дней тому назад вместе с командованием армии присутствовать при награждении воинов нашей дивизии, и, как водится, после вручения орденов был концерт (Ленинградская бригада актеров Театра им. Горького) и ужин. Во время ужина мое начальство бросило реплику насчет того, что я тоже имею отношение к искусству. Кое-кто заинтересовался этим, и я сказал, что отношение к искусству у меня не прямое, а через жену, которая работает в Большом театре. Слушавший этот разговор член Военного совета армии, дивизионный комиссар, спрашивает: «А можно узнать фамилию вашей жены?» Я отвечаю: «Моисеева». Тогда он встает, протягивает мне руку и говорит: «Ольга Федоровна? Разрешите пожать вашу руку. Она замечательный человек». Я, конечно, был удивлен и спросил, откуда он знает тебя. «Она была у нас в военном округе в мае 1941 года с бригадой Большого театра. Там мы с ней познакомились и подружились. Она очень милый человек»... Ну что тебе сказать? Пили мы с ним за тебя, за наших жен, за встречу в Москве. Чтобы больше не интриговать тебя, сообщаю его фамилию — Лобачев. «Обязательно, — говорит он мне, — напишите ей о нашей встрече, передайте ей привет и попросите ее мне написать, а я ей отвечу». Напиши ему, Олюшка, он очень славный человек, и я ему благодарен за такой теплый разговор о тебе.

Его адрес...

23.II.42.

Олюшка, радость моя!

Поздравляю тебя с 24-й годовщиной Красной Армии. Ты можешь себе представить, какой сегодня праздничный день у нас. В присутствии гостей — представителей Ленинградского района Москвы — нашей дивизии будут вручать гвардейское знамя...

Ты пишешь, что боишься перемен, которые за время войны должны произойти в нас. Не надо этого бояться. Перемены, конечно, будут, и то, что ты это осознаешь, делает честь твоему диалектическому образу мышления, но перемены эти будут к лучшему. Война, конечно, меняет характеры, но такая война, которую мы ведем, война священная, справедливая, освободительная, делает нас лучше, воспитывает в нас отличные большевистские качества. Она воспитывает замечательное поколение советских «рыцарей без страха и упрека». Все то новое, что появится в нас, ни в малейшей мере не убьет нашей нежности, лиричности, внимательности и большой любви к нашим женам, к нашим любимым девушкам. Если я и боюсь перемен, то только во внешнем облике. Но, Олюшкин, разве ты будешь меньше меня любить, если я вернусь к тебе чуть по-

старевшим, с новыми, неизвестными тебе морщинками, с немного большим количеством седых волос в моей шевелюре?

Сегодня утром было тихо, и думал я о нас с тобой. И подумал я, что жалко, что нет у нас с тобой дочки курносой лет этак трех-четырех. И твоё желание взять к нам на воспитание девочку, потерявшую своих родителей, замечательно совпало с моими размышлениями о будущем. Конечно, Олюшка, если тебе это не будет в тягость, надо взять ребенка. Любить мы его будем крепко и воспитаем из нее хорошего человека.

Вот и будет у гвардейца дочка.

Спрашиваешь ты, как выглядим мы, гвардейцы. Конечно, и внешний вид у нас лучше стал — подтянутости больше, не то что ополченцы первых дней войны. Но самое главное заключается в том, что простые советские люди — наши бойцы — сумели найти в себе мужество, храбрость, самоотверженность, чтобы в великой битве за Москву отстоять ее, не пустить в нее врага и бить этого врага до сих пор...

26.II.42.

...Я уже несколько дней в пути. Как приятно двигаться на запад. Опять я воочию вижу, как обширна наша земля, как нет ей конца и края. Можно читать много книг о нашей Родине, о ее просторах, можно долго изучать ее географию, но для того, чтобы реально представить себе беспредельную ширь нашей страны, надо поездить по ней и повидать ее. Сейчас проезжаем по безлесным, степным районам, и потому, что все покрыто снегом, пространства кажутся все обширнее и необъятнее. Очень неуютно должны себя чувствовать отступающие фрицы в этом снежном океане. Воистину каждый из них должен ощущать себя затерянным в снежных просторах России. А морозы вот уже сколько дней стоят лютые.

Вчера наблюдал картину величественную и почти мистическую. Ехали мы в конце дня. Степь, поля и снега, снега без конца. Горизонт в морозной дымке, и все бело до боли в глазах; куда ни глянь — снег. А на горизонте садится солнце — большое, багровое и какое-то грозное. Можно представить себе моральное состояние замерзающих фашистов на фоне этого пейзажа. А наши бойцы одеты тепло, они хотя и кричат на морозце, но желают, чтобы он был еще лютее — фрицам на погибель.

Сейчас, покуда мы движемся, дел не очень много и есть возможность кое о чем поразмыслить и кое-что понаблюдать.

Очень благодарен тебе за стихи Симонова «Жди меня». Довелось мне читать их в свое время. Подумал я тогда: не худо бы послать их тебе, — но не до того было в то время. Они и в самом деле замечательны, и замечательны тем, что чудесно отражают наши мысли и чувства, когда мы думаем о близких нашему сердцу людях. Так жди меня!

Когда будет наша встреча, я не знаю, но твердо знаю, что будет. Вот только не уверен я, что встречу со стариком Волиным. Видимо, он все-таки попал в беду. Все же не хочу терять надежды — тешу себя мыслью, что он где-нибудь в тылу врага партизанит и доставляет много неприятностей фрицам и гансам. Будем ждать. Ты права, когда пишешь, что творчество Эренбурга и Ефимова стало ярче и острее в последнее время.

Завидую тебе, что слушала ты 7-ю симфонию Шостаковича. Читал о ней статью Алексея Толстого. Вероятно, это действительно великая музыка. Как бы хотелось ее послушать вместе с тобой...

Я не всегда имею возможность писать тебе так часто, как мне этого хотелось бы. Хотя я и знаю, что мои письма доставляют тебе много радости и успокаивают твоё сердечко. Но фронт есть фронт, и не всегда я могу найти время и место для письма.

Ну, моя радость, крепко тебя обнимаю.

9.III.42.

...Вчера целый день очень хотелось написать тебе, поздравить тебя с днем 8 Марта, но мне это никак не удалось, потому что снова в движении и снова — на запад. Мы так считали, что раз мы в этот день двигались на запад, то это лучший подарок нашим женам.

У нас уже несколько дней стоят солнечные, чуть морозные дни, с крыш уже капает, и у домов возле крылец появляются небольшие лужицы. Вот и сегодня такой же солнечный день, и снег лежит на полях ослепительно белый.

Хорошо бы в такой весенний солнечный день в какое-нибудь воскресенье пройтись с тобой по московским улицам... Я бы еще немного с удовольствием помечтал, но воздух сегодняшнего солнечного дня насыщен артиллерийской канонадой и пулеметной стрекотней, и нельзя себя размагничивать такими мечтами.

Из изложенного ты можешь судить, что я, как и был, остался немножко сентиментальным. Перемен не произошло.

А вот лексикон мой действительно изменился и стал, я бы сказал, по-военному лаконичен и выразителен. Я не говорю теперь «правильно» или «верно», а говорю «точно»; не говорю, скажем, «хорошо сделано» или «это правильная мысль», а говорю «толково», а когда я вижу, что приказание выполнено, то говорю одно слово — «порядок». Не уверен, что это к лучшему. Я надеюсь, что ты за эти перемены меня корить не будешь.

Будь обязательно здоровой, мой любимый человек...

17.III.42.

...Сегодня восемь месяцев как мы расстались. Эта дата вошла в нашу жизнь как одна из самых волнующих, серьезных дат, как большая веха в нашей с тобой жизни.

Когда мы 17 июля прошлого года сидели с тобой на крыльчке школы, у которой был назначен сбор ополченцев, и говорили о вещах, не очень существенных, когда ты, утомленная и взволнованная, затем шла рядом с нашей колонной и когда мы свернули налево, на Волоколамское шоссе, и ты, оставшись, махала мне на прощанье рукой,— мы тогда не думали и не могли предполагать, что расстанемся надолго и что эти месяцы будут такими большими, такими значительными по своему содержанию. Но когда я думаю, а что бы я говорил своей любимой, если бы я знал, что уйду надолго, далеко и в неизвестное, я отвечаю себе. Я бы говорил ей то, что писал все эти восемь месяцев... Этот день — 17 июля — знаменательный день еще и по тем сильным впечатлениям, которые я получил тогда от большой массы москвичей, оставивших свои дома и добровольно пошедших защищать Родину. Пусть мы тогда не думали, что скоро будем на фронте, пусть эта масса еще не была сколочена в крепкий кулак, но это были люди-патриоты, по духу своему будущие гвардейцы.

Я с нетерпением жду другой, еще более значительной даты, которая останется у нас в сердце на всю жизнь,— даты нашей с тобой встречи после победы...

3.IV.42.

...Я все жду твоего письма с сообщением, что ты наконец получила кучу моих посланий, но пока от тебя ничего нет. Я так ценю твое спокойствие и так хочу доставить тебе радость, что меня серьезно огорчает все это недоразумение с задержкой моей корреспонденции. Конечно, ты меня разбаловала частыми письмами, и немного смешно здесь, на фронте, огорчаться, что три или четыре дня нет писем от любимой. Но факт остается фактом, и слава богу, что у нас с тобой нет более серьезных огорчений.

У меня пока новостей нет, работы очень много, и дни идут быстро. Продолжаем нажимать на фрицев, которые огрызаются, но вынуждены отходить, а иногда и бежать на запад. Сегодня довелось мне говорить с одним из них, сдавшимся в плен.

Мальчишка с усиками и бачками, сын торговца, сосунок. Понятия не имеет, за что воюет. Одним словом — дерьмо, типичный «курятник». Не думай, Олюшка, что все они такие. Этой сволочи поубавилось порядком; но и осталось еще довольно много, и кусаться они еще могут больно. На днях я едва не испытал на себе их злобные укусы. Ничего — обошлось.

В последние дни почему-то мне часто вспоминаются всякие пустяки. Детярный пер., д. 8, где ты работала на эвакуационном пункте, как я заходил к тебе, как вечером сидели во дворе на скамеечке. Вспоминал первую воздушную тревогу в Москве, как я «спасал» нашу кошку Ксюху. Пожалуй, скоро год будет всем этим делам. Я настроил себя на более или менее длительный срок нашей разлуки. Придется еще повоевать, прежде чем эта чума окончательно будет ликвидирована.

Я люблю тебя, и это в немалой степени дает мне силы и энергию на фронте, это подтягивает меня... А ты не забывай, что ты жена гвардейца. Это тоже чего-нибудь да стоит. Так будь здоровой, мой верный дружок.

9.IV.42.

...Я иногда пытаюсь как бы со стороны прочесть твои письма ко мне, да и свои тоже, и горжусь тем, что мы через все 15 лет нашей жизни сумели пронести такую большую, чистую и преданную любовь друг к другу. А за время войны она заблестала еще какими-то новыми, свежими и яркими красками.

Мне пока ничего не нужно, кроме твоих частых и любящих писем. Но если и будут перерывы в нашей связи, я теперь беспокоиться не буду. У нас здесь есть ходкое слово в случае, когда мы испытываем серьезные сложности или неудобства, — «война». Вот если и будет большая пауза в получении от тебя вестей, я скажу: «война» — и буду терпеливо ждать. Но ты, Олюшка, пиши мне все-таки аккуратно, регулярно. Практика показала, что твои письма рано или поздно приходят и доставляют мне радость. Бывает, что читаю я их в часы затишья, а случается, что твои ласковые слова входят в мое сознание одновременно с грохотом артиллерийской канонады. Что ж — война.

Сегодня у нас ветреный и сумрачный весенний день. На полях снег еще лежит довольно глубокий, но в деревнях и на дорогах он уже сошел, много черных проталин, и теперь со всей ужасающей неприглядностью проступают следы немецкого пребывания — остатки деревень, пожарища, разрушения и другие следы фашистского «хозяйничания». Хочется скорей настоящего весеннего тепла и новой, молодой зелени, которая должна закрыть все эти раны, нанесенные жестокой рукой захватчиков. Вообще хочется поторопить время, приблизить час победы нашей и нашей встречи с тобой.

Если я часто призываю час победы и час встречи — это не значит, что я устал воевать. Совсе нет. Так много еще нужно сделать, так много еще земли нашей под немцем, что никто из нас и не думает пожаловаться на усталость. Трудно бывает, это верно, но... ведь война...

19.IV.42.

Олюшкин, дружок мой!

Сегодня чудесный весенний день, вокруг относительно тихо, и солнышко ласково припекает мою седую голову. А какие в ней мысли и видения бродят в это время? Иногда проскользнет почему-то какая-нибудь московская улица в такой же весенний солнечный день — то угол Петровки и Петровских ворот, то Никитские ворота, где в киосках и с рук продаются мимоза пахучая, подснежники и другие первые цветы...

Ни разрушенная и полусожженная немцами деревня, где я нахожусь, ни другие следы войны, которых так много на нашем пути, ни близость фрицев, ни перспектива жестоких и трудных еще, вероятно, боев не мешают мне видеть и ощущать тот час, когда в такой же прекрасный день, будь то летом или осенью, я вместе с тобой буду дышать победным и уже мирным воздухом нашей страны. Мы будем счастливы тогда, как никогда не были счастливы в нашей чудесной и счастливой жизни.

21.IV.42.

...Я тебе уже писал, что у нас здесь полная весна. Несколько последних дней пропитаны весенним ласковым солнышком, дует мягкий, чуть прохладный ветер, удивительно свежий. Вчера мне довелось идти по делам в соседнюю деревню, километров за семь от той, где мы находимся. Шел я налегке со своим автоматом на плече, в стеганой куртке. Местность здесь безлесная, но неровная — то высотки, то лощины. Солнце чудесно грело, ручьи журчали, и жаворонки оглашали окрестности своим пением. Этот мирный весенний пейзаж нарушался то и дело либо пулеметной трескотней, либо звуками взрывов снарядов, а то и тем и другим вместе.

Отвлечься от войны, даже с помощью весеннего пейзажа, здесь трудно потому, что весь путь усеян разными признаками недавно шедших здесь боев. Вся дорога усеяна осколками снарядов и мин, пустыми гильзами, то и дело встречаются остовы разбитых и сгоревших машин, трупы лошадей, обломки повозок. А так как место тут открытое, то стоит подняться на высотку — и видишь все деревни на много километров вокруг, в том числе и те, где еще находятся (пока) немцы. Если я тебе писал, что в голове бродят невоенные мысли, это не значит, что я сознательно стремлюсь отвлечься от войны и от всего, что с ней связано. Совсе нет. В сознании так глубоко сидит мысль о необходимости весной и летом дождать противника, что просто невозможно появление сколько-нибудь серьезных невоенных настроений. Ты понимаешь, дружок, что это не только ко мне относится. Несмотря на то, что зима была достаточно тяжелой, ни у кого из бойцов или командиров я не заметил ни тени усталости от войны.

Есть острое и настойчивое стремление поскорее ее закончить, но при обязательном условии — окончательно выгнать фрицев из нашей страны... Скоро Первое мая. Поздравляю тебя с этим великим праздником нашим.

К Первому мая ждем снова гостей из Москвы и актеров. Читал я, будто и ваш театр на эти дни посылает бригаду на фронт. А что, если... и думать боязно, что ты могла бы быть в составе этой бригады и что она могла бы попасть на наш фронт обслу́живать наши гвардейские части. Видишь, сколько здесь этих «бы». Их всех не преодолешь. Такого везенья не бывает. Только что сообщили, что прибыла почта. Стало веселее, так как есть большая вероятность получить от тебя письмо. Буду ждать нашего письмоносца.

29.IV.42.

...Вдруг вчера получил твою открытку от 14.4.42. Это первая весенняя ласточка. Вслед за ней жду теперь целую стаю твоих писем, несущих мне теплоту, добрые вести и любовь. Почта к нам еще не приходит, и этот случайный и неожиданный твой привет мне тем более дорог. Погода здешняя не способствует установлению дорог и, следовательно, нормальной работе почты. После нескольких хороших, теплых, по-настоящему весенних дней теперь идет мокрый снег и свирепствует холодный северный ветер. Но это наверняка ненадолго.

Ты, может быть, читала в «Правде» от 21 апреля очень хороший рассказ Л. Соболева — «Голубой шарф»... Там есть одно место, которое я перечитал дважды. Это описание состояния героя рассказа, когда он попал к себе домой во время войны и никого дома не застал. Читал я это место и снова волновался. Волновалась, вероятно, и ты, вспоминая мое неудачное посещение нашей обители в октябре прошлого года — на следующий день после того, как ты уехала с театром в Куйбышев.

Забыл, Олюшка, поздравить тебя с присвоением Сталинской премии поэту К. Симонову. Он ее заслужил, и правильно было сказано в одной из статей о нем, что его стихи пользуются любовью в Красной Армии. Многие командиры и красноармейцы носят в нагрудном кармане гимнастерок его стихотворение «Жди меня». Хотел бы я только поскорее прочитать его стихотворение на тему «Радость возвращения», «Встреча с любимой» или что-нибудь в таком духе. Это, вероятно, все-таки скоро будет, ибо наш весенний удар по фрицам будет злее и крепче, чем это было зимой.

16.V.42.

...Я писал тебе в последнее время мало. Надеюсь, что тебя это не беспокоило. Сейчас у нас горячие дни, и, право, трудно было мне урвать время для таких частых писем, как это было раньше.

От твоих писем веет ароматом весны, солнечным теплом. Сегодня шел лесом, уже одевшимся в ажурную молодую зелень, с радостью увидел фиалки, нарвал букетик и посвятил его тебе.

Милый мой дружок, ты пишешь замечательные письма, и день ото дня они лучше, тоньше и умнее. День ото дня в них все больше любви и нежности. Я полон к тебе самой преданной любви, гвардейской верности. Если будет заминка с письмами, очень прошу не беспокоиться.

Крепко тебя обнимаю, родную...

19.VII.42.

...Сейчас у меня много забот, и я не могу писать так часто, как хотелось бы. Даже 17 июля — в годовщину моего пребывания на фронте — я не смог найти времени, чтобы поговорить с тобой, моя родная. Что же мне все-таки хотелось сказать тебе в этот день? Прежде всего чувствую я себя превосходно, чтобы и впредь с пользой быть на фронте — на своем месте. Это был, пожалуй, редкий год, когда я могу с удовлетворением сказать себе, что он прошел недаром, что я отдал все что мог и сам многое получил...

24.VII.42.

Олюшка, мой милый дружок!

Вчера получил твое чудесное «юбилейное» письмо. Какие хорошие мысли и чув-

ства в нем! Это письмо было немедленно прочитано в кругу моих фронтовых друзей и получило всеобщее одобрение. После нашего с тобой свидания¹ я ощутил замечательное состояние, я тебе рассказал все, что нужно было, ты меня поняла, и теперь я спокоен, ибо знаю, что ты в курсе моих мыслей, настроений и моего состояния. Одним словом, ты меня знаешь теперь как воина.

21.VIII.42.

...У нас нынче время очень горячее и сложное. Перебазировались мы в места не очень далекие от тех, где находились раньше, но боевая жизнь наша теперь значительно больше насыщена сражениями, схватками и крупными боями.

Я тебе уже черкнул пару строк насчет передря, в которых мне 18-го и 19-го довелось побывать. Сейчас наши дела неплохи, и фрицы теряют много крови и техники. Вчера снова по заданию ездил по разным местам. Ты знаешь, каковы места в нашем расположении Немного лесов, много полей, высотки, с которых открываются далеко лежащие впереди деревни, дороги и рощицы. И вот вчера в жаркий августовский день я въехал верхом на лошади на такую высотку, и передо мной открылась величественная и грозная панорама войны. Горизонт застлан дымом пожаров, то тут, то там вспыхивают облака от разрывов снарядов, в воздухе — непрерывный гул канонады и рев самолетов, грохот бомбежек.

По дорогам мчатся в клубах пыли танки, автомашины, мотоциклисты... Вдруг при дуновении ветра тебя обдает волной запах полыни и клевера, идущий с нескошенных лугов. Такой сладкий и мирный запах. Поразительно, как природа умеет жить своей самостоятельной жизнью. Но война есть война, и покуда я, выполнив задание, на обратном пути созерцал это грозное зрелище, я не заметил, как надо мной появилась пресловутая «рама» — самолет-разведчик, который стал обстреливать меня из пулемета. Но любовь твоя меня бережет... Вот, мой дружок, небольшой фронтовой очерк от твоего специального военного корреспондента. Но я не такой уж герой. Нечего греха таить, 18-го и 19-го было здорово страшновато временами... Одним словом, бьем фрицев основательно и верим в победу. Пожелай мне и в дальнейшем удачи, побед и люби меня крепко.

Крепко тебя целую, родная моя.

¹ В июле 1942 года моя жена Ольга Федоровна Моисеева, в ту пору артистка балета Большого театра, приезжала с бригадой актеров в расположение нашей дивизии, где они давали концерты.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ф. И. ШАЛЯПИН



МАСКА И ДУША

МОИ СОРОК ЛЕТ НА ТЕАТРАХ

Главы из книги

Нынешний год по праву может называться шаляпинским 13 февраля исполнилось сто пятнадцать лет со дня рождения, а 12 апреля пятьдесят лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина. Открылись выставки, состоялись концерты, вечера памяти великого артиста; в Казани, где родился певец, прошел традиционный оперный фестиваль. Скоро откроется Дом-музей Шаляпина в Москве на улице Чайковского, бывшем Новинском бульваре. Библиографической редкостью мгновенно становятся книги о Шаляпине и его собственные воспоминания, не раз печатавшиеся большими тиражами.

Книга Ф. И. Шаляпина «Маска и душа», вышедшая на русском языке в Париже в 1932 году, до середины 50-х годов почти не упоминалась в советской литературе. Нашему читателю она стала известна после выхода из печати сборника «Федор Иванович Шаляпин», составленного и отредактированного Е. А. Грошевой¹. Опубликованные в нем главы из книги составили примерно половину ее общего объема. В таком виде «Маска и душа» печаталась и в последующих переизданиях в 1960 и 1976 годах, а также выходила в периферийных издательствах. Что же касается неопубликованной части книги, то небольшие цитаты, редкие ссылки на нее можно обнаружить в «Летописи жизни и творчества Ф. И. Шаляпина»², в некоторых популярных и научных изданиях.

Нужно ли говорить о том, что половинчатая книга создает и крайне одностороннее представление об ее авторе, разрушает единство замысла и композицию повествования, нарушает последовательность и интерпретацию событий, искажает оценки описываемых явлений, характеристики людей и т. д. и т. п.? Думается, настала пора дать читателю возможность увидеть доселе неизвестные ему части литературного произведения Ф. И. Шаляпина и тем самым способствовать утверждению объемного взгляда на личность артиста, не скрывая всей сложности и противоречивости его незаурядной натуры. Вспомним, что писал о нем М. Горький: «Ф. Шаляпин — лицо символическое; это удивительно целостный образ демократической России, это человечье, воплотивший в себе все хорошее и талантливое нашего народа, а также многое дурное его. Такие люди, каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ!»

«Новый мир» не впервые знакомит читателей с неизвестными материалами о жизни Шаляпина. В 1986 году журнал поместил письма Горького³ Шаляпину, которые сын певца Федор Федорович, проживавший в ту пору в Риме, передал публикатору Н. А. Паклину. Речь в этих письмах шла о переиздании в 20-х годах первой книги Шаляпина «Страницы из моей жизни», написанной при непосредственном участии Горького и опубликованной им в петроградском журнале «Летопись» в 1916—1917 годах.

Известно, какую огромную роль в жизни Шаляпина сыграла его дружба с Горьким. В книге «Маска и душа» этой важной теме отведено немалое место. Можно с уверенностью сказать, что если бы Горький в свое время не содействовал появлению «Страниц из моей жизни», то в более поздние годы Шаляпин вряд ли рискнул бы приступить к такому сочинению, как «Маска и душа».

Интерес современных к жизни двух великих художников, вышедших из глубочайших социальных низов, всегда был огромен. Уже с конца прошлого века Шаляпину и Горькому приходилось постоянно опровергать досужие выдумки разного рода доброхотов-биографов. Намерение певца самому написать книгу сильно встревожило Алексея Максимовича. «...ты затеваешь дело серьезное, дело важное и общезначимое, т. е. интересное не только для нас, русских, но и вообще для всего культурного — особенно же артистического — мира! Понятно это тебе? Дело это требует отношения глубокого, его нельзя строить «через пень — колода». <...>

¹ «Федор Иванович Шаляпин». В 2-х томах. М. 1957—1958.

² «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина». В 2-х книгах. Составители Ю. Котляров, В. Гармаш. Л. 1984—1985.

³ «Неизвестные письма М. Горького» («Новый мир», 1986 № 1).

Ах, черт тебя возьми, ужасно я боюсь, что не поймешь ты национально-го-то, русского-то значения автобиографии твоей! Дорогой мой, закрой на час глаза, подумай! Погляди пристально — да увидишь в равнине серой и пустой богатырскую некую фигуру гениального мужика! — писал Горький.

«Страницы из моей жизни», их содержание и направленность нельзя рассматривать в отрыве от художественных исканий Горького начала века, изолированно от его собственной работы над автобиографическими сочинениями. И в шаляпинской книге отражена горьковская концепция личности, активности ее отношений с миром. Если Алексей Пешков последовательно шел к осознанию собственной жизненной позиции, то аналогичный путь с упорством и энергией совершал герой «Страниц из моей жизни» Федор Шаляпин.

Публикуя «Страницы..» в «Летописи», Горький предварил их редакционной врезкой, в которой напоминал о спектаклях и концертах Шаляпина для рабочих, давал оценку его творчеству. «В глазах редакции его автобиография, рассказанная им устно М. Горькому и обработанная этим последним в форме художественного произведения, является ценным и поучительным документом из истории русской жизни, русского искусства»⁴.

Дружба Горького и Шаляпина длилась три десятилетия. Последний раз они встретились 18 апреля 1929 года в Риме. Горький специально приезжал из Сорренто на спектакль «Борис Годунов», который шел с участием Шаляпина в главной роли на сцене итальянской Королевской оперы. После театра собрались в таверне «Библиотека». «Все были в очень хорошем настроении, — вспоминала Е. П. Пешкова. — Алексей Максимович и Максим (сын Горького. — *Прим. публ.*) много интересного рассказывали о Советском Союзе, отвечали на массу вопросов, в заключение Алексей Максимович сказал Федору Ивановичу: „Поезжай на родину, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей, интерес их к тебе огромен, увидев, ты захочешь остаться там, я уверен“».

Статья Шаляпина «Об А. М. Горьком», опубликованная в парижских газетах в качестве некролога в 1936 году, завершалась словами: «Тут не место говорить о том, почему я тогда отказался следовать увещаниям Горького. Честно скажу, что до сих пор не знаю, кто из нас был прав, но я знаю твердо, что это был голос любви и ко мне и к России».

«Маска и душа» написана зрелым мастером, свидетелем глобальных социальных перемен, грандиозных исторических событий, умным, образованным, владеющим литературным пером человеком, имеющим собственные взгляды на историю, на искусство, на жизнь. Судьба сводила Шаляпина с людьми очень разными — простыми, выдающимися, великими. Ремесленники-мастеровые, церковные певчие, крестьяне, чиновники, солдаты, рабочие, студенты, музыканты, артисты, литераторы, художники, ученые, купцы, промышленники, меценаты, придворные вельможи, князья, короли, императоры, главы государств и правительств, политические и общественные деятели, революционеры, мыслители, предприниматели, наконец, многочисленные поклонники его таланта — все они проходили перед глазами читателя. Поразительное умение Шаляпина зорко увидеть в каждом человеке скрытые черты своеобразия, рассмотреть внутреннюю сущность, индивидуальность было замечено многими его современниками.

Шаляпин — фигура мирового масштаба — занимал весьма значимое место в культурном и социальном сознании общества. Он был близок многим передовым культурным начинаниям. Сам активный реформатор искусства, он мечтает о создании своего театра. После 1917 года артист увлечен новыми, революционными идеями, социальными преобразованиями, участвует в разного рода комиссиях, советах, жюри, выступает на митингах, собраниях, спектаклях и концертах в пользу рабочих организаций. В глазах самой широкой демократической общественности мнение певца обретает высочайший авторитет, и потому неудивительно, что имя Шаляпина стоит не только на многих документах, способствующих становлению нового, советского искусства, но и на политических декларациях. Вместе с Горьким артист подписывает в 1921 году воззвание к гражданам Америки — два известных миру художника призывали рядовых американцев помочь русским детям хлебом и медикаментами. 6 августа 1921 года «Известия» опубликовали письмо Шаляпина «На помощь!», зовущее спасти голодающих Поволжья. Оно было перепечатано многими газетами. Так художественный авторитет Шаляпина неизбежно перерастал в авторитет гражданский, и потому множество печатных изданий разных направлений стремились написать о Шаляпине, получить интервью, напечатать его высказывания об искусстве, о современной ситуации в стране. А каждое выступление артиста перед публичной рассматривалось как общественная акция — для кого поет Шаляпин? Антисоветски настроенная газета «Новый вечерний час» злобно комментировала участие в концерте памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург: «Русский актер братается с пролетариатом... Шаляпин поет в честь Карла Маркса». Зато «Известия» с удовлетворением подчеркивали выступление певца в концерте для делегатов VII съезда Советов, на котором присутствовали В. И. Ленин, М. И. Калинин, А. В. Луначарский: «Центром особого внимания был, конечно, Ф. И. Шаляпин».

На гастролях за границей журналисты также обращались к Шаляпину прежде всего с вопросами политического характера. Одно из первых интервью певца напечатала берлинская газета «Накануне» 15 сентября 1922 года. «Разговор был политический, — подчеркивал журналист, — о приятии или неприятии советской власти. „Я — русский, — заявил Шаляпин, — Я люблю Россию <...> Я, видите ли, самого-то этого слова — „приятлю“ — не понимаю. Что это значит: „приятлю“? Как можно не „приятль“ Рос-

⁴ «Летопись», 1916. № 12, стр. 9.

сию? <...> Но если уж вы на этом слове — «приемлю» — настаиваете, то — да, конечно, я приемлю советскую власть. Как же иначе? Как можно не принять? Ведь ежели не принять, так, значит, из России бежать надо,— а я из России бежать не могу...»⁶

Осмыслить логику развития революционного процесса в России, сложность и противоречивость подчас резких его проявлений было непросто даже пролетарскому писателю Горькому, не говоря уже о многих других представителях русской передовой интеллигенции. Ленин отчетливо понимал эти трудности, он настаивал на выезде Горького, Короленко за границу. 31 июля 1919 года Ленин писал Горькому: «Как и в Ваших разговорах, в Вашем письме — сумма больших впечатлений, доводящих Вас до больших выводов... Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника,— в Питере можно работать политику, но Вы не политик. Сегодня — зря разбитые стекла, завтра — выстрелы и вопли из тюрьмы, потом обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих, затем миллионы впечатлений от интеллигенции, столичной интеллигенции без столицы, потом сотни жалоб от обиженных, в свободное от редакторства время, никакого строительства жизни видеть *нельзя* (оно идет по-особому и меньше всего в Питере), — как тут не довести себя до того, что жить весьма противно... Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально изменить обстановку, и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно»⁶.

Сходные настроения с Горьким переживал и Шалапин. 22 сентября 1918 года певец писал Иоле Игнатьевне Шалапиной-Торнаги из Петрограда в Москву: «Все время вожусь с разными арестованными, приходится ездить хлопотать то за того, то за другого. На днях арестовали Теляковского (бывшего директора императорских театров.— *Прим. публ.*), и вот пришлось хлопотать об его освобождении, слава богу, выпустили, и вчера я его видел у себя. Вообще жизнь очень тяжелая, но я не унываю и в сущности не обвиняю никого. Революция — революция и есть!.. При всех нелепостях, которые сейчас творятся, я все-таки отдаю должное большевикам. У них есть какая-то живая сила и масса энергии... Довольно часто бываю у Алексея Максимовича. Он все хворает. Но сейчас приободрился и начинает работать по изданиям книг и вообще литературы вместе с Советской властью. Если б ты знала, сколько народа через его просьбы сейчас освобождено из тюрьмы».

В октябре, последовав совету Ленина, Горький уехал за границу. «Пишу много и с удовольствием. Это мое настоящее дело», — сообщает он в январе 1922 года Е. П. Пешковой.

Многие страницы «Маски и души» Шалапин посвящает А. В. Луначарскому, который в эти годы стремится улучшить жизнь петроградских деятелей искусства. По его инициативе, как известно, был оформлен выезд для лечения за границей А. А. Блоку, получено разрешение на зарубежные гастроли Шалапина. В своем обращении в Малый Совнарком Луначарский писал: «Никоим образом нельзя поверить, чтобы Республика не в состоянии сколько-нибудь благопристойно содержать людей, которых беспрестанно приглашает к себе заграница и за бедственное положение которых (частью, увы, имеющее действительно место) нам шлют тяжелые упреки. Эти лица следующие. 1. Ф. И. Шалапин. Согласно решения ЦК РКП тов. Шалапину будет дан трехмесячный отпуск за границу... факт его отъезда является новым подтверждением необходимости урегулировать раз навсегда как оплату, могущую быть данной Шалапину со стороны Советской Республики, так и жертвы, которые со своей стороны Шалапин ей приносит»⁷.

Запад тоже видел в Шалапине не только великого артиста, но и представителя Советской страны. Объективно его выступления несли немалый агитационный заряд, как, например, и спектакли Московского Художественного театра в Европе и Америке. Не случайно концерты Шалапина в пользу голодающих — в Англии в 1922 году, во Франции в 1923 году — были запрещены, а многие его выступления сопровождались антисоветскими вылазками нанятых молодчиков. Обо всем этом пишет артист в «Маске и душе».

Сегодня с высоты приобретенного опыта, обогащенного новыми знаниями о прошлом, видно, что в отношении к деятелям русской культуры последовательная, основанная на уважении к достоинству личности ленинская политика осуществлялась не всегда. Социально-психологический климат первых послереволюционных лет обусловил остроту классового восприятия действительности, и искусства в том числе. Так, в газете «Известия» 17 июля 1918 года всерьез ставился вопрос «о социализации Шалапина», раз он «сам в себе не находит внутреннего требования такой социализации по своему убеждению». К этой же идее спустя два года призывает один из идеологов Пролеткульта В. В. Игнатов. «Шалапина надо социализировать», — писал он в «Вестнике театра» 20 ноября 1920 года.

...Особняк семьи Шалапина на Новинском бульваре в Москве в порядке уплотнения заселен жильцами. В архивном фонде Ф. И. Шалапина, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, есть охранное удостоверение на имущество артиста за подписью А. В. Луначарского от 14 декабря 1917 года. «Настоящим удостоверяю, что в запечатых сундуках, находящихся на квартире Ф. Шалапина в Москве на Новинском бульваре в д. № 113, заключаются подношения, полученные Ф. Шалапиным в разное время от публики. Имущество это никакой реквизиции подлежать не может и представляет собою ценную коллекцию, находится под покровительством

⁶ «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шалапина», книга 2, стр. 175.

⁶ Ленин в В. И. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 24, 26, 27.

⁷ «В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы» («Литературное наследство». М. 1971, т. 80, стр. 288).

Рабочего и Крестьянского Правительства. Народный Комиссар по просвещению А. В. Луначарский Секретарь Дм. Лященко⁸.

Но судя по воспоминаниям артиста, «охранная грамота» не спасла его от многочисленных унижительных обысков.

Аналогичная ситуация складывалась и в Петрограде. Реквизиции домашнего имущества вплоть до изъятия белья, продуктов, столового серебра, категорические требования, обращенные к жене Шаляпина Марии Валентиновне, участвовать в трудовой повинности, разгрузке дров и прочее — все это нервировало артиста, мешало творческой сосредоточенности. С одной стороны — признание публики, присуждение почетных званий, приглашение руководить Маринским и Большим театрами. С другой — зависимость от грубого произвола местных коммунальных властей, врывающихся по ночам в квартиру с подозрениями в укрывательстве ценностей, разного рода проверки, порождающие в конечном счете ощущение непрочности повседневного бытового уклада, зыбкости элементарных социальных гарантий, тревогу за близких, неуверенность в завтрашнем дне.

Возникло трудноразрешимое для Шаляпина противоречие: идеи революционного переустройства ему были безусловно близки, но пути и методы их конкретного воплощения, с которыми столкнулся Шаляпин в реальной жизни, оказались чужды. Он увидел в них неоправданную жестокость, произвол, насилие над личностью, ограничение необходимой художнику свободы, недоверие и пренебрежение к таланту.

Объяснение отъезда Шаляпина за границу нередко находят прежде всего в его стремлении к материальному достатку, к обеспеченной жизни. Однако правомерен ли столь упрощенный взгляд на судьбу великого артиста? «Маска и душа» опровергает многие сложившиеся мифы о Шаляпине, дает более четкие представления о системе его взглядов, открывает нам многое в его поведении и поступках. Высокая правда искусства, гражданская и художественная свобода, понимаемые как высшие гуманные и общественные ценности — это темы жизни Шаляпина, смысл всего его творчества, определивший направленность художественных исканий. Революцию Шаляпин воспринял прежде всего как полное раскрепощение художника, личности от социального угнетения. Суровая реальность быта утвердилась жесткой регламентацией, проявлявшейся нередко в формах административно-чиновничьих, в которых гуманный смысл революционных норм грубо извращался, искажался криком новоявленного бюрократа с кобурой.

Шаляпин вместе с Горьким, Луначарским, М. Ф. Андреевой предпринимали немало усилий в борьбе со «специалистами», чьи понятия об искусстве, категорические представления «о том, — как писал Шаляпин, — что нужно «народу» в театре, становились законами. Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет. По всей линии торжествовали взгляды... сводившиеся к тому, что кроме пролетариата никто не имеет никаких оснований существовать и что мы, актрисы, ничего не понимаем... И этот дух проникал во все поры жизни, составлял самую суть советского режима в театрах. Это он убивал и замораживал ум, опустошал сердце и вселял в душу отчаяние».

Шаляпин уехал из Советской России, но какую цену он за это заплатил! «На чужбине» — так называется одна из глав «Маски и души». Несмотря на непрекращающиеся триумфы, стойкую мировую славу, гастролерство выматывало артиста, подтачивало его нравственные и физические силы. Отзвуки этой драмы мы находим в письмах Шаляпина, отчетливо звучат они в интервью, данном им в конце артистической карьеры и уже два года спустя после выхода в свет «Маски и души», 21 декабря 1934 года болгарской газете «Народный театр»: «Несмотря на то, что я пользуюсь здесь успехом и хорошо зарабатываю, но все это не то. Человек должен жить в своем Отечестве, работать среди своих и между своими соотечественниками. В свое время на Родине я составил большую программу, которую должен был исполнять по своему вкусу; здесь же и на других сценах я вынужден придерживаться другой манеры и не могу дать то, что хотел бы». Горький, тяжелый итог...

При знакомстве с публикуемыми фрагментами книги «Маска и душа» читатель должен отчетливо представлять, что это всего лишь часть книги, причем именно те главы и разделы, которые были в свое время отсечены от остального текста. В них сосредоточены наиболее мрачные наблюдения, пессимистические настроения Шаляпина 30-х годов, трудно переживавшего отрыв от родины, чувствовавшего наступление старости, неизбежность ухода со сцены, наконец, гнет тяжелой болезни и приближающую кончину.

Не дожидаясь, когда книга «Маска и душа» выйдет у нас в полном объеме, мы знакомим читателя с неизвестными прежде главами книги, сняв нумерацию и сделав небольшие сокращения.

...29 октября 1984 года прах Федора Ивановича Шаляпина был перенесен из Парижа в Москву, на Новодевичье кладбище.

Судьба Шаляпина, с таким пронзительным чувством описанная им самим, соотносится с судьбой России, народа, с эпохой Потому последнее пятнадцатилетие жизни великого артиста воспринимается не только как личная драма художника, но и как огромная потеря для России. «Смягчается времен суровость», история отечественной культуры обновляется незаслуженно вытесненными именами и произведениями, фактами и событиями. «Времена революционных преобразований неизбежно выявляют реальное состояние общества, степень его подготовленности к переменам, уровень его

⁸ ЦГАЛИ, ф. 912, оп. 4, ед. хр. 287.

социальных и исторических представлений о самом себе. Полное единомыслие в таких случаях выглядит более чем искусственно. В то же время проявляющаяся множественность оценок и мнений отражает, как в зеркале, не только наши успехи в области образования, культуры, марксистской мировоззренческой подготовки, но и разного рода просчеты, упущения, а то и ошибки, допущенные в строительстве культуры, в извлечении уроков из исторического прошлого»⁹.

Радостный, светлый дар Шалапина, ставший одним из символов русского искусства во всем мире, не потускнел со временем. Об этом говорит постоянный, стойкий интерес к личности певца, его творчеству и у нас и за рубежом. Опыт поколений освободил образ Артиста от всего мелкого, наносного, сиюминутного. Этот образ живет в его книгах, в портретах художников-современников, в воспоминаниях писателей, музыкантов... Звучит с многочисленных пластинок «тот голос знакомый, будто эхо горного грома — не последнее ль торжество! Он сердца наполняет дрожью и несет по бездорожью над страной, вскормившей его». Так писала Анна Ахматова.

**Е. ДМИТРИЕВСКАЯ,
В. ДМИТРИЕВСКИЙ.**

Моим детям.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпуская в свет мою настоящую книгу, я считаю необходимым объяснить, что побудило меня, певца, никогда литературой не занимавшегося, посвятить мои короткие досуги нелегкому для меня труду — писать. Принято, правда, что люди, достигшие значительной известности на каком-нибудь жизненном поприще, в автобиографии или мемуарах рассказывают своим современникам, в каком году они увидели свет, кто родил их, в какой школе они учились или ленились учиться, как звали девушку, внушившую им первое чувство любви, и как они вышли в люди. Одну книгу добровольцам литературы обыкновенно прощают. Но мой случай сложнее. Этот узаконенный первый грех я уже совершил много лет тому назад¹⁰. И это меня немного пугает. В детстве я любил красть яблоки с деревьев соседнего сада. Первое воровство садовник мне охотно простил, но когда он поймал меня за этим делом второй раз, то больно отодрал. И вот боюсь, как бы мои доброжелатели не сказали: «Чего это Шалапин опять вздумал книгу писать? Лучше бы уж он пел»...

Может быть, оно так и есть. Но новую мою книгу я задумал под сильным влиянием одного внешнего обстоятельства, которому противостоять было трудно. Недавно исполнилось сорок лет со дня моего первого выступления на театральных подмостках в качестве профессионального певца. В это знаменательное для меня юбилейное утро я сделался немножко сентиментален, стал перед зеркалом и обратился к собственному изображению с приблизительно такой слегка выпренной речью:

— Высокочитимый, маститый Федор Иванович! Хотя Вы за кулисами и большой скандалист, хотя Вы и отравляете существование дирижерам, а все-таки как-никак сорок лет Вы верой и правдой пропели... Сорок лет песни! Сорок лет непрерывного труда, который богам, Вас возлюбившим, бывало угодно нередко осенять вдохновением. Сорок лет постоянного горения, ибо вне горения Вы не мыслили и не мыслите искусства. Сорок лет сомнений, и тревог, и восторгов, и недовольства собою, и триумфов — целая жизнь... Каких только путей Вы, Федор Иванович, не исходили за эти годы! И родные Вам проселочные дороги, обсаженные мильми березами, истоптанные лаптями любезных Вашему сердцу мужиков, так чудесно поющих Ваши любимые народные песни; и пыльные улицы провинциальных городов родины, где мешане заводят свои трогательные шарманки и пиликают на немецких гармониках; и блестящие проспекты императорских столиц, на которых гремела музыка боевая; и столбовые дороги мира, по которым под мелодию спальных колес мчатся синие и голубые экспрессы. Каких только песен Вы не наслушались. Какие только песни не пели Вы сами!..

Как в таких случаях полагается, оратор поднес мне приятный юбилейный подарок — золотое автоматическое перо, и так я всем этим был растроган, что дал себе слово вспомнить и передумать опыт этих сорока лет и рассказать о нем кому охота слушать, а прежде всего самому себе и моим детям...

⁹ «Призвание социалистической культуры» («Коммунист», 1987, № 15, стр. 10—11).

¹⁰ Ф. И. Шалапин имеет в виду свою первую книгу воспоминаний «Страницы из моей жизни».

Должен сказать, что не легко дался мне тот путь, о котором я упоминал в моей юбилейной речи, и не всегда с неба, как чудотворная манна, падало мое искусство. Долгими и упорными усилиями достигал я совершенства в моей работе, бережными заботами укреплял я дарованные мне силы. И я искренне думаю, что мой артистический опыт, рассказанный правдиво, может оказаться полезным для тех из моих молодых товарищей по сцене, которые готовы серьезно над собою работать и не любят обольщаться дешевыми успехами. Особенно теперь, когда театральное искусство, как нам кажется, находится в печальном упадке, когда над театром столько мудрят и фокусничают. Я смею надеяться, что мои театральные впечатления, думы и наблюдения представят некоторый интерес и для более широкого круга читателей.

Не менее театра сильно волновала меня в последние годы другая тема — Россия, моя родина. Не скрою, что чувство тоски по России, которым болеют (или здоровы) многие русские люди за границей, мне вообще не свойственно. Оттого ли, что я привык скитаться по всему земному шару, или по какой-нибудь другой причине, а по родине я обыкновенно не тоскую. Но странствуя по свету и всматриваясь мельком в нравы различных народов, в жизнь различных стран, я всегда вспоминаю мой собственный народ, мою собственную страну. Вспоминаю прошлое, хорошее и дурное, личное и вообще человеческое. А как только вспомню — взгрустну. И тогда я чувствую глубокую потребность привести в порядок мои мысли о моем народе и о родной стороне. Мысли разнообразны и беспорядочны, в разные цвета окрашены. От иных плохо спится, от иных гордостью закипают глаза и радостно бьется сердце. А есть и такие, от которых хочется петь и плакать в одно и то же время. Бешеная, несурзая, но чудная родина моя! Я в разрыве с нею, я оставил ее для чужих краев. На чужбине, оторванные от России, живут и мои дети. Я увез их с собою в раннем возрасте, когда для них выбор был еще невозможен. Почему я так поступил? Как это случилось? На этот вопрос я чувствую себя обязанным ответить. Вот почему я в этой книге уделю немало места воспоминаниям о последних годах моей жизни в России, которая тогда называлась уже не просто Россией, а Социалистической и Советской...

Магический кристалл, через который я Россию видел, был театр. Все, что я буду вспоминать и рассказывать, будет так или иначе связано с моей театральной жизнью. О людях и явлениях жизни я собираюсь судить не как политик или социолог, а как актер, с актерской точки зрения. Как актеру мне прежде всего интересны человеческие типы — их душа, их грим, их жесты. Это заставит меня иногда рассказывать подробно незначительные как будто эпизоды. В деталях и орнаментах для меня заключается иногда больше красок, характера и жизни, чем в самом фасаде здания. Этот милый киевский полицейский пристав, дающий мне деловую аудиенцию в ванной, по горло погруженный в воду, и в этом своем безыскусственном положении угощающий меня в не совсем урочный час водкой, этот чудной северный комиссар, который в два часа ночи будит меня телефонным звонком, чтобы сказать мне, что он хочет непременно и безотлагательно со мною чокнуться и закусить семгой, — как не уделить им минуты внимания? Они не менее мне интересны, чем великий князь на спектакле Эрмитажного театра, чем первый министр в Дворцовом кабинете, чем главнокомандующий армией в своем подвижном салон-вагоне. Это такие же российские люди, такие же актеры на русской сцене, хотя и в различных ролях.

Выше я упоминал о моей первой книге. Хочу в нескольких словах пояснить, чем моя настоящая книга отличается от той. В «Страницах жизни», написанных много лет назад в России, я дал полный очерк моего детства, но лишь чрезвычайно бегло и неполно осветил мою артистическую карьеру и мое художественное развитие. События, о которых я рассказываю в первой книге, относятся главным образом к периоду, предшествующему 1905 году. В настоящей книге я пытаюсь дать полный очерк моей жизни до настоящего дня. Я тщательно избегаю повторений и упоминаю об иных внешних событиях, рассказанных в первой книге, только мимоходом и лишь постольку, поскольку это необходимо для последовательного анализа моей художественной эволюции. Первая книга является, таким образом, внешней и неполной биографией моей жизни, тогда как эта стремится быть аналитической биографией моей души и моего искусства.

Если автору уместно говорить о качестве своего труда, то я позволю себе указать только на то, что в моей работе я стремился прежде всего к полной правдивости. Я выступаю перед читателем без грима...

1. МОЯ РОДИНА

...Со вторичным моим поступлением на императорскую сцену моя работа стала протекать параллельно в обеих столицах, так как я поочередно выступал то в Мариинском театре в Петербурге, то в Большом императорском театре в Москве. Артист, много и серьезно работающий, не располагает большими досугами. Изучение ролей, репетиции, спектакли. Часы же моего отдыха я проводил или в семье, или в кругу друзей — музыкантов, художников, писателей. Так называемое общество я посещал мало. Однако в Москве я с большим интересом присматривался к купеческому кругу, дающему тон всей московской жизни. И не только московской. Я думаю, что в полустолетие, предшествовавшее революции, русское купечество играло первенствующую роль в бытовой жизни всей страны.

Что такое русский купец? Это, в сущности, простой российский крестьянин, который после освобождения от рабства потянулся работать в город. <...>

...Я так и вижу в деревенском еще облике его, этого будущего московского туза торговли и промышленности. Выбиваясь из сил и потая, он в своей деревне самыми необыкновенными путями изучает грамоту. По сонникам, по требникам, по лубочным рассказам о Бове Королевиче и Еруслане Лазаревиче. Он по-старинному складывает буквы: аз, буки, веди, глаголь... Еще полуграмотный, он проявляет завидную сметливость. Не будучи ни техником, ни инженером, он вдруг изобретает какую-то машинку для растирания картофеля или находит в земле какие-то особенные материалы для колесной мази — вообще что-нибудь такое уму непостижимое. Он соображает, как вспахать десятину с наименьшей затратой труда, чтобы получить наибольший доход. Он не ходит в казенную пивную лавку, остерегается убивать драгоценное время праздничными прогулками. Он все время корпит то в конюшне, то в огороде, то в поле, то в лесу. Неизвестно, каким образом — газет не читает, — он узнает, что картофельная мука продается дешево и что, купив ее теперь по дешевой цене в такой-то губернии, он через месяц продаст ее дороже в другой.

И вот, глядишь, начинает он жить в преимущественном положении перед другими мужиками, у которых как раз нет его прилежания... С точки зрения последних течений мыслей в России он — «кулак», преступный тип. Купил дешево — кого-то обманул, продал дорого — опять кого-то обманул... А для меня, каюсь, это свидетельствует, что в этом человеке есть, как и подобает, ум, сметка, расторопность и энергия. Плох для жизни тот человек — хотя «поэтически» привлекателен, — который подобно неаполитанскому лаццарони лежит на солнышке и лениво греется.

А то еще российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продает пирожки, на лотках льет конопляное масло на гречишники, весело выкрикивает свой товаришко и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито и что к чему как пришито. Неказиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке или на Пресне, он ест требуху в дешевом трактире, вприкусочку пьет чаек с черным хлебом. Мерзнет, холодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему придется торговать, торгуя разным. Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарем, а то и книжечками. Таким образом он делается «экономистом». А там, глядь, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-й гильдии купец. Подождите — его старший сынок первый покупает Гогенов, первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятых еще нами Матиссов, Мане и Ренуаров и гнусаво-критически говорим: «Самодур...»

А самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больниц и приютов на всю Москву.

Я помню характерное слово одного из купеческих тузов Москвы — Саввы Тимофеевича Морозова. Построил он себе новый дом на Арбате¹¹ и устроил большой праздник, на который, между прочим, был приглашен и я. В вестибюле, у огромной

¹¹ Морозов С. Т. — московский фабрикант, меценат, оказывал материальную помощь Художественному театру, помогал деньгами революционным рабочим организациям. Шалапин имеет в виду дом С. Т. Морозова на бывшей Спиридоньевской улице (ныне улица Алексея Толстого).

дубовой лестницы, ведшей в верхние парадные залы, я заметил нечто похожее на фонтан, а за ним большие цветные стекла, освещавшиеся как-то изнутри. На стекле ярко выступала чудесная лошадь, закованная в панцирь, с эффектным всадником на ней — молодым рыцарем, которого молодые девушки встречали цветами.

— Любите воинственное, — заметил я хозяину.

— Люблю победу, — ответил с улыбкой С. Т. Морозов.

Да, любили победу русские купцы и победили. Победили бедность и безвестность, буйную разногласицу чиновных мундиров и надутое чванство дешевого, сюсюкающего и картавящего аристократизма.

Я редко бывал в гостях у купцов. Но всякий раз, когда мне случалось у них бывать, я видал такую ширину размаха в приеме гостей, которую трудно вообразить. Объездив почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен сказать, что такого размаха не видал нигде. Я думаю, что и представить себе этот размах европейцы не могут.

Когда мне приходится говорить о людях, которые мне не нравятся, мне делается как-то неловко и совестно. Это потому, что в глубине моей души я имею убеждение, что на свете не должно быть людей, не вызывающих к себе симпатии. Но если они на свете существуют, делать нечего — надо говорить правду.

Насколько мне было симпатично солидное и серьезное российское купечество, создавшее столько замечательных вещей, настолько же мне была несимпатична так называемая «золотая» купеческая молодежь. Отстав от трудовой деревни, она не пристала к труду городскому. Нахватавшись в университете верхов и зная, что папаша может заплатить за любой дорогой дебош, эти «купцы» находили для жизни только одно оправдание — удовольствия, наслаждения, которые может дать цыганский табор. Дни и ночи проводили они в безобразных кутежах, в смазывании горчицей лакейских «рож», как они выражались, по дикости своей неспособные уважать человеческую личность. Ни в Европе, ни в Америке, ни, думаю, в Азии не имеют представления и об этого рода «размахе»... Впрочем, этих молодцов назвать купечеством было бы несправедливо — это просто «беспризорные»...

Если я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом. Моему призванию я был предан безраздельно. У меня не было никакого другого побочного пристрастия, никакого заостренного вкуса к чему-нибудь другому, кроме сцены. Правда, я любил еще рисовать, но, к сожалению, таланта настоящего к сему не получил, а если и портил карандаши и бумагу, так только для того, чтобы найти пособие к моим постоянным исканиям грима для характерных и правдивых сценических фигур. Даже мою большую любовь к картинам старинных мастеров я считаю только отголоском моей страсти к театру, в котором, как и в живописи, большие творения достигаются правдивой линией, живою краской, духовной глубиной. Но менее всего в жизни я был политиком. От политики меня отталкивала вся моя натура. Может, это было от малого знания жизни, но всегда и во всем меня привлекали черты согласованности, лада, гармонии. На неученом моем языке я всегда говорил себе, что лучшая наука, высшая мудрость и живая религия — это когда один человек умеет от полноты сердца сказать другому человеку: «Здравствуй!..» Все, что людей разъединяет, меня смущало и ставило в неприятное недоумение. Мне казалось, что все люди одеты каждый в свою особую форму, носят каждому присвоенный мундир, что в этой особенности своей они полагают и свое достоинство, и свои какие-то преимущества перед другими. Казалось мне, что мундир с мундиром постоянно лезет в драку и что для того, чтобы этим дракам помешать, придумали вдобавок еще один мундир — мундир городского! Религиозные распри, национальные соперничества, патриотические бахвальства, партийные дрязги казались мне отрицанием самого ценного в жизни — гармонии. Мне казалось, что к человеку надо подходить непосредственно и прямо, интересоваться не тем, какой он партии, во что он верит, какой он породы, какой крови, а тем, как он действует и как поступает.

Мой наивный взгляд на вещи не подходит к тому, что в партийной политике, вероятно, неизбежно, и вот отчего от политики мне всегда было скучно и как-то не по себе. До сих пор, даже после всего, что испытал на моей родине в те пять лет, которые я прожил в социалистическом раю под советской властью, я не умею относиться к явлениям жизни с политической точки зрения и судить о них как политик. Для меня на первом плане только люди, поступки и дела. Дела добрые и злые, же-

стокие и великодушные, свобода духа и его рабство, разлад и гармония, как я их воспринимаю простым чувством,— вот что меня интересует. Если на кусте растут розы, я знаю, что это куст розовый. Если известный политический режим подавляет мою свободу, насильно навязывает мне фетиши, которым я обязан поклоняться, хотя бы меня от них тошнило, то такой строй я отрицаю — не потому, что он называется большевистским или как-нибудь иначе, а просто потому, что он противен моей душе.

Такое отношение к жизни и людям может, пожалуй, показаться анархическим. Я против этого ничего не имею. Может быть, во мне и есть некоторое зерно артистического анархизма. Но это во всяком случае не равнодушие к добру и злу. К жизни я относился горячо. Многим, наверно, покажется неожиданным мое признание, что в течение почти двух десятков лет я сочувствовал социалистическому движению в России и едва ли не считал себя самого заправским социалистом! Отлично помню, как, гуляя однажды ночью с Максимом Горьким на этом чудном Капри, я по ходу разговора с ним вдруг спросил его:

— Не думаешь ли ты, Алексей Максимович, что было бы искреннее с моей стороны, если бы я вступил в партию социал-демократов?

Если я в партию социалистов не вступил, то только потому, что Горький посмотрел на меня в тот вечер строго и дружески сказал:

— Ты для этого не годен. И я тебя прошу, запомни один раз и навсегда: ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно.

Только русская жизнь может объяснить это противоречие — каким образом артист с анархической окраской натуры, политикой глубоко отталкиваемый, мог считать себя социалистом, мог так сильно желать быть полезным социалистическому движению, что рассудку вопреки готов был записаться в конспиративную партию. Надо знать, какие события направляли течение русской истории с начала этого века, каковы были отношения между обществом и властью, каковы были настроения передовых людей России в эти годы. <...>

...О том, что есть люди, собирающиеся перестроить этот грубый и несправедливый мир, я узнал гораздо позже, когда я молодым артистом попал в столицы.

Встречаясь все больше и чаще с писателями, артистами, художниками, учеными — вообще с людьми передового мышления, я стал замечать, как мало я знаю, как мало чему учился. Мне захотелось знать хотя бы часть того, что знают эти замечательные люди. Инстинктивно я всю жизнь был поклонником именно таких людей, которые многому учились, много думают и отчего то всегда живут в волнении. Поэтому когда счастливый случай столкнул меня с ними, я все ближе к ним теснился. На дружеских пирушках, на разных собраниях я стал к ним прислушиваться и замечать, что все они относятся критически к правителям и к царю, находя, что жизнь российского народа закована в цепи и не может двигаться свободно вперед. Некоторые из этих умных людей, как я потом узнал, принадлежали даже к каким-то тайным кружкам — революционным... Их выкладки, их разговоры убеждали меня в том, что они правы. Я все сильнее и глубже стал им сочувствовать — в особенности когда видел, что они действительно готовы положить душу свою за благо народа. Я искренне негодовал, когда власти хватили таких людей и сажали их в тюрьмы. Мне это казалось возмутительной несправедливостью. И я как мог старался содействовать и помогать этим экзальтированным борцам за мой народ.

Смущало меня немного только то, что и в среде этих любимых мною людей я замечал разногласия в любви и в ненависти. Одни говорили, что только борьбою можно завоевать свое право, и превозносили огромную физическую силу русского народа, говоря, что ежели эту силу сковать в нечто единое, то можно будет этому народу целым светом править:

Как некий демон, отселе править миром я могу!

Другие же, наоборот, говорили, что сила физическая беспомощна, что народ будет по-настоящему силен только тогда, когда возвысится его дух, когда он поймет, что противление злу — от лукавого, что надо подставить другую щеку, когда получишь удар в одну... И у тех и у других проповедников были пламенные последователи, восторженные поклонники, которые до иступления защищали свою правду. Мне, с моей актерской точки зрения, может быть, узкой, казалось, что двух правд не бывает,

что правда только одна... Но в эти тонкости я не слишком углублялся. Мне было близко стремление моих друзей к правде жизни, к справедливости, красоте...

Человеком, оказавшим на меня в этом отношении особенно сильное, я бы сказал, решительное влияние, был мой друг Алексей Максимович Пешков — Максим Горький...¹².

Мы стали часто встречаться. То он приходил ко мне в театр, даже днем, и мы вместе шли в Кунавино кушать пельмени, любимое наше северное блюдо, то я шел к нему в его незатейливую квартиру, всегда переполненную народом. Всякие тут бывали люди. И задумчивые, и веселые, и сосредоточенно-озабоченные, и просто безразличные, но все большей частью были молоды и, как мне казалось, приходили испить прохладной воды из того прекрасного источника, каким нам представлялся А. М. Пешков-Горький.

Простота, доброта, непринужденность этого, казалось, беспечного юноши, его сердечная любовь к своим детишкам, тогда маленьким, и особая ласковость волжанина к жене, очаровательной Екатерине Павловне Пешковой, — все это так меня подкупало и так меня захватило, что мне казалось: вот наконец нашел я тот очаг, у которого можно позабыть, что такое ненависть, выучиться любить и зажить особенной какой-то, единственно радостной идеальной жизнью человека. У этого очага я уже совсем поверил, что если на свете есть действительно хорошие, искренние люди, душевно любящие свой народ, то это — Горький и люди, ему подобные, как он, видевшие столько страданий, лишений и всевозможных отпечатков горестного человеческого житья. Тем более мне бывало тяжело и обидно видеть, как Горького забирали жандармы, уводили его в тюрьму, ссылали на север. Тут я положительно начал верить в то, что люди, называющие себя социалистами, составляют квинтэссенцию рода человеческого, и душа моя стала жить вместе с ними.

Я довольно часто приезжал потом в весенние и летние месяцы на Капри, где (кстати сказать, в наемном, а не в собственном доме) жила Горький. В этом доме атмосфера была революционная. Но должен признаться в том, что меня интересовали и увлекали только гуманитарные порывы всех этих взволнованных идеями людей. Когда же я изредка делал попытки почерпнуть из социалистических книжек какие-нибудь знания, то мне на первой же странице становилось невыразимо скучно и даже, каюсь, противно. А оно в самом деле — зачем мне это необходимо было знать, сколько из пуда железа выходит часовых колесиков? Сколько получает первый обманщик за выделку колес, сколько второй, сколько третий и что остается обманутому рабочему? Становилось сразу понятно, что кто-то обманут и кто-то обманывает. «Регулировать отношения» между тем и другим мне, право, не хотелось. Так я и презрел социалистическую науку. <...>

...Революционное движение усилилось, заговорило громче. Либеральное общество уже открыто требовало конституции, а социалисты полукриво готовились к бою, предчувствуя близкую революцию. В атмосфере явно ощущалась неизбежность перемен. Но правительство еще упиралось, не желая уступить тому, что официально именовалось крамолой, хотя ею уже захвачена была вся страна. В провинции правительственные чиновники действовали вразброд. Одни, сочувствуя переменам, старались смягчить режим, другие, наоборот, стали более кусаться, как мухи осенью. У них как бы распухли хрусталики в глазах, и всюду мерещились им революционеры.

В это время мне неоднократно случалось сталкиваться с совершенно необычной подозрительностью провинциальной администрации. Я не знаю, было ли в то время такое отношение властей к артистам общим явлением или эта подозрительность относилась более специально ко мне лично, как к певцу, революционно настроенному, другу Горького и в известном смысле более «опасному», чем другие, благодаря широкой популярности в стране.

Я делал турне по крупным провинциальным городам. Приезжаю в Тамбов поздно ночью накануне концерта. Ложусь спать с намерением спать долго — хорошо отдохнуть. Но не тут-то было. На другой день, очень рано, часов в 8 утра — стук в дверь моего номера. Входит полицейский пристав. Очень вежливо извиняясь за беспокойство в столь ранний час, объясняет, что тревожит меня по прямому приказанию губернатора.

— В чем дело?

¹² Горький и Шаляпин познакомились в 1900 году в Москве. Знакомство окрепло и перешло в дружбу в Нижнем Новгороде во время гастролей Шаляпина в 1901 году.

«Дело» заключалось в том, что губернатором получены сведения, что я, Шаляпин, собираюсь во время моего концерта обратиться к публике с какой-то политической речью!

Это был, конечно, чистый вздор, в чем я не замедлил уверить губернаторского посла. Тем не менее пристав вежливо, но твердо потребовал, чтобы я дал мои ноты губернатору на просмотр. Ноты я, разумеется, дал и к вечеру получил их обратно. Тамбовский губернатор, как видите, отнесся ко мне достаточно любезно. Но совсем иной прием ждал меня в Харькове.

В этом городе мне сообщили, что меня требует к себе цензор. К себе — да еще требует. Я мог, конечно, не пойти. Никакого дела у меня к нему не было. Концерт разрешен, афиши расклеены. Но меня взяло любопытство. Никогда в жизни не видал я еще живого цензора. Слышал о них, и говорили мне, что среди них есть много весьма культурных и вежливых людей. Цензор, потребовавший межд к себе, рисовался мне почему-то весь в бородавках, с волосьями, шершавый такой. Любопытно взглянуть на такого блюстителя благонадежности. Отправился. Доложил о себе; меня ввели в кабинет.

Цензор был без бородавок, без волосьев и вовсе даже не шершавый. Это был очень худосочный, в красных пятнах человек. При первом звуке его голоса мне стало ясно, что я имею дело с редким экземпляром цензорской породы. Голос его скрипел, как кавказская арба с немазаными колесами. Но еще замечательнее было его обращение со мною.

— Что вы собираетесь петь?

— Мой обычный репертуар.

Показать ему ноты.

Показываю.

Цензор сухими и злыми пальцами перелистывает ноты. И вдруг встревоженно, готовый к бою, поднимает на меня грозные глаза.

— Император... Это какой же император?!

Смотрю — «Два гренадера».

— Это, г. цензор, известная песня Шумана.

Цензор метнул на меня раздраженный взгляд, в котором крупными буквами было написано: «Я вам не г. цензор».

— На слова Гейне, ваше превосходительство. Разрешено цензурой.

Скрипучим своим голосом с решительным намерением меня окончательно уничтожить его превосходительство обличительно читает:

— «Из гроба встает император». Из какого гроба? Какой император?

— Заграничный, ваше превосходительство, Наполеон...

Сморщил жидкие с красной прослойкой брови мой цензор.

— Говорят, вы поете и не по нотам.

— Пою, ваше превосходительство, — верноподданнически рапортую я.

— Знайте, что я буду в театре.

— Очень приятно, ваше превосходительство.

— Не для того только, чтобы слушать, как вы поете, но и для того, чтобы знать, что вы поете. Советую вам быть осторожным, г. артист.

Я ушел от цензора крайне изумленным. Если я не возмущен его тоном и манерой говорить со мною, то только потому, что он был слишком невзрачен, смешон и сердечно меня позабавил. Но какая муха его укусила? Это осталось для меня тайной навсегда. Впрочем, скоро в Киеве я узнал, что власти из Петербурга разослали по провинции циркуляр, предписывая строго следить за моими концертами. Цензор, должно быть, сильно испугался и оттого так нелепо и смешно заскрипел.

Первое сильное ощущение нарастающей революции испытал я весной 1905 года в Киеве, где случай столкнул меня непосредственно с рабочими массами. Тогда же я совершил «грех», который долгое время не могли простить мне хранители устоев и блюстители порядка.

В Киеве я в первый раз публично в концерте спел известную рабочую песню — «Дубинушку».

Приехал я в Киев петь какие-то спектакли по приглашению какого-то антрепренера. Узнав о моем пребывании в Киеве, пришли ко мне знакомые рабочие и пригласили меня к ним в гости в пригород Димиевку. Приглашение я принял охотно, а мои дру-

зья уж постарались угостить меня сердечно чем могли. Погуляя я с ними, посмотрел на хибарки и увидел с огорчением, что живет народ очень бедно. Ну, мало ли народу плохо живет — всем не поможешь, а помочь одному-другому — дело хорошее, но это не значит помочь бедноте. С этими немного грустными мыслями уехал я домой.

Через несколько дней опять пришли ко мне рабочие. Простят, не могу ли я дать возможность рабочему люду послушать меня на театре.

Я подумал, что сделал бы я это с удовольствием, — но как? Это же не так просто, как думают. Вот выйдет Шаляпин на площадь, раздаст бесплатные билеты, и все будет хорошо — «кругом шестнадцать». А ведь тут антрепренер, театр, аренда, другие актеры, хористы, музыканты, рабочие на сцене, капельдинеры — как это можно сделать совсем даром? Не понимаю. Но желание рабочих послушать меня я понимал, и исполнить их просьбу мне очень хотелось. Поэтому я придумал следующую комбинацию. Возьму я большой зал, цирк Крутикова, вмещающий около 4500 человек. 4000 билетов дам бесплатно рабочим, пусть разыграют их в лотерею на фабриках и заводах — кто выгадает из фуражки номерок, тому и место. А билетов 500 пустить в продажу среди имущей публики — на покрытие текущих расходов и на плату за помещение. Рабочие с восторгом одобрили мой проект, и я приступил к организации концерта.

Снять цирк было нетрудно, я это немедленно сделал, но без разрешения властей я не мог выступать публично. В обыкновенных случаях разрешение без всяких затруднений дает полицмейстер, но этот мой концерт был совершенно необычен. Полицмейстер не посмеет, конечно, разрешить его своей собственной властью. Придется, думаю я, обращаться к генерал-губернатору. Не очень мне хотелось беспокоить столь высокое начальство, и тут кстати я вспомнил, что недавно я познакомился с женой киевского губернатора. Это была милейшая дама, которая обожала артистов и не менее, чем артистов, обожала винт. Вот, подумал я, «отсель грозить я буду шведу». Мне поможет Надежда Герасимовна (так, кажется, звали генеральшу). И я устроил себе приглашение к губернаторше на партию в винт.

Играю и жду удобного момента. Известно, как действует на человека выигранный шлем. Он становится добрее, радушнее, на все смотрит прекрасно. И вот когда губернаторша выиграла свой первый шлем, я и ввернул:

— Надежда Герасимовна, боюсь беспокоить вашего супруга, а надо.

— А что?

— Да вот концерт хочу сделать. Для бедняков, для рабочего люда. А то неловко: все слушают меня, а они не слушают. Времена, знаете, не очень спокойные. Все раздражены. Не спеть рабочим, они как будто обидятся. А петь — от вашего супруга зависит... На пять червей я пас.

А Надежде Герасимовне везет. Опять шлем объявила.

— Чего же вы боитесь? Мой супруг же добрый человек. Первый по доброте в городе, да и по разуму. Вот, я думаю, через полчаса приедет домой. Потолкуйте с ним.

— А вы, дорогая Надежда Герасимовна, поспособствуйте... в случае.

— Ах, песни ваши коварные! Они все равно сражают всех. На меня вы всегда можете рассчитывать.

И через час я уже был в кабинете губернатора.

Действительно милый человек был этот губернатор. Весьма осанистый, с окладистой бородой, в мундире с какими-то обшлагами, обстоятельным, как он сам, голосом генерал растягивал в ответ на мою просьбу слова:

— Гм... Видите ли... Гм... да... Я, конечно... Да... Понимаю... Концерт... Да... Но ведь вы — странно! — для рабочих... Вот это затруднительно. Гм... Да... Это очень хорошо — концерт для рабочих, и сам я, видите, с удовольствием бы, но есть некоторое препятствие. Я не могу его, собственно, вам сообщить, но оно есть... Не имею права.

Я чрезмерно удивился и невольно тоже заговорил губернаторской манерой:

— То есть... Гм... Как это... ваше превосходительство, не имеете права?

— Да так. Не имею... Но вам я верю, Шаляпин, я вас люблю, и давно уже как артиста. Такой артист, как вы, есть человек благородный. Я вам объясню, в чем дело, но только вы мне дайте слово, что уж не расскажете.

И губернатор открыл какую-то большую папку с бумагами, лежавшую на его рабочем столе. Порылся в ней, вынул бумажку и, протянув ее мне, сказал:

— Читайте.

«Не про меня это писано», — подумал я, когда в заголовке прочитал подчеркнутое слово конфиденциально. Сбоку на левой стороне бумаги было напечатано «М. В. Д. Департамент полиции». А там дальше губерния, как говорится, писала, что, мол, до нашего сведения дошло, что артист Шалапин отправился по городам Российской империи устраивать всевозможные вечера, спектакли и концерты с целью революционной пропаганды и что посему местным властям предписывается обратить внимание на выступления оного Шалапина, особое внимание.

Я всегда думал, что по поводу меня больше меня знают газеты, а вот оказывается, что департамент полиции знает про меня еще больше, чем даже газеты! Удивился. Но я в то же время почувствовал, что предо мною сидит не просто губернатор, а порядочный человек, и я с ним заговорил по-человечески. Я его уверил совершенно искренне, что никакой революционной пропаганды я и в помыслах не имел, что я просто желаю петь для людей, неспособных платить, что я это уже не раз делывал. Я высказал при этом соображение, что отказ произведет на рабочих тяжелое впечатление и еще больше раздражит их против властей. Генерал меня понял и дал разрешение, но при этом сказал:

— Все дальнейшие вещи будут уже зависеть от полицмейстера и пристава. Поладьте с ними, как можете.

Киевский полицмейстер оказался милым человеком. Он заявил, что к устройству концерта с его стороны препятствий не имеется. Но тут возникло новое затруднение, которое надо было как-нибудь устранить. Из разговора с делегатами рабочих я понял, что было бы лучше, если бы охрана порядка на концерте была бы поручена самим рабочим. Делегаты говорили, что присутствие в цирке полицейских в мундирах может, пожалуй, вызвать раздражение и случайно повлечь за собой нежелательный скандал. Это уже надо было улаживать с местным участковым приставом, и я к нему отправился сам.

Странный и смешной был этот представитель полицейской власти. Когда я позвонил к нему на квартиру, открыла мне дверь украинская дивчина — горничная, по-видимому, и на вопрос, могу ли я увидеть пристава, ответила, что сейчас спросит его благородие.

— Кажись, воны в ванной.

Ушла, через минуту вернулась и сказала, что если я не чувствую неловкости в этом, то «воны» просят меня пожаловать в ванную. Я вспомнил знаменитый анекдот о мадам де Сталь и Наполеоне и подумал, что пристав также, вероятно, думает, что гений не имѐет пола... Нечего делать — иду в ванную. Можете представить себе, как мне было интересно увидеть моего милого пристава в столь благосклонном ко мне положении! Я еще в гостинице приготовил программу речи, но, увы, по программе мне говорить не пришлось.

— Здравствуйте, господин артист! — заговорил пристав с украинским акцентом. — От жещь, ей-богу, как я рад, что вы пришли ко мне. Может, разрешите чокнуться за ваше здоровье?..

Он сидел в ванной выше груди в воде, а из воды выплывали жирные белые плечи, под синеватым носом распухали темнокожаные усы. Над каждым глазом было по брови, но каждая из этих бровей была опущена моему приятелю на троих или четверых таких же приставов. Говоря, что хотел бы со мною чокнуться, он как-то сипловато из подводной глубины живота смеялся, открыв рот. Тут я заметил, что во рту у него есть и золото и чернядь... Перед ним поперек ванны лежала доска, а на доске стояла бутылка водки, порядочно распитая, и что-то вроде студня и соленых огурцов. Хоть час для меня был неурочный, но я сейчас же сообразил, что отказываться от его угощения тоже неурочно... Я моментально принял вид размашистого весельчака и присел к нему на трехножную какую-то табуретку.

— Квиток! — закричал пристав.

Показалась дивчина. Ей приказано было принести второй стакан как можно скорее.

— Ну, вот, ишь ведь как вы пожаловали. Уж вы мене извините, а я, знаете, сам доктор. Уньверситетов не кончал, а соображаю самовластно. От мне говорят, что нельзя пить водки, что будто бы прожигает, так я, знаете, десять минут провожу в холодной воде. Так что одно исключает другое.

Я ему на это, что, дескать, сам особенно докторам не доверяю, а вот такие народные средства люблю и уважаю.

— Так ведь про вас говорят, что вы из народа.

Чокнулись, выпили, закусили огурцом.

— Вот,— говорю,— концерт... Извините — ваше имя-отчество?

— Акакий Хрисанфович.

Объясняю мое дело.

Мой собеседник, несколько выплыв наверх из воды, показал две выпуклые, покрытые волосами груди.

— То есть почему же для рабочих и как же это так бесплатно? Да как же это — всем рабочим? Их же у нас сотни тысяч. Губернатор разрешил?

— Разрешил и полицмейстер. Но сказали, что и к вам нужно обратиться,— бессовестно лгу я.

Откашлялся, пристав.

— Так шо ж я могу вам сделать, если губернатор и полицмейстер разрешили.

Когда я объяснил, что мне от него надо, пристав вытаращил на меня глаза, с минутой дожевывал минут пять тому назад разжеванный огурец, вздохнул, голос его упал, как неудавшееся тесто, и он как-то бескостно сказал:

— Нехорошо, что вы такие шутки рассказываете мне за приятным завтраком...— Потом голос его стал снова крепнуть, и он сказал серьезно: — Увы, извините, без надзора... такую штуку оставить не могу.

Я согласился с ним, но подал мысль:

— Дело, Акакий Хрисанфович, только в мундирах. Шлите сколько угодно людей, но только в штатском.

— Вот это дело!.. И для вас, г. артист, я это с удовольствием сделаю.

Выпили еще по рюмочке. Пристав взял мохнатое полотенце, встал, прижал к животу, как мог вытер свою правую руку, протянул ее мне, уверил меня, что любит артистов, в особенности таких, которые из народа, и мы дружески расстались.

Я был в восторге. Все так хорошо удавалось. Уже расклеены афиши. Платные места уже все проданы, а четыре тысячи бесплатных мест делегаты уже унесли на фабрики. Настал день концерта.

Все было бы хорошо, если бы в цирк Крутикова пошли только те, которые в лотейном порядке получили билет. К сожалению, пошли и те, которые мест не получили. Пошли именно на концерт, а не на какую-нибудь уличную политическую демонстрацию, пошли не скопом, а в одиночку. Как это всегда в России бывает, каждый из рабочих норвил как-нибудь пробраться, где-нибудь постоять. А так как правильно говорил мне пристав, что в Киеве рабочих было сотни тысяч, то улицы Киева к вечеру оказались запруженными народом. Не только улицы, прилегающие к цирку,— все главные улицы города! Власти, естественно, встревожились, и на Крещатике появились войска.

Я, разумеется, испугался. Какую я заварил кашу!

— Я дал слово, что беспорядков не будет,— обратился я к делегатам рабочих.— Надеюсь, что рабочие меня уважают и не подведут.

Должен отдать справедливость рабочим, что они держали себя хорошо.

Все протекало мирно, но положение мое было все же в высшей степени щекотливое. Стало оно и трагикомическим, когда я убедился, что в цирк на спектакль и мне самому нельзя протиснуться через толпу. Кто же петь будет? Что делать?

К счастью, отель «Континенталь», в котором я жил, прилегал стеной к цирку. И вот я и покойный мой аккомпаниатор Арсений Николаевич Корещенко, открыв окно в коридоре гостиницы, по карнизу и водосточной трубе спустились на крышу цирка. Этим задача, однако, не была решена. В самый цирк можно было нам проникнуть только тем же акробатическим способом через пробитое в крыше окно. Это мы и сделали.

Что было на улицах, я не знаю. Знаю только, что цирк был так набит народом, что зрелище принимало подавляющий и пугающий характер. Естественно, конечно, что концерт начался позже, чем было назначено.

Под оглушительный шум рукоплесканий я вышел на эстраду — овация длилась несколько минут. Когда оказалось возможным говорить, я обратился к публике с несколькими словами. Я напомнил, что за этот вечер, который я устроил с особым удовольствием, отвечаю перед всеми я. Что бы на нем ни случилось, ответственность ляжет

на меня, ибо по моей просьбе уважаемые мною и благородные люди разрешили его. Нет даже нарядов полиции. Ответственность за порядок лежит на вас, господа!

Громогласное «ура!» было ответом на мое обращение. И я начал концерт.

«Духовной жаждою томим»,— запел я, и с этого момента, я думаю, все, а я в особенностях, почувствовали какое-то новое дыхание жизни.

В течение концерта, в перерывах между одной песней и другой, во время «бисов», я много раз слышал возгласы то с той, то с другой стороны. Какие-то девицы кричали мне: «Варшавянку!» Какие-то хриплые голоса настаивали: «Интернационал!» Но — говорю это совершенно искренне — этих революционных песен я в ту пору не знал и только недавно, но зато очень хорошо узнал, что такое «Интернационал». Но еще с юных лет, с озера Кабана в городе Казани, я знал, что существует рабочая песня «Дубинушка», что поется она в сопровождении хора и что только куплеты поет солист — не солист его величества, конечно... И на просьбы рабочей публики мне казалось самым подходящим спеть именно эту песню. И я сказал, что знаю «Дубинушку», мбгу ее спеть, если вы ее мне подтянете. Снова вавилонское «ура!», и я запеваю:

Много песен слышал на родной стороне,
не про радость — про горе в них пели.
Но из песен всех тех в память врезалась мне
эта песня рабочей артели...

«Эй, дубинушка, ухнем»,— подхватили пять тысяч голосов, и я, как на паске у заутрени, отделился от земли. Я не знаю, что звучало в этой песне — революция или пламенный призыв к бодрости, прославление труда, человеческого счастья и свободы. Не знаю. Я в экстазе только пел, а что за этим следует — рай или ад,— я и не думал. Так из гнезда вылетает могучая, сильная белая птица и летит высоко за облака. Конечно, все дубины, которые поднимаются «на господ и бояр»,— я их в руке не держал ни в прямом, ни в переносном смысле. А конца гнета я желал, а свободу я любил и тогда, как люблю теперь.

Много лет прошло с тех пор, а этот вечер запомнил, на всю жизнь запомнил. Удался он на славу. Рабочие после концерта разошлись домой мирно, как ученики, попарно. А о «Дубинушке» стали, конечно, говорить различно. Главным образом меня немедленно зачислили в крайние революционеры.

От проданных билетов очистилось сверх всех расходов, кажется, три тысячи рублей, и эти деньги через посредство поэта Лоло-Муншштейна, киевлянина, я отдал от моего имени рабочим.

Приятно после таких вечеров уехать на берег лазурного моря. И вот я сижу на берегу Аляссио в Италии. В купальном костюме жмурюсь на милое теплое солнышко. С испуганным лицом с итальянской газетой в руках подходит жена.

— Что же теперь делать? В России тебя разыскивают власти. Желают предать тебя суду за то, что даешь деньги на революцию.

Я подумал — шутит. Но нет. В газете действительно написано: «Ищут Шалаяпина»¹³.

Собирался я посидеть подольше на море, даже опоздать к сезону намеревался, а из-за заметки поехал раньше.

Приехал в Москву. Остановился в «Метрополе». Приходит ко мне взволнованный Муншштейн и рассказывает, что скрывается, так как его разыскивают по «делу» киевского концерта.

В подпольной революционной газете власти прочитали, что «от концерта X очистилось и поступило в кассу 3000 рублей». Чей же концерт может дать три тысячи рублей? Сообразили: конечно, шалаяпинский.

Подумал, как быть, и решил взять быка за рога. Немедленно я написал киевской полиции, что, дескать, деньги я действительно дал, но на что они пойдут, не знал и не интересовался знать. Когда я даю деньги на хлеб, а их пропивают — не мое дело.

Власти, по-видимому, это поняли. Никаких преследований против меня не подняли. Сняли преследование и против Лоло Благодаря этой истории «Дубинушка» стала привлекать всеобщее любопытство. На концертах и спектаклях мне часто после этого приходилось слышать настойчивые просьбы спеть «Дубинушку». И иногда по настроению я ее пел в столице и в провинции, каждый раз, однако, ставя условие, чтобы публика мне подтягивала.

¹³ Подробнее об этом концерте, состоявшемся 29 апреля 1906 года, см. в книге: Дрейден Сим. Музыка — революции. М. 1970, стр. 471—482.

Пришлось мне пять однажды «Дубинушку» не потому, что меня об этом просили, а потому, что царь в особом манифесте обещал свободу. Было это в Москве в огромном ресторанном зале «Метрополя»... Ликовала в этот вечер Москва! Я стоял на столе и пел — с каким подъемом, с какой радостью!

Не каждый день человек радуется одному и тому же.

Между моей киевской и московской «Дубинушкой» прошло знаменательное в русской истории лето 1905 года, полное событий и борьбы. К осени разразилась всероссийская железнодорожная забастовка. Университеты превратились в места для революционных митингов, в которых принимала участие и уличная толпа. Городской народ открыто вышел из повиновения власти 17 октября власть уступила. Был объявлен манифест царя о введении в России нового порядка. России обещана свобода, конституция, парламент. Может быть, из этого и вышел бы толк, может быть, Россия действительно обновилась бы и стала мирно развиваться. К несчастью, и общество и правительство, как мне казалось, сделали все, что от них зависело, для того, чтобы эту возможность испортить. Общество разбилось на бесконечное количество партий, из которых каждая пела на свой лад. Одни говорили, что дано мало, другие, что дано много, но что царь обманет. А при дворе, как только забастовки прекратились, как только стало в стране тише, вообразили, что опасность революции была мнимая, что зря, дескать, мы труса праздновали, и решили, что быть тому, что предсказывали левые, — обманут. В самом деле, уже через несколько дней почувствовался другой ветер в стране. Быстро прошла радость, опять стало хмуро и сурово в столицах. По стране прокатилась волна погромов — громили евреев и интеллигенцию. Как впоследствии разоблачил в Государственной думе депутат князь Урусов, бывший товарищ министра внутренних дел, прокламации с призывом к погромам печатались жандармским ротмистром Комиссаровым за казенный счет в подвальном помещении департамента полиции! А тут волновалось крестьянство. Требовало земли, жгло помещичьи усадьбы. Вспышки народного недовольства чередовались с репрессиями. Горячая Москва стала строить баррикады. <...>

...С каждым днем становилось между тем яснее, что Россия войну проигрывает. Все чувствовали, что надвигается какая-то гроза, которую никто не решался называть революцией, потому что не вязалось это никак с войной. Что-то должно произойти, а что именно — никто не представлял себе этого ясно. В политических кругах открыто и резко требовали смены непопулярного правительства и призыва к власти людей, пользующихся доверием страны. Но как назло, непопулярных министров сменяли у власти министры еще более непопулярные. <...>

...Я уже говорил, что в жизни, как и в театре, нужно иметь чувство меры. Это значит, что чувствовать надо не более и не меньше того, что соответствует правде положения. Надо иметь талант не только для того, чтобы играть на сцене; талант необходим для того, чтобы жить. Оно и понятно. Роль человека в жизни всегда сложнее любой роли, которую можно только себе вообразить на театре. Если трудно сыграть на сцене уже начерченную фигуру того или другого человека, то еще труднее, думаю я, сыграть свою собственную роль в жизни. Если я каждую минуту проверяю себя, так ли пошел, так ли сел, так ли засмеялся или заплакал на сцене, то, вероятно, я должен каждую минуту проверять себя и в жизни — так ли я сделал то или это? Если на сцене даже отрицательное должно выглядеть красиво, то в жизни необходимо, чтобы все красиво вышло...

Вот почему я всегда удивлялся, когда встречал дворянина-помещика, министра, великого князя, короля, которые вдруг, как плохой актер на сцене, в бездарье своем говорили фальшивым голосом фальшивые слова, и делали фальшивые жесты, и также, как бездарные актеры на сцене, не замечали, что они играют плохо. Временами мне бывало противно смотреть на этих странных людей, как бывает противно смотреть на фальшивую истерику, исполненную фальшивой актрисой. Отсюда, думается мне, идут начала многих несчастий.

Надо помещику пойти к мужикам и с ними говорить. И выходит помещик, плохо играющий свою роль помещика, и говорит мужикам, пожалуй, дело, но ставит так запятые и точки с запятой, делает такие неуместные паузы, что мужики вместо того, чтобы вынести самое благоприятное впечатление от его зачастую действительно добрых намерений, выносят впечатление досадливое. Не понял актер-помещик атмосферы, не знал правильных интонаций. Провалился. Через год, глядишь, горит его усадьба.

Приходит министр в парламент, скажем, в Думу Выходит на трибуну и говорит. Слушают его уже не мужики, а люди, которые отлично понимают, где следует поставить запятую, и отлично понимают, где она поставлена министром. Немедленно они в своих ушах восстанавливают грамматическую неточность. Но министр плохой актер. Он не чувствует обстановки, не понимает «ситуации», и неточности начинают нагромождаться одна на другую. Какая-нибудь забубенная голова выкрикивает нелестное замечание. Как плохой актер от неправильно поданной реплики, министр теряет тон и самообладание. Голос его начинает звучать фальшиво, жесты перестают подходить к принятому делу. Мысль осталась недосказанной, дело недоделанным, а впечатление произведено отвратительное. Не понял министр своей роли — провалился.

А цари? Надо уметь играть царя. Огромной важности, шекспировского размаха его роль. Царю, кажется мне, нужна какая-то особенная наружность, какой-то особенный глаз. Все это представляется мне в величавом виде. Если же природа сделала меня, царя, человеком маленького роста и немного даже с горбом, я должен найти тон, создать себе атмосферу — именно такую, в которой я, маленький и горбатый, производил бы такое же впечатление, как произвел бы большой и величественный царь. Надо, чтобы каждый раз, когда я делаю жест перед моим народом, из его груди вырывался возглас на все мое царство:

— Вот это так царь!

А если атмосфера не уяснена мною, то жест мой, как у бездарного актера, получается фальшивый, и смущается наблюдатель, и из гущи народа сдавленно и хрипло вырывается полусшепот:

— Ну и царь же!..

Не понял атмосферы — провалился.

Горит империя.

В эти нервные и сумбурные дни можно было заметить одно совсем российское, типичное явление. Люди сообразили, что сила солому ломит, и, защищая от льдины, которая может их затереть, не совсем искренне, но осторожно поплыли по течению. Все сразу, как будто этого момента всю жизнь только и ждали, надели красные ленточки. Решительно все и с ты: символисты, кубисты, артисты и даже монархисты. Не скрою, надел и я. Вспоминаю об этом немного совестливо. Конечно, это делать мне не надо было, хотя я совершенно искренне переживал события в очень приподнятом настроении. Я думал: вот наступило время, когда мои боги, которых я так чтил, придут к власти, устроят жизнь хорошо — хорошо для всех, жизнь осмысленную, радостную и правильно-рабочую. Но очень скоро сделалось мне ясно, что в делах правительства, в настроенных политических партий и в поведении населения очень мало порядка. Началась невообразимая партийная грызня на верхах, и анархически разгулялись низы. Достаточно было выйти на Невский проспект, чтобы сразу почувствовать, как безумно бешует в народе анархическая стихия. Я видел, как солдаты злобно срывали со стен какие-то афиши, которые упорно наклеивали другие «граждане», и как из-за этого в разношерстающей уличной толпе возникали кровавые драки. Я видел, как жестоко и грубо обижали на улицах офицеров. <!..>

Разгул революционных страстей вызвал в культурной интеллигенции Петербурга основательное опасение за целостность памятников, имеющих историческое значение или художественную ценность. Образовался Комитет по охране памятников искусства. Между прочими в этот комитет вступил и я. В качестве члена этого комитета мне пришлось лично столкнуться с тогдашними настроениями и порядками.

Предстояли похороны жертв революции. Совет рабочих депутатов решил хоронить убитых революционеров на площади Зимнего дворца. Под самыми, так сказать, окнами резиденции — в укор императорам! Это было бессмысленно уже просто потому, что никаких императоров в Зимнем дворце уже не было. Некоторые из наших комитетчиков предложили протестовать против вандализма Совета рабочих депутатов. Горькому и мне пришлось по этому делу ходить по властям.

Мы отправились прежде всего к председателю Совета рабочих депутатов, грузинскому социал-демократу Чхеидзе¹⁴, недавно так трагически закончившему свои дни в Париже. Мы изложили Чхеидзе наши соображения, но этот горячий кавказский чело-

¹⁴ Чхеидзе Н. С. — один из лидеров меньшевизма, после февральской революции председатель Петроградского Совета. Эмигрировал в 1921 году. В 1926 году кончил жизнь самоубийством.

век и «слышать не хотел» наших доводов. Жертвы революции должны быть похоронены под окнами тиранов!.. Мы отправились к Керенскому, бывшему в то время министром юстиции. Мы просили министра властью своей воспрепятствовать загромождению площади Зимнего дворца. Нехорошо устраивать кладбище у дворца, который ведь может пригодиться народу. Керенский с нами согласился, и благодаря Временному правительству решение Совета было отменено. Площадь Зимнего дворца удалось отстоять.

Эти мои хождения по властям сильно меня просветили насчет положения дел и встревожили. Во время визита к Чхеидзе я столкнулся с политическим фанатизмом, обещающим мало хорошего. А между тем Чхеидзе представлял собой только центральное крыло Совета. Какой же фанатизм должен процветать на его левых скамьях! А визит к Керенскому показал мне, в каких абсурдно ненормальных условиях новой власти приходится работать. Я увидел, как эти люди, облеченные властью, устают — в самом обыкновенном физическом смысле этого слова. Устают и не имеют, вероятно, возможности ни спать, ни есть. По длинным коридорам министерства юстиции взад и вперед с бумагами носился А. Ф. Керенский, забегая в разные комнаты. Он был так озабочен, что на все, что попадалось в коридорах, смотрел недоумевающими глазами, в том числе и на меня с Горьким (узнал потом, что Керенский весьма близорук). А за министром, еще более озабоченный, носился по пятам человек высокого роста и худой, держа в руках бутылку с молоком. Он, по-видимому, бегал за министром, с тем чтобы не пропустить удобной минуты дать ему выпить хоть немного молока... Нас пригласили в кабинет, куда через некоторое время вошла усталая власть. Власть заняла председательское место за столом, а кормилица села сбоку... Помню, как меня помимо бутылки с молоком поразила крайняя нервность и издерганность людей, пытавшихся в это критическое время управлять Россией. Из различных реплик присутствовавших в кабинете правителей я понял, что власть даже в своей собственной среде как-то в разладе, не сцеплена, не спаяна. Я подумал с огорчением: как же такой власти и в таких условиях работать, править и держаться крепко?.. Однако я все же понимал, что не время судить власть за то, что она и растерянная, и усталая, и несцепленная. Тому было слишком много серьезных объяснений. <...>

О людях, ставших с ночи на утро властителями России, я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, что такое Ленин.

<...> Уже о Троцком я знал больше. Он ходил по театрам и то с галерки, то из ложи грозил кулаками и говорил публике презрительным тоном: «На улицах лется народная кровь, а вы, бесчувственные буржуи, ведете себя так низко, что слушаете ничтожные пошлости, которые вам выплевывают бездарные актриски». <...>

В эти первые дни господства новых людей столица еще не отдавала себе ясного отчета в том, чем на практике будет для России большевистский режим. И вот первое страшное потрясение. В госпитале зверским образом матросами убиты «враги народа» — больные Кокошкин и Шингарев¹⁵, арестованные министры Временного правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции.

Я помню, как после этого убийства потрясенный Горький предложил мне пойти с ним в министерство юстиции хлопотать об освобождении других арестованных членов Временного правительства. Мы прошли в какой-то второй этаж большого дома где-то на Конюшенной, кажется, около Невы. Здесь нас принял человек в очках и в шевелюре. Это был министр юстиции Штейнберг. В начавшейся беседе я занимал скромную позицию манекена — говорил один Горький. Взволнованный, бледный, он говорил, что такое отношение к людям омерзительно: «Я настаиваю на том, чтобы члены Временного правительства были выпущены на свободу немедленно. А то с ними случится то, что случилось с Шингаревым и Кокошкиным. Это позор для революции». Штейнберг отнесся к словам Горького очень сочувственно и обещал сделать все, что может, возможно скорее. Помимо нас с подобными настояниями обращались к власти, кажется, и другие лица, возглавлявшие политический Красный Крест. Через некоторое время министры были освобождены.

В роли заступника за невинно арестованных Горький выступал в то время очень часто. Я бы даже сказал, что это было главным смыслом его жизни в первый период

¹⁵ Кокошкин Ф. Ф., Шингарев А. И. — члены ЦК партии кадетов. «Ленину сообщили, что матросы устроили самосуд над двумя кадетами. Он тут же потребовал к себе В. Д. Вонч-Вруевича, куда-то звонил. Коллонтай послал к балтийцам. «Мы их за это по головке не погладим. Нет. Анархии мы не потерпим!» Он был крайне возмущен, хотя убили двух его политических противников» (Куприн О., «...действительный, живой человек...». — «Коммунист», 1987, № 16, стр. 64).

большевизма. Я встречался с ним часто и замечал в нем очень много нежности к тому классу, которому угрожала гибель. По ласковости сердца он не только освобождал арестованных, но даже давал деньги, чтобы помочь тому или другому человеку спастись от неистовствовавшей тогда невежественной и грубой силы и бежать за границу.

Горький не скрывал своих чувств и открыто порицал большевистскую демагогию¹⁶. Помню его речь в Михайловском театре. Революция, говорил он, не дебош, а благородная сила, сосредоточенная в руках трудящегося народа. Это торжество труда, стимула,двигающего мир. Как эти благородные соображения различались от тех речей, которые раздавались в том же Михайловском театре, на площадях и улицах, от кровожадных призывов к разгрому! Я очень скоро почувствовал, как разочарованно смотрел Горький на развивающиеся события и на выдвигающихся новых деятелей революции.

Опять-таки, не в первый и не в последний раз, должен сказать, что чрезвычайно мало понятна мне и странна российская действительность. Кто-нибудь скажет: такой-то подлец,— и пошла писать губерния. Каждый охотно повторяет «подлец» и легко держит во рту это слово, как дешевую конфетку. Так было в то время с Горьким. Он глубоко страдал и душу свою, смею сказать, отдавал жертвам революции, а какие-то водовозы морали распространяли слухи, что Горький только о том и думает, как бы пополнить свои художественные коллекции, на которые, дескать, тратит огромные деньги. Другие говорили еще лучше: пользуясь бедою и несчастьем ограбленных аристократов и богатых людей, Горький за гроши скупает у них драгоценные произведения искусства. Горький действительно увлекался коллекционированием. Но что это было за коллекционирование! То он собирал старые ружья, какие-то китайские пуговицы, то испанские гребенки и вообще всякий брик-а-брак. Для него это были «произведения человеческого духа». За чаем он показывал нам такую замечательную пуговицу и говорил: «Вот это сработано человеком! Каких высот может достигнуть человеческий дух! Он создал такую пуговицу, как будто ни на что не нужную! Понимаете ли вы, как надо человека уважать, как надо любить человеческую личность?»

Нам, его слушателям, через обыкновенную пуговицу, но с китайской резьбой делалось совершенно ясно, что человек — прекрасное творение Божье...

Но не совсем так смотрели на человека люди, державшие в своих руках власть. Там уже застегивали так расстегивали, пришивали и отшивали другие «пуговицы».

Революция шла полным ходом. <...>

Подготовка текста Е. ДМИТРИЕВСКОЙ, В. ДМИТРИЕВСКОГО.

(Окончание следует)

¹⁶ «На страницах газеты «Новая жизнь», органа меньшевиков-интернационалистов, Горький опубликовал в 1917—1918 годах цикл статей «о революции и культуре» под названием «Несвоевременные мысли», где обвинял большевиков в «дикий грубости», «некультурности», в исторической поспешности и т. д. И хотя он отдавал должное большевикам («Лучшие из них — превосходные люди, которыми со временем будет гордиться русская история, а ваши дети, внуки будут и восхищаться их энергией»), мнимые и действительные их ошибки обличал беспощадно и яростно. Но Ленин даже в самых сложных, критических ситуациях умел дорожить людьми. Он верил: «временное, чужое, наносное» в Горьком пройдет, и окажется прав. То, что объединяло Ленина и Горького, было выше того, что могло их разъединить, пусть ненадолго. Выше было благо трудящегося народа, страны, настоящее и будущее культуры. В ту сентябрьскую встречу восемнадцатого года Горький услышал: «...Скажите интеллигенции, пусть она идет к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чем же дело? Пожалуйста к нам...!» («Призвание социалистической культуры» — «Коммунист», 1987, № 15, стр. 3).

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА



МЫТАРСТВА ИДЕАЛА

К выходу в свет «Чевенгура» Андрея Платонова

Ровно шестьдесят лет назад журнал «Новый мир» (1928, № 6) напечатал главу из романа «Чевенгур» тогда двадцатидевятилетнего Андрея Платонова. Это была первая и единственная публикация на родине страниц вершинного произведения писателя — вплоть до нынешнего появления романа в журнале «Дружба народов». А в 1929 году вышла в свет повесть «Происхождение мастера» (1927), рассказавшая о детстве и юности главного героя романа Саши Дванова.

Шла середина самого плодотворного творческого десятилетия Платонова (1925—1935). С поразительной интенсивностью создаются основные произведения писателя — от фантастических рассказов и повестей до «Котлована», «Ювенильного моря» и «Джана». Из них многие, притом самые существенные, вошли в литературу лишь в последние два десятилетия, а с некоторыми наш читатель только начинает знакомство по свежим номерам журналов.

Уникальный творческий материк Платонова наконец всплывает во всем богатстве своих контуров и извивов и вместе в удивительном единстве душевного и «метафизического» пейзажа. «Чевенгур» здесь — доминирующая гряда, есть в нем и сокровенная духовная высь, и крутые уступы крайних экспериментов над «идеями», и сатирические пики, и прорезающие все и вся русла постоянных, упорно-навязчивых мотивов и образов.

«Чевенгур» называют иногда философским романом; в нем миропонимание писателя, его заветные убеждения властно направляют всю тончайшую художественную работу, здесь осуществляемую. «Самый метафизический советский писатель», — можно услышать о Платонове. Сила влечения и читателей и исследователей к платоновской прозе во многом определяется той

загадочной глубиной смысла, которая мерцает за поражающей всех вязью его мыслеслов. Не опознав «однообразных и постоянных идеалов» художника (а именно так он их сам определял), мы будем обречены оставаться в поверхностном слое его текста.

Начинается «Чевенгур» с того, что читатель узнает о хитрости учителя Нехворайко, обувшего лошадей своего красноармейского отряда в лапти, чтобы не потонули в болоте, и неожиданно ночью выбившего казаков из города Новохоперска. Через несколько абзацев мы уже слышим печальную музыку: несут «остывшее тело погибшего Нехворайко (в фамилии, а может, и в жизни таки не хворал, да и что из того? — С. С.), которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках». С Нехворайки начинают погибать люди в романе: их убивают, или они боленут и умирают, или сами кончают свою жизнь, как Саша Дванов на последней странице книги.

Мотив умирания и смерти проникает все творчество Платонова. Печать медленного увядания, «замученность смертью» лежит у него на всем: не только на живых существах, но и на вещах, предметах и даже стихиях мира — и ветер «посмертный», и песок «старый», и жилище «изжитое, истраченное», «убитое и умершее»... В «Происхождении мастера» отец Саши, рыбак, всю жизнь думал все об одном и том же — об «интересе смерти». Сосредоточенность его «любопытного разума» на этой загадке приводит к самоубийству, он бросается в озеро: «Втайне он вообще не верил в смерть, главное же, хотел посмотреть, что там есть». Саша Дванов, как и все основные персонажи «Чевенгура», — круглый сирота, и сиротство, разрыв смертью живого общения поколений, ощущает-

ся им как фундаментальное несчастье жизни. Он, «самосозданный» народный интеллигент, уходит в революцию с мечтой найти в ней то, «ради чего.. своевольно утонул» его отец (то есть разгадку смерти и ее преодоление).

А пока (с этого, собственно, начинается действие) Саша уезжает из Новохоперска — его вызывают в губернию. Но вместо поездки с прямой целью начинается странное блуждание героя. Очень быстро возникает ощущение какого-то смутного, бредового-горячечного сна, в котором все и происходит. Главное, что видится в этом сне, — дорога; на ней движутся, останавливаются, судорожно несутся вперед, петляют, возвращаются и снова пускаются в путь присутствующие в романе люди.

Все вокруг пропитано бесконечно печальным чувством. Саше, покидающему город, «жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более беззащитным». Какое уж там дело в губернии — «его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи сучали по нем и звали его». На мгновение в этот сон врываются безымянные люди, места, слова, вещи, разная мелочь жизни и исчезают безвозвратно. «Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием Завалишный; около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаз на поезд», из которого на него смотрит Саша. Какие-то неведомые, «сторонние безвестные люди» мелькают из вокзалов, забытых жизнью углов. Таковую пронзительную боль рождает людская разьединенность в мире, что душа готова разделить участь каждой пропадающей забвенной пылинки — «пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни». «Серая грусть облачного дня», ровный, бессолнечный, серый, тихо-тоскливый свет заливает то особое место, тот странный пейзаж, который пригрезился в «Чевенгуре».

Кому же снится этот сон? Очевидно, не одному Саше. Как во сне отдельного человека, возможно, действует его душа, здесь — в большем пространстве — живет в какой-то сонной томительной одуре русская душа. Поднимается ее глубь и дно. (Пожалуй, точнее всего призрачно-ирреальную атмосферу «Чевенгура» передает тютчевское: «В каком-то забыты изнеможенья здесь человек лишь снится сам себе». Недаром в романе так много буквального сна, куда то и дело проваливаются, обессилев от своих мечтаний и дел, персонажи. А переходы от сна к яви и обратно часто стерты.) И все больше начинает казаться, что Саша Дванов, а с ним и другие, глав-

ные и едва промелькнувшие люди в романе — не обычные герои, литературные персонажи, а как будто различные воплощения народной души. А сам Платонов — как русский Платон, созерцатель и выразитель основных идей душевной реальности своего народа.

Вот в ее сон уголком на миг вдвигаются приметы чужой души, яркой, жизнерадостной. Но ей-то самой так и видится та трухлявая ткань, которую эта красочная поверхность скрывает: «Командир лежал против комиссара и тоже спал; его книжка была открыта на описании Рафаэля, Дванов посмотрел в страницу — там Рафаэль назывался живым богом раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря. Но Дванов не смог вообразить то время: дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей»

Эти «теплые берега Средиземного моря», хотя и никогда не виданные Сашей, нечто вроде тютчевского юга, что сияет как самая прекрасная часть «покрова золотканого», дневного лика мира, как особо роскошная иллюзия. А та родная страна, та природа, которая предстает чувствам героев «Чевенгура», напоминает философски насыщенный образ уже северного пейзажа, созданного тем Тютчевым же: здесь преобладает мгlistое, сумеречное, туманно-серое освещение, царит какое-то «изнеможение» в душе природы, сияет «кроткая улыбка увяданья», открывается странство пустоты, однообразия, тоски. Выписывать из «Чевенгура» можно бесконечно: тут и «преждевременные сумерки над темной грустной долиной», и «бледный вянувший свет, пахнувший сыростью и скукой нового нелюдимого дня», и ночь «мутная и скучная», и «в степи, казалось, находилась одна пустота», и река не столько течет, сколько «умирает», «ширится же лотами», а над ними стоит «ночная тоска». «Дванов загляделся в бедный ландшафт, впереди. И земля и небо были до утомления несчастны...» Здесь переживание смертной доли оголеннее, тоска ее острее, чем у жителя юга, оглушенного веселым шумом жизни, ослепленного роскошью ярких форм, цветов и звуков.

В платоновских пейзажах рисуется лик томящейся, перемогающей, «призрачной», «скучной» стихии; в них словно проскакивает насквозь тоскливый удел человеческий — как перед лицом смерти, когда «с глаз завязка упадет» (Лермонтов) и с резким бледнеющим ланит «жар любострастия бежит» (Баратынский). Но у Платонова

есть и собственные акценты: бедная, «горестная, безнадежная» природная жизнь как будто сознает свое недостоинство, несовершенство и стыдится его. Именно стыд — это разлитое по людям и природе чувство — доносит до нас писатель: «Вощев... увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья» («Котлован»). Не просто стыд, а тайный, самый глубокий, тонкий, жгучий — покаянный... Платоновский мир готов сгореть от стыда, вспыхнуть факелом в очистительном уничтожении своего несовершенства, готов к отказу от ветхой природы и принятию новой. Пока же он бесконечно мается и грустит в «общей всемирной невзрачности», в «воздухе ветхости и прощальной памяти».

У Платонова всегда было самое непосредственное ощущение того, что нас окружает прежде всего минеральный, каменный, не-живой мир. «Едва зеленеющий», как он любит отмечать. Рядом с человеческим «я» — непроницаемый мир плотного, косного вещества. У Платонова есть рассказ «Скрипка», где он как будто заглядывает во внутреннюю жизнь этого вещества. Скрипка, изготовленная из материала, обретшего в экспериментальной мастерской особую природную полноценность, обладает чудесной силой извлекать «голос пространства и дикого окружающего вещества, бывшего мертвым и безмолвным всегда». «Весь мир вокруг него стал вдруг резким и непримиримым — одни твердые, тяжкие предметы составляли его, и грубая жесткая мощь действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность». Тут явная антропоморфизация косного вещества, приходящего в отчаяние от собственной непроницаемой тяжести и действующего с какой-то злобой от безнадежности этого отчаяния. Внутри самой материи, хочет сказать Платонов, существует недовольство собственным жестким, темным, «небратским» принципом бытия.

«Недолжность» того закона, на котором стоит мир, острее всего переживается через несогласие принять смерть, уничтожение каждого, единственного человека. Автор глазами своего героя всматривается в мертвое тело человека, недавно дышавшего и жившего. Куда в один миг де-

вается вся рабочая фабрика тела, изощренность инстинкта, расчет ума, трепет души, избыточность памяти, вместившей целый мир? «Но на его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела, лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму, — Дванов даже обратил внимание на свет дня: действует ли он, раз человек так чернеет». Умирает красноармеец, тщетно пытаясь заговорить вытекающую из него кровь: «Перестань, собака, ведь я же ослабну!» Сцены умирания столь скрупулезно, можно сказать, въедливо представлены в произведениях Платонова, словно автор, как его герой Саша Дванов, движим потребностью (и наделен способностью) переселяться в другого человека, отождествляясь с ним и его состояниями, вплоть до самых страшных, трагических и закрытых для окружающих. И вот мы узнаем, как от умирающего медленно отлывает мир, сознание охватывает все более узкий круг, наконец, сосредоточившись на миг в одной сверкающей точке, гаснет, дух покидает тело, выцветают глаза, «превращаясь в круглый минерал, отражающий небо. То ли человек возвращается в природу, то ли природа в человека, и начинают в нем бродить и «беспокоиться лишь мертвые вещества».

Так бредет Саша через смерть, трупы, тоску, сам чуть не умирает от тифа, от воспаления легких. Среди яростных, враждебных сил и стихий мира человеческая жизнь у Платонова являет собой нескончаемое «дыхание на ладан», полужизнь и вместе с тем постоянное усилие продлить это чудо полусуществования. Как в более позднем рассказе «Полотняная рубашка»: «...сколько раз я кровью весь исходил, да напоследок сожмусь в последний остаток, разгневаюсь весь, сберегу одну живую каплю крови и от нее опять согреюсь и отдышусь».

Мы обычно представляем дорогих умерших в духовных формах, привыкли к душевной памяти о них. У Платонова поражает нежность к буквальным, телесным остаткам мертвых, даже не нежность, а какое-то иступленное стремление удерживать нечто действительно физически им принадлежавшее. В «Происхождении мастера» Захару Павловичу «сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины». Мотив раскопанной могилы вновь возникает в «Чевенгуре»: «Перед

Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу, — если не живым, то целым для памяти и любви; через каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним».

Этот мотив не является привилегией творческого воображения Платонова и тем более не может быть истолкован как его личный психический сдвиг. Вспомним два примера из французской литературы: «Даму с камелиями» Дюма-сына и рассказ Мопассана «Могила». Невозможность уже никогда и ни за что вернуть ушедшего из жизни человека, который еще совсем недавно был рядом, дышал, улыбался, составлял все счастье и жизнь, потрясает до умопомрачения героев Дюма и Мопассана. Увидеть возлюбленную, пусть мертвую и в могиле, хотя бы один раз обмануть эту страшную невозможность — таково непреодолимое желание обоих, которое они и осуществляют. И у Мопассана и у Дюма предстает подробная, подчеркнуто натуралистическая картина разложившегося тела некогда прекрасной женщины, нагнетающая чувство ужаса и отвращения. Именно с этого момента начинается для обоих французских героев выздоровление от безумной страсти, не покидавшей их со смертью любимой.

Платонов не раз сосредоточенно останавливается — понять! — на физиологии смерти. Он умеет подчеркнуть ужас и тлетворность разложения. В рассказе «Такыр» лошадь почти не может пить воду, она отравлена гнилостными испарениями истлевшего трупа, который она везла на себе. Запах гниения, падали невыносим и для человека. В этом отвращении есть и своя надежда. Раз отвратительно, даже стыдно, значит, неприемлемо. Именно стыд, этот поразительный нравственный обертон, всегда присутствует среди ощущений, вызываемых запахом разложения.

Но что еще поразительнее — у Платонова чувство любви оказывается сильнее отвращения перед миазмами тления: «Усопший лежал неглубоко под нами, и из земли явственно шел запах его тела, смешавшегося с почвой. Женщина глубоко дышала этим воздухом, в котором были частицы тела любимого ею человека, довольная уже тем, что хоть таким образом она общается с ним и чувствует его близость. У нее не могло быть отвращения к

покойному; она даже боялась того, что скоро уже не ощутит его тления, когда он вовсе смешается с прахом. Кто не поймет ее чувства или кем овладеет брезгливость, тот не знает простых свойств человеческой природы, и брезгливая осторожность отделяет того от мира и его понимания».

«Давай, мама, откопаем папу! — сказал сын матери. — Пусть он дома лежит» («Пустодушие»). Платоновская тоска по умершим не утоляется красивой грустью призрачного образа, хранящегося в памяти. Через крайние эксцессы этой тоски — «давай, мама, откопаем папу!» — в ней пробивается кажущееся безумным, но реальное чаяние. Ведь без любви к телесно-душевной неповторимости, любви, забывшей «брезгливую осторожность», трудно говорить о познании мира в его смертных губинах, о деле его преображения.

У Платонова поразительное отношение к телу. Как уникальное целостное устройство человека оно свято. Ощущение его — интимно и глубоко. Именно ощущение (свернуться, уйти в теплоту тела) и какое-то рентгеновское проникание его внутреннего устройства, где работающее сердце — пульсирующий центр человека, средоточие его чувства и жизни. Тело — лицом и внешней формой — видимый носитель неповторимой индивидуальности, а внутри, невидимо и неисследимо, каждый орган и клетка также несет печать этой личности. И как в свое последнее прибежище, в «тесноту тела», в его «жалкую одинокую темноту» уходит у Платонова человек в болезни и смерти.

Вместе с тем через тело, через завещанную в нем материнскую теплоту, бьющуюся в сердце, и осуществляется включенность человека в единую людскую цепь: «...своим биением сердце связано с глубокой человеческого рода, зарядившего его жизнью и смыслом». Ибо тело — пересечение огромного количества бывших жизней, их скрытая актуализация в тебе живущем и надежда через тех, кто произойдет от тебя, выйти — снова родиться — в новое, преображенное бытие.

Все, что происходит с телом у Платонова, прекрасно и жалко, как прекрасен и жалок сам человек. Тут опять-таки нет и следа брезгливости, нет отбора того, о чем можно и о чем нельзя говорить. Вот характерный эпизод из романа. Выздоровливает Саша, влечет его дальше дорога, где еще не совсем стихла кровавая феерия гражданской войны с ее большими и малыми вождями, пулей утверждающими

свою идею. «По мошонке Иисуса Христа, по ребру Богородицы и по всему христианскому поколению — пли!» — разряжает в Сашу винтовку молодой бандит Никиток из команды анархиста Мрачинского. Раненый Дванов ложится на землю, обнимает ногу лошади, и «нога превратилась в благоухающее живое тело той, которой он не знал и не узнает», знакомой девушки Сони Мандровой, его соседки. «Шло предсмертное время — и в наваждении Дванов глубоко возбладал Соней. В свою последнюю пору, обнимая почву и коня, Дванов в первый раз узнал гулкую страсть жизни...» Никита готовится добить Сашу, содрать с мертвого одежду. Кладет руку на его лоб, чтобы узнать, теплится ли в нем еще жизнь. «Рука была большая и горячая. Дванову не хотелось, чтобы эта рука скоро оторвалась от него, и он положил на нее свою ласкающую ладонь». Рассудив, Никиток решает сначала снять одежду еще с живого, а потом уж его прикончить. «Дванов начал раздеваться сам, чтобы не ввести Никиту в убыток: мертвого действительно без порчи платья не разденешь. Правая нога закостенела и не слушалась поворотов, но боль перестала. Никита заметил и товарищески помогал». Господи, какие низины жестокости, но никакой ненависти! Рука, убивающая тебя и готовая надругаться, становится последним теплым прощанием с людской родиной, рукой бедного брата по этой жизни, ее путанице, несчастью, искореженности. Брр! — скажут многие, — как некрасиво, какое юродство! Да, надо сразу сказать это слово: русская душа в «Чевенгуре» — юродивая, если не Христа ради, то Жизни ради юродивая.

В Саше Дванове глубокое ее содержание, метафизика смерти. Опьяняющая способность от всего отказаться: «эх, черт поberi все!» — дескать, все на этой земле причастно черту, ядовитой смертной черте; так зачем прочно оседать, строиться, украшать, «как игрушечку», свое временное жилище, делишки делать, когда Дела нет? Постоянное истечение тоски, юродство отчаянного смертника, «не-отмирность» — все это создает общее впечатление, которое давно уже застыло для чужих в представлении о «загадочной славянской душе». Загадочность там, где теряется хоть сколько-нибудь точная оценка, летит вверх тормашками всякий прогноз, когда поведение непредсказуемо искривляется, как это часто бывает и у платоновских героев, какими-то странными, то быуно-шадными, то грустно-запеваю-

щими вихрями, неизвестно откуда налетающими, из глубины ли души или из сосущего бесконечностью пространства. Почти все заражены какой-то избыточной юродивой душевностью — некрасивый треск разрываемой на груди покаянной рубахи прорезывает воздух, а потом долго тянется струйка стыда... Вообще как-то себя стыдно — это ощущение постоянно в мире Платонова.

Андрей Платонов — визионер народной души. Ее метафизику, ту, что в крови, жилах, клетках, в сердце, воздухе и природе, он связал с учением Николая Федорова, философа, призывавшего к «общему делу» воскрешения всех умерших, к активному преобразению природного порядка существования в бессмертный «божественный» тип бытия, толковавшего христианскую «благую весть» как повеление всему человечеству соделаться действенным орудием «Бога отцов не мертвых, а живых». Немногие услышали его, и среди них Андрей Платонов. Услышал как сын своей революционной эпохи, отбросив Бога — у Федорова высшую сотрудничающую в «общем деле» реальность. И отзвуки услышанного передал своим героям.

Разумеется, богатство платоновского мира не сводится пусть даже к самому глубокому и самостоятельному переживанию мысли Федорова. Но «сокровенные» философские грани этого мира безусловно к ней причастны: это и бесконечная ценность каждой, даже самой скромной и забвенной жизни, и резкое неприятие смерти, порождающей ситуацию сиротства, которая требует своего преодоления трудом и творчеством (у Платонова нередок и мотив «научного» воскрешения), и неразрывная связь поколений, живых и мертвых, в «общем отцовстве», и детское чувство, детский взгляд на вещи как критерий нравственности...

Никто до Федорова так беспощадно прямо не ставил вопрос о глубокой постыдности для человека, существа чувствующего и сознающего, природного способа существования, что стоит на взаимном пожирании, борьбе, вытеснении предыдущего последующим. Человек, как и все в природе, существует за счет другой жизни — растений, животных и себе подобных. Дети, рождаясь, подрастают, истощают силы родителей и неизбежно вытесняют их, чтобы быть вытесненными в свою очередь своими детьми. Медленное измождение, постепенное омертвление матери, многократной роженицы, буквально отдающей свою жизнь детям, — один из самых лич-

ных и сильных образов у Платонова. Вот как в «Происхождении мастера» описывается приемная мать Саши Дванова сразу после очередных родов: «...сама Мавра Фетисовна ничего не чуяла от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвевших страданий и синие толстые жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу: по одной жиле, по кожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела». Тут луч авторской любви, любви беспощадной, исследующей, ибо не пассивна она, сосредоточенно направлен на небольшой участок тела, укрупняя его до целого пейзажа, до картины постепенного обвала в смерть всего организма.

Платонов не раз сближается с федоровской мыслью о том, что, извлекая пищу из почвы, плодородного слоя, образованного прахом предков, человечество тем самым питается этим прахом и потому находится еще в стадии скрытой антропофагии. «Пухов глядел на встречные ложины, слушал звон поездного состава и воображал убитых — красных и белых, которые сейчас перерабатываются почвой в удобрительную тучность» («Сокровенный человек»).

Огромный космос полон вещества, кощующего по существованию. Что было когда-то человеком, превращается в землю, в прах, из него растут травы и деревья, из них делают разные вещи; вещи стареют, разрушаются, превращаясь в те бесплозные пустыки, те незаметные, скудные мелочи, к которым так странно бывает привязано сердце в мире Платонова. Человек живет от рождения до смерти, «срабатывая вещество своего тела», «теряя в терпении и работе свое существо» («Джан»). Пыль, сор, прах, «темная ветхость измененного праха» — отработанное, последнее вещество, конечный пункт кощевья. У Платонова какая-то горькая нежность к этому праху: играть, пересыпать его в руках, ласкать мириады растертых в нем жизней. Девочка Уля из одноименного рассказа, та, что, сама не понимая, обладала даром видеть тайную суть людей и вещей, оборотный лик жизни, «цветов... не любила, она никогда не трогала их, а набрав в подол черного сору с земли, уходила в темное место и там играла одна, перебирая сор руками и закрыв глаза».

Почти в каждом своем произведении

Платонов наделяет кого-нибудь из персонажей странной манией рассматривать, а то и собирать всяческие забвенные остатки существ и вещей. В «Чевенгуре» «Яков Титыч любил поднимать с дорог и с задних дворов какие-нибудь частички и смотреть на них: чем они раньше были? Чье чувство обожало и хранило их? Может быть, это были кусочки людей, или тех же паучков, или безымянных земляных комариков — и ничто не осталось в целости, все некогда жившие твари, любимые своими детьми, истреблены на непохожие части, и не над чем заплакать тем, кто остался после них жить и дальше мучиться... Это ж мука, а не жизнь». Вся эта «несчастливая мелочь природы», «вещественные остатки потерянных людей» — своего рода разбазаренные, анонимные экспонаты потенциального федоровского «музея». (Мыслитель имел в виду повсеместное и всеобщее предприятие собирания, сохранения и изучения всех культурных вещественных памятников прошлого вплоть до последних мелочей быта. Конечной задачей такого изучения всех следов ушедших эпох и живших людей, по Федорову, является вклад в их восстановление.)

«Чевенгур» — повествование о том, как в революцию совершилась немедленная попытка осуществить некоторые глубинные чаяния народной души: мечту о преодолении смерти (выраженную в федоровской философии) и жажду всеобщего равенства.

В хоре голосов русской психеи, который звучит в «Чевенгуре», голос Саши Дванова ближе всех авторскому. «Направо от дороги Дванова, на размытом оползшем кургане лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, обветшалые от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотя бы воскреснуть. Дванов поднял крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы». В Саше — душа его отца-рыбака, отправившегося в воды озера Мутево искать «истину» смерти. Подспудная связь с отцом всплывает в навязчивых мотивах снов Саши («во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле»); «Маленький Саша вместо себя оставляет отцу палку — он зарывает ее в холм могилы и кладет сверху недавно умершие листья, чтоб отец знал, как скучно Саше идти одному и что Саша всегда и отовсюду возвратится сюда — за палкой и за отцом. Его томит чувство долга перед отцом, «первым утраченным другом», и в город Чевенгур, где образовался полный комму-

низм, он отправляется, надеясь найти там нечто важное, что поможет исполнить завет отца, прозвучавший в одном из снов Саши: «И мне тут, мальчик, скучно лежать. Делай что-нибудь в Чевенгуре: за чем же мы будем мертвыми лежать...» Самым глубоким из всех разделений, царящих в мире, Федоров считал отрыв мысли от дела, разделение на «ученых» и «неученых». Народный интеллигент Саша Дванов освобождается от этого извечного антагонизма знания и действия, чувства и воли, теоретического и практического разумов. «Он не мог долго выносить провала между истиной и действительностью, у него голова сидела на теплой шее, и что думала голова, то немедленно превращалось в шаги, в ручной труд и в поведение». Идеи «Философии общего дела», изогнутые электричеством революционного насилия, слышатся в мечтах Саши. Высшая цель и движение к ней выписываются им одной стремительной параболой: «Эти люди... хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо несомненно — после завоевания земного шара наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней...» Пламенея энтузиазмом, человек занимает место Бога, и страшный суд, узурпированная им привилегия, угрожает слепым силам материи.

На сцену романа выступает новый человек, Степан Копенкин, освобождающий Сашу из рук бандитов, бывший командир «полевых большевиков» (пяти человек, которых он отправил по домам), а ныне одиноко скитающийся паломник к могиле Розы Люксембург. «Его международное лицо не выражало сейчас ясного чувства, кроме того, нельзя было представить его происхождения — был ли он из батраков или из профессоров, — черты его личности уже стерлись о революцию. И сразу же взор его завлакивался воодушевлением, он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища». Копенкин, как затем чевенгурцы, — беззаветный рыцарь идеи всеобщего равенства и полного душевного товарищества.

Вот оно, русское «все как один», в том значении, что не должен кто бы то ни было возвышаться над другим, получать то или иное, почти субстанциальное (как существо другого порядка) преимущество, какое дается богатством, знатностью, образованием и воспитанием. Но как воз-

можно осуществление абсолютного и всеобщего равенства, что за нелепая и вредная идея?! — вознегодует любой здравый ум. Против нее восстает сама природа человека и вещей этого мира. В природном и социальном мире равенств нет, и этот мир всячески противится лечь в гробы его установлений. Неравенство, физическое, умственное, духовное, — без всякого обидного оценочного суждения, ибо каждый чем-то превосходит другого, — совершенно естественно, без него невозможно никакое развитие и жизнь.

Но в том-то и дело, что, взятая в своей предельной сути, идея равенства именно сверхприродна и сверхъестественна. Это величайшая «проективная», как сказал бы Федоров, идея, она входит в идеал бессмертного человеческого общежития (автор «Философии общего дела» видел его образцы в равенстве ипостасей Троицы). Мучение этой идеей говорит об истинном алкании преображенного бытия; сердечное равенство чевенгурцев, их «обожание товарища» вряд ли сродни социально-политическому, гражданскому равенству — «эгалите» — лозунгов Великой французской революции. Но в нетерпении исторического действия, в темной страстности и самонадеянности его вершителей идея эта падает в грязь и кровь, где корчится в Копенкине, Чепурном и их товарищах.

Пожилой воин Степан Копенкин, личность которого удостоверяют лишь карманные «Хлебные крошки и прочий сор», едет в далекую Германию освобождать от «живых врагов коммунизма» мертвое тело Розы Люксембург. Бумаг и документов при нем нет никаких, только в фуражке зашит плакат с изображением немецкой революционерки — как святыня в ладанке. Сердце горит безраздельной любовью и жалостью к замученной Розе. Словно пушкинский рыцарь бедный («Lumen soelum, sancta Rosa! — восклицал в восторге он»), Копенкин вскрикивает, шепчет, вздыхает, исходит слезами: «Роза, Роза!» — и верный его конь Пролетарская Сила ускоряет шаг, напрягая свое сильное тело.

Копенкин и его конь — своего рода персонажи-мифы романа, пролетарская травестия и Дон Кихота с Росинантом, и рыцарей-паломников ко гробу Господню, и искателей святого Грааля. А Пролетарская Сила к тому же как будто вышел из богатырской былины, храня на себе тепло Ильи Муромца. «Однако, чтобы достаточное наесться, конь съедал по осмьюшке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копенкин уважал

свою лошадь и ценил ее третьим разрядом: Роза Люксембург, Революция и затем конь».

Как Дон Кихот сражается с ветряными мельницами, Копенкин сечет саблей «вредный воздух» — глушит сигналы, которые буржуи по радио пускают. Нет рядом немедленного врага, на которого можно излить свое исходящее бессильной и потому яростной жалостью сердце, и он рубит придорожные кусты за то, что они недостаточно тоскуют по Розе. «...если Роза тебе не нужна,— приговаривает он,— то для иного не существуя — нужнее Розы ничего нет». Могила Розы — центр земли, к ней ведут все дороги, и едет Копенкин куда глаза глядят, куда верный конь выведет.

В этих безумных действиях и речах своя мистическая правда. Роза Люксембург не просто Прекрасная Дама помешанного странствующего «рыцаря», «он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом».

В грустной эпопее Копенкина, в его борьбе за обретение Абсолюта сохранены структуры рыцарской христианской мистики, средневековой героини крестовых походов и поисков святого Грааля. Небо всеобщего блаженства берется штурмом, истреблением неверных. «Он неутомимо шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты». «Все люди для него имели лишь два лица: свои и чужие. Свои имели глаза голубые, а чужие — чаще всего черные и карие, офицерские и бандитские; дальше Копенкин не гляделся».

Но, как и у Саша Дванова, самое сокровенное в Степане Копенкине всплывает в воспоминаниях детства и снах. Мы узнаем, что более всего мучило его страдание другого человека и как он «мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика обиженной его вдовы». И чают эти два героя с разной степенью осознанности, по существу, одного и того же. Степан мечтает, как он «Розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию». В смутных глубинах его души умершие мать и Роза сплетаются нераздельно. Вот ему снится, что хоронят Розу, а это и не Роза вовсе, а его мать. «Копенкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза были одно и то же первое существо для него, как прошлое и будущее живут в одной его жизни». Мать — его прошлое, его природные корни, самая близкая причина его самого. И на сыне, как всегда у Платонова, лежит вина за ее смерть, и мучает его

чувство, что надо что-то делать, чтобы искупить эту вину. Роза — богоматерь, богоматерия, начаток будущего искупления, превращения смертной плоти в нетленную, разделенности, «неродственности» мира — в вечное братство. Для чего же еще к ее гробу длится мистическое путешествие души в Копенкине?

Но как ни силится эта душа поверить в уже готовый источник спасения — в последнем, самом честном усилении она его не находит. «Постепенно в его сознании происходила слабый свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу». Роза мертва, она лишь женщина, и ее тоже надо спасти из могилы. Прежде чем черпать в Граале живую кровь преображения, его, оказывается, надо создать самим. Но как — самим, таким жалким, темным и так легко срывающимся в зло? Как самих себя поднять за волосы?

И Копенкин с Двановым все едут по равнине к дальнему горизонту своей мечты, который встает «как конец миру», «где небо касается земли, а человек человека». По пути — «ветряные мельницы» вражеских радиосигналов, встреча с человеком, что катится лежа: ноги устали, второй год к дому поспешает; деревня Ханские Дворики, где уполномоченный переименовал себя в Федора Достоевского, а за ним и весь актив окрестился кто в Христофора Колумба, кто во Франца Меринга. Сколько веков пропадали они «в безмолвном большинстве», в темной для памяти и истории массе! Сколько боли и ущемленной зависти накопилось у этих бедных детей жизни, лишь глядевших через забор на блестящие игрушки других, нарядных и счастливых! И вот совсем как дети, магическим «понарошку», произвели себя в Достоевских и Колумбов, в тех избранных «ученых», которых единственно пока человечество выделило — и тем «спасло» от смерти — в культуре.

В коммуне «Дружба бедняка», куда после Ханских Двориков попадают путешественники, все члены ее правления занимают должности и носят длинные и ответственные названия. Та же трогательная и жалкая детская компенсация прежней своей униженности: никто не пашет, не сеет, чтобы себя от высокой должности не отнимать. Единодушие, быть как одна душа — разве это не великая, божественная идея! А что выходит: все механически тянут руки друг за друга — как можно не со

всеми против родного коллектива и собственной власти. А потом для разнообразия и усложнения жизни члены правления коммуны закрепляют навсегда одного человека, чтобы был против, а другой чтобы сомневался и воздерживался.

С «Федора Достоевского» разворачивается в романе гоголевский парад типов и установлений этого переломного времени. Вот попадают наши путешественники в «революционный заповедник товарища Папинцева имени всемирного коммунизма», как значится при въезде в бывшую помещичью усадьбу с добавлением: «Вход друзьям и смерть врагам». Папинцев — безумец идеи сохранения «революции в нетронутой геройской категории». Как первохристианин, спасающийся от преследований мира сего в пещере, Папинцев в средневековых доспехах сидит на бомбах в погребке, утрашая ими ввиду возможного нападения любых врагов или властей, наводящих будничным мирным порядком. Яростная атака на будущее, безумная попытка одним волевым усилием и горением нетерпеливого сердца преобразить людей и мир захлебнулась и задохлась. «Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось — пошла армия, власти и порядки, а народу — опять становись в строй, начинай с понедельника...» Рыцарь «военного коммунизма» — в жалких латах, дырявой кольчуге, с бутафорскими бомбами, тоже Дон Кихот идеи — декретирует губернской босоте вечное воскресенье пролетарского счастья: пятый год идет даровое разбазаривание бывшего помещичьего имения. «...Население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева...» Проклятая действительность с ее необходимыми законами и принуждениями вызываете выносятся за скобки — на то и заповедник.

Правду этой неотменимой действительности хранит и выражает толпа персонажей, проходящих фоном в романе: и лесник, и простые горожане, и крестьяне, протестующие против дотла разоряющих народ крайностей продразверстки, против декретивных увлечений собственных и наезжающих активистов. Хор народных голосов — в набитых поездах, в переполненных постоялых избах, в разоренных деревнях — врывается в горячечные грезы, призывы, рассуждения неистовых мечтателей, звучит отрезвляющим диссонансом. «Эх, горе мое скучное!» — вздыхает неизвестный мужик, другой рассказывает, как семью от холеры схоронил, а последнюю

коровенку продотряд отобрал. «Господи, да неужели ж вернется когда старое время? — почти блаженно обратился худой старичок, чувствовавший свое недоедание мучительно и страстно, как женщина погибшего ребенка». А в деревне Старая Калитва, где Дванов с Копенкиным громят крестьян, организовавших отпор продотрядам, их глава так отвечает на вопрос, кулак ли он: «Нет, мы тут последние люди... Кулак не воюя: у него хлеба много — весь не отберут... Дванов поверил и испугался: он вспомнил в своем воображении деревни, которые проехал, населенные грустным бледным народом». Крестьянин из Ханских Двориков так убедительно развернул нелепость уравнительного дележа скота, что «народ окаменел от такого здравого смысла». И кузнец Сотых, пронзительный народный аналитик, так припечатал вождя чевенгурцев: «Ишь ты, человек какой... хочется ему коммунизма, и шабаш: весь народ за одного себя считает!»

Но на все суждения трезвого народного сознания наши преобразователи отвечают одним — слепой верой в некую мгновенную и чудесно достижимую осиянность всей жизни социализмом и коммунизмом. «Социализм придет моментально и все покроет. Еще ничего не успеет родиться, как хорошо настанет!» Нечто «всемирное и замечательное» они надеются воздвигнуть быстро и как-то «мимо всех забот». Но что за идеал имеют в виду Чепурный и его товарищи, декретивным порядком устанавливая в городе Чевенгуре полный коммунизм? Всего чевенгурцев двенадцать человек — апостольское число провозвестников своего рода мессианской идеи. А осуществляется она в полном разрыве с тем, что в это время происходит в стране, где начинает утверждаться нзп, где новая политика начинает обращаться к задачам первой жизненной необходимости: наладить производство, накормить и одеть народ. «...Жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь». Устроители немедленного коммунизма, по существу, бросают вызов такому обороту событий. «А ты думаешь, пицца с революцией сживется? Да сроду нет — вот будь я проклят!» — восклицает один из городских коммунистов Голнер, чуть позднее примкнувший к чевенгурцам.

В юридическом чевенгурском коммунизме не следует искать ни образа земного рая, где разливаются молочные реки «полного удовлетворения материальных потребнос-

тей» и кисельные берега «всестороннего духовного развития личности», ни антиутопии тоталитарного технократического общества вроде тех, которыми изобилует литература XX века. В центре забот здесь душа товарища, ее чувства, ее требования, соблюдение абсолютного равенства — и ничего другого. Все, что может послужить малейшим отклонением от главной заботы, возвышению кого бы то ни было, «происхождению имущества», решительно изгоняется, вплоть до труда. Еще в стихах Пазинцева, запечатленных углем на стене «революционного заповедника», звучит тот же мотив: «Долой земные бедные труды, земля задаром даст нам пропитанье». И «прихожане Чевенгура» полагают, что «само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки», чтобы прокормиться самосевом.

При этой почти евангельской житейской беззаботности (существуют, как птицы и трава полевая), при всем неистовстве новой веры, при всех подвигах во имя ее навывлет пронзает та потерянная, заброшенность, которая оболочивает Предприятие и его деятелей («уединенное сиротство людей на земле»). Читая чевенгурскую утопию, где бедные, сырые и убогие прижались друг к другу в обожании товарища и служении ему, трудно отделаться от впечатления, что Платонов почти буквально разворачивает то видение будущего мира, отказавшегося от Бога, которое явилось Версиллову в «Подростке» Достоевского (а последний говорит те же слова — «великое сиротство» — и далее: «Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все ДРУГ для друга» и т. д.).

Чтобы «обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни», Прокофий Дванов командирован на поиски чистейших пролетариев и приводит самых несчастных людей на свете, даже не пролетариев, а «прочих» — бездомных бродят, без отца выросших, матерью брошенных в первый же час своей жизни. «Они нигде не жили, они бредут». Без всего можно обойтись — без отца и матери, без богатства и культуры, но без тела нет жизни. Как у народа джан из одноименной повести, у «прочих» единственное достояние — тело, они живут, «не ощущая ничего, кроме своих теплящихся внутренностей». Другие оболочились семьей, классом, положением, а для этих мир — одно сопротивление, холод и оди-

ночество. Натуральную участь человека они претерпевают в чистом виде. Когда Чепурный увидел массу «прочих» на холме при въезде в Чевенгур, почти голых, в грязных лохмотьях, покрывающих уже не тело, а какие-то его остатки, «истертые трудом и протравленные едким горем», ему кажется, что он не выживет от боли и жалости. Раз есть такие, нельзя быть счастливым. Сердце пронзается участью крайних бедняков жизни и готово все отринуть, чтобы их прежде всего спасти. Ибо мир по ним должен измерять уровень своего благополучия, а не тешиться средней цифрой, обманной и безразличной.

«Прочие» — философский концентрат всех тех «душевных бедняков» с большим сердцем, но не просветленным умом и знанием, которыми полны произведения Платонова. Писатель пристально исследует жизнь на ее самом элементарном уровне поддержания самой себя, когда все силы до изнеможения тратятся на то, чтобы пропитать и согреть тело, не умереть, — так жили «прочие» и до революции, так было для многих в годы гражданской войны и разрухи. Тут у Платонова помимо социального есть еще особый, можно сказать, метафизический интерес. Никто так пронзительно, всей своей мучающейся плотью не чувствует глубинную изнанку человеческого удела, тоскливую смертную судьбу, как они, «душевные бедняки», «сыны Аримана».

В повести «Джан» перетолкована известная зендская легенда об Ормузде и Аримане. Мифологический Ормузд, космическое начало света и добра, становится у Платонова «богом счастья, плодов и женщин», покровителем богатых стран, где люди упиваются роскошью и негой жизни. Дух тьмы и зла, Ариман, теряет все свое державно-самостоятельное, демоническое значение, превратившись в бедного жителя тех бесплодных «черных мест Турана, среди которых беспрерывно тоскует душа человека». «Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный». Всякая онтологизация зла Платонову, как и Федорову, чужда. Глубокий исток зла — в фундаментальном несчастье участи человеческой и безысходном ожесточении, отчаянии, циничном вызове, порождаемом этим несчастьем. «Чагатаев глядялся в эту землю — в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сотлели ко-

сти бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердца...» Земное довольство и блаженство тела не ответ на крайние, то скливые запросы сердца. Тучные сады не упраздняют «темной ветхости измученного праха». Для Платонова нет и речи о том, чью сторону выбрать — тучных садов или праха. Ариман глуже Ормузда, сады тоже рано или поздно превращаются в прах, и если остановиться только на тучных садах, то не останется места даже мысли — а тем более дерзанию — воссоздать из праха сад вечной, неумирающей жизни.

Человек из народа, «неученый», душевный бедняк у Платонова не райская птица «тучных садов», а воробей, который от постоянного усилия выдержат свою жизнь наживает себе и ум и мудрость («Путешествие воробья»). Он преодолевает жизнь в остром ощущении муки существования, значит, чувствует и знает ее. В клетке, даже большой, золотой и полной усад, воробей ложится и умирает, он хочет чего-то другого от жизни, о чем не успели узнать самозабвенные райские птицы («Глиняный дом в уездном саду»). В «Чевенгуре» воробей со своей «бедняцкой серой песней» из всех природных созданий самое родное: «Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно. На земле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания, но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня».

«Прочие» — идеальный материал для монастыря товарищества, ибо «создали из себя... упражнение в терпении и во внутренних средствах тела, сотворили... ум, полный любопытства и сомнения, быстрое чувство, способное променять вечное блаженство на однородного товарища...». Соединились вместе, «главной профессией сделали душу» другого. И вышло по формуле Фейербаха: «Человек человеку бог». Даже запрет трудиться — и тот переступается исключительно с тем, чтобы все делать не для себя, а для товарища. «...Они снова начали трудиться над изделиями для тех товарищей, которых они чувствовали своей идеей». Дванов, как когда-то молодой Платонов, занимается работами по искусственному орошению, чтобы сохранить от превратностей природы единственный

капитал — своих товарищей, коллективное святое тело чевенгурского коммунизма. «...Он хотел жить тише и беречь коммунизм без ущерба, в виде его первоначальных людей». Существование оправдывается, получает смысл от другого, каждый «запасся не менее как одним товарищем и считал его своим предметом, — и не только предметом, но и... таинственным благом...». Появились и глиняные памятники, которые товарищ сооружал товарищу как объекту своего поклонения.

Глава чевенгурцев Чепурный вслед за Двановым и Копенкиным — еще один выплеск народной души на поверхность из глубин ее подпочвенной жизни. Душа эта как будто протискивается через тело платоновских героев, чтобы выйти к своему воплощению и осознанию. Беременность тяжела и тосклива: не то еще это тело, чтобы родить светлого младенца, совершенно соответствующего своей великой завязи. Лоно душевного чувства тепло и питательно, но впереди корезающий проход сквозь теснины слабого ума под команды «идейной» повитухи. В «Чевенгуре» эту роль идеолога берет на себя Прокофий Дванов, хитрый мужик, что «своей узкой мыслью» ослабляет «великие чувства» Чепурного и быстренько соображает, как пристроить несуразного новорожденного к своей личной выгоде. А сам Чепурный заранее тоскует, как будущая мать, предчувствующая уродца.

Прокофия Дванова читатель, вероятно, помнит по «Происхождению мастера». В многодетной семье его родителей какое-то время жил приемный Саша (их фамилию он и носит), пока в голодный год его не выпнал из дома тот же маленький Прошка, уже тогда отличавшийся жестоким оборотистым умом и характером. Трудная жизнь отточила эти его качества, усугубила корыстность и житейский цинизм. В Чевенгуре Прокофий воссел грамотеем и умником, идеологическим помощником при Чепурном. Его основное занятие — растолковывать дышащие непонятым «высшим умом» циркуляры губерний, готовить на них резолюции и переводить смутное ощущение и «темное, несвязное, безошибочное чувство» Чепурного в формулу, призыв к немедленному действию. «Прокофий, имевший все сочинения Карла Маркса для личного употребления, формулировал всю революцию как хотел — в зависимости от настроения Клавдюши (единственной утети в этом аскетическом городе.—С. С.) и объективной обстановки».

Именно Прокофию принадлежит «гени-

альная» мысль оформить тотальное уничтожение «густой мелкой буржуазии», населявшей Чевенгур, «на основе второго пришествия». Дело в том, что город искони был весьма своеобразен, его жители составились из волн осевших здесь в разное время странников. Превратившись в мирных обывателей, они объединялись одним — ежечасным ожиданием второго пришествия и конца света. И тут мы подходим к страшному парадоксу, расплывшему «идею» чевенгурского коммунизма: горя изначально идеалом «душевного товарищества», всемирного братства, его адепты закончили тотальным разделением на «чистых» (пролетариев, босоту) и «нечистых» (буржуи, полубуржуи, разная остатняя сволоочь). Богобоязненные коренные жители представляли конец света как заключительную сортировку людей на «овнов» и «козлищ» и окончательную выбраковку последних. И вот как, по не случайной у Платонова аналогии, объясняется Чепурный, решившись на грандиозное избиение всех чужих «младенцев», тех, что не рвутся обнять товарища и затихнуть в счастье полного душевного коммунизма. «Ты понимаешь — это будет добрей! — уговаривал он Пиюсю. — Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях. И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? Это прямо некрасиво!»

И вышибаются жизнь и душа из всех мелких буржуев Чевенгура: выходит из пробитой головы «тихий пар» и проступает «наружу волос материнское сырое вещество, похожее на свечной воск». В тоске расставания с жизнью купец Шапов просит подержаться за человека, хватается за руку экзекутора (как Саша Дванов за руку бандита) и обнимает лопух. «Чекист понял и заволновался: с пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули — любили одно имущество».

Проектирование и созерцание схемы легко наполняет уверенностью и воодушевлением, но осуществление ее не утешает сердце. Внутри так решительно действующих героев ворочается страх и сомнение, их душевная подпочва курится тоской. Взяли на себя такую громадную ответственность — без всякой опоры, всякого обоснования — создавать себя, решать за людей, за весь мир, а обоснования действительно нет настоящего, все время подчеркивает автор. Для сердечного чувства

есть, правда, Ленин, но представление о вожде какое-то детски-сказочное, наивное: сидит он «в далеком тайном месте, где-то близ Москвы или на Валдайских горах», в чудном Кремле, пишет письмо Чепурному, чтобы он «сторожил коммунизм в Чевенгуре», и обещается в гости. А «Карл Маркс глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма... Чепурный должен был опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее».

Вот ночь перед ожидаемым пришествием коммунизма — «сочельник коммунизма», как выражается Платонов. Вроде все для него сделали, всех гадов перебили, имущество уничтожили, «голое место» готово, остались одни товарищи и ждут первое утро «нового века». По вере коммунизм должен прийти как чудо, озарив все вокруг. Солнце и то должно ярче жечь. «Дави, — заклинает Пиюсю, — чтоб из камней теперь росло».

Но откуда такая тоска? Никто не спит. «Дождь к полночи перестал, и небо замерло от истощения. Грустная летняя тьма покрывала тихий и пустой, страшный Чевенгур». Самоуправство человека в мире, лишенном обоснования, ощущается через особое чувство тоски и стыда. Чевенгурцам «неловко и жутко», ими владеет «тревога неуверенности», «беззащитная печаль», «бессмысленный срам».

Платонов неуклонно подводит читателя к мысли, что чевенгурцы являют собой какую-то карикатуру на прежних правозверных жителей города. О последних в свое время было сказано, что они «ничем не занимаются, а лежа лежат и спят... сплошь ждут конца света». Лежат, спят, ждут преображения всего мира, который должен наступить в коммунизме, и ревнители новой веры, впрочем, скорее перелицованной старой. «Теперь жди любого блага, — объяснял всем Чепурный. — Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопредставление!»

Но оказывается, что накал одной веры не может вызвать чуда, приостановить действие природных законов, отменить болезнь, горе, смерть. Яков Титыч, старейшина «прочих», болеет животом, мучается в бурьяне, «забыв обо всем, что ему было дорого и мило в обыкновенное время». По дороге в город его мучения по звукам обнаруживает Чепурный и тут понимает

свои непереходимые пределы: «Проверив, Чепурный поехал дальше, уже убежденный, что больной человек — это равнодушный контрреволюционер, но этого мало — следовало решить, куда девать при коммунизме страдальцев». Когда Яков Титыч в конце романа чуть не умирает, весь чевенгурский райком приходит в полную растерянность и удручение. «Ты, Яков Титыч, живешь неорганизованно, — придумал причину болезни Чепурный. — Чего ты там брешь? — обиделся Яков Титыч. — Организуй меня за туловище, раз так. Ты тут один дома с мебелью тронул, а туловище, как было, так и мучается». Так народный человек указывает на сбившую с пути мелкость того «ученого» объяснения зла, которое приняли на веру чевенгурские большевики: дело не в имуществе, не в богатых и бедных, главное зло — в слепом, смертоносном природном законе, живущем в туловищах людей. И сам Чепурный начинает это осознавать, но ему труднее, чем Якову Титычу, его прозрение сопровождается мучением, ведь на нем ответственность за просчет: «Чепурный чувствовал стыд больше других, он уже привык понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло стоимость, пролетариат прочно соединен, но туловища живут отдельно — и беспомощно поражаются мучением, в этом месте люди нисколько не соединены».

И, наконец, последнее, роковое испытание: провал судорожной, гротескной попытки воскресить, хотя бы на мгновение, умершего ребенка одной из «прочи». «Пока Чепурный помогал мальчику пожить еще одну минуту, Копенкин догадался, что в Чевенгуре нет никакого коммунизма — женщина только что принесла ребенка, а он умер... „Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копенкин, отсюда, — вдаль“». Радикальное «не то» оказалось в Чевенгуре, не удовлетворил он той веры, которую исповедовал этот благоговейный поклонник Розы, с ним и другие герои романа, — веры в «недалекую страну социализма, где от дружеских сил человечества оживет и станет живою гражданкой Роза Люксембург» и вслед — все умершие, «последние угнетенные».

Эту веру герои «Чевенгура» разделяли со многими реально существовавшими и творившими в эти годы деятелями революционной культуры. В стихах и статьях пролетарских — и не только пролетарских — поэтов революция нередко представляла как начало грандиозного онтологического катаклизма, призванного пересоздать не только общество, но и природ-

ный порядок вещей и самого человека в его натуральной основе. Превратить «человека во всемогущее существо, физически бессмертное, духовно безграничное» (И. Филипченко), выйти в «будущий век», на «пир бессмертия» (Н. Клюев), когда «мысль легко и быстро уничтожит смерть своей систематической работой — наукой» (А. Платонов), обрести «день Воскресения» (В. Кирилов), «град Инонию, где живет божество живых» (С. Есенин), предполагалось на путях колоссального творческого усилия, трудового напряжения. «Убийцы смерти, бессмертия аргонавты» (А. Ярославский) зовут всех в свой вселенский преобразовательный поход. В лирическом гротеске Платонова, созданном через несколько лет, чевенгурцы, душевно подвижные той же мечтой упразднить тоскливое, смертное естество человека, удивительным образом отрицают всякий труд, замыкаются в пассивной «магической» установке по отношению к миру. Раз из труда до сих пор выходили только мануфактурные игрушки, разъединяющие людей, — то долой труд вообще! Коммунистическую идею напоили они смутными эсхатологическими чаяниями, а сами эти чаяния оказались наивным слепком с христианской апокалиптики. Разрушение Чевенгура каким-то странным вражеским отрядом — лишь внешнее выражение внутреннего краха такой позиции. Допустимо предположение, что необъяснимая, сокрушительная казнь, каковая творится над городом, была в глубинном философском замысле писателя связана с одной важнейшей идеей Федорова: страшный суд самоистребления ждет человечество, если оно не начнет активно путем регуляции и саморегуляции восходить к онтологически более совершенной природе мира и самого себя.

В финале романа в живых остаются только двое Двановых — Саша и Прокофий. Оседлав осиротевшую Пролетарскую Силу, направляется Саша туда, где «последний и кровный товарищ Дванова томится по нем», в волны озера Мутево к отцу. Только так может он пока утолить стыд неисполненного долга перед ним. Чевенгурское товарищество не сумело указать ему действенного выхода, забрело в тупик. А Прокофий один среди всего того имущества, которым он мечтал владеть безраздельно, плачет над его теперешней ненужностью. Так и застает его Захар Павлович, пришедший в уже пустой Чевенгур в поисках своего приемного сына Саши. И как когда-то в далеком детстве по-

сылал старый мастер маленького Прошку на поиски сироты Саши Дванова, наградив за труды рублем, так и сейчас обращается он к Прокофию с тем же. «Даром приведу,— пообещал Прокофий и пошел искать Дванова». Искать умершего — для чего? Открывается новая дорога, на которой надо найти всех умерших, погибших, умерщвленных и вернуть их к жизни.

В «Чевенгуре» весь Платонов в момент бесстрашной, трагической истины своей идеи. Конечно же, душевно-юридическое устройство жизни, развернутое в романе, далеко отстоит от социально-экономических представлений учителей коммунизма. Но в своей философской утопии писатель столкнул вековые упования народной души на землю обетованную с реальным опытом «военного коммунизма» — взять светлое будущее немедленным штурмом, столкнул их и причудливо наложил друг на друга. На протяжении повествования его герои пытаются прочно, оседло устроить свои идеалы и тут же больно ударяются о пределы возможного, тоскуют, стыдятся жалких результатов своей ретивости и все рвутся в путь и вдаль. Только тут сердцу легко. Есть среди чевенгурцев человек Луй, он для облегчения своей природы, которой бы все в дорогу, служит «штатным пешеходом», ходячей пешей почтой. Утилизирует свою неистовую страсть. «...Луй убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной оседлости». Дорогой завершается роман, открытостью в будущее, надеждой на творчество целей, путей, самого человека.

В путь зовет Платонов: «...а полусонный человек уезжал вперед, не видя звезд, которые светили над ним из густой высоты, из вечного, но уже достижимого будущего, из того тихого строя, где звезды двигались, как товарищи,— не слишком далеко, чтобы не забыть друг друга, не слишком близко, чтобы не слиться в одно и не потерять своей разницы и взаимного напрасного увлечения». В путь к такому строю бытия, где каждая личность одна от другой «не слишком далеко» (нераздельность) и «не слишком близко» (неслиянность), к будущему звездному строю настоящего братства и любви.

Можно ли ставить вопрос о каком-то месте «Чевенгура» в литературном процессе нашей литературы 20-х годов? Казалось бы, о чем тут может идти речь, когда

лежал этот роман неизданным и неведомым для Запада более сорока, а для нас шестьдесят лет? Но, оглядываясь назад, понимаешь, что этот драгоценный кристалл платоновского творчества выпал из чрезвычайно насыщенного раствора литературной жизни своего времени. Вторая половина 20-х годов — взлет художественного развития, когда к могучей традиции XIX века, которая через «серебряный век» начала XX завоевала новые духовные горизонты, добавился импульс революции, выплеснувший таланты из народа. Вокруг «Чевенгура» во всех видах искусства буквально рабит от созданий, прямо связанных с темой революции: «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, «Хорошо!» Маяковского (1927), первая книга «Тихого Дона» Шолохова (1928), «Разгром» Фадеева (1927), «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» Булгакова (1925—1927), «Конармия» Бабеля (1926), «Разлом» Лаврентова (1927), «Мы» Замятина (1924), «Расплеснутое время» Пильняка (1927), «Броненосец «Потемкин» (1925) и «Октябрь» (1927) Эйзенштейна, «Арсенал» Довженко (1929), Вторая симфония («Посвящение Октябрю») Шостаковича (1927), «Смерть комиссара» Петрова-Водкина (1928), «Формула весны» Филонова (1928—1929)... Здесь патетика и психологическая насыщенность, героизация и предостережение, вьедливая правда будней и символическое обобщение, гимн и памфлет, трагедия, пристально осмысляющая космический переворот революции, и сатира, комедия, буффонада (Зощенко, «Двенадцать стульев», 1928). «Чевенгур» своего рода ироикомическое произведение: в нем и высокая трагедия, и мистерия, и фантазмагория. Но при этом вышел он среди всех «расчисленных» жанровых, идейно-художественных светила таким необычайным, гениальным уродцем, что даже Горький счел невероятным и невозможным его печатное появление на свет. Горьковские претензии, по существу, касались типа художественности романа. В сознание не вмещалась некая запредельность и непостижимость того духовного пространства, откуда глядел на все Платонов.

Так и выпал «Чевенгур» из литературы, точнее не выпал, а был как бы вознесен на небо, «где рукописи не горят», чтобы продергаться там, пока не дорастем мы его понять и принять. Этот роман обрел статус тех высших творений искусства, что способны к отрыву от своего места-времени и выходят в вечность.

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Кантор. Природа и человечность.— **Л. Щемелёва.** «Все было дано...».— **Александр Носов.** Невысокомерное литературоведение.— **О. Алякринский.** Опыт о человеке.— **Ю. Ленсин.** Из размышлений Шарика.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Сергей Яковлев. Право отречения.— **Ю. Черниченко.** Лучше бы жернов на шею...

Литература и искусство

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Аскольд Якубовский. Квазар. Повести, роман и рассказы. М. «Современник». 1987. 493 стр.

Книга, которая дает повод для серьезных размышлений, к тому же написанная живо, ясным точным языком,— явление, во всяком случае, не рядовое. Разумеется, в рецензии можно было бы порассуждать о поэтичности мировосприятия, остроте писательского глаза, особенно если речь идет о покойном художнике, недостаточно оцененном при жизни. Но, мне кажется, куда важнее увидеть те проблемы, которые тревожили автора, понять ту «чувствуемую мысль», которую он настойчиво пытался выразить в своих произведениях.

Одна из тем, постоянно исследуемых Аскольдом Якубовским,— природа и город, природа и цивилизация. Правда, в последнее время она сделалась даже вполне расхожей, но несмотря на это, а может, и благодаря этому точка зрения Якубовского, его художественный анализ проблемы представляет живой интерес.

Другая тема — становление художника. Тема для искусства тоже не новая, но тоже, судя по всему, мучительно пережитая писателем и для него, кстати, тесно связанная с первой.

Прежде чем говорить о прозе Якубовского, сделаем небольшое отступление, чтобы вместе с читателем оценить остроту и значительность проблем, затронутых автором.

Юрий Трифонов заметил как-то, что литература теряет человека, ибо нравственность начинают «выводить из природы», в

то время как она нравственности не знает «Ведь природа не только березка у пруда,— писал он.— В ней много гадости и много страшного. И я повторяю старую истину о том, что человек — это царь природы... Он венец природы и действительно мера всех вещей. А некоторые писатели стали вдруг мерить человека природой — сосной, волком, собакой».

Этому разговору много лет, уже нет в живых Трифонова, однако призывы опроститься, выкинуть из души европейски-христианскую цивилизацию, вернуться к языческому слиянию с природой продолжают еще звучать воинственно и грозно.

Превознесение природы как таковой, без учета человеческих нужд, нередко оборачивается забвением человека и отрицанием гуманизма. словно не происходит в нашем обществе социальных и нравственных катастроф, не нарастает духовное оскудение, которое не одним только прикосновением к природе надо лечить. Разумеется, речь не идет о таких произведениях, как «Царь-рыба» или «Прощание с Матёрой», где отношения человека с природой служили материалом для сурового социально-нравственного анализа общества. Но ведь как часто вину за духовное оскудение пытались свалить на то, что-де оторвались от «матери-природы», подпали под влияние Города, города как вместилица всех пороков. Забывали при этом, что именно с города (в России — с Киева) начинается история страны,

что именно город вводит народ в историческую жизнь. И достаточно припомнить хотя бы чеховских «Мужиков», буинскую «Деревню», рассказы Глеба Успенского, из недавнего — «Печальный детектив» В. Астафьева, чтобы понять, что дикости и зверств в деревне не меньше, чем в городе.

Беда не в цивилизации, а в недостатке цивилизации, не в образованности, а в том феномене, который в прошлом веке назывался полубразованностью. Природу, возможно, спасет цивилизация. А вот губит ее точно недоцивилизация. В этом как раз и состоит смысл выражения «цивилизovaný варвар», именно в руках варвара блага и дары материальной культуры представляют угрозу существованию человечества.

Таков приблизительно контекст, в котором воспринимается нами художественная мысль писателя Якубовского. В первой же повести сборника («Мшавя») проблема природы и цивилизации ставится резко, на сегодняшний взгляд даже прямолинейно. Герой-рассказчик, он же топограф, рабочий Никола и проводник Яшка, таежный охотник («шутлив, улыбчив», «в дороге ему цены нет, поскольку тайга скучна и надоедлива»), «природный» человек, идут болотистой тайгой, чтобы нанести на карту увиденные на аэроснимке строения. Яшка, правда, уверяет, что «нет там никаких строений, одни болота», но дело есть дело. По дороге «природный» человек подбивает героя выстрелить в рябчиков, просто так. И тот стреляет. «И не потому, что нужно было. Просто я выламывался перед Яшкой». Автор наказывает своего героя мучительными размышлениями: «Видно, я недобрый, холодный, злой человек». И затем подводит героя к выводу, весьма характерному для «руссоистски» настроенного горожанина: «да и вообще, не слишком ли мы отдалились от природы? Не слишком ли кровопролитно наше вооруженное общение с ней?..»

Мысль эту, поначалу кажется, разделяет и автор. Но, следуя за поэтической логикой писателя, мы начинаем понимать, что в его художественном мире все вовсе не так однозначно.

Отношения собственно природные лишены фермента человечности, это писатель Якубовский доказывает в целом ряде эпизодов весьма недвусмысленно. Польстившись на природную силу, влюбившись в Володьку, героиня романа «Квазар» ушла от рефлектирующего художника Павла, который, как и герой повести «Мшавя», все рвался к природе. А тут словно бы сама природа предстает в лице «победительного» Володьки. С подчеркнутой, почти жесткой опреде-

ленностью ведет писатель эту сюжетную линию к финалу: не просветленная духом «стихийность» оказывается неспособной мириться со свободой другого человека — и Володька зверски убивает героиню.

Рефлектирующие герои автора — люди долга, а не природных инстинктов. Их путь — путь преодоления и открытия. Их, быть может, главное их открытие — в развенчании руссоистского обожествления природы.

Вот, скажем, герои «Мшавы» попадают в некий «затерянный мир», возникает ситуация, напоминающая не то «Тайпи» Мелвилла, не то «Землю Санникова» Обручева. Преодолев километры болот, по реке они добираются до небольшого поселка, там живет община людей, бежавших от цивилизации. Похоже, что это старообрядцы. Но писателя не интересуют собственно религиозные мотивы их ухода из большого мира, интересует сам уход, их жизнь наедине с природой. Обращаясь к старосте поселка, герой пытается сформулировать, что ему нравится в такой жизни: «В природе живете, — сказал я. — Болота, лес...» И слышит в ответ нечто неожиданное для своего руссоистски ориентированного городского сознания: «Вот она где у меня, твоя природа. — Староста крепко постукал себя по шее. — Все келье, всех лихоманка треплет... Кладбище больше поселка!.. Робята болеют, мрут, да и рождаются все больше девки... Так и живем здесь, сидючи, как лягушки на болотной кочке». Слова старосты не случайны, писатель как бы изнутри высвечивает катастрофизм «чисто природной» жизни.

Автор ведет речь о трясине (мшавя — болото), в которую загоняет человека отрыв от цивилизации, ибо уйти от нее уже нельзя, и задача человека — преодолеть дикаря в себе, потому что дикарь с современным оружием в руках — самое страшное, что может быть.

В традициях жестокого реализма (скажем, реализма «Власти тьмы», рисующего Дремучества звериных нравов) написана повесть Якубовского «Дом». Полуграмотная Наталья, выйдя замуж за владельца большого деревенского дома, убивает брата мужа, как только тот решил жениться, да к тому же еще на городской, работающей инженером. Иного варианта разрешения конфликта она просто не видит.

Ну а что же герой Якубовского? Тот самый рефлектирующий творец, который ищет спасения от внутренних неурядиц в «прикосновении к природе» (повесть «Нивлянский бык» и роман «Квазар»). К какому выводу приходит он? Каков жизненный итог

его размышлений? Как правило, мы сталкиваемся с героем Якубовского в период неудач, колебаний, разочарований в себе, в своих способностях и возможностях. Вот такой надломленный человек едет в деревню «лечиться природой».

Он живет в избе, работает на приусадебном участке, ходит гулять в лес... Но он уже не «природный человек», который может только брать у природы, потому что сам еще не отделил себя от нее. «Это несправедливо — только брать... — думает герой. — Но каким добром я могу ответить березе?.. Что дать?.. С привычно живым проще — человека благодаришь, собаку кормишь. А деревья, что дают мне воздух, по-кой?» И он начинает обсаживать веточками тальника голый берег реки: это — жест цивилизованного человека, уже не бегущего в природу, а пытающегося ее спасти и гуманизировать. И это спасает его самого, потому что человек все же не только природное, но и духовное существо. Мягущееся, мучающееся, рефлектирующее. «Теперь я знаю, — замечает герой, — изобрести возможно только в смятении и недовольстве. Сыто-довольный человек редко изобретает что-нибудь иное, кроме закуски, новой дачи, мебели».

Именно такой смятенный герой, на сей раз по профессии художник, является протагонистом романа «Квазар». На первых же страницах поясняется заглавие. Приятель героя, художник Чужанин, рассказывает, что в созвездии Лебеда «обнаружена рождающаяся сверхзвезда, иначе квазар («Вот это масштабы творчества!»). Как видим, заглавие символическое, герой хочет совершить прорыв в высокое искусство, быть «не художником-серячком, каким боялся и умереть, а Изобразительным Гением», стать квазаром. Но для этого он должен, как и всякий человек, обладающий стремлением к высшему, найти себя, решить для себя проблему бытия, которая, как ему представляется, коренится в противоречии природы и города. Это противоречие возводит писателя в ранг бытийственного. Надо добавить, что герой болен туберкулезом, все со-

бытия романа разворачиваются в преддверии тяжелейшей операции, в так называемой пограничной ситуации. Герой и погружен в жизнь со всеми ее проблемами и вместе с тем как бы наблюдает ее со стороны, пытается осмыслить ее.

Он не желает следовать за способным, но сознательно вторичным Чужаниным. («Мы не гении, и значит, впереди нас должен идти кто-то сверхмощный, все силы тратя на разрыв традиции. Смертник, камикадзе! Новый Ван Гог! Он и рожден для этого. Затем приходим мы и занимаем плацдарм».) Не прельщает его и советы работать в манере Шишкина. Он пытается выработать свое видение мира. Приятель везет его в лес, на природу. Но там он не находит ни успокоения, ни решения. «Природные люди», с которыми он знакомится, хищничают, браконьерствуют, жесточайшим образом забивают лося, трагически символизирующего красоту природы. Павел возвращается в город: «В городе путь его мысли станет прямым, здесь только и можно точно мыслить».

И в конечном счете герой приходит к идее, быть может, и наивной, но весьма важной для писателя: «Города давно стали стихией и теснят природу. Но она ведь тоже стихия и мешает городу раздвигаться. Так все видится со стороны. Но вот в чем соль, противоположны они только внешне. Раз они стихии, то значит, что и родня друг другу. Просто это две еще не притертые друг к другу стихии... Значит, цель моя облегчить это притирание, указав на него остальным». Для героя это — решение. Но мало найти идею, нужно претворить ее в творчество. Якубовский завершает роман на трагической ноте. Павел все-таки создает Картину, он в начале взлета, и — гибнет от неудачной операции, оттого, что наука еще слаба. Иными словами, в результате малого развития цивилизации.

Таковы художественные и нравственно-философские проблемы, которые волновали писателя, во всяком случае такими они видятся рецензенту сегодня.

В. КАНТОР.



«ВСЕ БЫЛО ДАНО...»

Белла Ахмадулина. Сад. М. «Советский писатель». 1987. 160 стр.

Будет ли эта книга иметь читателя — не то что широкого или своего, а какого бы то ни было?

Ведь со-общение автора и читателя предполагает некую общность человеческого

опыта и сознания. Нам же в самом, казалось бы, традиционном для лирики жанре — стихах о природе — предлагается описание ощущений неведомых, реальности неопознаваемой. Не о том речь, что Ахмадулина

создает в стихах «Сада», как и в предыдущем сборнике «Тайна» (1983), подчеркнуто интимную, биографически прихотливую топографию: Ока, окрестности Тарусы, Паршино, Пачёво — изображение их, дополненное впечатлениями от Финского залива, «сортавальских вод», Валаама, и составляет большую часть книги. И не в том именно дело, что доминирующий здесь сюжет — прогулки автора по этим местам, чаще ночные, а основные лирические события — его встречи и отношения с луной (на «службе обожаенья» которой состоит поэт), полночью, паршинской дорогой, ладыжинским оврагом, пачёвским дорожным столбом и временами года — мартом, апрелем, июнем, с неизменно датированными закатами и восходами: «Дорога на Паршино, дале — к Тарусе», «Ночь на 30 марта», «Ночь на 30 апреля», «Прогулка», «Ночь на 6 июня», «Шестой день июня», «Мне дан июнь холодный и пространный...», «Ночное», «Пора, прошай, моя скала...». Главное — что отношения эти поистине удивительны: романсы — влюбленные и соперничающие, как в стихотворении «Луне от ревнивца» (таков же «лунный цикл» в «Тайне»; «Луна в Тарусе», «Луна до утра», «Утро после луны», «Февральское полнолуние») — и «сомнамбулические», точнее безотчетно-психозифические. Смысл взаимного вглядывания, упреков во временном отступничестве или скрытности, отчужденности, смысла доверительных объяснений-признаний и открывающихся автору прозрений во встречах с любимыми им явлениями-сущностями («На краю обрыва готовый день стоит и ждет меня» — «29-й день февраля») — принципиально не дешифруем. Читателю положено только знать, что эти отношения — высокопоэтические и таинственные (в чем он с автором охотно соглашается); что-либо более определенное ему не дано извлечь. Создается впечатление, что конкретно-смысловая и метафизическая невнятность — сознательная установка автора, на простую цельность непосредственного восприятия и не рассчитывающего.

Единственно внятные авторские заключения, свидетельствующие именно об этом:

Рассудит алое-иссиня,
зачем я озирала тьму:
то ль плохо небо я спросила,
то ль мне ответ не по уму.

(«Люблю ночные промедленья...»)

Так странен и торжествен этот путь,
как будто он принадлежит чему-то
запретному: дозволено взглянуть,
но велено не разгласить под утро.

(«Зачем он ходит?...»)

Все связано, да объяснить непросто.
Скала — затем, чтоб тайну уберечь.
Со временем все это разберется.
Сейчас — о ночи и сирени речь.

(«Сверканье блесен, жалобы уключин...»)

Ахмадулина, поэт ответственный и серьезный (упреки ее «прошлой» поэзии в камерности, идеальности, чисто словесной избыточности относятся к разряду литературных недоразумений, хотя и характерных), не решилась бы встать на путь самодовлеющих загадочно-причудливых природоописаний, если бы не была уверена в их особой ценности. В стихотворении «Метель» (1968), имея в виду Б. Пастернака, она писала: «Ручья незрачное течение, сосну, понурившую ствол, в иное он вовлек значение и в драгоценность перевел». Но этот «перевод в драгоценность» осуществим при условии, что поэт всем составом своей души и личности участвует в преобразении реальности и совершается оно в самом движении, поэтическом пространстве стиха. Ахмадулина же участвует в этом процессе лишь тем отсеком своего сознания, который заведует вохлованием и ворожкой, всю себя сюда не включая. К тому же высшая ценность описываемым реалиям придана ею заранее, так сказать, «до» стиха и за его пределами: паршинская дорога — это дорога, над которой совершается «ход планет», причастность ее мирозданию заведома; и дорога, и луна, и восход, и заход каждого дня, и даже пачёвский дорожный столб («...он ждет меня, и бездна не получит меня, покуда мы вдвоем стоим») — готовые носители высокого смысла и хранители поэта уже по одному тому, что встретились на его пути.

«Мгновенность» и «вечность» — вне этой проблемы не существует ни один большой поэт: улавливать, угадывать или даже выгадывать «бессмертный отблеск» бытия в настоящем (как сказано было однажды Ахмадулиной) — одна из труднейших задач искусства. В последней книге Ахмадулина говорит о ней как о решенной: «...все мы сведущи в рецепте: как, коротая век в райцентре, быть с вечностью накоротке» («Таруса»). Но мы в этом рецепте не сведущи! У нас — не получается! Что же получается у самой Ахмадулиной? Ее лунные прогулки и ночные бдения не просто прогулки, это «путешествия-уходы» (с обстоятельными сборами) от ближней реальности в поисках необычайных и неназываемых озарений. Здесь можно реконструировать своего рода «поэтику ухода». Ахмадулина никогда не унижала так называемую прозу жизни (она от нее уходила), не отвергала «мгновенность» современности; с последней она с самого начала не стремилась идти в ногу,

соблазн увлечения новизной не коснулся ее героя; двадцатипятилетняя поэтесса пыталась зато новизну приручить, вовлечь в собственное духовное самоопределение, а через него — в круг вечных ценностей искусства и жизни («Мотороллер», «Маленькие самолеты»). Магистральный же и именно ее путь в русской поэзии — «благословить» и «воспеть»: друзей, личных и литературных, само дружество, в ее представлении — рыцарственное братство; Пушкина, Лермонтова, поэтов XX века с трагической судьбой; жизнь, дарующую «высокие мгновения», и — себя как человека, причастного вечному творчеству и человеческому подвигу сотворения души. В книгах «Тайна» и «Сад» единственным пристанищем и предметом воспевания стало медиумическое общение поэта с природой. Вообще говоря, нет ничего разрушительного в том, что сменилась точка приложения авторского внимания; естественно и угасание исходного пафоса — откровения себя, других, мира... Но без та йны Ахмадулина быть не хотела. И в последних двух сборниках оформилась процедура самоуговаривания, насильственного удержания тайны бытия (отсюда однообразие восхвалений каждого «божьего» дня), вплоть до соперничества с демиургом, когда, например, через подробнейшие описания всех стадий восхода или цветения поэтесса как бы приобщается к тайне «авторства» природы, сотворения мира.

Проследим некоторые вехи этого поворота, принесшего столь ощутимые потери. Что означали в поэзии Ахмадулиной, предшествующей ее двум последним сборникам, мотивы благословения, а еще — постоянной готовности прощать (не выясняя вину) и просить прощения? Они означали принятие на себя риска ответственности за пиитический утверждающий пафос произнесенного слова о мире и о себе, за «муку превосходства», за страдания, которые приносит она и несут ей: «В час расплаты за божью звезду я спрошу себе первую кару...» — первую, потому что другой, второй — «он не то, чтобы плох, он — меньшей, он ни в чем не виновен» (стихотворение «Ремесло наши души свело...»). Ведь и ее восхваления друзьям (цикл «Мои товарищи», «Сон», «Я думаю: как я была глупа...») — это не благородство помыслов только, а прежде всего смелость вынесения нравственно-возвышающего приговора, своего рода «на том стою», не подлежащее коррозии. «...И если кто-то океаном и был — то это я была» — так Ахмадулина свидетельствует о том, что для нее обретение масштаба собственной личности — факт вполне свершившийся (напом-

ним «Заклинание» или известные строки: «Способ совести избран уже и теперь от меня не зависит»).

И вот с такой, свершившейся, душой, преодолевшей соблазны одиночества, несчастья («роскошь беды»), поэтического избранничества, наконец, этих романтических знаков высшей отмеченности, Ахмадулиной как бы нечего стало делать. Темы «завершенности» и «пустоты» («Во мне, как в мертвом теле круга, законченность и пустота...»), сопровождающие ее лирику уже в 60-е годы, в 70-е приобрели особую остроту. Но пока это острое чувство («Знаю, что должна блаженствовать я в этот час блаженства. Но вновь молчит и бедствует душа...») было объектом взглядывания и самопознания, душа поэзии, несмотря на кажущуюся убыль души героя, не убывала. Теперь Ахмадулина остановилась перед «остановкой», бездейственностью, неподвижностью судьбы, — она ушла от этой проблемы (проблемы нескольких поколений XX века), а вместе с этим ушел не только прежний, но всякий целостный образ ее героя. «Все было дано, а судьбы не хватило» — эта единственная понятная и значащая строка из неудачной аллегии «Сад-всадник» (в сборнике «Тайна») могла бы стать ее темой, как и трагическая ситуация лермонтовского «Пленного рыцаря», образ которого при чтении ахмадулинского стихотворения возникает по случайной, к сожалению, ассоциации.

Тема мучительного обрыва связи, общительности с миром нигде впрямую не зафиксирована в поэзии Ахмадулиной, скорее всегда утверждалась ценность такой связи, пусть при заведомо негативном ее результате: «И все сильнее соблазн встречать обман доверьем», «ничи шаги принять за поступь друга». Но в книгах «Тайна» и «Сад» эта проблема вообще перестала обсуждаться. Зато не брошенной осталась тема стихотворчества. Несмотря на постоянные упреки критики в чрезмерном к ней пристрастии, Ахмадулина упорно продолжала создавать стихи о стихах, полагая, что если ее судьба — судьба поэта, чей голос «равен душе», то она вправе говорить о цеховом и человеческом драматизме этой судьбы. Процесс творчества у Ахмадулиной в прежних книгах — это «подвиг сотворения», доблесть и мука (рана, ожог гортани — его неизбежные спутники), каторга немоты, это жертва, очищение и героическое бодрствование души: «О, только за то, что душа не лукава и бодрствует, благословляя и мучая, не выбирая, где милость, где кара, на время мне посланы жизнь и живучесть»

(«Ночь перед выступлением»). Именно это «зачтется». В книгах «Тайна» и «Сад» создание стихов уже описывается как «род занятий» (одноименное стихотворение в «Тайне»), не требующий оправдания и не ставящий перед автором вопроса «за что?».

Таковы потери из числа важнейших. А взамен — многочисленные стихи о черемухе (продолжение «черемухового цикла» в «Тайне»), с которой автор встречает «тринадцатый восход», о сирени («Лишь июнь сортавальские воды согрел...», «Сирень, сирень...») — пристальные описания, прямо скажем, нелегкой «игры с предметами», с черемуховым и лиловым цветом, игры, из которой автор извлекает таинственные наслаждения и которую метит особыми знаками-символами. На недоуменный вопрос: что означающими? — читателю в завершающем книгу стихотворении сообщается: он, автор, «не смыслов поставщик, а вымыслов приобретатель черемуховых и своих». Однако читателю тоже хотелось бы быть в чине приобретателя — хоть смысла, хоть вымысла... А то из обширного стихотворения «Гряда камней» (журнальное название «Формула времен») и короткого «Звук указующий» понятно только, что оба они — филологические, но дальше этого дело не идет.

По принципу игры с предметами отчасти построены и стихотворения «больничного» цикла. Но здесь надо остановиться, здесь «Елка в больничном коридоре», здесь немного, но разительные удачи книги: «Воскресение настало...», «Был вход возбранен...» — стихи о смерти и «предсмертье». Второе из них — об отторжении живым существом «пронзительного смысла» последней тайны — единственное, где оправдана «неизреченность». В первом же — присутствие смерти не вызывает жуткого холода и отчуждения, оно рождает в больничном быте единящую атмосферу родственности и нежности: «Соучастье любви на мгновенье сгустилось над ним... Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест».

Периферийны для сборника, но, судя по последним публикациям в «Юности» и «Октябре», не случайны для Ахмадулиной стихи, описывающие быт и людей городской окраины («Лебедин мой», «Хожу по околицам дюжей весны...»). Трезвость и жесткость взгляда на современный простой народ вместе с ощущением смутного чувства вины и долга перед ним, видимо, не останутся незамеченными: Вик. Ерофеев уже назвал Ахмадулину «певцом сто первого километра» («Октябрь», 1987, № 5). Но опасность напрямик, волевым усилием подклю-

чить вечность к современности ощущается и здесь: введение высокой и библейской лексики в «просторечье элегий» не служит стяжению двух полюсов бытия, как хотелось бы автору, а остается непереплавленным разноглосьем. Из немногочисленных стихов с другими, помимо автора, персонажами резко выделяется «Пашка» — украинский ребенок из поголовно пьющей семьи, но не «типовой», а живой, со своей судьбой и скорбью: и образ автора здесь и невольная вина его перед Пашкой не туманны, не растворены в грезах, а показаны впрямую и полно.

Хотелось бы сказать еще об одном мотиве, трагически переживаемом Ахмадулиной: о вечной повторяемости всего в пределах одной судьбы («Ничто не однажды, все — дважды иль многожды») и необратимости времени, уносящего жизни и как бы смывающего самое жизнь. Непреодолима потребность вернуть время заставляет Ахмадулину воскресить довоенный автобус, она ждет его, мчащийся в полночь «в обратность дней», но вместо лиц «сидящих» в обмен на протяннутый торопливо — успеть бы — букет встречает «скользь и складь прикосновений их призрачных и благодарных рук». Такие (или «больничные») стихи, на мой взгляд, — один из резервов лирики Ахмадулиной...

Если же вернуться к сборнику в целом и посмотреть на него с точки зрения собственно литературной, профессиональной, то почти в каждом случае очевидно выдержанность архитектоники стиха, никакой словесной небрежности: стилистическая и смысловая невнятность, недоговоренность очень взвешены и продуманны. Судя по всему, Ахмадулина пришла для себя к выводу, что поэтическая суггестия (концентрация уподоблений и метафор в сочетании с гипнотическим действием стихотворной речи) самодостаточна. Но, как показывают ее последние книги, безотносительно к «лицу», к образу поэта эта суггестия неоправдана. Также автор, видимо, полагает, что его сгущенная речь смыслонесуща, поскольку причастна высокому контексту автобиографического «я», а между тем она к этому «я» только «прикреплена». Наконец, из книги узнаем, что поэзия вообще не «извлечение уроков». Но творчество Ахмадулиной, это состоявшееся явление современной русской поэзии, независимо от того, как оно будет развиваться в дальнейшем, слишком долго несло «уроки», чтобы их пересмотр мог пройти для поэта безнаказанно.

Л. ЦЕМЕЛЁВА.

НЕВЫСОКОМЕРНОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- А. Чудаков.** Мир Чехова. Возникновение и утверждение. М. «Советский писатель», 1986. 381 стр.
- А. П. Чудаков.** Антон Павлович Чехов. Книга для учащихся. («Биография писателя») М. «Просвещение». 1987. 176 стр.
- Александр Чудаков.** Чехов в Таганроге. Литературная хроника. («Библиотека «Огонек», № 9) М. «Правда». 1987. 46 стр.

Подлинный масштаб творчества художника часто становится понятен только с течением времени; но из этого не обязательно следует, что временная перспектива — наилучшая позиция для восприятия искусства. Ведь художник рассчитывает прежде всего на внимание современной ему аудитории, и постижение авторского замысла (а это непременное условие понимания искусства) предполагает и обязательную попытку прочесть произведение в контексте современной ему культуры, взглянуть на него из того времени, когда оно было рождено на свет. Тогда возникает необходимая стереоскопичность восприятия, позволяющая почувствовать присущую этому произведению объемность, увидеть как вечное и неизменное в нем, так и доступные современникам аллюзии, намеки и злобу дня. «...Всякий истинный писатель естественным образом социален, — пишет в книге «Мир Чехова» А. Чудаков, — любое надвременное и вечное воплощается им в вешнем облике той эпохи, к которой он принадлежит».

Работы А. Чудакова предоставляют возможность прочесть Чехова как бы глазами его современников, тех читателей, которые знакомы с ними по первым публикациям — в газетах, еженедельниках, толстых журналах. Для нас творчество писателя-классика предстает со страниц собраний сочинений или отдельных изданий; но ведь прежде чем составить книгу, каждое произведение публиковалось в каком-то периодическом органе (и его восприятие существенно зависит от того, в каком именно), в окружении других литературных произведений (и немаловажно, кто являлся их авторами), в соседстве с материалами общественно-политического характера (и безразлично, какова была их направленность). Читатель в XIX веке обыкновенно подписывался на несколько изданий, и их текущий репертуар создавал вполне определенный литературный фон, на котором прочитывалось каждое литературное произведение.

Что происходило в годы возникновения и утверждения художественного мира Чехова в русской литературе? — этот вопрос, поставленный в книге «Мир Чехова», закономерно подводит к мыслям о том, что же

происходило в жизни, когда формировался духовный мир самого писателя. На последний вопрос отвечают книги А. Чудакова «Антон Павлович Чехов» и «Чехов в Таганроге», причем в них преимущественное внимание сознательно уделено годам детства и юности — периоду, когда складывается личность человека.

Таким образом, все три книги Чудакова, принадлежа различным жанрам современного крайне специализированного литературоведения, оказываются тесно связанными друг с другом. Они подчинены одной цели — проникновению в поэтику чеховских произведений. Автору удалось показать внутреннее единство художественных принципов чеховской прозы, текущего литературного процесса и особенностей жизненного пути писателя. По сути, проведено системное исследование, в котором признаком, организующим мир Чехова как систему, служит художественное изображение предмета: опираясь на него, исследовательская мысль движется от изображения отдельных предметов в рассказах Чехова к образу внешнего мира и затем переходит к герою, изображенной идее и художественному миру в целом.

Особое отношение Чехова к предметному миру, к вещи, насыщенность его произведений «мертвой природой» было отмечено еще современной писателю критикой. В 1893 году в журнале народнической ориентации «Русское богатство» появилась статья молодого критика (впоследствии известного деятеля символистских изданий, издателя журнала «Новый путь») П. Перцова, посвященная повестям и рассказам Чехова и называвшаяся несколько обидно для писателя: «Изъяны творчества». В позднейших воспоминаниях П. Перцов рассказывал, что такое заглавие было дано статье редактировавшим ее Н. К. Михайловским и отражало его отношение к творчеству Чехова, — П. Перцов предлагал назвать свою статью «Беллетристическая nature morte».

К сожалению, А. Чудаков не упоминает этого первоначального названия статьи П. Перцова, столь важного в контексте его же собственных теоретических построений, что, конечно же, никак не умаляет их значения: ведь задача исследователя, изучающего поэтику, состоит в том, чтобы уяс-

нить принципы художественного изображения «мертвой природы». Этот принцип А. Чудаков удачно определил через оксюморон «подбор случайного»: если в дочеховской литературной традиции всякая деталь, всякий предмет оказывались приурочены к «телеологии замысла», то Чехов отбирает их таким образом, чтобы они создавали впечатление случайности происходящих перед читателем событий. Даже в отношении своего героя для Чехова оказывается важным «обнаружение не только существенных черт его внешнего облика, но и сохранение черт случайных». (Современная Чехову критика отмечала «неспособность» писателя к созданию художественного типа, то есть его неспособность создать образ, очищенный от всего случайного: «типов г. Чехов... совсем не творит», — замечал в 1889 году обозреватель «Русской мысли».) Решая сугубо литературоведческую задачу, исследователь приходит к постижению универсального принципа. Неогобранность, случайность наполняющих мир литературного произведения предметов как элемент поэтики отражает радикальный перелом в художественном миросозерцании, начавшийся с конца XIX века и в начале следующего уже охвативший общественное и научное сознание в целом. Возникновение вероятностной картины мира, где каждое явление суть следствие не только породившей его причины, но и множества случайных факторов, — есть результат постижения той же реальности, которую стремился понять и отразить в своих произведениях Чехов.

Современное литературоведение предпочитает оперировать более высокими сравнительно с художественным предметом категориями — такими, как герой, идея и т. д., лишь в частных случаях обращается к анализу художественной детали. В этой связи автор остроумно замечает, что литературоведение стало «несколько высокомерным». Соглашаясь в этом с А. Чудаковым, хочется его собственный метод назвать «невысокомерным литературоведением», поскольку именно «невысокомерие» характеризует его исследовательскую позицию в целом, касается ли он вопросов поэтики, истории литературы или же творческой биографии художника.

Существует давняя традиция, согласно которой каждый крупный художник обязательно воплотил в своих произведениях все лучшее, что было сделано его предшественниками, и лишь добавил к этому нечто от своей творческой индивидуальности (схема, очевидно, повторяет теорию науч-

ного познания, где новое знание рассматривается как сумма предыдущих открытий плюс некоторое приращение знания). Обилие работ, созданных по нехитрой парадигме «Чехов и...», где вторым именем может быть любое вплоть до самого невероятного в данной ситуации (например, имя Тютчева), но крупного — или во всяком случае влиятельного в истории литературы писателя, — не что иное, как следствие подобной установки.

Сегодня трудно усомниться в праве Чехова принадлежать русской классической литературе; однако когда в 1888 году Д. Мережковский назвал имя Чехова в одном ряду с Тургеневым и Львом Толстым, обозреватель «Русской мысли» (журнал, где позднее будут напечатаны все главные произведения Чехова), пристально следивший за художественным развитием молодого писателя, возмущился самой позволительностью подобного сопоставления, поскольку, по его мнению, между произведениями Тургенева и «новеллами» г. Чехова нет ничего общего». Творчество Чехова воспринималось современниками как разрыв с классической традицией, как отказ от «идеалов отцов и дедов», о чем писал в известной статье Н. К. Михайловский. Причем негативное отношение к творчеству Чехова современной ему критики невозможно объяснить исключительно эстетической близорукостью народнической журналистики: на противоположном полюсе общественной мысли — в журнале «Русский вестник» и газете «Московские ведомости» — его произведения вызывали не менее отрицательные оценки. Дело не в идеологических установках, но в художественном новаторстве Чехова. Современники ведь острее чувствуют его, нежели позднейшие исследователи и читатели. И в этом критика тех лет была по-своему права — творчество Чехова действительно формировалось вне сколько-нибудь заметного влияния классической традиции. «...У Чехова не было влиятельного руководителя или метра в большой литературе, — пишет по этому поводу А. Чудаков. — Ранний Чехов не ориентировался ни на какую мощную художественную индивидуальность, не примыкал ни к какой определенной литературной школе». Тут следовало бы пояснить: «литературной школе» в традиционном понимании, поскольку своеобразную школу Чехов в своем творческом развитии все же прошел, что отчетливо продемонстрировал сам А. Чудаков.

В 80-е годы, когда Чехов входил в большую литературу, в России резко возраста-

ло число газет, юмористических еженедельников, различных листков и других изданий малой прессы. Одновременно менялся их облик. Все чаще среди специфически газетных сообщений, объявлений о распродажах и поисках места молодой девицей, среди полицейской и судебной хроники появлялась в газетах и литература. «Органы малой прессы растут как грибы», — отмечал в 1885 году обозреватель «Нового времени» и сетовал на то, что газета постепенно «съедает» толстый журнал, «для чего расширяет собственные литературные отделы», публикуя на своих страницах поэзию и прозу, написанные по горячим следам критические отклики. И Чехов столкнулся с малой прессой задолго до своего в ней непосредственного участия — как установил А. Чудаков, клубная таганрогская библиотека, усердным посетителем которой был молодой Чехов, солидных журналов не выписывала, но «Петербургский листок» и «Московский листок» получала регулярно. Круг чтения молодого Чехова — газеты, сатирические еженедельники — формировал его будущую художественную манеру. Это была та литературная школа, через которую проходили писатели чеховского и последующих поколений, но которой не было у их предшественников: Тургенев и Достоевский, конечно, также читали газеты, но они не встречали на их страницах «литературы» — газеты не влияли на художественную сторону их творчества. А. Чудаков, в частности, отмечает, что ему не удалось обнаружить следов знакомства Чехова-гимназиста с ведущими литературными журналами тех лет — «Вестником Европы» и «Русской мыслью»; это наблюдение действительно очень важно, однако предостережем исследователя от дальнейших поисков в отношении последнего из названных журналов, так как «Русская мысль» издавалась с 1880 года, когда Чехов был уже студентом. Небрежность довольно досадная, поскольку для исследователя, легко оперирующего годами издания «Ведомостей Таганрогского градоначальства», не включенных в справочник «Русская периодическая печать», начало выхода «Русской мысли», конечно же, хорошо известно.

Длительная работа Чехова в юмористической и ежедневной печати — факт общеизвестный, однако влияние на писателя литературных форм малой прессы чаще констатируется, нежели анализируется. И это вполне объяснимо: «высокомерное» литературоведение, привыкшее иметь дело с классиками и снисходящее разве что к пи-

сателям так называемого второго ряда, традиционно выводит газетные и «осколочные» (так по названию популярного еженедельника называли юмористическую журналистику вообще) произведения за рамки литературы. Что же такое литература этих изданий? Какие преобладали в них жанры? Каковы были художественные принципы такой литературы?

Поиски ответов на поставленные вопросы потребовали от А. Чудакова тщательно изучения русских юмористических и сатирических изданий и газет за длительный (1870—1880-е годы) период. Такое исследование проводится едва ли не впервые и представляет интерес не только научный, но и читательский, поскольку знакомит с миром малой прессы, известным лишь узкому кругу специалистов, посетителям газетных залов библиотек. «Своеобразным паноптикумом, или холодильником литературных форм», называет А. Чудаков малую прессу и демонстрирует перед читателем его экспонаты: повести и рассказы из великосветской жизни, уличную сценку, газетный уголовный роман, печатавшийся во многих номерах, и т. д. Литература малой прессы выработала в своих недрах особое отношение к деталям, к художественному предмету, сформировала новые композиционные принципы построения литературного материала, оказавшиеся столь необходимыми Чехову в его практике рассказчика и новеллиста. Конечно, в творческом опыте зрелого Чехова все эти принципы были существенным образом трансформированы, соединились с влияниями большой литературы; однако исследование Чудакова в очередной раз убеждает, что концепция двух Чеховых — «осколочного» и зрелого — не менее умозрительна, нежели аналогичные деления творчества других писателей и художников (укажем концепцию двух Достоевских) на якобы никак не связанные периоды.

Чеховскую биографию А. Чудаков пишет словно по образцам его прозы: как течение обыденной жизни, где важны не только какие-то особые, переломные моменты судьбы (которые столь привлекают биографов), но каждый прожитый день и час. Жизнь писателя, особенно в детстве и юности, как и жизнь его героев, была глубоко погружена в быт, густо насыщена той «мертвой природой», беллетристическим изображением которой показалось его творчество критику «Русского богатства». Если в книге «Мир Чехова» реконструируется литературное окружение чеховских рассказов, то в биографических книгах

с той же тщательностью восстанавливается окружающая Чехова бытовая культура. Особенно удачны в этом отношении главы, посвященные детским годам писателя в Таганроге (эти главы были переработаны автором для отдельного издания в огоньковской серии). Хотя в биографических книгах отсутствуют ссылки на использованные материалы, основные источники очевидны — это комплекты провинциальных газет, где помещались объявления о гастрольях театральных трупп и ассортимента таганрогских лавок, о распродаже имущества неудачливых негодяиантов. Таганрог жил коммерцией, и с детских лет Чехов был связан с этой деятельностью, столь не свойственной для русского литератора XIX века. Но не пресловутая служба в лавке влияла на будущую художественную манеру Чехова, указывает А. Чудаков, а погруженность его жизни в быт: Чехов «ходил на базар за провизией (что в мало-мальски обеспеченных, даже мещанских семьях было делом кухарки), убирал квартиру, заправлял керосином лампы, носил воду, даже белил комнаты, сам стирал себе воротнички для гимназической формы. Вряд ли кому из больших русских пи-

сателей... до Горького — приходилось заниматься этим с детства». Приводим эту выписку из биографии как яркий пример того «невысокомерного литературоведения», о котором не раз уже упоминалось здесь.

Филологическая наука рассматривается сегодня как «служба понимания», способствующая выполнению «одной из главных человеческих задач — понять другого человека (и другую культуру, другую эпоху)» (С. Аверинцев). Книги А. Чудакова — это попытка понять другого человека из Другой эпохи, которая долго казалась близкой и ясной, но которая уже отдалась от нашего времени почти на столетие (аналогичная дистанция отделяла читателя 1920—1930-х годов от эпохи Пушкина!). Исследовательская позиция А. Чудакова хотя и «невысокомерна», но строго филологична и в этом смысле традиционна; и рассмотренные работы о Чехове лишь один раз убеждают, что именно классический литературоведческий анализ позволяет глубоко понять литературное произведение и наиболее близко подойти к постижению авторского замысла.

Александр НОСОВ.



ОПЫТ О ЧЕЛОВЕКЕ

Грэм Грин. Десятый. Повесть. Перевод с английского И. Бернштейн. «Иностранная литература», 1986, № 12.

Грэм Грин. Сила и слава. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной. «Иностранная литература», 1987, № 1—2.

Мгновение назад он был рабом, а теперь уже — божество. Так что не говори о несовершенстве человека как об ошибке Создателя. Скажи, напротив, что человек совершенен настолько, насколько это в его возможностях...

Александр Поп, «Опыт о человеке» (1734).

Долгое время мы были вынуждены читать Грэма Грина выборочно. Многократно переиздававшийся у нас «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты» запечатлели в нашей памяти образ писателя, наделенного даром чутко реагировать на острейшие социально-политические конфликты эпохи. И книги его прочитывались едва ли не как развернутые комментарии к тревожной хронике дня. Последние три-четыре года стали для нас своеобразным гриновским ренессансом. Одна за другой выходят его старые, вовремя нами не прочитанные книги: «Почетный консул», «Ведомство страха», «Меня создала Англия», «Победитель получает все». Ленинградская «Звезда» печатает его давнишний «Брайтонский леденец», «Ого-

нек» — недавний «Человеческий фактор». Издательство «Молодая гвардия» обещает последний его роман «Монсеньер Кихот».

Теперь, когда наступила наконец пора узнать прозу Грина в полном объеме, приходится заново оценивать смысл и пафос творчества этого крупнейшего писателя современного Запада. И мы уже можем убедиться, что наше представление о Грине как о язвительном обличителе «тихих американцев» и «великих диктаторов» Карибского бассейна узко, неполно и нуждается в серьезном уточнении. Выясняется: книги Грина были названы политическими романами скорее по недоразумению. Правда, в основу фабулы большинства из них и впрямь легли наиболее драматические эпизоды политической истории XX столетия;

большие и малые войны, революции, временное торжество военных диктатур... Но, читая и перечитывая их, постепенно понимаешь и другое: обширная география гриновских книг — а действие его романов происходит на Кубе и во Вьетнаме, на Гаити и в Испании, в Конго и в ЮАР — свидетельствует не столько о «геополитическом» складе творческого мышления прозаика, сколько о стремлении в любой точке планеты, везде обнаруживать независимые от времени и места универсалии человеческого существования.

В автобиографической книге «Вот такая жизнь» Грин признавался, что самым подходящим эпиграфом для нее — и, наверное, для всего его творчества — могли бы стать запомнившиеся ему слова некоего английского епископа: «Нам интересны те, кто балансирует на опасном пределе вещей: честный вор, нежный убийца, суеверный атеист...» Парадоксы нравственного бытия человека, противоречивость человеческой души, непредсказуемость и неоднозначность человеческих побуждений и поступков — вот главная, а по сути, и единственная тема книг Грина.

И если попытаться определить жанровую принадлежность его романов, то точнее всего следовало бы назвать их не политическими, а экзистенциальными. Ибо в каждом из них Грин старается подтолкнуть своих персонажей к «опасному пределу вещей» с одной только целью: познать нравственную суть человеческого деяния — подвига или преступления — и выяснить истинную цену личности.

Блестящий пример гриновской экзистенциальной прозы — короткая повесть «Десятый», чудом уцелевшая в архивах американской киностудии, для которой она была написана в 1944 году, — трагическое моральное предательство и раскаянии.

Рассказ о перипетиях судьбы парижского адвоката Жан-Луи Шавеля во время гитлеровской оккупации Франции неявно имитирует структуру древнего «ритуала перехода» — посвящения личности в новый для нее социальный статус и жизненный контекст, когда посвящаемый вынужден какое-то время быть на положении изгоя, вырванного из привычной системы социальных связей. Тюремный барак, куда попал Шавель, — это словно социум в миниатюре: рядом с адвокатом здесь оказываются мэтр, парикмахер, шофер, служащий, торговец... Но в нацистском застенке социальная иерархия, столь существенная для всех этих людей на свободе, теряет

всякий смысл. Все узники уравниваются общей участью заложников.

Излюбленный гриновский способ постижения загадок человеческой души — резкая перемена ракурса. Так в камере смертников «на опасном пределе вещей», на грани жизни и смерти, обнажается очищенная от социальных условностей «человеческая, слишком человеческая» сущность каждого заключенного. Обостряя близость, Грин ставит жестокое условие своим героям: тридцати узникам предстоит, бросив жребий, самим определить каждого десятого — три жертвы, которые будут расстреляны на рассвете.

Одним из тех, кому судьба уготовила нелепую смерть, оказывается Шавель. И вдруг его личность прямо на глазах раздваивается. Респектабельный чиновник превращается в малодушного труса, но одновременно и в хладнокровного циника-иммoralиста, пытающегося любым способом выторговать себе жизнь. Под шепоток невидимого режиссера-наставника: «Отличный спектакль, старина!» — Шавель с успехом исполняет свою роль. Назначая максимальную цену — все, что у него есть: дом, имение, солидный счет в банке, — Шавель выменивает уготованную ему смерть на жизнь тяжело больного бедняка по прозвищу Январь. Эта сделка становится как бы договором Шавеля с дьяволом, притаившимся у него в душе: она в буквальном смысле скреплена кровью — кровью расстрелянного Января.

Правда, и с Январем происходит любопытная метаморфоза: от сознания своего внезапного — пускai и эфемерного, ирреального — перехода в иное социальное состояние («...я всегда знал, что разбогатею», — самодовольно заявляет он) Январь преисполняется высокомерием и презрением к товарищам по несчастью. Этот возгордившийся бедняга, сказочно разбогатевший до утра, выглядит комичным воплощением призрачности внешних атрибутов человеческого благополучия.

Шавель же, получив жизнь и свободу, лишается всех примет своего социального статуса. Его «ритуал перехода» в иную жизнь завершается утратой имущества, привилегий, престижа, имени, а значит, и отказом от привычных моделей социального поведения. Жан-Луи Шавель — или теперь Жан-Луи Шарло — отныне может свободно распоряжаться единственным, чем он владеет, — своей человеческой сущью. И ему лишь теперь дано узнать, каков же он есть на самом деле, какова же подлинная цена этого его неотторжимого достоинства.

Но едва он, лишившись случайных даров судьбы и став в буквальном смысле никем, вступает на стезю новой жизни, его поджидает очередное испытание. По возвращении в родные места под сень родительского дома, где обосновались сестра и мать расстрелянного Января, ему, неизвестному изгнаннику, приходится вновь, как и в тюремной камере, вступить в поединок с самим собой. Точнее, со своим «двойником» — тем, кто из-за малодушия и подлости заставил его стать убийцей ближнего.

На сей раз ему противостоит не невидимый искуситель, а сатана во плоти. Бродячий актер Каросс, предатель-коллаборационист, — персонафикация порочной, дьявольской стороны души Шавеля, склоняющий его к совершению новых преступлений против нравственности.

Однако над героем, который в своем «ритуале перехода» получил не только новое имя, но и новый социальный статус, дьяволову искушение уже не имеет власти. Жан-Луи, обнаруживая глубинную сущность своей личности, стал носителем иного этического самосознания. И он делает единственно приемлемый для него теперь нравственный выбор: принимает смерть, сам приводя в исполнение отсроченный приговор судьбы и тем вновь обретая утраченное было человеческое достоинство.

В повести «Десятый» дан несколько упрощенный, спрямленный вариант коллизии, которую Грин исследовал пятью годами раньше в романе «Сила и слава», где тоже речь идет о мучительном разладе между низостью и величием духа, между предательством и героизмом. Главный герой «Силы и славы», подобно Шавелю-Шарло, оказывается в излюбленной Грином ситуации: это поставивший себя вне закона изгнанник, лишенный имени и биографии. Но между повестью и романом есть существенное различие. Если в «Десятом» оккупированная гитлеровцами Франция — лишь фон, на котором разворачивается сюжет гриновского моралите, то Мексика времен генерала Кальеса в «Силе и славе» не просто декорация, используемая английским писателем для постановки очередного «опыта о человеке». Достигнут поразительный эффект: тонкое мастерство Грина-живописца органически соединилось с дотошностью Грина — этнографа и историка. Все персонажи книги — от основных действующих лиц до эпизодических фигур — предстают перед нами во плоти и крови, во всех подробностях социальной конкретности и психологической уникальности. Мы видим, слышим, ощущаем будничность мексиканской провинции

середины 30-х годов, погружаясь в тягостную атмосферу жизни, пропитанную смрадом трупов, трупов и пороха. И все же сквозь плотную ткань этой многофигурной, многоцветной фрески четко просвечивает контур главного замысла автора — не бытописателя, но философа.

«Сила и слава» — притча, явленная в отличие социально-политического романа. Как во всякой притче, каждый образ, каждый сюжетный эпизод здесь имеет двойной — буквальный и символический — смысл. Символична прежде всего сама католическая тема в «Силе и славе». По позднейшему признанию писателя, вера в романе — это символ нравственного сопротивления человека тирании, ибо вера, полагает Грин, способна вызвать чувство вины и раскаяния, противопоставленное любой диктатуре.

Действие романа происходит в мексиканском штате Табаско, где в соответствии с антиклерикальными законами религиозные преследования проводились особенно жестоко. И каждое неожиданное — и долгожданное — появление беглого священника в этом богом забытом штате означает для людей обретенные разрушенных, сметенных слепым вихрем истории первооснов их жизни. Нелегально совершаемые священником христианские таинства — крещение, исповедь, причастие — для обитателей мексиканской глухомани, измученных непонятными им политическими потрясениями и нескончаемой войной, остаются последним островком надежды, единственной опорой в условиях рухнувшего векового миропорядка. А упрямое стремление, невзирая на смертельную опасность, исполнить свой, так сказать, профессиональный долг перед людьми — единственное, что придает смысл скитаниям священника, обреченного на гибель.

Один из важнейших сквозных лейтмотивов в романе — образ предела, границы, отмечающей различные модусы бытия главного героя. Это реальная граница штата, где объявлен розыск священника-беглеца. Но это и неосознаваемая трещина, расколовшая душу падре, который балансирует на зыбком пределе между страхом смерти и моральным долгом. В борении инстинкта самосохранения и нравственного императива и заключается суть коллизии, определяющей удел гриновского героя.

Безымянный священник — архетипический герой Грэма Грина, герой-парадокс. Он изгой и преступник, заочно приговоренный властями штата к смертной казни. Он преступник и по церковным понятиям, да и сам он называет себя «плохим священником»;

ведь он пьяница, к тому же нарушивший обет целомудрия. Но этот «плохой священник» — святой грешник.

Созданное Грином житие «смутьяна» представляет собой парафраз евангельского мифа, многочисленные параллели с которым в романе угадываются довольно легко. Главное, что придает образу «плохого священника» облик современного Иисуса, — это его бескорыстное самопожертвование, беззаветное служение обездоленным беднякам, которым он несет надежду, побеждающую отчаяние. Герой Грина — отверженный, без имени и без прихода. Но парадокс заключается в том, что имя ему — сын человеческий и его приход — весь мир страждущих. Потому-то ему суждена горькая радость ощущать «огромное бремя ответственности» за всех людей и за каждого человека в отдельности.

Троекратно священник, по пятам которого неотступно следует метис — его Иуда, проходит сквозь искушение мыслью о бегстве из беспокойного штата. И троекратно его страх преодолевается сознанием морального обязательства перед соотечественниками, зыскующими милосердия и обреченными на незаслуженные страдания.

«Сила и слава» — идеологический роман. Его герои — в первую очередь, конечно, священник — являются носителями разных этических концепций. Композиционно весь роман строится как серия поединков «пьющего падре» с его идеологическими и духовными оппонентами. Один из них — падре Хосе, отступник и трус, ценою отречения от своего сана и своего народа купивший себе жалкое право на жизнь. Другой антипод «плохого священника» — добропорядочный католик Хуан, мученик, пострадавший за веру, чье жизнеописание невольно прочитывается — на фоне драматичного рассказа о священнике-страстотерпце — как пародийная назидательная история, где возвышенное морализаторство слабо соотносится с жестокой правдой жизни.

Но основной противник «пьющего падре» — это его преследователь, лейтенант полиции. Столкновение священника и лейтенанта — это спор двух мировоззрений, двух идеологий, двух прав.

Оба они — трагические герои. Но судьбы их трагичны по-разному. Священник гибнет ради каждого, ради любого из людей. После случайной встречи со своей незаконной дочерью он, неузнанный отец, вдруг постигает глубинную, подлинную причину своего конфликта с властями: «Вот в чем разница между его верой и верой тех, других: политические вожди народа пекутся лишь о де-

лах государства, республики, а судьба этого ребенка важнее всего континента»...

А в понимании лейтенанта люди — лишь податливый материал политической истории. И он, не испытывая «ни малейшего сочувствия к слабости человеческой плоти», готов без колебаний уничтожить всякого, кто является, по его разумению, врагом нации. Или, что то же самое, противником его веры. Трагедия лейтенанта в неразрешимом противоречии между искренним стремлением принести счастье своему народу и неумением овладеть искусством — или тайной — творить добро.

«Я хочу отдать людям свое сердце», — уверяет он пойманного беглеца. «Не выпущенная из рук револьвера», — грустно возражает ему священник. Лейтенант воодушевлен мечтой о справедливости, но его ожесточившаяся душа находится во власти ненависти и презрения. И ему не дано понять, что построить царство добра, стора от ненависти, невозможно.

Ни священник, ни лейтенант не ведают, что в их беспощадном — не на жизнь, а на смерть — поединке появляется и третий участник. Устами младенца глаголет истина — гласит библейская мудрость. Скажет последнее слово в диспуте, который ведут герои «Силы и славы», Грин поручает четырнадцатилетнему Луису. Трижды пересекаются пути мальчика и лейтенанта, мальчика и священника. Оба — лейтенант и священник — незримо вступают друг с другом в борьбу за душу Луиса. И в этом решающем поединке лейтенант проигрывает...

Вот полицейский пытается приласкать случайно встреченного уличного мальчишку, но так сжимает его в своих неуклюжих объятиях, что причиняет ему боль. Тщетной оказывается и попытка дружелюбной улыбки: «получилась странная, хмурая гримаса». Лейтенанту удается лишь один жест: он позволяет мальчику дотронуться до холодной стали револьвера. Но все же стать друзьями им не суждено. Узнав о смерти беглого священника, мальчик в отчаянии плюет в лейтенанта, проклиная бесславную силу его револьвера. И это безмолвное проклятие ребенка становится красноречивым знаком правоты «пьющего падре». Священник отверг доводы лейтенанта, когда тот попытался доказать ему правоту своей «любви, заставляющей его палец нажимать на курок». Эту любовь, замешенную на ненависти и презрении, не принимает и мальчик — тот, во имя кого лейтенант готов оправдать любые жестокости, тот, во имя кого взмог на свою гол-

гофу «плохой священник» (вспомним — поразительное совпадение! — мальчика в буденовке, ставшего последним свидетелем «силы и славы» Сотникова). Поэтому смерть священника на пустынном тюремном дворе придает высокий нравственный смысл его жизненному пути и становится не только победным финалом его судьбы, но и преодолением конечности его физического бытия. Пришествие в этот истерзанный уголок земли нового безымянного падре — символ неизбежного торжества гуманной правды «плохого священника».

Роман «Сила и слава» прочитан нами спустя почти полвека после его создания. Надо ли сожалеть об этом? Повесели ли мы невосполнимую утрату оттого, что наше знакомство с одним из лучших романов английского писателя состоялось с та-

ким опозданием? Представим невероятное: «Сила и слава» издана у нас, скажем, в 1940 году. Рискну предположить, что тогда книга Грина прошла бы незамеченной: в ту пору зачитывались «Гроздьями гнева» и «Сыном Америки». Сегодня настала очередь и этого романа. Думаю, ему суждено встать в один ряд с теми творениями, которые определяют контекст нашей пробудившейся интеллектуальной и духовной жизни,— вместе с «Котлованом» и «Чевенгуром» А. Платонова, «Доктором Живаго» Б. Пастернака и фильмом А. Аскольдова «Комиссар», заставляющими по-новому осмыслить суть революции, понять не только триумфальность, но и трагизм революционных ломок, которыми сопровождается человеческая история XX века.

О. АЛЯКРИНСКИЙ.



ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ ШАРИКА

Вместо рецензии

Друзья человека. Рассказы о животных. М. «Правда». 1987. 495 стр.

В русской классике жалости много. Расслабляет. А нашему брату — беспризорной городской собаке — радости гуманизма малодоступны, они хороши в безопасности. Так что читаем мы, извините, редко.

Но уж то, что выходит про нас, так называемых друзей человека, пропустить грех. Любопытно, знаете ли, что они еще такое придумали, эти люди. Может, действительно что-то новенькое?

Правда, придумывают не так чтоб все люди поголовно. Есть среди них специальные — их называют (обычно посмертно) большой совестью или просто, по-свойски, совестью нашей. Люди эти в основном — писатели. Но тоже, кстати, не все. И как происходит такое вселение совести и почему в одного, а не в другого — загадка почище моей родословной.

Живет себе множество людей, и живут они как хотят и умеют. То есть собачатся напрапалу (нам и не снилось, как люди умеют собачиться). А дальше происходит вот что. Эти несколько ошеломленных совестью людей начинают за всех остальных мучиться и страдать. То есть в меру своего таланта «жгут глаголом» всех остальных. Те, замечу, прямо-таки с удовольствием жгутся (занятие нам, зверям, недоступное, дикое), а занимаются между тем своим делом, то бишь все так же бе-

зобразничают. И нас, разумеется, давят как хотят. Правда, когда давят, друзьями не называют, тут надо отдать должное...

Лежу я себе в Коломенском. Кусты здесь еще пока хорошие, друзья-собаки на полудре сидят — не ровен час, душегубка прикатит, тогда уж дай бог ноги! Там писатели, похоже, не служат. А жаль! Пока, однако, тихо и можно полистать свежую книжечку.

Цена два рубля... кило мяса... В перекупке — за душещипательность — дерут пятерку. Это приятно. Сострадание нынче в цене... Писатели тоже ничего... Антон Павлович, Иван Сергеевич... Куприн тут же... что-то я из него помню! А вот и сам Лев Николаевич... ну и прочие. Всех — семнадцать. Хорошая стая! Если им вместе накинуться (а замысел, видно, такой) на еще теплую детскую душу — да что там детскую! — на самую что ни есть заскорузлую в злобе, и ту, я думаю, обгложут аж до тлеющей в глубине человечности, и уж тогда... боже мой, что тогда будет! — наступит, придет, ахнет не сверху, изнутри... И таких новых гуманистов должно прибавиться 650 тысяч (тираж такой). И это к бесчисленным миллионам, что и раньше о писательскую доброту терлись.

Но что-то не хочется мне ко многим из них попасть под горячую ногу. Тут темный

вопрос — он о влиянии литературы, об общественном ее, так сказать, воздействии. Тут горы написаны. Склоняются, однако, к тому, что действует, должна — иначе зачем писать? Но построй этих благодарных читателей в рядок — думаю, не дойти мне живым до десятого. Очень я не уверен за свою шкуру. Нет, уж лучше полежим пока тут, в кустах.

А размышления мои просты, как кость. Зачем это я им, писателям, вообще понадобился? Не то чтобы именно я — все мы, кого они друзьями кличут. Уж не разжалобить ли хотят?

Меня, конечно, разжалобить просто. Лично мне до конца жизни хватало бы одного рассказа — «Муму». Даже он мне не весь нужен. Я, как нормальный ученик пятого класса, все «ужасы крепостничества» благополучно пролистываю. Это бедный ученик думает: что за старая барыня такая? Моя бабка передо мной на цырахах ходит. И понять он, конечно, ничего не может. А мне, скажите, зачем такие «ужасы»? Я-то всегда в них живу, при любой, извините, формации. «Чтоб этой поганой собаки и духу в доме не было!» Это при какой формации сказано? Да ни при какой. При любой! Да, да, я, конечно, понимаю: так можно и совсем чутье потерять. Классовое. Только вдруг оно еще и просто чутье? Как сама жалость. Впрочем, хотел-то я сказать простую вещь. Мне про Муму читать нравится. Признаться, даже плачу. А уж когда бедный Герасим «поднял ее над рекой», а она-то — дурак все же наш брат! — «доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостом...». Нет, не могу! Лучше забиться... И тут-то — сначала несвязно, а потом все ясней понимаю я: русская литература просто не умеет не жалеть. Поэтому нам, зверям, читать ее никак нельзя. Людям можно, им что!

Вы спросите: а при чем же тогда тут, собственно, я?

Да при том, скажу я, что ежели русскому писателю почему-то вдруг несподручно жалеть человека самого по себе, то тут-то и гожусь я — добавком. Через ошейник. Так что как хотите, а «Муму» написано не про меня. И не про каких-то там друзей человека. Нас просто прицепили к так называемому маленькому человеку, который для нас-то все равно Большой — вот в чем секрет! И вот уж никогда вы не поймете, кого вам пуще жалко — Каштанку ли, что «супротив человека... что плотник супротив столяра», или пьяницу Луку Александрыча, дедушку Лодыжкина

или белого его пуделя. А может, и просто себя... Лишь на одном я настаиваю с собачьим упорством: не про нас это все написано, и нужны мы вам, чтоб поводить человека по людям, потыкать их нашим теплым носом в человеческую дрянь.

Вот только если уж начнет разжалобить до слезы, то где же, извините, платоновская «Корова»? В ней-то уж жалость до края, до бескрайности: «...свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек». Ей ли не попасть в друзья человека вместе со своим печальным автором... Ну чего бы ей еще для этого сделать? «Когда она жила, из нее ели молоко... Потом она родила себе сына — теленка, и он тоже ел из нее молоко, мы трое и он четвертый, а всем хватало. Корова еще пахала и возила кладь. Потом ее сына продали на мясо. Корова стала мучиться, но скоро умерла от поезда. И ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все, то есть молоко, сына, мясо, кожу, внутренности и кости, она была доброй». Но в том-то, видно, и дело, что вещам крайним места в сборниках нет. Случись иначе, как бы чувствовали себя вещи соседние? О! Сборники тонкая штука, деликатная! Они только кажутся простыми.

Впрочем, не собачьего это ума дело. Наше дело — охота. Вот еще зачем мы понадобились писателям. Ведь и они люди и ничто нечеловеческое им не чуждо. Но как это, скажите, убить нашего — то есть своего! — брата, разделать его и съесть да еще и написать об этом? Этично ли? Это Лев Николаевич мог себе позволить, не заигрывая с нравственностью, попросту признаться в охотничьем грехе: да, «охота пуще неволи» (так и называется рассказ), да, он «ревел страшным голосом», но «медведь этот был очень велик, и на нем прекрасная черная шкура. Я сделал из нее чучело, и она лежит у меня в горнице». Вот и весь сказ!

Но подобная прямота у нашего писателя — редкость, почище «прекрасной черной шкуры». И «Емеля-охотник» Мамина-Сибиряка три дня рыщет по лесу не для того, чтобы убить олененка и съесть. Похоже, сама мысль эта ему отвратительна. Но дома «таял не по дням, а по часам» маленький больной Гришутка. Только не бойтесь, не убьет Емеля желтенького теленочка. Где уж ему, всю жизнь охотой жившему! Он глухаря-то убивает лишь потому, что его «все равно волки бы съели...». И вот уж и внучек съят, и оленено-

чек цел, и нравственность соблюдена. Ох уж эта полубольная писательская совесть. А сколько еще наблюдательности всякой проявлено, тонкостей лесных... Ну не пропадать же этому добру! Раз «тонко чувствуешь природу», можно и писать.

И написано. Тем же Пришвиным... Вообще-то он зайчиков ест, для того и травит их. Но как-то очень аккуратненько. Поглядит, полюбуется, опишет, умилится и — съест. Этой «святочной» звериной литературы — прорва. Ее еще на сорок сборников хватит.

«Охота никогда не была для меня пустой забавой или пустым развлечением,— заверяет Соколов-Микитов.— Бродя с ружьем, я учился думать и наблюдать. Еще в первых юношеских скитаниях росла любовь к родной земле, обострялось внимание. Охотничье ружье было моим верным спутником, приобщавшим меня к прекрасному царству природы». Вот так! От меньшего же брата требовался пустяк — всего лишь выйти на выстрел, и вот ты уже тоже «приобщен» к «прекрасному царству природы».

Нет, удивителен русский писатель! Он и впрямь не умеет не жалеть. Без этого чувства он — никто. И если не сумеет он найти себе достойный предмет для жалости или не дадут ему это сделать — попросту не дадут жалеть тех, кто поистине мучается вокруг него,— он найдет, кого жалеть. Нашел же Пришвин в Соловках в 1929 году соболиный питомник, а в нем соболюшку Мусю («Звери-кормильцы»), и удивительная эта Муся не сожрала маленького крольчонка, как ей положено было природой, а даже выкормила его. «...И случай в Соловецком питомнике необыкновенный: он показывает, что даже и у таких страшных хищников бывает, что они могут быть очень добрыми и нежными к зверушкам, им вовсе чужим». Питомник этот и сам случай с Мусей отыскать в тот год на Соловках было неизмеримо трудней, чем огромную монастырскую тюрьму — едва ли не первую у нас для «врагов народа», но уж не последнюю, это точно, а в ней — нуждающихся в жалости. Но ведь отыскал! Пришлось.

Жалость, конечно, не разделяется на звериную и людскую, но мое дело все-таки звери и как к нам относятся.

А есть такая литература. Правда, опять не из этого сборника. «Бешенство», например... Нас ведь за что убивают по городам и весям? За это самое бешенство. А как убедиться, что я, к примеру, бешеный? Давно уже это Зоценко описал: «А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бешутся. Тут действительно сдрейфишь». Ну, дальше все по писаному: «Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим — по нашей стороне, задрав хвост, собака дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду ничем не скажешь, что она бешеная. Хвостик у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим — собака форменно бешеная. Хвост у ней после удара обмяк, книзу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не растерялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим — все признаки налицо. Рот раскрыт. Слюна вышибает.

Слюна вышибает. Конец можете сами поглядеть. Незатейлив он. Но это все литература.

Ну, а в жизни-то как с нами?

Хреново в жизни. Мы вам друзья, это точно. А вы-то нам кто? В одной столице нашего брата отлавливают и убивают в год сорок тысяч душ. А нас тут всего-то, говорят, тысяч сто пятьдесят псов да тысяч сорок кошек. Если поднажать, в пятилетку со всеми можно управиться. Вместе с приплодом. И останется у нас одна литература. Вот и гладьте ее на здоровье!

А я как подумаю обо всем этом, так и приходит в голову Каптанкина мыслишка: «Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Я одно твердо знаю: пока вы сами друг к другу по-человечески не будете относиться, нам в кустах надо сидеть. И очень тихо.

Ю. ЛЕКСИН.

Политика и наука

ПРАВО ОТРЕЧЕНИЯ

П. Я. Чаадаев. Статьи и письма. Составление, вступительная статья и комментарии Б. Н. Тарасова. М. «Современник». 1987. 367 стр.

Посетивший Россию в 1839 году любознательный француз маркиз де Кюстин высказал предположение, что «книга под заглавием «Русские в оценке самих же русских» была бы для них очень сурова и безжалостна». Удивительная привычка русских людей ругать свою страну и свой народ, так занимавшая иностранцев, давно стала общим местом, предметом литературных шуток и анекдотов в самой России. Однако дальше в осмыслении этой своей странной черты мы стараемся не идти. Те из русских мыслителей, кто в прошлом переступал в своем отрицании известную границу, до недавнего времени тщательного изгонялись из обихода. Лишь теперь начинает понемногу рассеиваться в сознании людей одна из самых вредных идеологических фальшей — признание права на существование только за позитивной, некритической частью духовной культуры. Запрет на плоды критической мысли, будь то давнее наследие или рукопись современного автора, приводил к глубокому умственному и, как это ни парадоксально, нравственному упадку общества. Изъятие «аморальных» трудов того или иного писателя неожиданно оборачивалось такой чудовишной материализацией его умозрений, таким аморализмом в повседневной жизни, какие, должно быть, ему самому и не снились. Расскальывая культуру и выбирая, как нам казалось, лучшую, светлую ее часть, мы на деле ее убивали, ибо в живом всегда сосуществуют рядом любовь и ненависть, благословение и проклятие, «Песнь песней» и Екклесиаст. Тем невозможнее было после такой операции сохранить жизнь русской культуре, ведь многие лучшие творения наших художников и мыслителей пронизаны отрицанием. А всякое истинное отрицание — это отчаянный крик человека, обнаружившего себя на краю пропасти: в нем не только зов о помощи, но и предостережение другим.

Издание избранных сочинений П. Я. Чаадаева стало важным шагом на пути возвращения нашей культуре свободного дыхания.

Мы сами не ощущаем, как быстро подвигается нынче наше развитие, сколь значительно отличаются сегодняшние представления от вчерашних. Чуть более года

назад об этой книге можно было лишь робко мечтать. Цитируя Чаадаева, современный автор чувствовал себя так, как, по меткому слову И. С. Тургенева, ощущал себя каждый литератор при Николае I — «чем-то вроде контрабандиста». Но это не значит, что теперь можно удовлетворенно занести очередную галочку в графу «гласность» и поставить книгу на полку. (Так, увы, поступаем мы со многими и многими книгами, выхода в свет которых недавно ждали с таким нетерпением.) Чаадаев на удивление не стареющий писатель. И дело не только в том, что у нас проявился особенный интерес к исторической публицистике — а Чаадаев страстный, яростный публицист! — но и в том, что злоба дня не ослепляет в нем тонкого, пронизательного, проничного философа, готового, кажется, ответить и на те вопросы, которые мы еще не научились формулировать.

«Взгляните вокруг себя», — советует Чаадаев в своем знаменитом философическом письме, взбудоражившем в 1836 году всю читающую Россию. (Занятие, которому задолго до этого совета с изрядным результатом предавался Радищев: «Я взглянула окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала».) Все мы имеем вид путешественников, продолжает автор. У нас нет никаких связей с жизнью, ничего постоянного и прочного, нет даже домашнего очага. В своих домах мы будто на постое, в городах кажемся кочевниками. Пока мир пересоздавался, мы прозябали, забившись в свои лачуги из бревен и соломы. Даже внешность наша лишена присущей другим народам живости: взгляд выражает странную неопределенность, физиономия — немоту. В нашем повседневном обиходе отсутствуют элементарные идеи долга, справедливости, права, порядка. Полное равнодушие к добру и злу лишает нас возможности совершенствоваться. В самой крови у нас есть нечто враждебное истинному прогрессу. Мы ничего не дали миру, ничему не научили его, мы составляем какой-то пробел в нравственном миропорядке. Наша история была заполнена тусклым и мрачным существованием, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Когда же мы под

влиянием иноземных идей попытались изменить свою жизнь революционным способом (имеется в виду восстание декабристов), произошло громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад...

Речь идет, замечает Чаадаев, пока что не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни. «И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою,— не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности».

Не поразительно ли, что религиозный философ так много внимания уделяет укладу жизни, быту?

О последствиях роковой публикации в «Телескопе» читатель этой книги может узнать со слов самого Чаадаева. Как общается философ в письме брату, целью издателя Н. И. Надеждина было «оживить свой дремлющий журнал или похоронить его с честью». К несчастью, удалось именно второе. У Чаадаева по высочайшему повелению были изъяты бумаги, а сам он объявлен сумасшедшим. «Говорят, что правительство, поступив таким образом, думало поступить снисходительно; этому очень верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло поступить несравненно хуже...»

«Что касается до моего положения, то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков... Один из них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом, но теперь прекратил свои посещения, вероятно по предписанию начальства».

В письме А. И. Тургеневу Чаадаев жалуются: «Меня заливают сплетни...» (Дело касалось, в частности, слухов об отношениях Чаадаева с Е. Д. Пановой, которой было адресовано первое философическое письмо.) Но «и на этот раз говорю — аминь,— как я всегда это делаю, когда мне на голову падает кирпич, так как всякий кирпич падает с неба». И подписывается: «Безумный».

Я нарочно много цитирую, чтобы убедить читателя, что язык у этого «противоречивого», «темного» по преданиям мыслителя был живой и острый, порой это просто афоризмы на каждый день. К его речи очень важно привыкнуть, полюбить ее. В силу ряда обстоятельств язык стал

для Чаадаева едва ли не единственным способом жизни и, во всяком случае, единственным орудием борьбы — отчаянной и осторожной одновременно. Да и как иначе можно бороться, когда «осадное положение — нормальное состояние страны»? Жемчужины мыслей, щедро разбросанные Чаадаевым в его текстах, будут позднее подобраны, развернуты в целые мировоззренческие теории другими мыслителями, не всегда воздававшими должное своему предтече...

В книге привлекают внимание два рядом расположенных письма Чаадаева, датированные 1851 годом. Одно из них, теплое и дружественное, отправлено за границу А. И. Герцену, с которым Чаадаев одно время много общался. В нем, между прочим, есть загадочная фраза: «Благодарю вас за известные строки». И другое письмо, полуофициальное, адресованное начальнику III Отделения и хорошему знакомому Чаадаева графу А. Ф. Орлову: «Слышу, что в книге Герцена мне приписывают мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями... как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?»

Наша жизнь бывает до того пошлой и прозаичной, заметил классик, что граничит почти с фантастическим. Эта мысль хорошо иллюстрируется судьбами лучших людей в России. Одного, вольнодумного поэта, строптивца и чуть ли не бунтаря, судьба заносила в главные цензоры; другой, брат государственного преступника, бывший накоротке с опасным «безумцем», служил шефом жандармов... Не миновал уклонений от прямого пути (правда, совсем другого рода) и Чаадаев.

В примечаниях Б. Н. Тарасова к упомянутым письмам сказано немного. Подробнее комментирует загадочную историю М. Гершензон в первом томе изданных им сочинений и писем П. Я. Чаадаева (М. 1913). В 1851 году за рубежом вышла брошюра Герцена «О развитии революционных идей в России», в которой несколько страниц было посвящено Чаадаеву. О выходе этой брошюры известил Чаадаева как раз А. Ф. Орлов. Сей многозначительный факт и явился причиной второго письма. Человек, однажды уже испытывавший тяжесть карающей длани, спешил оправдаться. По воспоминаниям М. И. Жихарева, Чаадаев показал ему копию письма, а когда тот спросил, зачем он сделал такую

ненужную низость, «взял письмо, бережно его сложил в маленький портфельчик, который всегда носил при себе, и помолчав с полминуты, сказал: „Mon cher, on tient à sa peau!“». (Французское выражение можно перевести так: своя шкура дороже.)

Этот маленький портфельчик, эти полминуты раздумья, складывающиеся в фантастический ряд, словно служат нападением, что для объяснения пошлой реальности не всегда годятся реалистические средства. «Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, он не опроверг сам себя?»

Чаадаев, конечно, не был безумным, но безумие окружало его, носилось в воздухе. Вынужденный как-то реагировать, он невольно в него втягивался. После скандала с «Телескопом» начали пропадать письма. Одному из своих корреспондентов (И. Д. Якушкину) Чаадаев пишет: «Ты понимаешь теперь, отчего мое письмо до тебя не дошло. Дело в том, что оно приняло совершенно другую дорогу... Я, впрочем, льщу себя надеждой, что оно не совсем осталось без плода для тех, кому оно попало законной добычей, потому что, если я не ошибаюсь, в нем заключались вещи, годные для их личного вразумления». Эти язвительные слова писаны, конечно, не для одного Якушкина — подразумевалось, что второе письмо может отправиться вслед за первым и будет по меньшей мере прочитано. Видимо, на посторонний глаз рассчитана и аргументация в письме М. Я. Чаадаеву. Петр Яковлевич зачем-то убеждает брата, что его участие в публикации «ничтожно». Что «правительство преследует не поступок автора, а его мнения», причем «эти мнения, выраженные автором за шесть лет тому назад, может быть, ему вовсе теперь не принадлежат и что его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об этом, по-видимому, правительство не имело времени подумать и даже второпя не спросило автора, признает ли он...» и т. д. Бесконечная фраза выходит за пределы понимания и теряется в каких-то темных глубинах. Такими фразами начали писать в XX веке, Чаадаев просто не должен был так писать! Замечательно здесь повторяющееся «может быть» — так на процессе запутывают обвинителя.

Борьба с окружающим безумием не проходила безнаказанно. Отсюда — повышенная бдительность, стремление упредить удары. Отсюда же необычайно раз-

вившаяся способность менять интонацию, говорить чужим голосом.

«Народ, который начинает свое поприще добровольным, благородным отказом, отречением от своей беспредельной воли, всегда будет готов на великие пожертвования, не будет сам творить судеб, но будет им покоряться великодушно; не будет сам созидать своих гражданских уставов, а будет их принимать из рук своих мудрых самодержцев; в години напасти будет велик своим многотерпением, в дни торжества знаменит своей кротостью...»

Что это? Чаадаев «перекрасился», проповедует идеи своих противников?

А попробуйте уберечься от головкружения, читая хвалу Иоанну IV, «этому государю, еще недавно так неверно понятому нашими историками, но память которого всегда была дорога русскому народу, государю, которого узкая прописная мораль наивно заклемила, но широкая мораль наших дней совершенно оправдала...» И это — о царе, на голову которого Чаадаев насылал столько горячих проклятий!

О, как согреют эти слова душу нашего современника, уставшего от всяческих разоблачений! Как порадуот его заверения в преданности от имени всего народа, с какой готовностью откликнется все его существо на «широкую мораль», снимающую с отдельных лиц всякую ответственность...

Современники Чаадаева имели развитый слух и понимали, к чему клонит автор. На нашего же современника окончание этого пассажа может подействовать подобно удару обухом по голове: «...государю, чей кровавый топор в течение сорока лет не переставал рубить вокруг себя в интересах народа».

Не верится, что написано это было чуть ли не полтора столетия назад, даже лексика наша, сегодняшняя.

В письме А. С. Хомякову в 1849 году Чаадаев пишет: «В том совершенно согласен... что Европа нам завидует, и уверен, что если б лучше нас знала, если б видела, как благоденствуем у себя дома, то еще пуще стала бы завидовать...» Тот же сарказм!

Благодаря продуманному отбору текстов для сборника читатель слышит продолжительные диалоги, становится свидетелем важнейших событий духовной биографии мыслителя. Книга убеждает, что Чаадаев был блестящим историческим публицистом. Но эта характеристика будет неполной,

если не добавить, что он был публицистом ироническим. В наше время ирония идет преимущественно от рассудочного анализа, склонна к формализации, омертвлению своего предмета. Ирония Чаадаева (как смех Гоголя) была органичной, основывалась на трагическом переживании действительности. Изящество и глубина, убийственная сила его иронии еще не оценены по достоинству. В какой мере, скажем, ироническое многоголосие чаадаевских текстов объясняет видимую противоречивость его суждений? Даже на собственные заверения Чаадаева о перемене своих взглядов не всегда можно положиться. О такой перемене твердит он своим корреспондентам после «поражения» в 1836 году. В письме графу С. Г. Строгонову Чаадаев заявляет, что «решился... сам возражать на свою статью». Но в том же письме всплывает уже знакомый нам портфель, которому теперь благодаря богатому воображению самого Чаадаева уготована новая фантастическая роль: из него, недвусмысленно намекает автор, «были нескромным образом вынуты» страницы, напечатанные в «Телескопе». «Маленький портфельчик» становится чуть ли не вместилищем души, начинает олицетворять собой хозяина...

Да, Чаадаев менялся. В первом философском письме он еще мог безоглядно завидовать «доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем» (разрядка моя.— С. Я.), — оставляя неприятие «религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью», на долю «поверхностной философии»¹. Но пройдет время, и, размышляя о безопасности народов как задаче цивилизации, Чаадаев поставит в один ряд «гирлянды человеческих трупов» на стенах Кремля, бедствия германцев во время Тридцатилетней войны, избиение гугенотов во Франции, кровь, пролитую в наполеоновских войнах и продолжающую литься в современной ему Европе...

И все же «солнце запада» для Чаадаева не меркнет. (В «Апологии сумасшедшего» он жестоко высмеивает любовь к родине «на манер самоедов», любящих снега, среди которых они слепнут, закоптелую юрту, где сидят, скорчившись, зловонный олений жир,— и замечает, что вряд ли это

чувство можно равнять с чувством англичанина, гордого учреждениями и цивилизацией своей страны.) Просто на смену зависти постепенно приходит уверенность, что «нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине». С годами все яснее открывается цель, служившая Чаадаеву неизменным ориентиром в его исканиях,— человечность. «Умеренность, терпимость и любовь ко всему добру, умному, хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось, вот мое исповедание...» Царствование Петра I привлекает философа не ростом могущества державы, не военными победами, не славой молодой столицы, но тем, что именно в это время «идея человека уже проникла во все поры ее (России.— С. Я.) существа...». Очевидно, что перенос на русскую почву западных идей чреват катаклизмами, но для России было немислимо, «стоя лицом к лицу с громадной цивилизацией», не попытаться усвоить себе эту цивилизацию всеми возможными способами. Не впервые, считает Чаадаев, русский народ воспользовался при Петре Великом «правом отречения» от самого себя, которым не слишком любят пользоваться другие народы. Тут нет упрека — эту склонность к отречению, плод известного склада ума, усиленного аскетическими верованиями, следует, по его мнению, принять как «факт органический» и брать в расчет в дальнейших поисках путей к душевному и материальному благосостоянию народа. А важнейший из этих путей, остающийся таковым и поныне,— страстное вопреки всем невозможностям обретение личного достоинства.

Вот почему, размышляя над историей России, Чаадаев все больше сосредоточивается на закреплении сельского населения, в котором отразились важнейшие элементы развития народа. Если на Западе крестьянин, начав с крепостной зависимости, пришел к свободе, у нас он проделал обратный путь. Там христианство вело к уничтожению рабства — «у нас рабство родилось на глазах христианского мира». Было бы заблуждением считать, пишет Чаадаев, будто крепостное право повлияло на одних только крестьян. Наиболее пагубно оно сказывается на тех классах, которым на первый взгляд выгодно. В России все несет на себе печать рабства — нравы, стремления, образование, даже сама свобода. «В противоположность всем законам человеческого обще-

¹ Не пародировал ли Чаадаев в более позднем рассуждении об «узкой» и «широкой» морали отчасти и самого себя?

жизни Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути.

...Во втором философическом письме Чаадаев в числе прочих дельных рекомендаций по устройству быта дает воображаемой собеседнице совет заняться «красивым убранством» своей усадьбы. А далее читаем поразительное обобщение: «Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни».

Казалось бы, отношение к искусству выражено однозначно. Но не будем торопиться с выводами — ведь мы уже попадали впросак с Иваном Грозным. Как это ни странно, мы, демократы по происхождению, особенно глухи ко всему, что касается демократичности, справедливости, равенства возможностей. Литература для большинства наследников русской классики — все еще красивая сказка об избранных, чья избранность не подвергается сомнению. Украсить богатую гостиную произведениями искусства — это же так естественно!.. Неестественным такое могло показаться лишь человеку, который не расставался с мыслью, что «христианский народ в 40 миллионов душ пребывает в оковах», — то есть самому писавшему.

В совете Чаадаева уже слышится знаменитое «красота спасет мир». Но не благодаря, а именно вопреки своему месту в нем. Отдаем ли мы себе отчет, в каком страшном контексте витала у Достоевского эта неотвязная идея?

Самое убийственное из всех неравенств — культурное. «Я никогда не мог понять мысли, — писал Достоевский, — что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы». И как раз с этим неравенством мы, демократы по происхождению, почему-то особенно легко миримся.

Что касается Чаадаева, он и здесь, как и во всем, одиноко торил свою дорогу. Это потом на нее ступят другие. В суж-

дениях Чаадаева, например, отчетливо слышны будущие толстовские интонации. Так же как впоследствии Л. Н. Толстой, он протестовал против «нечистых чувств», вызываемых «чувственной и лживой поэзией», против «опьянения» искусством, в котором «нравственное чувство гибнет без остатка». Оставляя в стороне давнюю философскую традицию, связывавшую искусство с падением нравов (сам Чаадаев отсылает нас, в частности, к Платону), можно сказать, что эстетика Чаадаева явилась важным звеном своеобразной русской «антиэстетики», или, более точно, культурного терроризма, возникшего как реакция на нищету и неприглядность российской жизни и на правительственный террор. «Самый воздус этой страны враждебен искусству», — восклицал маркиз де Кюстин, имея в виду не столько природные, сколько социальные условия. Служение красоте не вязалось с окружающим безобразием. Когда добровольно, а когда и поневоле, защищаясь, русские писатели приносили свой художественный дар в жертву открытой борьбе. Одной из сторон этой борьбы как раз и было отрицание искусства как безнравственного явления в стране, огромное большинство населения которой пребывает в рабском полудиком состоянии. Литература из изящной словесности превращалась в сурового глашатая интересов молчащего, забитого народа.

Чаадаев своей судьбой, своим отрицанием вполне выразил, так сказать, метафизику зарождения этой традиции. (Не станем его переоценивать и не забудем, что параллельно, но все-таки опережая Чаадаева, именно в этом направлении шел в последние годы своей жизни Пушкин.) Чтобы получить представление о другой, «физической» стороне дела, можно посмотреть к другим фигурам, составившим цвет русской культуры... И. С. Тургенев вспоминал, какое восклицание исторг Белинский из уст провинциала, впервые увидевшего его на улице: «Я только в лесу таких волков видывал, и то травленных!» А набросок самого Тургенева, тут же показавшего, как ведущий русский критик «в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах... торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг», убеждает, что наши провинциалы имеют иногда удивительно зоркий глаз. Русская литература хранит память о том, как появлялся в гостиных самолюбивый

и обморочно застенчивый автор «Бедных людей», хранит и расчетливое (куда более, нежели у Чаадаева) «многоголосие» писем вчерашнего каторжника Достоевского, чудесно переплавившееся в многоголосие его романов — этих удивительных полотен, где прозрачные, молитвенно чистые краски торопливо легли на грязный, с прорехами, из-под ног толпы выхваченный холст. Говорить ли дальше?.. И что такое, скажем, «Печальный детектив» В. Астафьева, как не продолжение старой традиции жертвовать «пред лицом наших бедствий» (Чаадаев) столь любезной сердцу красотой ради того, чтобы лепить прямое подобие жизни для вразумления соотечественников?

В брошюре «О развитии революционных идей в России» Герцен дважды подчеркнул, что, наряду с прошлым и настоящим, Чаадаев не видит у России и будущего. Столь досадное для нас указание лежит все-таки на совести самого Герцена. Будь он прав, Чаадаев не призывал бы народы учиться «раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять сделанное ими зло», имея прежде всего в виду историю России. По Чаадаеву, историческая наука («историческая критика») должна служить не суетному любопытству, а быть «высочайшим из трибуналов». Ей надлежит направить свои силы на уничтожение лживых образов, чтобы, увидев свое про-

шлое и настоящее в истинном свете, народ мог «с твердой надеждою устремить свой взор» в будущее. И первая задача на этом пути — заняться выработкой «домашней нравственности народов» (вот каким сложным путем возвращается и обретает истинность на новом, более высоком уровне мысль о роли прекрасного в «домашней жизни»!). Опережая ход мысли Достоевского, Чаадаев высказывал надежду, что «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе».

...На исходе своей жизни Чаадаев, умудренный созерцанием одного из самых мрачных и застойных периодов правления в России, с большой тревогой напишет: «...настало время, когда незнакомство с Россией становится угрозой для нашей безопасности». Небольшой статьей, из которой взяты эти слова, на редкость удачно, по-моему, заканчивается томик сочинений одинокого мыслителя, почти никогда не выходившего из опалы в своем отечестве, любящем коллективность мнений. Над многим, чем мучаемся мы сегодня, размышляла Чаадаев, но именно в этой статье, кажется, больше всего вопросов, которые мы пока либо не умеем, либо не осмеливаемся задать. Придет время — оно нынче быстро идет! — зададим и эти.

Сергей ЯКОВЛЕВ.



ЛУЧШЕ БЫ ЖЕРНОВ НА ШЕЮ...

Г. С. Урванцев. По трассам искусственных рен. Книга для учащихся. М. «Просвещение», 1987. 222 стр.

На самую простецкую карту восточного полушария теперь — после трех-четырех поездок в Среднюю Азию — я смотрю с чувством соучастия во лжи. Кара-Богазы нет, а он — вон он, нанесен, засиен. Арала прежнего нет, он высушен. Место, где было море, горький юмор назвал Аралкум, а карты поют: «Все хорошо, прекрасная маркиза!» Амударья и Сырдарья, реки великие не только ролью в цивилизациях, но и прокормом — уже нынешним! — трех десятков миллионов человек, больше ни-ку-да, ни в какое море не впадают, честно было бы изображать их устья пунктиром. На плане земли возникла пустынная «Суоми», среди озер которой есть такие гиганты, как Сарыкамыш, нелегальное водообразование длиной под сотню километров и шириной, наверное, в пятьдесят.

Я лично за то, чтобы сейчас, в конце 80-х, изображать «чертеж земли московской» без залива Кара-Богазы и с оставшейся половиной Арала. Изменим дело — вновь исправим карты.

Но я решительно против того, чтобы и в картах и в учебных книгах, вообще в родительском наставлении делать вид, будто ничего не произошло — и снова как ни в чем не бывало трубить о соединении всех (да-да, теперь — всех!) рек, о создании единой водной системы, внушать нашей младшей части общества, что реки текут не туда, где они нужны. Это значит сеять раздор между поколениями.

Книга для учащихся, выпущенная издательством «Просвещение», подписана на печати в феврале прошлого года, так что времени для учета общественных перемен, для признания перестройки,

буде таковая признается, было у автора и издателей в избытке. Юный читатель, не вникший по неокрепшему уму своему в баталии старших (скорее дедов своих, чем отцов), соблазняется задачей: можно ли соединить все реки? Книга вещает: «Это не праздный вопрос, а продиктованная практическим смыслом необходимость. Вряд ли у кого вызывает удивление строительство тысячекилометровых ЛЭП, своеобразных электрических рек... Электрические реки создали Единую энергетическую систему...

А нельзя ли создать единую водную систему?»

Оказывается, можно. Даже нужно! «Создается впечатление, что реки текут не туда, где они более всего нужны» — такими заявлениями вербуют создатели книги будущих «перебросчиков» в племени младом, не знающем... с реальностью. Размах настолько широк, что «проект века» с его счетом только на десятки миллиардов — поистине детская игра.

«...Первая возможность создания объединенной водной системы — это устранение несправедливого распределения воды в пространстве... Сначала можно было бы использовать сток южных рек, затем западных, а потом северных...

...без специальных водохранилищ откачать насосами излишние паводковые воды и направить их на юг. Путь им будет неблизкий, пока северные воды добегут до юга, пройдет еще полтора-два месяца, и их появление на южном склоне будет самым желанным...

...северные реки: Онега, Печора, Северная Двина, Мезень — в многоводные годы увеличивают сток на 20—50%, а в маловодные, наоборот, уменьшают от среднего на 20—30%. В то же время резкой асинхронности стока между ними не наблюдается. А вот разница в объемах стока северных рек, с одной стороны, и, скажем, Днепром и Дунаем — с другой, может быть значительной».

Знак времени, учет социальной ситуации — только в том, что не Волга названа для приема северных вод, а Днепр с Дунаем.

«Как же представляют решение этой задачи гидрологи, энергетики, мелиораторы, речники, рыбоводы, все участники создания объединенного водохозяйственного комплекса европейской территории страны? (Разрядка моя. Оказывается, есть-таки участники создания единого комплекса? А писатели с таким трудом это доказывали! — Ю. Ч.)

...Для их (рек.— Ю. Ч.)объединения нужно построить каналы, соединяющие отдельные речные бассейны...» Дело выдается за почти решенное: «Очень много проблем встает перед гидрологами при определении трасс межбассейновых территориальных перераспределений вод... здесь требуется управление водными ресурсами в пределах географического региона... Уже сейчас известно, что устройство регулирующих емкостей в устьях рек вместо традиционных континентальных водохранилищ позволит максимально сохранить естественный гидрологический режим речных систем. Естественные морские заливы Карского, Баренцева, Белого и Балтийского морей могут быть использованы для сбора опресненной воды. На юге можно осуществить регулирование Азовского моря, Северного Каспия, черноморских лиманов».

Понимаете? Ты — о реальной смерти Азова, тебе — о запружении Карского моря. Ты — о гнили и исцелении фактического Каховского моря, о возврате под солнце миллионных лугов; тебе — вновь о перераспределении («переброска» говорить уже не этично), да не только сухоно-вожском, а настолько планетарном, что сам творец «великого плана преобразования природы» запнулся и остерегся бы...

Значит, на все многолетние баталии наложена резолюция — «не принимать во внимание»? Значит, все наши споры-разговоры с нами и уйдут, а молодому поколению следует засучивать рукава — доводить континент уж до полной точки?

Пока мы не решаемся признать величину и астрономическую дороговизну (в смысле ремонта, реставрации) содеянного, потому что всему белу свету придется перепечатывать миллионы физических, административных и других карт. Это в связи с нашей изменившейся оценкой деятельности Сталина можно не переписывать школьные учебники где-нибудь в Новой Зеландии или на Сицилии. А ведь если Арала нет, так уж тут не идеология — тут надо в школах всего мира так прямо и объяснять: был Арал, да весь вышел...

Об этом обо всем: о затоплении пойм Волги, Днепра, Дона, отнюдь не допускавшемся в ленинском плане ГОЭЛРО, о потере российского луга — стартовой категории в сельском хозяйстве (сколько лугов, столько и скота, сколько скота, столько и удобрений, сколько навоза, столько и зернового засева...), о засолении сотен и со-

тен тысяч гектаров земель былой Согдианы,—придется еще много толковать, многое переоценивать на трезвую голову. Мудрено, конечно, от инициаторов едва ли не полувекового процесса услышать вдруг «трезвенные речи», но и хмельному ору тоже будто не время. Поэтому что миновало ведь 16 августа 1986 года, когда было напечатано правительственное постановление о прекращении работ по переброске стока северных рек. Коротким этим документом начато новое время.

Начато ли?

Приемы используются сегодня те же, что служили десятилетиями: запрещать инакомыслие «некомпетентных» (уже ведь и для жизни на реке, для дыхания негнимальным воздухом нужна особая компетенция, уже и на боязнь обрушения берегов нужен кандидатский диплом), оглулять протестующих, раз уж нельзя их попросту сажать. Но даже так спорить и действовать какой-то общечеловеческий этикет велит внутри данного поколения, в одной временной среде. Не потому, что детям не надо слышать треска наших копий, нет, оберегать их от этого было бы

ханжеством, фарисейством, которое обыкновенно наказывается

...Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

И не про гидрологию я тут вовсе, не про нехватку или избыток воды: это дело, как говорится, техники, дело вечное, и каждое поколение будет по мере острейших своих запросов прилаживаться к данностям «земли отчич и дедич». Я об этике! Не проходит на взрослых — позовем-ка дудочкой детей. Сдается, так не просвещают (вспомним название издательства), так взрослеющим людям готовят умственную и нравственную беду.

И недаром в Древних текстах находишь этические ограждения именно просыпающегося ума — с такими формулировками, каких не знает и суровый сегодняшний Уголовный кодекс:

«А кто соблазнит одного из малых сих... тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО.



ОТТОЧИЯ В УГЛОВЫХ СКОБКАХ

В последнее время мы часто бываем свидетелями того, как писатель прошлого века, еще недавно упоминавшийся лишь в ряду второстепенных имен, неожиданно выступает из этого ряда благодаря усилиям трех-четырех литературоведов. О нем появляются статьи, его произведения издают и переиздают. А между тем это «воскрешение» далеко не всегда ведет к широкому обсуждению в печати, хотя вряд ли найдется читатель, абсолютно равнодушный к изданиям подобного типа. Бывает, конечно, что книги забытых литераторов все же привлекают к себе общее внимание, а то и возбуждают дискуссии. И все-таки чаще пресса реагирует на них довольно вяло. Иной раз складывается впечатление, что «реанимационные» усилия литературоведов остаются вовсе не замеченными, а ведь авторы статей и составители сборников обычно ссылаются на своих предшественников — не только соблюдая научный этикет, но и давая почувствовать масштабы сделанного.

Не берусь затрагивать все аспекты этой на первый взгляд странной ситуации, но некоторые, вероятно, менее всего заметные нефилологу, хотелось бы обсудить.

Среди имен, еще недавно известных в основном гуманитариям, а ныне встречающихся на обложках книг, адресованных, что называется, широкому читателю, выделяется имя Сергея Васильевича Максимова, беллетриста-этнографа, очеркиста, красноречивого, по словам современника, «сказателя о народе». В 1955 году его замечательную книгу «Крылатые слова» (сборник истолкованных Максимовым поговорок и присловий) переиздал в «Художественной литературе» Н. С. Ашукин — это было первое и довольно-таки весомое напоминание об изрядно подзабытом писателе. Затем к произведениям Максимова долгое время не возвращались, но в последние годы, да еще за сравнительно короткий срок вышло так много его изданий, что их полный перечень удивил бы, думаю, многих. Начиная с 1981 года, когда к столетиям писателя в «Советской России» был выпущен томик «Избранного», его книги появляются чуть ли не ежегодно, а минувший год отмечен сразу двумя новинками — объемистым сборником рассказов и очерков «Куль хлеба» (Лениздат) и солидным, составленным из произведений Максимова разных лет, худлитовским двухтомником. И семилетней давности «Избранное» и «Куль хлеба» вышли двухсоттысячным тиражом — таким же, каким сегодня издаются «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова или «Новое назначение» Александра Бека.

Казалось бы, забота о сохранении культурного наследия приносит наконец свои плоды. Если же к этому добавить, что совсем недавно издательством «Советская Россия» выпущена книга Сергея Плеханова о Максимове «Охота за словом», то возникает впечатление, что успех блестяще закреплен, а популярность писателя вот-вот выйдет на новые рубежи, приближающие его к признанным именам. Однако за внешне идиллическим положением дел просматривается ситуация, полная драматизма. И это не преувеличение.

Знаменательно, что каждый писавший о Максимове ведет себя как первооткрыватель: он будто пашет целину, не развивая сделанного предшественниками и не вступая с ними в полемику; словно забывает об их существовании, хотя и исправно на них ссылается. Немудрено, что в самых разных работах о Максимове звучат одни и те же мотивы, дающие (в который раз?) лишь общие представления о писателе — о его «даре ученого-исследователя», о «доскональном изучении жизни родного народа», о внимании к «реальному многообразию и пестроте народного мира», об изображении «обыкновенного русского мужика», а не «искусственно созданных литературных типов». Подобного рода формулировки кочуют из статьи в статью и наших знаний о Максимове, ко-

нечно, не обогащают. А ведь наследие писателя сегодня не менее актуально, чем сто лет назад, когда его имя знал каждый интеллигентный человек.

Максимов являл собой особый, но уже не исключительный для 50—60-х годов тип литератора. Изображая разные стороны престонародной жизни, рисуя быт земледельца, рыбака, раскольника или арестанта, он как будто не имел в виду собственно литературных задач: стремился лишь добросовестно запечатлеть увиденное, последовательно избегая эстетизации. И тем не менее со страниц его книг встает уникальный образ России — страны, живущей настоящим, но еще не отделимой от глубокой старины, как бы балансирующей на грани двух эпох. Все его произведения — будь то непритязательные, казалось бы, очерки или солидные монографии о русском Севере, о Сибири — образуют своего рода единый текст, скрепленный личностью автора, всегда удивительно верного себе: за самыми разными обычаями и промыслами, за укоренившимися привычками простолюдина он всегда прозревал уходящую, а чаще всего уже ушедшую патриархальную культуру. Добавим к сказанному: Максимов обладал несомненным филологическим даром, подмечал и выдвигал «всякое смелое, самобытное слово», как бы растворяясь в речевой стихии изучаемого края, губернии или уезда, что его устами народная жизнь будто заговорила о себе собственным языком, — словно специально задался целью удовлетворить наш сегодняшний интерес к традиционной культуре.

Но вот парадокс: близость Максимова к духовным запросам наших дней способна обернуться против писателя — если следовать логике довольно элементарной, но для жизни культуры губительной. В предельно огрубленном варианте эта логика выглядит примерно так: поскольку наследие Максимова вызовет несомненный интерес даже среди читателей-неспециалистов, с ним можно обращаться как угодно, точнее — как удобно, ведь успех издания в любом случае гарантирован. Не обязательно тщательно выверять и детально комментировать текст, не обязательно уточнять и проверять факты биографии писателя. Раскупят книгу в любом случае.

И действительно, вышедший в прошлом году в Ленинграде сборник Максимова «Куль хлеба» (составление, вступительная статья и примечания А. Н. Мартыновой) не залежался на книжных прилавках, по крайней мере столичных. Кто-то, купив этот сборник, может быть, открыл для себя Максимова. Но Максимова ли? Я бы не решилась утверждать, что, скажем, напечатанные здесь главы из прославившей автора книги «Год на Севере» действительно принадлежат тому, чье имя вынесено на обложку, — столь бесцеремонно с ними обошлись.

Заподозрить неладное можно даже без сверки текста с последним прижизненным изданием книги или посмертным собранием сочинений. Дело в том, что каждую главу Максимов предварял краткими сведениями о ее содержании; этот принцип сохранен и в ленинградском сборнике, но текст здесь далеко не всегда соответствует анонсу. Так, при чтении главы «Поморский берег, или собственно Поморье» мы не встретим обещанного рассказа о шкиперском училище в городе Кемь, в главе «Берега Летний и Онежский» не найдем описания «салотопенных заводов», также заявленных в анонсе, а в одной из самых ярких глав, «Поездка в Соловецкий монастырь», не обнаружим и следа интереснейшего рассказа о двух заточниках монастыря — «донском есауле» и «игумене Израиле», доводивших свои «религиозные диспуты до рукопашных схваток». Эти крупные фрагменты (как и многие другие, перечислять все нет ни возможности, ни смысла) изъят из текста, причем не оставлено ни малейшего намека на сделанные купюры, хотя в примечаниях оговорено: «Некоторые незначительные сокращения обозначены отточием в угловых скобках». Может быть, эти слова следует понимать так, что отмечаются лишь «незначительные» сокращения? Но, оказывается, и они никак не обозначены в тексте, а если учесть их действительно мизерные размеры, остается лишь недоумевать, зачем они понадобились. Например, описывает Максимов скудную растительность северных болот: «...успели уже уцепиться мшины и даже объявилась чахлая лесная поросль — и г о л ь к о». Выделенные здесь слова почему-то убраны, и смысл фразы заметно перекосялся.

Если рассматривать каждый из таких примеров в отдельности, можно лишь посетовать на досадные промахи — не более. Но когда встречаешь их почти на каждой странице, невольно возникает впечатление, что по тексту прошелся карандаш неумолимого редактора, решившего урезонить многословного очеркиста. Кстати, литераторы и сто лет назад знали требовательных и упрямых редакторов; к ним Максимов относил

Салтыкова-Щедрина, печатавшего его произведения в «Отечественных записках». Однако сохранившиеся корректуры с правкой великого писателя убеждают, что он обходился со своим собратом по перу с большим уважением и деликатностью, чем его нынешние издатели.

Я не оговорила, прибегнув здесь ко множественному числу. Дело в том, что А. Н. Мартынова (как отмечено ею в примечаниях) воспользовалась текстологической работой, проделанной С. Плехановым при подготовке предыдущего издания «Года на Севере» (Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 1984), полностью повторив представленный им текст. Различие, правда, есть, и немалое: С. Плеханов вовсе не обещал читателям обозначать купюры, заверив, что сокращения коснулись лишь данных, потерявших ныне интерес, а А. Н. Мартынова уже спокойно утверждает, что все сокращения в тексте отмечены отточием в угловых скобках.

Но дело не только в купюрах.

Аккуратной подготовкой текста отличается как худлитовский двухтомник (отрадно, кстати, отметить, что здесь впервые с дореволюционных времен в неискаженном виде напечатан «Год на Севере»), так и сборник «Литературные путешествия», выпущенный в 1986 году в издательстве «Современник» (составление, вступительная статья и комментарии в обоих изданиях Ю. В. Лебедева). В «Литературные путешествия» вошли замечательные мемуарные очерки Максимова (в советское время печатались только воспоминания об А. Н. Островском, и то не полностью) и фрагменты книги с интригующим названием «Нечистая, неведомая и крестная сила». Радует предпринятая здесь попытка прокомментировать текст. Ведь А. Н. Мартынова в ленинградском сборнике оказалась, по сути, от комментариев, ограничившись списком малопонятных слов, а также краткими сведениями о первых публикациях и откликах на них. Текст как таковой, кстати, очень сложный, со множеством забытых реалий и неясных сегодня ассоциаций, остался во многом закрытым для читателя. Увы, далеко не лучшим образом подан он и в «Литературных путешествиях».

Комментарии Ю. В. Лебедева, иногда очень удачные и содержательные, вместе с тем носят произвольно выборочный характер. В большинстве случаев не выявлены источники цитат — даже явных, завыченных, чаще всего поэтических. Не раскрыт смысл целого ряда названий. Не объясняется, например, что такое Голубиная книга и какое место в историко-культурных воззрениях писателя занимал этот древний памятник апокрифической литературы. Не охарактеризованы, хотя бы вкратце, упоминаемые Максимовым «Московский городской листок», «Московский вестник», вторники Н. И. Костомарова и салон Евгении Тур. Даже филолог, изучающий, скажем, иную эпоху отечественной словесности, не всегда сможет сразу ответить на вопрос, какая общественно-литературная позиция стоит за этими изданиями и кружками. Что же говорить о рядовом читателе? В итоге писатель, вроде бы выводимый из забвения, оказывается оторванным от конкретной литературной борьбы, от той общественной атмосферы, в которой он жил. Всего один пример. В комментариях не объясняется, что древнейшими считались дворянские роды, внесенные в шестую часть родословной книги той или иной губернии, а потому сделанное Максимовым указание на принадлежность Якушкиных именно к этой части родословной книги может показаться навязчивым педантизмом, начетническим изыском мемуариста (черты, не свойственные Максимову), тогда как на самом деле ему важно было лишь убедить читателя, что Павел Якушкин, известный собиратель фольклора и балетрист, несмотря на свое происхождение, был абсолютно чужд сословных амбиций. Подобных примеров наберется, к сожалению, немало. Не напоминают ли они необозначенные купюры? Ведь отсутствие необходимого комментария искажает восприятие текста.

Что же касается явных купюр — здесь, к счастью, обозначенных, — то и их, к сожалению, немало в «Литературных путешествиях». Не будем останавливаться на тех из них, которыми грешно попрекать составителя (ясно, что не он счел нужным урезать сцены бражничества литераторов и комплиментарные фразы в адрес августейших особ: подобного рода купюры, продиктованные, вероятно, нелепыми директивами, испортили в последние годы много книг). Но есть и иные сокращения. В очерке «Литературная экспедиция» полностью опущен финал, где дана выдержанная в либеральном духе характеристика середины — конца 50-х годов: эгегические размышления о «незабвенном времени светлых упований» и всенародном признании александровских реформ. Этот фрагмент плохо вяжется с основными положениями предисловия, оттого его, очевидно, и изъяли, буквально обрубив очерк на полуфразе. Ю. В. Лебедев настойчиво,

как заклинание, повторяет во вступительной статье: Максимов — писатель-демократ; причем не уточняет эту чрезвычайно широкую формулировку. Но чтобы она выглядела убедительной, в ближайшее окружение писателя допускаются преимущественно представители прогрессивного лагеря, желательно с радикальным оттенком во взглядах: братья Курочкины, Салтыков-Щедрин, М. Л. Михайлов. Упоминаются, конечно, и большие писатели, которые не испортят любой компании, — Островский, Тургенев, Писемский, Майков. Но все, что связано с консервативным направлением общественной мысли, решительно отсекается. Ни слова не сказано о том, что статьи Максимова печатались в официозной газете «Сельский вестник», регулярно появлялись в суворинском «Новом времени». Правда, нам сообщается, что в московский период Максимов был близок молодой редакции «Москвитянина», в частности, известному впоследствии реакционеру Тертию Филиппову. Но как только писатель перебирается в Петербург, Филиппов как будто исчезает с его горизонта, хотя Максимов поддерживал с ним дружеские контакты до конца жизни, пользовался его советами и даже воспоминаниями при создании тех самых мемуарных очерков, которые переизданы в «Литературных путешествиях».

Однако материал имеет обыкновение сопротивляться пристрастному подходу. В статью все-таки проникли некоторые факты, не укладывающиеся в четко очерченные рамки. Так выясняется, что Максимов редактировал казенную газету «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции», но тут же, вероятно, чтобы смягчить тяжелое впечатление, нам рассказывают успокоительный анекдот: «...однажды на страницах его газеты, вскоре после 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили Александра II, появилось крупное объявление о панихиде по в бозе почившему императоре Александре III, только что вступившем на престол. Трудно сказать, размышляет Ю. В. Лебедев, было ли то недосмотром или сознательным дерзким поступком». Вряд ли у кого-нибудь вызовет уважение человек, состоящий на государственной службе и выражающий свои убеждения тем, что ехидно приписывает лишнюю палочку к имени трагически скончавшегося царя. И главное, не согласуются эти домыслы с документами, в частности, с письмами Максимова, свидетельствующими о его вполне ответственном отношении к делу. К чему возводит напраслину и деформировать облик писателя?

Что же получается в итоге? Купюры в тексте, купюры в комментариях к тексту, купюры в биографии... Стоит ли удивляться, что наследие Максимова с трудом проникает в культурный обиход?

Вообще говоря, малоизвестный литератор привлекает нас обычно не только сам по себе, но — возможно, в первую очередь — как носитель культуры прошлого, представитель определенного бытового уклада или отдельной эпохи общественной жизни, а потому он «тянет» за собой реалии и даже мелочи этой жизни. Знакомясь с писателями типа Максимова, мы нередко больше узнаем о человеке XIX века, чем, скажем, читая Толстого или Достоевского, чей художественный мир поглощает нас полностью, в ущерб, так сказать, реальному, питавшему их воображение. Но если облик Максимова искажен, то процесс деформации неизбежно распространяется и на тот мир, в котором жил писатель и с которым, по идее, он нас должен познакомить. С чем же мы знакомимся?

Во вступительной статье к каждому из названных изданий Максимова мы можем прочитать, что в 1850 году будущий писатель приехал в Москву, мечтая определиться в университет на филологический факультет (строго говоря, такого тогда не было, речь идет, конечно, об историко-филологическом), но правительство Николая I, пишет С. Плеханов в предисловии к «Избранному» 1981 года, под впечатлением революционных событий на Западе приостановило прием «на все факультеты, кроме медицинского», «а на филологический факультет, — добавляет Ю. В. Лебедев, — вообще прекращает его»: «...поневоле пришлось Максимову поступать на медицинский» («Литературные путешествия»). А. Н. Мартынова идет еще дальше, утверждая, что николаевское правительство «закрыло все остальные факультеты» («Куль хлеба»). Предвижу недоумение каждого, кто серьезно интересовался русской жизнью прошлого века, а тот, кто читал, например, записки Сергея Михайловича Соловьева, будет попросту поставлен в тупик. Может быть, знаменитый историк, писавший мемуары в почтенном возрасте, что-то напутал, вспоминая свою лекцию об источниках русской истории, читанную первокурсникам в 1850 году? Ведь не медки же сидели в аудитории! Неясно, кроме того, что позволило стать историком, к тому же небезызвестным, Дмитрию Ивановичу Иловайскому, поступившему в университет в один год с Максимовым и — как справедливо отмечает Ю. В. Лебедев — ставшему с тех пор хорошим приятелем писателя. Получает-

ся, что Иловайский тоже учился на медицинском факультете и только позже, как утверждает С. Плеханов в книге «Охота за словом», «с медициной распеваюсь». Неясно, наконец, каким образом друг Максимова, студент Сапчаков, учившийся, по словам Ю. Лебедева, на медицинском факультете, мог вести — цитирую воспоминания Максимова — «постоянные, доходившие иногда до дерзких выходок споры с профессором Шевыревым». Может быть, известный историк словесности, лишившись места на «закрытом» историко-филологическом факультете, вынужден был читать анатомию или какой иной курс на медицинском?

Все может быть, ничему не следует удивляться, когда важнейшие факты, подпадающие, конечно, проверке, переносятся из статьи в статью в искаженном виде, причем при транспортировке терпят дополнительный ущерб: если, напомним, С. Плеханов еще осторожно пишет о «приостановленном» приеме в университет, то А. Н. Мартынова уже категорически утверждает, что все факультеты, кроме медицинского, были попросту закрыты¹. Не буду утомлять читателя подробным рассказом о Московском университете тех лет. Скажу лишь, что Николай I действительно распорядился ограничить общее число студентов, однако решение это распространялось только на вольноприходящих, вовсе не затрагивая тех, кто, подобно Иловайскому, находился на казенном содержании. Ничто поэтому не мешало будущему историку сразу после гимназии поступить на историко-филологический факультет и тем самым избавить себя от неприятной необходимости «расплевываться» в дальнейшем с медициной. Ничто не мешало тогда же и Сапчакову, вовсе не медику, а студенту-филологу, вступать в жаркие дискуссии с Шевыревым.

Много бы понадобилось страниц, чтобы перечислить все ошибки и мелкие неточности, омрачающие триумфальное шествие Максимова по изданиям и издательствам. То не ладится дело с хронологией: Ю. Лебедев высказывает предположение, что Максимов в 1860-е годы вынужден был отказаться от путешествий, так как за ним был установлен полицейский надзор (из-за контактов с «лондонским эмиссаром» В. И. Кельсиевым), хотя известно, что надзор был установлен в 1862 году, и тем не менее это не помешало писателю в 1862—1863 годах съездить на Каспий и на Урал, а позже в Северо-Западный край. То порождают путаницу родственные отношения между литераторами; Ю. Лебедев присваивает поэту-юмористу Д. Д. Минаеву инициалы его отца, небезызвестного в свое время стихотворца Д. И. Минаева, а С. Плеханов в уже упомянутом предисловии к «Избранному» Максимова называет старшего из братьев Курочкиных издателем «Искры», хотя возглавлял этот журнал как раз младший, В. С. Курочкин, он же переводчик Беранже, ставший в наших глазах «старшим» по степени известности.

Мне могут, конечно, возразить: стоит ли обращать внимание на такие оплошности, с кем не бывает? Ведь в наших представлениях о прошлом ничего не изменится оттого, что перепутаны, скажем, братья Курочкины. С этим можно было бы согласиться, если видеть в подобных недочетах лишь следствие небрежности. Думаю, однако, суть дела в другом, прежде всего в широко распространенном убеждении, что массовому читателю не нужен обстоятельный комментарий к тексту; его обременят острые, не сглаживающие противоречий концепции, даже если они доступны изложены; наконец, ему не интересны мелочи, детали литературной жизни или быта ушедших эпох, гораздо важнее дать ему некое общее представление о писателе, как в школе — общую характеристику творчества. Так и слышишь привычный рефрен: оставьте все это для академических изданий, для специалистов. Но специалист нуждается, скажем, в подробном комментарии меньше кого бы то ни было: он и сам всегда сумеет добыть необходимую информацию. А вот широкий читатель добыть ее вряд ли сумеет. Если уж предложенные сведения покажутся ему излишними, он ими просто не воспользуется. Пусть сам решает, как быть, — это вопрос читательской культуры. Дело издателя — предоставить выверенные и исчерпывающие сведения, углубляющие восприятие произведения, никому не навязывая тот тип чтения, который массовый читатель, думаю, давно перерос. Ошибок и неточностей не избежать, пока широкого читателя отождествляют с поверхностным.

Все, что в изданиях Максимова чревато искажением его облика, не всегда, как видно, бросается в глаза: неспециалист пройдет — и проходит! — мимо. Но в некоторых

¹ Ту же ошибку А. Н. Мартынова повторяет и в своей совсем недавно появившейся брошюре «Вытописатель земли русской (Культурно-исторический очерк о писателе, ученом-этнографе Сергее Васильевиче Максимове)». (М. Библиотека журнала «Молодая гвардия». 1987, № 46 (309) стр. 6).

случаях (здесь речь пойдет уже не об изданиях писателя) кое-что может насторожить и широкого читателя. Я имею в виду книгу Сергея Плеханова «Охота за словом».

Этот «биографический роман» (так определен жанр работы в издательской аннотации) заслуживает отдельного разговора, способного увести в сторону. Воздержусь поэтому от обсуждения ясно обозначенной в книге концепции русской литературы и общественной мысли, воздержусь и от разбора избранной манеры повествования. Хотя не могу не отметить, что уже название книги да и тема ее, помимо всего прочего, обязывают автора осторожнее обращаться со словом, во всяком случае избежать таких оборотов, как «поползновения в светскость», «общаться... по вопросам», «вера... более первозданная», и уж тем более освобождаться от фраз типа следующей: «Идея моста (между Востоком и Западом. — О. М.) пролегла через сердце каждого русского — не умозрительно, а на уровне эмоций». Но что в контексте нашего разговора особенно важно обсудить — это принципы работы автора с первоисточниками, а проще говоря, с произведениями самого Максимова, послужившими основным материалом построений С. Плеханова.

Читатель уже знает, что Максимов провел год на Севере и описал свою поездку в знаменитой книге. Что же делает автор романа, знакомя нас с этим периодом жизни писателя? Берет его книгу и пересказывает, иногда очень близко к тексту, некоторые фрагменты, разбавляя их своими пояснениями и рассуждениями. Позже Максимов отправился в новое путешествие и написал уже две книги — «На Востоке» и «Сибирь и каторга». В этом случае схема работы С. Плеханова та же. И так далее — благо путешествовал писатель много. Допустимо ли? Не берусь однозначно отвечать на этот вопрос. Скажу только, что мне такого рода работа просто неинтересна, я лучше самого Максимова полистаю. Да и смешно читать, как писатель, размышляя или споря с друзьями, так и сыплет цитатами из своих статей. Но если уж избран подобный метод, то пересказ, вероятно, не должен противоречить первоисточнику. Увы...

Из книги С. Плеханова мы можем узнать, что на Севере Максимова покорили «удивительное простодушие» и любопытство поморов: «По-видимому, не привыкнув скрывать, утаивать, они и от других требовали полной откровенности. Стоило Максимова появиться в очередном селе, как его окружали толпы мужиков, требовавших обстоятельного рассказа, кто таков приезжий и по какой надобности следует». Картина, прямо скажем, трогательная, призванная умилить читателя наивностью патриархальных нравов. Посмотрим теперь, как тот же эпизод рассказывает Максимов. Цитирую по изданию «Год на Севере», подготовленному С. Плехановым: «Архангельские поморы до того любопытны и подозрительны, что во всякой деревне являются толпами и в одиночку опрашивать всякого, куда, зачем и откуда едет, и всякую подробностью жизни нового лица интересуются едва ли не больше собственной». Как видно, нет и следа патриархальной идиллии, вместо простодушия — подозрительность, авторский тон отчетливо ироничен, хотя в иронии и ощущается оттенок добродушия. Предвижу возражения оппонента: Сергей Плеханов написал роман, а значит, имеет право на вымысел. Безусловно, но только на такой вымысел, который не вступает в конфликт с произведениями писателя.

Хотелось бы понять, зачем эта подтасовка понадобилась, зачем вообще творится и утверждается ложный образ полузабытого писателя. Ведь при чтении книги порой складывается впечатление, что С. Плеханов решил попросту опровергнуть взгляды Максимова — столь разительны бывают расхождения. Например, писатель утверждал: «...христианство связывает нас с просвещенными народами», оно указало нам путь «к улучшению своей богатой русской природы», «все разномыслия в делах веры» не колеблют «единства русского православия». Значит, писатель считал, что христианство органично пришло на Руси — если приносит свои плоды. Однако Плеханов утверждает — причем от лица Максимова, — что русскому простолюдину Дажбог «по духу ближе, чем Христос, чем отец его Иегова, которого бояться положено», и добавляет от себя: «...сущность народной религии сохранилась прежняя — языческая». Хотя Максимов часто подмечал в народе черты двоеверия, он не усматривал в язычестве большую силу, чем в христианстве. Вряд ли стоит тонкого знатока патриархальной культуры превращать в ревнителя язычества.

Подобные искажения в книге С. Плеханова не единичны. Они пронизывают весь роман, складываются в некую систему и не только придают искаженному облику писателя завершенность, но и окончательно убеждают в том, что Сергей Васильевич Максимов (да и не он один) интересует многих нынешних исследователей не только и даже

не столько как ярчайший представитель культуры прошлого, но в первую очередь как средство выражения собственных взглядов, подкрепляемых таким образом солидной культурной традицией. Что же касается широкого читателя, то он ничем не защищен от такого рода мистификаций. Лишенный возможности познакомиться с биографией и произведениями Максимова в полном виде, без изъятий (без купюр в тексте, примечаниях к тексту, в конечном счете смысловых купюр), читатель вынужден доверять построениям «сведущих людей».

У Максимова множество прекрасных произведений, и, бесспорно, в дальнейшем его будут еще издавать и переиздавать. Об этом, между прочим, сказал недавно в интервью газете «Советская культура» председатель Госкомиздата М. Ф. Ненашев. Будут, конечно, издавать и других литераторов, волею судеб оказавшихся в запасниках культуры. И пришло, думается, время отказаться от книг с купюрами, чреватых обеднением, а то и искажением литературного наследия. Иначе это наследие из фундамента настоящего превращается в незамысловатую иллюстрацию расхожих мнений, а между тем изучаемые якобы пласты культуры, по сути, все еще лежат под спудом. Подобная ситуация не раз бывала в истории освоения отечественной культуры. Стоит ли повторяться?

ОЛЬГА МАЙОРОВА.

ГОРОД ВОПРЕКИ...

В июне прошлого года в буфете нижнеангарской гостиницы «Северная», построенной в бамовскую эпоху в вызывающей близости к береговой кромке Байкала, висел на видном месте плакат «Невкусно и некачественно приготовленная пища не оплачивается!». За буфетной стойкой, покрикивая на безответных посудниц, царил здоровый мужчина, отнюдь не скрывавший свой крутой горский нрав. Впрочем, у посетителей не возникало и тени искушения, отдавая пиццы, потребовать назад свои деньги, ссылаясь на плакат, словно бы неким чудом занесенный сюда из «светлого будущего». Посетитель понимал, что перед ним просто-напросто еще один маленький пример или, лучше сказать, задачка на сообразительность из той самой арифметики, где два пишем, три в уме.

Как театр начинается с вешалки, так и БАМ для многих начинался именно с этой гостиницы в поселке Нижнеангарск, именно с этого буфета и, очень может быть, именно с упомянутого заливчатского плаката...

БАМ огромен, сложен, неоднозначен. Вот и знаменитый строитель Герой Социалистического Труда А. В. Бондарь заметил: «Сейчас стало очевидно, что строительство начиналось далеко не так, как требовало время».

Это краткое, но емкое определение — «не так» — во многом приложимо и к городу Северобайкальску.

Можно лишь сожалеть, что в 1974 году, когда начинался нынешний БАМ, слово «экология» многими связывалось с чем-то, может быть, и желательным, но вовсе не обязательным. Выступления М. А. Шолохова, Л. М. Леонова и других авторитетных людей в защиту Байкала к тому времени уже позабылись. Иначе те, кому положено, трижды подумали бы, прежде чем планировать город на его берегу. Впрочем, вначале имелся в виду не город, а станция с оборотным депо и поселок железнодорожников с населением 8,5 тысячи человек к 1985 году и 14 тысяч — к 1995 году. Для строителей предусматривался сугубо временный пионерный поселок на 5 тысяч жителей.

Таковы были расчеты. Действительность внесла в них крупную поправку: строителей оказалось в 2,5, а вместе с семьями — в 4 раза больше. Высказанное где-то и кем-то соображение, якобы БАМ будут строить холостяки, подкорректировала сама жизнь.

Сейчас Северобайкальск располагается на левобережье приустьевой части реки Тьи и по берегу Байкала. В горькоме партии и в горисполкоме считают, что после застройки правобережья число жителей дойдет до 50 тысяч. Уточняют: «Но деремся за 70 тысяч!» Следует и оговорка: «Если будет 100 тысяч — это уже чревато». Чем же? «Больше стоков... Опасно для Байкала..»

Но опасно для Байкала уже сейчас.

Очистные сооружения мощностью 4800 кубометров в сутки обслуживают так называемый постоянный город, где в двух с половиной десятках пятиэтажек прожи-

вает несколько тысяч человек. Но большая часть размещается в балках, вагончиках, сборно-щитовых домах. Все это неоглядное скопище уже, можно сказать, отслуживших свое деревянных строений называется временным городом. (Ставшая избитой фраза гласит, что нет ничего постоянного временных сооружений...) Обстановка здесь, учитывая близкое соседство Байкала, потрясает. В качестве примера уместно сослаться на многотиражку «Северный Байкал» от 4 июня 1987 года: «В Северобайкальске на берегу Тьи расположился поселок работников управления механизации БАМтоннельстроя. Тут же приоткрылись балки самовольного застройки. Место для жительства выбрано красивое, ничего не скажешь. Но во что оно превращено сегодня! Септики для сбора хозяйственных отходов от жилых домов и гостиницы откачиваются от случая к случаю, и потому жидкая фракция течет в реку. Образовалось уже постоянное ложе для этой зловонной течи, впадающей в Тью... Вот и бегут хозяйственные стоки без очистки в водоем рыбохозяйственного значения — места нереста лососевых рыб». Заметка называется «Губят Тью»...

Главный врач местной санэпидстанции А. М. Волоцков в личной беседе сказал: «Около половины жилых домов деревянного города даже не имеет выгребов, отходы выбрасываются прямо на улицу! Часть нечистот бесконтрольно вывозится в лес. Любое загрязнение почвы в конечном счете отражается на состоянии Байкала...»

С ним согласен и начальник нижеангарской гидрохимлаборатории Ф. А. Тумуров: неизвестно, как сказываются на обитателях Байкала день за днем сбрасываемые в озеро те тысячи и тысячи кубометров воды, которые считаются очищенными. Кое-какие исследования в этом направлении пока только намечаются...

Р. И. Стельмашенко, заместитель председателя горисполкома, родом из Баргузина. Вероятно, поэтому в нем заметно нелегкое внутреннее борение, когда он говорит: «Северобайкальск должен расти. Надо делать, что наместили! А за все эти пожары, свалки, котлованы на трассе наказывать. Мы разболтались. Решений хороших много, а вот выполнять их... — И вдруг у него с нескрываемой болью вырывается: — Не дай бог, если Байкал утробим. Я красивее мест, ей-ей, не видел!»

Эта мысль — не загубить бы Байкал! — возникает рано или поздно в высказываниях всех, кому административный восторг или возможность быстренько заработать на «Жигули» не заслонили весь белый свет. Конечно, каждый при этом исходит из своего служебного видения, и не все они досконально представляют себе, что в целом надлежит делать на берегах Байкала, но зато всем им ясно, что тут делать противопоказано.

Сотрудник местного ГАИ, которого сама профессия обязывает к выдержке, не скрывал горечи: «Я с Урала. Хотя здесь уже двенадцать лет, считайте, из приезжих, но скажу о них прямо. Им ничего не стоит помыть машину в реке, озере, вломиться на ней в заросли багульника. А ведь в Северобайкальске только в личном секторе более четырех тысяч машин... Эти люди не понимают, что такое красота, что такое тайга. Им ничего не жалко, они чувствуют себя здесь временными...»

Неблагодарная это вещь — делить людей на здешних и нездешних. Все мы дети одной единой страны — Страны Советов. И плоть от плоти одной великой матери — планеты Земля. Но и чувство, как принято говорить, малой родины — тоже не пустой звук. Именно она, малая родина, оделяет своих уроженцев обостренным ее пониманием, родственной чуткостью к ее боли, особым жизненным опытом. И никуда от этого не деться...

Главный лесничий Северобайкальского лесхоза С. М. Осипов свидетельствует: «В 1984 году на окраине города, в зеленой зоне, сгорело 100 гектаров леса — навозили мусор, а потом подожгли... Самое большое количество пожаров по району возникает именно возле Северобайкальска. Халатность, пренебрежительное отношение к природоохранным мероприятиям, запретам... Контраст разительный: вокруг исконных старых сел пожаров не бывало, а вот бамовские поселки горят постоянно. Самое страшное — психология людей, наплевательское отношение. Вот пример. Человек набрал грибов, ягод и уходит, бросив дымящийся костер. Остановиваю его, а он мне: «Я приехал машину заработать, и катись ты со своей тайгой!» Или вот горел лес неподалеку от поселка тоннельщиков возле Северо-Муйского хребта. Никто и пальцем не пошевелил, пока огонь не подступил вплотную к домам, только тогда засуетились, еле-еле потушили...»

Таковы факты — горькие, обидные, вызывающие недоумение. Конечно, если

очень хочется не замечать их, то можно избрать фигуру умолчания, дело известное, но ведь оттого не сгинут они, как лукавый при слове «изыди». Чего греха таить, очень даже памятно, какая масса всевозможного люда рвалась тогда всеми путями на БАМ, единственно чтобы отовариться дубленками, кожанками, какой-то там импортной аппаратурой и бог знает чем еще...

Специалисты лесного хозяйства утверждают: чистота Байкала творима и хранима лесами. «Не происходит заиления, — объясняют они. — Тайга, подлесок препятствуют водной и ветровой эрозии, смягчают паводки, таяние снегов происходит постепенно. Водный сток выравнивается, частью переводится внутрь почвы...»

С незапамятных времен существует Байкал. И не расстилайся вокруг него необозримый океан тайги, он, наверное, и в самом деле мог бы за это время разделить участь иных внутриконтинентальных водоемов — с болотистыми берегами, запахом гниющего ила, мутных от взвешенных частиц. К счастью, этого не произошло. Пока!

...8 июня 1987 года под вечер на Северобайкальск, казалось, налетел афганец — знаменитый среднеазиатский ветер, несущий от земли до зенита тучи лесовой пыли. В отличие от него здешний ветер был резким, знобяще холодным, и окрестности заволоклись не желтой, как там, а мутно-серой мглой. Пыль бритвенно секла кожу, скрипела на зубах, слепила глаза, грязными облаками клубилась над Байкалом. Возле гостиницы «Северный Байкал» в деревянном городе какой-то парень, отворачивая от ветра как бы цементом запорошенное лицо, прокричал: «С Давана опять задуло!»

Так в натуре выглядело то, что на языке специалистов обозначено: «ПДК по пыли в Северобайкальске превышает в 14 раз». Да, видно, изрядно подрастеряли мы само понятие о том, что в этом мире можно, а чего нельзя, если даже пределов стало аж четырнадцать — и неизвестно, есть ли тот последний предел, дальше которого — стоп!

...В нежаркий безоблачный июньский день Байкал хорош, как и годы и столетия назад. Вдали — синева Баргузинского хребта с уцелевшими по распадам анатомическими прожилками снегов. Небесного цвета недвижная вода. И само небо небесного цвета. А неподалеку от берега в прозрачной толще виднеется нечто уродливое — затошленный металлический понтон из состыкованных секций размером метров десять на десять. Как объясняют, это брошенное имущество мостоотряда № 52 треста Мостостроя-9 лежит здесь, отравляя ржавчиной воду, уже лет семь... Приглядевшись, замечаешь, что дно вообще на манер свалки устлано всякой дрянью — отходами быта и строительства. И уже перестает казаться чем-то из ряда вон сообщение сотрудника охраны расположенного тут же нефтепричала Ю. И. Михайлова: в пятницу, 5 июня 1987 года, произошел сброс в озеро нефтепродуктов. В воскресенье на воде продолжало оставаться огромное ядовито-переличатое пятно. Чтоб оно могло уйти с глаз долой, боновое ограждение держали отведенным. Более того, сотрудница нефтебазы обратилась к капитану теплохода «Магистральный», прося его поработать гребным винтом, чтобы угнать пятно подальше в Байкал... В четверг, 11 июня, возле причала все еще виднелась радужная пленка. «Приказа со стороны руководства пока нет. Значит, — подытоживает Михайлов, — налицо попытка скрыть ЧП!»

Известно, что организации, ведомства не прочь бывали информацию о возмутительных результатах собственной халатности причислить едва ли не к разряду державных тайн. Когда-то на Даване в заснеженную долину горной речушки упустили весьма значительное количество нефтепродуктов. Как рассказывал сотрудник Нижнеангарского гидрометбюро, его вслед за этим срочно вызвал один из тогдашних руководителей района и строго наказал хранить молчание.

Все ли еще продолжал действовать давнишний приказ «сильного» человека или по какой другой причине, однако выяснить подробности того ЧП удалось далеко не сразу и не полностью. Как бы то ни было, но в январе 1980 года речка Даван, относящаяся к системе Байкала, была жестоко отравлена — анализы показывали, что количество нефтепродуктов в ее водах составляло 60 предельно допустимых концентраций. Немалая доля горюче-смазочных материалов все еще продолжает завозиться в Северобайкалье по воде, хотя, как известно, уже существует действующая железная дорога. Те, кому безразлична судьба Байкала, не могут не задаваться вопросом: что произойдет, если одно из наливных судов потерпит аварию?

По свидетельству уже упоминавшейся газеты «Северный Байкал», «...по району 470 источников загрязнений окружающей среды выбрасывают в воздух 34 024 тонны вредных веществ, в том числе 17 929 тонн — в городе Северобайкальске, где действуют 26 котельных на 168 котлов». (Заметим, что в Северобайкальске из всех 26 котельных

лишь на одной имеется установка «Циклон», которая улавливает пыль, но отнюдь не газы...)

Итак, город, растущий на северной кромке Байкала, привносит в это всемирно прославленное озеро кроме очистных вод, нечистот, пыли, нефтепродуктов еще и кислотные осадки. Зададимся вопросом: для чего, во имя каких высоких целей это делается? Если в случае с пресловутыми Байкальским ЦВК и Селенгинским ЦКК было какое-то подобие резона (мол, большая выгода в том, что предприятия приближены к сырьевой базе), то в случае с Северобайкальском нет и этого.

...Рельсы в Северобайкальске пролегают вдоль берега озера, решительно отрезая город от воды. Обстоятельство, хоть и с натяжкой, но все же вообразимое в условиях небольшого пристанционного поселка, поистине удивительно для города, число жителей которого достигло сейчас нескольких десятков тысяч и, как предполагается, будет расти и дальше.

Базовый город для строителей возник явочным порядком вопреки первоначальному проекту, которым он не предусматривался. При таком положении дел, хочешь не хочешь, обретают неожиданную убедительность услышанные в северобайкальском горисполкоме неформальные обоснования: «Почему именно здесь?.. Ну, увидели ровную площадку... Ну, тайга, озеро... Красивое место...»

Известно, что выбор мест для городов всегда предопределялся многими и важными причинами. Юрий Долгорукий, Петр Первый... Да и Комсомольск-на-Амуре тоже поставлен не абы где.

А что же Северобайкальск? Воздвигнут «назло надменному соседу»? В качестве «порта пяти морей»? Может, рядом ценное месторождение? Нет. Однако промышленные предприятия предполагается создать и развить, поскольку это, во-первых, «градобразующий фактор», а во-вторых, «надо дать работу женам, женской части населения». Такова логика, и трудно уловить, где здесь обыкновенный здравый смысл. Особо учитывая, что сырье будет полностью привозное.

Однако что же станут производить из доставленного сырья доставленные (да не прозвучит это обидно!) люди? Определенности нет, а житейский смысл прогнозов пока таков: будем делать что-нибудь из чего-нибудь. При этом, учитывая дух времени, уклончиво добавляется, что производство будет «экологически чистое»...

К слову, как может пониматься «экологически чистое», наглядно показывает следующий случай. Сотрудники нижеангарской гидрохимлаборатории выразили серьезную озабоченность тем, что шлак из котельных, содержащий фенолы, химически активные вещества, беспорядочно вываливается в окрестностях Северобайкальска да и в самом городе. Председатель депутатской комиссии горисполкома по охране природы, начальник автобазы треста Нижнеангарсктранстрой В. В. Болдовский отвечал на это так: «А вы докажите, что шлак вреден!» И это заявляет председатель комиссии по охране природы, который, казалось бы, по роду своей основной работы обязан знать о небезопасных свойствах продуктов сгорания нефти и угля.

Думается, что разрастание Северобайкальска должно быть приостановлено. Его раз и навсегда следует зафиксировать в границах «нового города» с уже существующими домами капитальной постройки и 8—10 тысячами населения.

Что же касается «старого города», состоящего из сотен отживающих свой век деревянных построек и опасно балансирующего на грани антисанитарии, то его необходимо постепенно ликвидировать. Но возникает вопрос: а как быть с проживающими там 26 тысячами жителей? Альтернативное решение есть, и вполне разумное. Ведь базовый город для транспортных строителей, отвечающий современным требованиям, по сути, так и не построен — не считать же таковым нынешнее скопище временок! Но им может стать, например, Таксимо, расположенное в бассейне Витима — Лены. В пользу такого варианта говорит, во-первых, значительно меньшая экологическая уязвимость названного района, а во-вторых, его близость к будущим крупным строительным объектам (Мокская ГЭС и другие).

Что же до обоснований типа «на Байкале красиво», то это еще не причина, чтобы тысячи людей явочным порядком обустроивать там на постоянное местожительство...

В. МИТЫПОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



НИКОЛАЙ ШИПИЛОВ. Шарабан. Повести, рассказы. М. «Современник». 1987. 252 стр.

Говорить о художественном мире Николая Шипилова, на мой взгляд, рано. Он только начинает. (Первая книга молодого прозаика вышла в 1986 году.) Однако творчество его уже заслуживает разговора, и, может быть, более развернутого, чем позволяет этот краткий отклик. Проза Шипилова интересна не только сама по себе, но и как выражающая черты и тенденции, характерные для ряда молодых писателей, дебютантов 80-х годов.

Начать нужно с того, что эпитет «молодой» мало подходит к писателю Шипилову. Не чувствуется в его прозе литературного ученичества или житейской инфантильности. Пишет он уверенно и умело, материал свой знает досконально. А главное, задачи перед собой ставит отнюдь не молодежные. И если вызывает его проза какие-то литературные ассоциации, то они особого рода: скажем, повесть «Литконсультант» по замыслу (но не по исполнению) несколько напоминает лесковских «Праведников». Взаимоотношения же Шипилова с современными литературными канонами определяет демонстративный, даже с некоторым полемическим запалом отказ от схем и стереотипов массовой литературы. Сказалось это прежде всего в художественном осмыслении конфликта, сквозного для всей книги: столкновение человека, обладающего сильным характером, с тем жизненным пространством, которое отводит для его самореализации окружающая действительность. Конфликт между недюжинными задатками и заурядностью предназначенной роли. Конфликт этот позволяет писателю с неожиданной стороны высветить и косность, застылость, некоторую даже «утробность» нашего повседневного быта и одновременно — человеческое тепло, душевную широту и внезапные просветы духа, неотрывные от череды все тех же будней. В разработке своей темы Шипилов отказывается от литературных предрассудков, полагающих, что сильная личность может воплощаться только в фигурах, так сказать, общественно значимых: командирах производства, парторгах крупных строек, знаменитых кинорежиссерах и т. д. Он ищет своего «крупного» героя в среде подчеркнуто негероичной.

В повести «Стенка из красного кирпича» — это Валеk, выросший без отца в ба-

рачном братстве карьерного поселка, с характером неуступчивым, превыше всего ценящий справедливость, независимость, человечность. Для него уж лучше в тюрьму попасть, чем оставить зло безнаказанным. «На фронте у нас такие вот хлопцы в больших людях ходили...» — говорит бывший участковый, наблюдая за больным (два срока позади), в тридцать пять уже доживающим жизнь Вальком. А зачем я был? В чем моя жизнь? — тяжело задумывается Валеk. Для кого вся эта жизнь? Неужели для таких, как Степан, «который даром ничего не делал»? «Был он неразговорчив, красив, скуп и работящ. Начальство уважало Степана как передовика и упорядоченного человека...» Писатель не облегчает своей задачи романтическим противопоставлением мятежного чужака обывательской косности, герой Шипилова попадает в эту жизнь не откуда-то со стороны, он взращен именно этим поселком, этим бытом; и то, что Степан лучше вписывается в нашу действительность, чем Валеk со своим рыцарским кодексом чести, рассматривается писателем как симптом очень тревожный.

Автор настаивает на своей обеспокоенности: самоубийством кончает Сан Саныч из рассказа «Венок», от руки хулиганов гибнет участковый в рассказе «На даче». Обречена на одиночество героиня повести «Женщина» — Сонечка, столкнувшаяся с новейшей модификацией «упорядоченного человека», агни-йогом Сергеем, пытающимся компенсировать свою чисто человеческую недостаточность погруженностью в «глубины» того, что он называет «восточной философией».

Так в чем заключается тот порядок жизни, который «упорядочил» Степана и Сергея и от которого инстинктивно отталкивается герой Шипилова? Что все-таки главное в человеке? И как с этим главным жить сегодня? Такой — вечный для литературы — вопрос встает как бы заново перед каждым поколением писателей, заставляя их искать свой ответ и соответственно — свои художественные средства. Путь достойный. Однако отказ от утвердившихся в литературе схем — еще не гарантия, что писатель не окажется в плену других схем, уже своих собственных. К сожалению, рассуждение это не носит здесь академического характера, оно имеет прямое отношение к прозе Шипилова. Стремясь,

например, уйти от литературной безликости языка, он пытается воспроизвести в своей прозе интонации «упрощенного и тарбарского языка искаленной деревни», в среде которого живут многие его герои, и вот тут автору иногда изменяет чувство меры — обилие диалектных и жаргонных слов начинает выглядеть декоративным украшением, а язык приобретает ту самую литературную условность, с которой Шпилов борется. Стремление к повышенной емкости, выразительности метафор, эпитетов оборачивается порой шегольством едва ли не претенциозным. Подобные издержки стиля заметны во многих вещах сборника, но особенно плотно представлены они в рассказе «Наташины ночи», на мой взгляд, явно неудачном. Автор нещадно эксплуатирует все связанное с трогательной незащищенностью юной талантливой актрисы в жестком и часто жестоком мире; в результате драматическая напряженность повествования, к которой стремился писатель, срывается в откровенный мелодраматизм.

Мне кажется, что неудача с этим рассказом — серьезный предупреждающий знак писателю, у которого уже есть свои находки, уже набрана определенная высота. Проза его лучших повестей и рассказов («Женщина», «Венок», «Стенка из красного кирпича» и др.) обещает многое. Будем надеяться, что обещания эти сбудутся в последующих произведениях Николая Шпилова.

Сергей Костырко.



АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ. От юности до старости. Стихи. М. «Советский писатель». 1987. 111 стр.

В этой книге более трети стихотворений новые, не входившие ранее ни в один из сборников. И каждое из них или почти каждое словно бы заполняет пустовавшее место, замыкает, в одиночку или группой, определенную тему или завершает начатый ранее цикл. «Полька», «Ученик зеленой травы...» — война; «Лучше я побуду в коридоре...», «Кем налит был стакан...» — разлука, потеря; «Медем» и «Ноты» — детство; «Елабуга» — Марина Цветаева... Это грубое на первый взгляд деление оказывается не так уж и грубо, если представить, что в новой книге с таким итоговым, обзорным названием Арсений Тарковский и в самом деле возвращается к своим главным темам, как бы заново оценивая чистоту их звучания и полноту выражения. Какова же его оценка? «И горько стало мне, что жизнь моя прошла, что ради замысла я потрудился мало...» Мало! — потому что исходный замысел всегда богаче и глубже своего воплощения. В этом неизбежный трагизм любого настоящего творчества. И уже возникают дальнейшие сомнения: так ли будет понято то немногое, что за долгую — и слишком короткую — жизнь удалось сказать. «...И страшно мне, что мнимый опечаток оставлю я наследникам своим». С этим страхом в душе существо-

вать поэту невысказанно, он должен его в себе переписать, опровергнуть всем ходом судьбы, всем итоговым смыслом работы. «Пора бы мне собственный возраст понять, пора костылями поменьше стучать, забыть о горячке певучей, пора наполнять не стихами тетрадь, а прозой без всяких созвучий» (разрядка везде моя. — Ю. К.). Нарочито заимствованная, слегка спародированная строчка Манделштама, небрежная, мимоходом, характеристика чуждой прозы... Ясно, что это не призыв к самому себе, но ироническое изложение общежитской мудрости. Здесь понятие возраст — значит простить, примириться с ним, стать другим, ему соответствуя. Да и проза означает не литературный жанр, а трезвость, размеренность, душевное равновесие — все то, что традиционно претит поэзии. Ответ известен, но должен быть найден заново. «Зачем же мне проза в тетради, когда со мною не ты говоришь, а звезда, и парус не хочет покоя?» Лермонтовский мятежный парус осеняет сегодняшний день поэта и так же, как в юности, дает ему силы оставаться самим собой. Не в том дело, все ли ты высказал и так ли тебя поймут, как надо, а в том, что не изменил ни себе, ни искусству. Эта тема — упорного постоянства — в новой книге звучит настойчивей, чем во всех предыдущих. «Он пел, потому что не мог — не петь, потому что у крови есть самоубийственный срок, и страсть вне житейских условий». Это о соловье и, конечно же, о поэте как извечном символическом его двойнике...

И здесь, говоря о новых стихах Тарковского, стоит, может быть, несколько слов сказать и о его поэтике.

Мы уже привыкли к тому, что стихи Тарковского — это как бы живой мост через время, соединяющий нас с нашей полузабытой культурой. И единственная, сколько можно судить, претензия к поэту (в том случае, когда она вообще существует) есть как раз оборотная сторона этой миссии. Я имею в виду упрек в литературности, во вторичности поэтического словаря и далее — исходного материала стиха. О чем бы ни были стихи Тарковского: о любви, о войне, об ушедшей юности, — мы словно бы легко узнаем тот материал, из которого они вырастают. Материал уже тронутый, уже опосредованный, и не каким-то определенным автором, а всей совокупной мировой поэзией. И однако признаем: да же прочно утвердившись в таком ощущении, мы не только не пугаем этот стих ни с каким другим, но, напротив, безошибочно его узнаем в любой толпе, на любом расстоянии. Потому что стих у Тарковского никак не вторичен — он откровенно «символистичен»: «Затем, что я дышал, как дышит слово, я эхом был среди учеников...» Готовое слово с устоявшимся символическим смыслом дышит у Тарковского особым, напряженным дыханием, формирует его неповторимую тарковскую интонацию. Это его соловей, его парус, его море и им одним покинутый берег «Мне дико, что там, за кормом, вдали, за холодной волной, навеки покинутый мною остался мой город родной». Этот мотив

рокового плавания — то ли в море жизни, то ли в море творчества, а то ли в море, отделяющем жизнь от нежизни и творчества от немoty и бессилья,— мотив, лишь однажды, кажется, мелькнувший прежде («И город мне приснился на дальнем берегу»), в новой книге занимает целиком два стихотворения, написанных в одном ритме, как два варианта. «И нет мне на свете причала, и мимо идут времена; до смерти меня укачала чужая твоя глубина».

Нет причала, но, может быть, есть спасение? В чем же оно как не в самых простых и нетленных истинах? Для Тарковского — в гармоническом единстве мира, в круговой поруке мирового добра. Неизменность не значит неизменяемость. Давнее, протестующее жизнелюбие молодого, полного сил поэта («Не отпускай меня вниз головою в пространство мировое, шаровое!») теперь, в старости, уступает место спокойной и мужественной констатации:

Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица.
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный

и смерти не боится.

Юрий Карабчиевский.



ГЛЕБ ГОРЬШИН. Жребий. Рассказы о писателях. Л. «Советский писатель». 1987. 319 стр.

Почему книга ленинградского прозаика Глеба Горьшина, повествующая о судьбах русских писателей, называется «Жребий»? Не судьба, не доля, не путь... Жребий... В нашем сегодняшнем понимании это нечто случайное и как бы мгновенное. Жребий тянут обычно в споре. И при чем здесь такое сложное и длительное явление, как судьба писателя?

Но вот раскроем словарь великорусского языка Даля... Жеребий, или жребий, объясняется как «участок, доля, пай, доставшийся в надел... Местами, название жеребья перешло на участок земли, доставшийся мужику по жеребью». Отсюда и широкое толкование: жребий — это и рок, и судьба, и участь, и доля, и счастье... Все вместе в одном слове!

Не совсем обычными героями новой книги Горьшина стали М. Пришвин, И. Соколов-Микитов, М. Слонимский, В. Шукшин, Ф. Абрамов, Ю. Казаков, В. Курочкин... Каждому из них однажды выпал свой жребий, обозначил своего рода литературный «надел». В глазах автора это очень важно — вовремя осознать свой жребий, почувствовать его, чтобы затем уже, не сбиваясь с пути, честно обрабатывать свой участок литературной земли. Не завидуя соседу и не зарясь на чужие владения... Честно работать над своей темой до конца!

Пожалуй, что и всю русскую литературу Горьшин понимает не как хаотическое собрание талантов, но как единый живой организм, где каждый выполняет свою, толь-

ко ему предназначенную миссию. Не всяк сам по себе, но что-то вроде общинного владения землей. Эта внутренняя идея всей книги, возможно, не явно выраженная, тем не менее легко чувствуется. Оттого так дорога автору мысль о преемственности в советской литературе... Потому-то с такой нежностью, иначе не назовешь, он пишет очерк о Михаиле Слонимском, своим учителем...

Жребий выпал Слонимскому в начале 20-х годов, когда его, секретаря издательства «Всемирная литература», сам М. Горький возвел в должность «старшего брата» и «хранителя интересов и душ» группы молодых писателей «Серационовы братья».

Каждому выпадает свой жребий... Ну кто, скажите, мог угадать в облике недавнего студента Лейпцигского университета, блестящего знатока Канта, Спинозы, Ницше, в начале века активно посещавшего религиозно-философские собрания, будущего Михаила Пришвина, истинно народному языку которого станут учиться целые поколения молодых прозаиков?

Кто мог предположить, что деревенский паренек, бывший матрос, в ноябре 1919-го в Одессе стучавшийся в редакцию газеты «Южное слово», где литературным отделом заведовал Бунин, затем превратится в «дедушку» Соколова-Микитова, замечательного пейзажиста, друга Федина и Твардовского? Что мог знать о предназначенном ему пути юноша Федор Абрамов, которого в «далеком 1938 году ранним летним утром снарядили в путь-дорогу... и пошел он из родного села Веркола в большой мир»?

Особый жребий достался Юрию Казакову... Если задуматься, его судьба в литературе полностью отлична от судьбы того же Слонимского и вообще любого литератора-деятели. Невозможно вообразить Казакова в роли чье-либо активного сподвижника, настолько в силу внутренних свойств таланта он оказался одинок в нашей литературе, жестко поделенной на поколенческие, тематические и даже региональные участки. Казаков с его особенным даром поэта в прозе всегда находился как бы между этими границами. Он не оставил после себя прямых учеников, но завещал свою тайну. «Он что-то такое знал о жизни, неведомое другим...»

В чем-то похожей рисуется судьба ленинградца Виктора Курочкина. Одновременно очерк Горьшина о Курочкине наводит на грустные размышления. Писателем такого уровня, каким был автор «На войне как на войне» и «Записок народного судьи Семена Бузыкина», могла бы гордиться любая национальная литература. А между тем и сегодня, после его смерти, Курочкин остается практически незамеченным. Ни одной серьезной статьи, не говоря уже о книге о нем... Воспоминания Горьшина и В. Конецкого одни заполняют этот пробел.

Книга Горьшина написана в неторопливой, спокойной манере. Автор нередко возвращается к одним и тем же излюбленным мыслям, дополняет их на новом материале. Пожалуй, местами не хватает остроты, сюжетности; книга как бы рассчитана на завидомо предрасположенного к ее теме читателя. Но те, кому дороги имена вышена-

званных писателей, обязательно прочитают «Жребий» и тогда, вероятно, оценят скромную и пс-своему обаятельную манеру автора.

Павел Басинский.



БОР. ЕФИМОВ. На мой взгляд... М. «Искусство», 1987. 207 стр.

Известно, что Наполеон причислял к своим личным врагам английского карикатуриста Гилрея, чьи работы приводили его в бешенство. Он даже настоял, чтобы в Амьенский мирный договор между Францией и Англией включили пункт, по которому за сатирическое изображение и осмеяние императора художник-карикатурист приравнивался к преступникам и подлежал выдаче с головой.

«Не сложились» отношения с сильными мира сего и у народного художника СССР Бориса Ефимовича Ефимова. Нарисовал он английского премьер-министра Невилла Чемберлена, и рисунок так подействовал на британского лорда, что правительство Великобритании направило официальную ноту протеста. Другой, по выражению художника, «неудобноназываемый фюрер» издал распоряжение составить список наиболее опасных карикатуристов (в этом «черном списке» значился и Борис Ефимов), а гестапо вменялось в обязанность «найти их и повесить». Найти-то художников можно было. Они никуда не скрывались. А вот повесить не удалось. По иронии судьбы многие из того «списка» (Ефимов в том числе) присутствовали на Нюрнбергском процессе.

Если разместить все созданное Борисом Ефимовым более чем за 60 (шестьдесят!) лет работы, то стены в таком выставочном зале могли бы протянуться на многие километры, а представленные на них работы наглядно продемонстрировать все этапы жизни нашего государства: от борьбы с белогвардейским воинством и Антантой до событий сегодняшнего дня.

Конечно же, Борис Ефимов прежде всего художник. Но он и удивительный собеседник, увлекательный рассказчик, автор многих книг. Новая книга Ефимова «На мой взгляд...» — это, по его словам, попытка рассказать «о некоторых своих наблюдениях и впечатлениях в области искусства». Однако «некоторые наблюдения» под пером художника обретают цельность, значительность и широту повествования «о времени и о себе». Разнообразны и поучительны здесь рассказы о художниках революций, о блестящих зарубежных сатириках. Особый раздел составлял воспоминания Ефимова о коллегах — Борисе Пророкове, Федоре Решетникове, Николае Пономареве, Савве Бродском, Евгении Каждане, Александре Житомирском, а также о деятелях других видов искусства — режиссере-кукольнике Сергее Образове, писателе Илье Ильфе, учено-литературоведе Александре Дейче и других.

Особое внимание в сборнике обращает на себя страстное публицистическое слово о карикатуре, которую Ефимов называет «музой пламенной сатиры». «Карикатури-

сты,— пишет он,— создавая меткие, остроумные сатирические образы, выражали в них чувства и суждения народа, его беспощадный нравственный приговор уродливым сторонам жизни... И приговор этот приводился в исполнение немедленно, не подлежа обжалованию, средствами сатирического искусства — насмешкой, иронией, сарказмом». Если когда-нибудь будет написан учебник истории карикатуры, то в него несомненно перенесут эту характеристику как жанровое определение сущности карикатуры.

В ряду выдающихся карикатуристов советского времени были замечательные мастера Д. Моор, В. Дени, М. Черемных, В. Лебедев, Н. Радлов, К. Ротов, Б. Пророков, И. Семенов и, конечно же, ныне здравствующие Кукрыниксы. С этими художниками Ефимов трудился многие десятилетия бок о бок. Прочтите в сборнике статью о Дмитрие Мооре, или «мастерах веселого рисунка», как называет автор Константин Ротов и Ивана Семенова, или о «чудесном сплаве» тройственного содружества Кукрыниксов — М. В. Куприянове, П. Н. Крылове, Н. А. Соколове, и вы почувствуете всю полноту уважения автора перед блистательным трудом своих соратников.

Трудно передать все многообразие этой книги. Но еще об одной ее черте сказать здесь необходимо, ибо в черте этой — отблеск личности самого автора. Все, кто встречается с Борисом Ефимовым, отмечают его добродушие и неизменную веселость. Такой же доброй, человечной получилась его книга. Но не надо думать, что перед нами благодушный человек. Вот он склоняется над листом, и из-под его пера или кисти выходит бескомпромиссный, убийственный сатирический рисунок. Ефимов-сатирик неисчерпаем.

Дм. Брудный.



А. В. ШАПОШНИКОВА. От Алтая до Гималаев. По маршруту Центрально-азиатской экспедиции Н. К. Рериха. Научный редактор О. К. Дреер. М. «Планета». 1987. 325 стр.

Центрально-азиатская экспедиция Николая Константиновича Рериха — явление уникальное в истории современной культуры и науки по богатству собранного археолого-этнографического материала. В то же время широта и комплексность поставленных исследователем задач типичны для лучших традиций российской интеллигенции, как типична для нее и сама фигура Рериха.

В наши дни все шире распространяется понимание неразрывности судеб человечества, Земли и космоса как нашего общего дома. Это новое мышление рождается не на пустом месте, не только потому, что мы прочувствовали реальность ядерной угрозы как всемирной катастрофы. К одному из многих его истоков можно отнести, в частности, и концепцию Рериха о культурно-исторической общности человечества, возникающую на основе глубокого изучения традиционных культур многих племен и народов.

Традиции у всех народов и разные и схожие. Если искать их корни не в глубинах общенародной памяти, а только у себя во дворе, не выглядывая из-за забора, то результатом легко может стать та или иная форма национализма. В подобных случаях мало сказать — находят то, что ищут. Скорее речь идет о неумении увидеть найденное во всей полноте и многообразии связей. Ведь чем мощнее, разветвленнее корни национальной культуры, тем более важной частью мировой культуры она является. Понимание этого рано пришло к Рериху. По всей вероятности, именно стремление понять истоки русской культуры во имя достоверности картин Рериха-художника привело Рериха-ученого к постановке проблемы взаимодействия культур, к поиску общего истока славянской и индийской культур.

Бури послеоктябрьского мира привели к тому, что вторую половину своей жизни Рерих прожил в Индии. Страна, куда он приехал в 1923 году, стала начальным и конечным пунктом Центрально-азиатской экспедиции. Ее индийский маршрут шел через гималайские княжества Сикким, Кашмир, Ладак. Китайский отрезок пути (Синьдзянь) привел Рериха в мае 1926 года в Советскую Россию. Его ошеломила и обрадовала первая встреча с советскими людьми. В своем дневнике он описал долгие разговоры с пограничниками «о самых широких, о самых космических вопросах. Где же такая пограничная комендатура, где бы можно было бы говорить о космосе и мировой эволюции?!» После Алтая были Монголия и Тибет. В 1928 году экспедиция вернулась в Индию, пройдя через множество испытаний на горных перевалах и в пустынях, столкнувшись не только с метелями и жарой, но и с кознями тупых чиновников...

На землях древнейших культур Азии Рерих искал не различия, а сходство, ибо он, как пишет Л. В. Шапошникова, «вел свои исследования в широких границах длительных и сложных процессов, созидавших культурно-историческую общность человечества в целом». Честно взвешивая собранный огромный фактический материал, Рерих увидел схожесть гигантских ступ буддизма, курганов Упсалы в Швеции, русских курганов Волхова на пути к Новгороду и скифских степных курганов. В одеждах горцев Ладака ему открылись византийские, русские и скандинавские элементы, в пищаках киргизов — куаки русских воинов средневековья. Мысль о единстве человечества подтверждалась петроглифами неолита в Азии, Европе и Америке, непреодолимыми в фольклоре темами торжества добра над злом, стремления народа к справедливости и лучшему будущему.

В XX веке не так просто заниматься разисками истоков многовековой бурной истории народов. Гималаи — один из наиболее благоприятных регионов для этого. Их замкнутость и труднодоступность позволили сохраниться здесь в нетронutom виде древнейшим культурным традициям. Конечно, сегодня многие караванные тропы, по которым прошла экспедиция Рериха, сменились шоссевыми дорогами, но горы и пустыни не стали ласковее к путеше-

ственникам. От автора этой книги Л. В. Шапошниковой понадобилось немало мужества и страсть исследователя, чтобы пройти путем Рериха от Алтая до Гималаев и воссоздать для нас в прекрасных фотографиях изумительные пейзажи, монастыри и менгиры, следы традиционной культуры в камне, наскальных надписях и одеждах горцев, удивительные лица людей, живущих в мире с природой.

Можно добавить, что Л. В. Шапошникова не только проанализировала материалы экспедиции. Много лет проработав в Индии и написав об этой стране семь книг, она сама внесла большой вклад в изучение труднодоступных районов Индии. Прекрасно изданная книга-альбом «От Алтая до Гималаев» вобрала в себя результаты двух экспедиций, разделенных полувековым интервалом, но единых по своим культурным задачам.

С. Кузнецова,
доктор исторических наук.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР СССР И США. XVIII—XX ВВ. М. «Наука». 1987. 231 стр.

Тема взаимодействия культур двух стран собрала под одной обложкой работы историков, философов, литературоведов, искусствоведов. От такого ансамбля читатель вправе ожидать многого, тем более что имена, так сказать, ведущих исполнителей хорошо известны и авторитетны.

Скажу сразу, что ожидания оправдываются далеко не полностью. Авторы в основном предпочитают излагать давно наработанный материал вне заметной связи с тем, что сообщают в соседних статьях коллеги даже одного с ними профиля. Сборник воспринимается скорее как репетиция оркестра, в которой полезно выделить самые, на мой взгляд, примечательные моменты.

Нельзя не разделить критической настрои М. Маслина по поводу предприняемых в США попыток представить русскую философскую культуру как отсталую и будто бы всегда находившуюся в непримиримом конфликте с передовыми культурами Запада. Но вот список опубликованных в США книг о видных представителях русской общественной мысли заставляет задуматься: а имеем ли мы конструктивную альтернативу «западоцентризму»? Боюсь, что аналогичный список наших публикаций о своих, отечественных философах выглядит гораздо скромнее (не говоря уже о том, сколь недостаточно представлены у нас американские мыслители).

Именно благодаря литературе и литераторам в последние десятилетия XIX века состоялся переход от эпизодических контактов отдельных лиц к действительному взаимодействию культур России и Америки. Многие американские писатели могли бы, вероятно, подписаться под словами Шервуда Андерсона: «Я почувствовал духовное родство, когда стал читать русских — Толстого, Чехова, Достоевского, Тургенева... Я ощутил братство с Чехо-

вым». Учениками Чехова считали себя такие разные писатели, как Синклер Льюис, Эрнест Хемингуэй, Уильям Сароян. Даже самый «американский» из всех — Уильям Фолкнер — признавался, что перечитывает чеховские книги ежегодно. Всеобщее признание не исключало, по замечанию А. Николоюкина, противоречий в восприятии. Одни (например, Джойс К. Оутс) видели в творчестве Чехова прежде всего символизм, предвосхищение театра абсурда. Другие — Артур Миллер, Теннесси Уильямс — считали главными чеховскими чертами гуманизм и социальный реализм. Можно согласиться, что «подлинное прочтение Чехова еще предстоит Америке». Впрочем, разве только Америке?

Творчество М. Горького несомненно оказало заметное влияние на американскую прогрессивную литературу 30-х годов. Но отнюдь не бесспорно утверждение Ю. Сохрякова о том, что «Достоевский стал понятен американцам во многом благодаря Горькому. То же самое можно сказать и о Чехове...» Истоки уверенности, с которой это заявлено, увя, остались нераскрытыми.

Путевые очерки Б. Пильняка, И. Ильфа и Е. Петрова, посещавших Америку в 30-е годы, строились, как отмечает В. Сушкова, в основном в духе горьковской традиции резких, острокритических противопоставлений. Но тогда писательское чувство меры еще не позволяло сарказму и карикатуре вытеснить со страниц живые черты Америки и американцев. Похоже, что со временем традиция стала вырождаться в схему. Сейчас едва ли не каждый журналист, побывавший в США, торопится пред-

ставить миру очередной выпуск бесконечной «желтой дьяволиады» со стандартным набором «контрастов».

Динамично развивавшаяся советская культура жадно впитывала новаторские идеи американских художников. Драматург-реформатор Ю. О'Нил обрел в Камерном театре А. Таирова именно того интерпретатора, которого не находилось в театральном мире Америки. Смелые эксперименты режиссера Д. У. Гриффита дали толчок революции, которую произвел в кинематографии С. Эйзенштейн. Импульсы шли в обратном направлении. На международном конкурсе проектов памятника-маяка Колумбу в 1929 году советские архитектурные решения отличались принципиальной новизной на фоне традиционализма и стилизаторства американцев. Кто бы мог подумать, что спустя несколько десятилетий мы не сумеем найти приемлемый проект для монумента Победы?

После второй мировой войны в диалоге двух культур наблюдалась тяжелая аритмия. Культурные контакты оживали в благоприятной политической атмосфере, но становились едва ли не первыми жертвами при обострениях международной напряженности. В то же время, как подчеркнул А. Мулярчик, В. Чибисенков, Г. Добросельская, именно культурные контакты в известной мере сдерживали разрушительные колебания политической конъюнктуры, способствовали созданию «мостов доверия», которые даже в самые трудные годы не давали прерваться связям двух великих народов.

Сергей Станкевич.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Афоризмы, изречения. 541 стр. Цена 1 р. 60 к.

Б. Грушин. Массовое сознание. («Над чем работают, о чем спорят философы») 368 стр. Цена 70 к.

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. Перевод с китайского. 256 стр. Цена 60 к.

Д. Мельников, Л. Черная. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии. 1933—1945. 414 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В. Андреев. Избранное. Красное лето. Роман. Повести. Рассказы. 431 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Воронский. Избранная проза. Бурса. За живой и мертвой водой. Рассказы. 655 стр. Цена 4 р. 20 к.

Г. Державин. Сочинения. 503 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Платонов. Котлован. Ювенильное море. (Море юности) Повести. 192 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Начало. Сборник 3. Повести и рассказы студентов Литературного института им. А. М. Горького. 351 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Семин. Что истинно в литературе. Литературная критика. Письма. Рабочие заметки. 395 стр. Цена 95 к.

М. Соболев. От вашего собеседника. Рассказы, очерки. 288 стр. Цена 80 к.

В. Ходасевич. Портреты словами. Очерки. 320 стр. Цена 1 р. 20 к.

«РАДУГА»

Э. Т. А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма. Высказывания. Документы Перевод с немецкого. 463 стр. с илл. Цена 2 р. 90 к.

Современная швейцарская новелла. Перевод с немецкого, французского, итальянского, реторманского. 383 стр. Цена 2 р. 80 к.

М. Стюарт. Полые холмы. Последнее волшебство. Романы. Перевод с английского. 800 стр. Цена 5 р. 40 к.

Г. Эльзнер. Избранное. Перевод с немецкого. 336 стр. Цена 2 р. 60 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Ансакон. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. 528 стр. с илл. Цена 2 р. 70 к.

И. Анненский. Стихотворения. («Поэтическая Россия») 272 стр. Цена 85 к.

Ю. Жунов. Солдатские думы. О чем рассказывали письма с фронтов Великой Отечественной войны. 365 стр. Цена 90 к.

С. Маршак. Двенадцать месяцев. Умные вещи. 167 стр. с илл. Цена 2 р.

«СОВРЕМЕННИК»

Н. Скотов. Русский гений. («Любителям российской словесности») 352 стр. Цена 1 р. 70 к Об А. С. Пушкине.

Турнир. Стихи. 366 стр. Цена 1 р. 40 к.

Частушки. («Классическая библиотека «Современника») 493 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Чижевский. Стихотворения. 239 стр. Цена 80 к.

«НАУКА»

Жуковский и русская культура. Сборник научных трудов. 504 стр. Цена 2 р. 60 к.

Литература Древней Руси. Источниковедение. Сборник научных трудов. Ответственный редактор Д. С. Лихачев. 312 стр. Цена 2 р. 70 к.

И. Мечников. Этюды оптимизма. 328 стр. Цена 1 р. 70 к.

Творческая интеллигенция и мировой революционный процесс. Идеино-эстетическая эволюция художников-гуманистов XX века. 527 стр. Цена 2 р.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Детская литература 1987. Сборник статей. 175 стр. Цена 70 к.

Ю. Коваль. Бабочки. 56 стр. с илл. Цена 1 р. 80 к.

И. Соколов-Минитов. На теплой земле. Рассказы. («Золотая библиотека») 320 стр. с илл. Цена 85 к.

К. Чуковский. Чудо-дерево и другие сказки. 399 стр. с илл. Цена 1 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ф. Буслаев. Русский богатырский эпос. Русский народный эпос. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 255 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Григорьев. Избранные стихотворения. Саратов. Приволжское книжное издательство 190 стр. Цена 55 к.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Перевод с древнегреческого. Владивосток. Издательство Дальневосточного университета. 573 стр. Цена 2 р. 90 к.

Сибирские письма декабристов. 1838—1850. Красноярск. Книжное издательство. 319 стр. Цена 85 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крушин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 18.02.88 г. Подписано к печати 31.03.88 г. А 02347.

Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.).

26,39 уч.-изд. л.

Тираж 1.150.000 экз. (5-й завод 950.001—1.150.000 экз.). Зак.3708

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Пабрано и сматрицировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1988, № 5, 1—272